Н.С. ЛЕСКОВ

РАССКАЗЫ
и
ПОВЕСТИ

Н.С. ЛЕСКОВ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р1
Л50

Тексты печатаются по изданию:

Н. С. Лесков. Собрание сочинений в одиннадцати томах.
М., Гослитиздат, 1956 — 1958

Оформление художника

А. ЛЕПЯТСКОГО

Лесков Н. С.
Л50 Рассказы и повести. — — М.: Худож. лит., 1982. — 496 с.

В книгу вошли наиболее известные произведения писателя — «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Левша», «Тупейный художник» и другие.

Л $\frac{4702010100\text{-}368}{028(01)\text{-}82}$ без объявл. Р1

ОВЦЕБЫК

Рассказ

> Питается травою, а при недостатке ее и лишаями.
>
> *Из зоологии*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали «Овцебыком». Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки. Ему было двадцать восемь лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего «верхнего этажа». Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а напереди от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, «плохо скроен, да крепко сшит», а вглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видать в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходился, а всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, «совсем разевали рот», то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осмётки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно: он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в возможно малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табаку, или чаю, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только Евангелие да древних классиков; о женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно *дурами* и очень серьезно жалел, что его старуха мать — женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит; но все очень хорошо знали, что нет жертвы, которой бы Овцебык не принес для каждого из своих присных и знаемых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко

было отыскать под черепом нашего Овцебыка. Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их.

Разговоров Овцебык не любил, делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать.

Как и почему он сошелся с маленьким кружком, к которому принадлежал и я во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе,— я не знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, сбираемыми ради Христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается попом и заживет на приходе с молодою женою. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен; мать все осведомлялась о невестах, а Василий Петрович молчал и в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода прислал он матери двадцать пять рублей и письмо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. Как он дошел до Казани, отломав более тысячи верст, и каким образом достал двадцать пять рублей — это осталось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела старуха порадоваться, что ее Вася будет когда-нибудь архиереем и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкою и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал — нежданно-негаданно снова явился в Курске. Много его расспрашивали: что такое? как? отчего он вернулся? но узнали немного. «Не поладил»,— коротко отвечал Овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более: «Не хочу я быть монахом», а больше уж никто от него ничего не добился.

Человек, которому Овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский, добрый, хороший малый, неспособный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа.

Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах.

В Курск я приехал в семь часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил не худо: имел порядочную квартиру в три комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога Бокса, с оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан.

Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал гражданскую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще бóльшую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, «неудобной к судоходству».

Прошло недели две со дня приезда в Курск. Об Овцебыке никогда не заходило никакой речи, я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, изобилующей хлебом, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во втором пополудни. В передней меня встретил Бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем восемнадцатилетний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный донельзя; одна грязнейшая подтяжка с надвязанным на нее ремешком, просаленный черный платок, свитый жгутом, и тоненькая палочка из

лесной орешины. Во второй комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватою кабинетною мебелью, сидел на диване запыленный донельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня один беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращении домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свирепый Бокс смотрел на него как на своего человека и не ласкался только потому, что нежничанье, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англо-саксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея две цели: во-первых, расспросить мальчика о госте, а во-вторых — вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал пять минут назад. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться к самому гостю.

— Вы, верно, Якова Иваныча дожидаете? — спросил я, остановясь перед незнакомцем.

Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет».

— Кого же вам угодно видеть? — спросил я, удивленный странным ответом.

— Я просто так зашел,— отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы.

— Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить?

При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича.

—А я так просто, — отвечал гость и опять взялся за свою книгу.

Тем разговор и покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгою в руках на свою постель. Когда придешь из-под солнечного припека в чистую и прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читал мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось только, когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул:

— А! Овцебык! Какими судьбами?

— Пришел,— ответил гость на оригинальное приветствие.

— Знаю, что пришел, да откуда же? где побывал?

— Отсюда не видать.

— Эко шут какой! А давно припожаловать изволил? — спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню.— Э! да ты спишь,— сказал он, обращаясь ко мне.— Вставай, брат, я тебе зверя покажу.

— Какого зверя? — спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.

Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты, вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упиравшегося гостя, проговорил:

— Честь имею рекомендовать — Овцебык. Питается травою, а при недостатке ее может есть лишаи.

Я встал и протянул руку Овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

— Я вам уже рекомендовался,— сказал я Овцебыку.

— Слышал я это,— отвечал Овцебык,— а я кутейник Василий Богословский.

— Как, рекомендовался? — спросил Яков Иванович.— Разве вы уже виделись?

— Да, я застал здесь Василья... я не имею чести знать, как по батюшке?

— Петров был,— отвечал Богословский.

— Это он был, а теперь зови его просто «Овцебык».

— Мне все равно, как ни зовите.

— Э, нет, брат! Ты Овцебык есть, так тебе Овцебыком и быть.

Сели за стол. Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулою, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую пред ним тарелку супу.

— А студеню нет разве? — спросил он хозяина.

— Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого,— отвечал Челновский,— и не приготовили.

— Сами могли есть.

— Мы и суп можем есть.

— Соусники! — прибавил Овцебык.— И гуся нет? — спросил он с еще бóльшим удивлением, когда подали зразы.

— И гуся нет,— отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой.— Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом.

— Завтра — не сегодня.

— Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?

Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:

— А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел.

— Ну-у!

— Четвертого дня вечером калач в Севске съел.

— В Севске?

Овцебык утвердительно махнул рукой.

— А ты чего был в Севске?

— Проходом шел.

— Да где же это тебя носило?

Овцебык остановил вилку, которою таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:

— Аль ты нынче табак нюхал?

— Как табак нюхал?

Челновский и я расхохотались странному вопросу.

— Так.

— Да говори, милый зверь!

— Что язык-то у тебя свербит нынче.

— Да как же не спросить? Ведь целый месяц пропадал.

— Пропадал? — повторил Овцебык.— Я, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром.

— Проповедничество нас заело! — отозвался ко мне Челновский — «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищах и стогнах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется; в попы мы не можем идти, чтобы *не прикоснуться жене, аки сосуду змеину*, а в монахи идти тоже что-то мешает. Но уж что именно такое тут мешает — про то не знаю.

— И хорошо, что не знаешь.

— Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше.

— Поди сам в монахи, так и узнаешь.

— А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?

— Чужой опыт, брат,— пустое дело,— сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся по́том от усердствования за обедом. Положив салфетку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик; набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней.

— Кури здесь,— сказал ему Челновский.

— Расчихаетесь неравно. Головы заболят.

Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным, ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собою и над своею недолею.

— Новый Диоген!— сказал Челновский вслед вышедшему Овцебыку,— все людей евангельских ищет.

Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петрович. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ногах у Челновского и, почесав правою рукою левое плечо, сказал вполголоса:

— Кондиций искал.

— Когда? — спросил его Челновский.

— Да вот теперь.

— У кого ж ты искал?

— По дороге.

Челновский опять засмеялся; но Овцебык не обращал на это никакого внимания.

— Ну, и что ж бог дал? — спросил его Челновский.

— Нет ни шиша.

— Да шутина ты этакой! Кто же ищет кондиций по дороге?

— Я заходил в помещичьи дома, там спрашивал,— серьезно продолжал Овцебык.

— Ну и что же?

— Не берут.

— Да, разумеется, и не возьмут.

Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил:

— Почему же это и не возьмут?

— Потому, что с ветру пришлого человека, без рекомендации, не берут в дом.

— Я аттестат показывал.

— А в нем написано: «поведения довольно изрядного»?

— Ну так что ж? Я, брат, скажу тебе, что это все не оттого, а оттого что...

— Ты — Овцебык,— подсказал Челновский.

— Да, Овцебык, пожалуй.

— Что ж ты теперь думаешь делать?

— Думаю вот еще трубочку покурить,— отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.

— Да кури здесь.

— Не надо.

— Кури: ведь окно открыто.

— Не надо.

— Да что тебе, первый раз, что ли, курить у меня свой дюбек?

— Им будет неприятно,— сказал Овцебык, показывая на меня.

— Пожалуйста, курите, Василий Петрович; я — человек привыкший; для меня ни один дюбек ничего не значит.

— Да ведь у меня тот дубек, от которого черт убег,— отвечал Овцебык, налегая на букву *у* в слове *дубек*, и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатическая улыбка.

— Ну, а я не убегу.

— Значит, вы сильней черта.

— На этот случай.

— Он о силе черта имеет самое высокое мнение,— сказал Челновский.

— Одна баба, брат, только злей черта.

Василий Петрович напихал махоркою свою трубочку и, выпустив из рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал:

— Задачки стану переписывать.

— Какие задачки? — спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.

— Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли? — пояснил он.

— Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.

— Все равно.

— Два целковых в месяц как раз заработаешь.

— Это мне все едино.

— Ну, а дальше что?

— Кондиции мне отыщи.

— Опять в деревню?

— В деревню лучше.

— И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной,— сказал, обращаясь ко мне, Челновский.— Поставил я его на место, сто двадцать рублей в год платы, на всем готовом, с тем чтобы он приготовил ко второму классу гимназии одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш Овцебык! А он через месяц опять перед нами как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил.

— Ну так что же, если нельзя было иначе,— сказал, нахмурясь, Овцебык и встал со стула.

— А спроси его, отчего нельзя? — сказал Челновский, снова обращаясь ко мне.— Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.

— Еще соври! — пробормотал Овцебык.

— Ну, а как же было?

— Так было, что иначе нельзя было.

Овцебык остановился передо мною и, подумав с минутку, сказал:

— Вовсе особое дело было!

— Садитесь, Василий Петрович,— сказал я, подвигаясь на кровати.

— Нет, не надо. Вовсе особое дело,— начал он снова.— Мальчишке пятнадцатый год, а между тем уж он совсем дворянин, то есть бесстыжая шельма.

— Вот у нас как! — пошутил Челновский.

— Да,— продолжал Овцебык.— Повар у них был Егор, молодой парень. Женился он, взял дьячковскую дочь из нашего духовенного нищенства. Барчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковских; пожаловалась мужу, а муж — барыне. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий — повар опять к барыне, что жене отбою нет от барчука,— опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте,— говорю ему,— если вы еще раз защипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады; взыграла благородная кровь, знаете; полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу: она сидит в креслах, и тоже вся красная; а сын по-французски ей жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает чего. «Полно, говорит, мой друг. Василью Петровичу, верно, что-нибудь показалось; он шутит, и ты

докажешь ему, что он ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она, вместо того чтобы поговорить со мною о сыне, говорит: «Какой вы рыцарь, Василий Петрович! Уж не сердечная ли у вас зазнобушка?» Ну, а я этих вещей терпеть не могу,— сказал Овцебык, энергически махнув рукою.— Не могу я этого слушать,— повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал.

— Ну, вы тут же и оставили этот дом?

— Нет, через полтора месяца.

— И жили в ладу?

— Ну, я ни с кем не говорил.

— А за столом?

— Я с конторщиком обедал.

— Как с конторщиком?

— Просто сказать, на застольной. Да это мне ничего. Меня ведь обидеть нельзя.

— Как нельзя?

— А разумеется, нельзя... ну, да что об этом толковать... Только сижу я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской, слышу, кто-то кричит. Что кричит — не разберу, а голос Аленкин. Барчук, думаю, верно забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит: «стыдно вам», «бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей, так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, как они ходят... просто. А он еще ее поддразнивает: «лезь, говорит, а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

— Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула,— засмеявшись, подсказал Челновский.

— Какая там на его долю выросла.

— Что же вам мать?

— Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

— Сколько же это верст?

— Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле *все равно*, сколько верст ни пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Начался знойный июнь. Василий Петрович являлся к нам аккуратно всякий день часов в двенадцать, снимал свой коленкоровый галстук, подтяжки и, сказав обоим нам «здравствуйте», усаживался за своих классиков. Так проходило время до обеда; после же обеда он закуривал трубочку и, став у окна, обыкновенно спрашивал: «что ж, кондиций?» Прошел месяц с того дня, как Овцебык каждый день повторял этот вопрос Челновскому, и целый месяц всякий раз слышал один и тот же самый неутешительный ответ. Места даже и в виду не было. Василия Петровича, по-видимому, это, однако, нисколько не обходило. Он кушал с прекрасным аппетитом и был постоянно в своем неизменном настроении духа. Только раз или два я видел его раздраженнее обыкновенного; но и эта раздражительность не имела никакого соотношения с положением дел Василия Петровича. Она происходила от двух совершенно сторонних обстоятельств. Раз он встретился с бабой, которая рыдала впричет, и спросил ее своим басом: «Чего, дура, ревешь?» Баба сначала испугалась, а потом рассказала, что у нее изловили сына и завтра ведут его в рекрутский прием. Василий Петрович вспомнил, что делопроизводитель в рекрутском присутствии был его товарищем по семинарии, сходил к нему рано утром и возвратился необыкновенно расстроенным. Ходатайство его оказалось несостоятельным. В другой раз партию малолетних еврейских

рекрутиков перегоняли через город. В ту пору наборы были частые. Василий Петрович, закусив верхнюю губу и подперши фертом руки, стоял под окном и внимательно смотрел на обоз провозимых рекрут. Обывательские подводы медленно тянулись; телеги, прыгая по губернской мостовой из стороны в сторону, качали головки детей, одетых в серые шинели из солдатского сукна. Большие серые шапки, надвигаясь им на глаза, придавали ужасно печальный вид красивым личикам и умным глазенкам, с тоскою и вместе с детским любопытством смотревшим на новый город и на толпы мещанских мальчишек, бежавших вприпрыжку за телегами. Сзади шли две кухарки.

— Тоже, чай, матери где-нибудь есть? — сказала, поровнявшись с нашим окном, одна рослая рябая кухарка.

— Гляди, может и есть,— отвечала другая, запустив локти под рукава и скребя ногтями свои руки.

— И ведь им небось, хоть и жиденята, а жалко их?

— Да ведь что ж, матка, делать!

— Разумеется, а только по материнству-то?

— Да, по материнству,— конечно... своя утроба... А нельзя...

— Конечно.

— Дуры! — крикнул им Василий Петрович.

Женщины остановились, взглянули на него с удивлением, обе враз сказали: «Чего, гладкий пес, лаешься», и пошли дальше.

Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.

— Пойдемте, Василий Петрович, к казармам,— позвал я Богословского.

— Зачем?

— Посмотрим, что там с ними будут делать.

Василий Петрович ничего не отвечал; но когда я взялся за шляпу, он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней сидел один больной мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его раскрасневшемуся лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а может быть тиф.

— Ты болен? — спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непережеванного пирога.

— А?

— Болен ты?

Мальчик замотал головой.

— Ты не болен? — опять спросила дама.

Мальчик снова замотал головой.

— Он не конпран-па — не понимает,— заметил священник и сейчас же сам спросил:— Ты уж крещеный?

Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «Не, не».

— Какой хорошенький!— проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв кверху его миловидное личико с черными глазками.

— Где твоя мать? — неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на ундера и опять на Василия Петровича.

— Мать, мать где? — повторил Овцебык.

— Мама?

— Да, мама, мама?

— Мама...— ребенок махнул рукой вдаль.

— Дома?

Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.

— Памятует еще,— вставил священник и спросил:— Брудеры есть?

Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.

— Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать нихт гут, нейн,— продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.

— Я бродягес,— проговорил мальчик.

— Что-о?

— Бродягес,— яснее высказал ребенок.

— А, бродягес! Это по-русски значит — он бродяга, за бродяжество отдан! читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: оседлый сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет,— говорил священник; а тем временем перекличка окончилась, и ундер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей. Я стал искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и к ночи, и на другой, и на третий день к обеду. Послали мальчика на квартиру Василия Петровича, где он жил с семинаристами,— и там его не бывало. Маленькие семинаристики, с которыми жил Овцебык, давно привыкли не видать Василия Петровича по целым неделям и не обращали никакого внимания на его исчезновение. Челновский тоже нимало не беспокоился.

— Придет,— говорил он,— бродит где-нибудь или спит во ржи, и ничего больше.

Нужно знать, что Василий Петрович, по собственному его выражению, очень любил «логовища», и логовищ этих у него было довольно много. Кровать с голыми досками, стоявшая на его квартире, никогда долго не покоила его тела. Только изредка, заходя домой, он улаживался на нее, делал мальчикам неожиданный экзамен с каким-нибудь курьезным вопросом в конце каждого испытания, и затем кровать эта опять стояла пустою. У нас он спал редко, и обыкновенно или на крыльце, или если с вечера заходил горячий разговор, не доконченный к ночи, то Овцебык ложился на полу между нашими кроватями, не позволяя себе подостлать ничего, кроме реденького половика. Утром рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинского писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под голову да смотрит на небо.

— Вы — жилец могил, Василий Петрович! — говорили ему знакомые Челновского барышни.

— Глупости говорите,— отвечал Василий Петрович.

— Вы упырь,— говорил ему бледный уездный учитель, прослывший за литератора с тех пор, как в губернских ведомостях напечатали его ученую статью.

— Глупости сочиняете,— отвечал Овцебык и ему и опять отправлялся к своим покойникам.

Чудачества Василия Петровича приучили весь небольшой кружок его знакомых не удивляться ни одной его выходке, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновению. Но он должен же был возвратиться. Никто и не сомневался,что он возвратится: вопрос был только в том, куда он скрылся?где он скитается? что его так раздражало и чем он врачует себя от этих раздражений? — это были вопросы, разрешение которых представляло для моей скуки довольно большой интерес.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолунье. После жаркого дня наступила светлая, роскошная ночь.В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищут им напролет целые ночи, а они напролет целые ночи их слушают в своем большом и густом городском саду. Все, бывало, ходят тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учители жарко спорят «о чувствах высокого и прекрасного» или о «дилетантизме в науке». Жарки бывали эти громкие споры. Даже в самые отдаленные куртины старого сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!», «позвольте!», «a priori рассуждать нельзя», «идите индуктивным способом» и т. п. Тогда у нас еще спорили о подобных предметах. Теперь таких споров не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа. Вопросы, занимающие нас теперь, тогда еще не поднимались, и во множестве голов свободно и властно господствовал романтизм, господствовал, не предчувствуя приближения новых направлений, которые заявят свои права на русского человека и которые русский человек, известного развития, примет, как он принимает все, то есть не совсем искренно, но горячо, с аффектациею и с пересолом. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствах высокого и прекрасного, а женщины любили идеальных героев, слушали соловьев, свиставших в густых кустах цветущей сирени, и всласть заслушивались турухтанов, таскавших их под руку по темным аллеям и разрешавших с ними мудрые задачи *святой любви*.

Мы пробыли с Челновским в саду до двенадцати часов, много хорошего слышали и о высоком и о святой любви и с удовольствием улеглись в наши постели. Огонь у нас был уже погашен; но мы еще не спали и лежа сообщали друг другу свои вечерние впечатления. Ночь была во всем своем величии, и соловей под самым окном громко щелкал и заливался своею страстною песнью. Мы уже собирались пожелать друг другу покойной ночи, как вдруг из-за забора, отделявшего от улицы садик, в который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнул: «Ребята!»

— Это — Овцебык,— сказал Челновский, быстро подняв голову с подушки.

Мне показалось, что он ошибся.

— Нет, это Овцебык,— настаивал Челновский и, встав с постели, высунулся в окно.

Все было тихо.

— Ребята! — опять крикнул под забором тот же самый голос.

— Овцебык! — окликнул Челновский.

— Я.

— Иди же.

— Ворота заперты.

— Постучись.

— Зачем будить. Я только хотел узнать, не спите ли?

За забором послышалось несколько тяжелых движений, и вслед за тем Василий Петрович, как куль с землею, упал в садик.

— Экой чертушко! — сказал Челновский, смеясь и смотря, как Василий Петрович поднимался с земли и пробирался к окну сквозь густые кусты акации и сирени.

— Здравствуйте! — весело проговорил Овцебык, показавшись в окне.

Челновский отставил от окна столик с туалетными принадлежностями, и Василий Петрович перенес сначала одну из своих ног, потом сел верхом на подоконник, потом перенес другую ногу и, наконец, совсем явился в комнате.

— Ух! уморился,— проговорил он, снял свое пальто и подал нам руки.

— Сколько верст отмахал? — спросил его Челновский, ложась снова в свою постель.

— В Погодове был.
— У дворника?
— У дворника.
— Есть будешь?
— Если есть что, так буду.
— Побуди мальчика!
— Ну его, сопатого!
— Отчего?
— Пусть спит.
— Да что ты юродствуешь? — Челновский громко крикнул: — Моисей!
— Не буди, говорю тебе: пусть спит.
— Ну, а я не найду, чем тебя накормить.
— И не надо.
— Да ведь ты есть хочешь?
— Не надо, говорю; я вот что, братцы...
— Что, братец?
— Я к вам пришел проститься.

Василий Петрович сел на кровать к Челновскому и взял его дружески за колено.

— Как проститься?
— Не знаешь, как прощаются?
— Куда ж это ты собрался?
— Пойду, братцы, далеко.

Челновский встал и зажег свечу. Василий Петрович сидел, и на лице его выражалось спокойствие и даже счастье.

— Дай-ка мне на тебя посмотреть,— сказал Челновский.

— Посмотри, посмотри,— отвечал Овцебык, улыбаясь своей нескладной улыбкой.

— Что же твой дворник делает?
— Сено и овес продает.
— Потолковали с ним про неправды бессудные, про обиды безмерные?
— Потолковали.
— Что ж, это он, что ли, тебе такой поход насоветовал?
— Нет, я сам надумал.
— В какие ж ты направишься палестины?
— В пермские.
— В пермские?
— Да, чего удивился?
— Что ты забыл там?

Василий Петрович встал, прошелся по комнате, закрутил свои виски и проговорил про себя: «Это уж мое дело».

— Эй, Вася, дуришь ты,— сказал Челновский.

Овцебык молчал, и мы молчали.

Это было тяжелое молчание. И я и Челновский поняли, что перед нами стоит агитатор — агитатор искренний и бесстрашный. И он понял, что его понимают, и вдруг вскрикнул:

— Что ж мне делать! Сердце мое не терпит этой цивилизации, этой нобилизации, этой стерворизации!.. — И он крепко ударил себя кулаком в грудь и тяжело опустился на кресло.

— Да что ж ты поделаешь?

— О, когда б я знал, что с этим можно сделать! О, когда б это знать!.. Я на ощупь иду.

Все замолчали.

— Можно курить? — спросил Богословский после продолжительной паузы.

— Кури, пожалуйста.
— Я здесь с вами на полу прилягу — это будет моя вечеря.
— И отлично.

— Поговорим,— представь... молчу-молчу, и вдруг мне приходит охота говорить.

— Ты чем-нибудь расстроился.

— Ребятенок мне жалко,— сказал он и сплюнул через губу.

— Каких?

— Ну, моих, кутейников.

— Чего ж тебе их жаль?

— Изгадятся они без меня.

— Ты сам их гадишь.

— Ври.

— Конечно: их учат на одно, а ты их переучиваешь на другое.

— Ну так что ж?

— Ничего и не будет.

Вышла пауза.

— А я вот что скажу тебе,— проговорил Челновский,— женился бы ты, взял бы к себе старуху мать да был бы добрым попом — отличное бы дело сделал.

— Ты мне этого не говори! Не говори ты мне этого!

— Бог с тобой,— отвечал Челновский, махнув рукой.

Василий Петрович опять заходил по комнате и, остановясь перед окном, продекламировал:

Стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.

— И стихи выучил,— сказал Челновский, улыбаясь и показывая мне на Василья Петровича.

— Умные только,— отвечал тот, не отходя от окна.

— Таких умных стихов немало есть, Василий Петрович,— сказал я.

— Всё — дребедень.

— А женщины — всё дрянь?

— Дрянь.

— А Лидочка?

— Что же Лидочка? — спросил Василий Петрович, когда ему напомнили имя очень милой и необыкновенно несчастной девушки — единственного женского существа в городе, которое оказывало Василью Петровичу всяческое внимание.

— Вам не будет о ней скучно?

— Что это вы говорите? — спросил Овцебык, расширив свои глаза и пристально уставив их на меня.

— Так говорю. Она — хорошая девушка.

— Ну так что ж, что хорошая?

Василий Петрович помолчал, выколотил о подоконник свою трубку и задумался.

— Паршивые! — проговорил он, закуривая вторую трубку.

Челновский и я рассмеялись.

— Чего вас разбирает? — спросил Василий Петрович.

— Это дамы, что ли, у тебя паршивые?

— Дамы! Не дамы, а жиды.

— К чему ж ты тут жидов вспомнил?

— А черт их знает, чего они помнятся: у меня мать, да и у них у каждого есть по матери, и все знают,— отозвался Василий Петрович и, задув свечку, с трубкою в зубах повалился на половой коврик.

— Это ты еще не забыл?

— Я, брат, памятлив.

Василий Петрович тяжело вздохнул.

— Подохнут, сопатые, доро́гой,— сказал он, помолчав.

— Пожалуй.

— И лучше.

— Экое у него и сострадание-то мудреное,— сказал Челновский.

— Нет, это у вас все мудреное. У меня, брат, все простое, мужицкое. Я ваших чох-мох не разумею. У вас все такое в голове, чтоб и овцы были целы и волки сыты, а этого нельзя. Этак не бывает.

— Как же по-твоему будет хорошо?

— А хорошо будет, как бог даст.

— Бог сам ничего в людских делах не делает.

— Понятно, что всё люди будут делать.

— Когда они станут людьми,— сказал Челновский.

— Эх вы, умники! Посмотришь на вас, будто и в самом деле вы что знаете, а ничего вы не знаете,— энергически воскликнул Василий Петрович.— Дальше своего дворянского носа вам ничего не видать, да и не увидать. Вы бы в моей шкуре пожили с людьми да с мое походили, так и узнали бы, что нечего нюни-то нюнить. Ишь ты, черт этакой! и у него тоже дворянские привычки,— переломил неожиданно Овцебык и встал.

— У кого это дворянские привычки?

— У собаки, у Боксы. У кого же еще?

— Какие ж это у ней дворянские привычки? — спросил Челновский.

— Дверей не затворяет.

Мы тут только заметили, что через комнату действительно тянул сквозной ветер.

Василий Петрович встал, затворил дверь из сеней и запер ее на крючок.

— Спасибо,— сказал ему Челновский, когда он возвратился и снова растянулся на коврике.

Василий Петрович ничего не отвечал, набил еще трубочку и, закурив ее, неожиданно спросил:

— Что в книжках брешут?

— В которых?

— Ну, в ваших журналах?

— О разных вещах пишут, всего не расскажешь.

— О прогрессе всё небось?

— И о прогрессе.

— А о народе?

— И о народе.

— О, горе сим мытарям и фарисеям! — вздохнув, произнес Овцебык.— Болты болтают, а сами ничего не знают.

— Отчего ты, Василий Петрович, думаешь, что уж кроме тебя никто ничего не знает о народе? Ведь это, брат, самолюбие в тебе говорит.

— Нет, не самолюбие. А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Всё на язычничестве выезжают, а на дело — никого. Нет, ты дело делай, а не бреши. А то любовь-то за обедом разгорается. Повести пишут! рассказы! — прибавил он, помолчав,— эх, язычники! фарисеи проклятые! А сами небось не тронутся. Толокном-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются,— прибавил он, помолчав немного.

— Отчего же это хорошо?

— Да все оттого ж, говорю, что толокном подавятся, доведется их в загорбок бить, чтобы прокашлянули, а они заголосят: «бьют нас!» Таким разве поверят! А ты,— продолжал он, сев на своей постели,— надень эту же замашную рубашку, да чтобы она тебе бока не мусолила; ешь тюрю, да не морщися, да не ленись свинью во двор загнать: вот тогда тебе и поверят. Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй. Людие мой, людие мои! что бы я не сотворил вам?.. Людие мой, людие мои! что бы я вам не отдал? — Василий Петрович задумался, потом поднялся во весь свой рост и, протянув руки ко мне и к Челновскому, сказал:— Ребята! смутные дни настают, смутные. Часу медлить нельзя, а то придут лжепророки, и я голос их слышу проклятый и ненавистный. Во имя народа будут уловлять и губить вас. Не смущайтесь сими зовущими, и если силы воловьей в хребтах своих не чувствуете, ярма на себя не вскладывайте. Не

в числе людей дело. Пятью пальцами блохи не изловишь, а одним можно. Я от вас, как и от других, большого проку не жду. Это — не ваша вина, вы жидки на густое дело. Но прошу вас, заповедь одну мою братскую соблюдите: не брешите вы никогда на ветер! Эй, право, вред в этом великий есть! Эй, вред! Ног не подставляйте, и будет с вас, а нам, вот таким Овцебыкам,— сказал он, ударив себя в грудь,— нам этого мало. На нас кара небесная падет, коли этим удовольствуемся. «Мы свои своим, а свои нас познают».

Долго и много говорил Василий Петрович. Он никогда так много не говорил и так ясно не высказывался. На небе уже брезжилась зорька, и в комнате заметно серело, а Василий Петрович все еще не умолк. Коренастая фигура его делала энергические движения, и сквозь прорехи старой ситцевой рубашки было заметно, как высоко поднималась его мохнатая грудь.

Мы заснули в четыре часа, а проснулись в девять. Овцебыка уже не было, и с тех пор я не видал его ровно три года. Чудак в то же утро ушел в страны, рекомендованные ему его приятелем, содержателем постоялого двора в Погодове.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В нашей губернии есть довольно много монастырей, которые поставлены в лесах и называются «пу́стынями». Моя бабушка была очень религиозная старушка. Женщина старого века, она питала неодолимую страсть к путешествиям по этим пустыням. Она на память знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей, но знала все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там сказывали, знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой указатель к святыням нашего края. В монастырях тоже все знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не делала никаких очень ценных приношений, кроме воздухов, вышиваньем которых занималась целую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путешествовать. В гостиницах П—ской и Л—ской пустыни к Петрову дню и успению всегда оставляли для нее две комнаты. Мели их, чистили и никому не отдавали даже под самый день праздника.

— Александра Васильевна приедет,— говорил всем отец казначей,— не могу отдать ее комнат.

И действительно, бабушка моя приезжала.

Раз как-то она совсем запоздала, а народу наехало на праздник в пустынь множество. Ночью, перед заутреней, приехал в Л—скую пустынь какой-то генерал и требовал себе лучшего номера в гостинице. Отец казначей был в затруднительном положении. Первый раз моя бабушка пропускала престольный праздник пустынного храма. «Умерла, видно, старуха»,— подумал он, но, взглянув на свои луковицеобразные часы и увидав, что до заутрени еще остается два часа, он все-таки не отдал ее комнат генералу и спокойно отправился в келью читать свою «полунощницу». Прогудел три раза большой монастырский колокол; в церкви замелькала горящая свечечка, с которою служка суетился перед иконостасом, зажигая ставники. Народ, позевывая и крестя рты, толпами повалил в церковь, и моя милая старушка, в чистом диканьком платьице и в белом как снег чепце московского фасона двенадцатого года, входила уже в северные двери, набожно крестясь и шепча: «За утро услыши глас мой, царю мой и боже мой!» Когда иеродиакон возгласил свое торжественное «восстаните!», бабушка уже была в темном уголке и клала земные поклоны за души усопших. Отец казначей, подпуская богомольцев ко кресту после ранней обедни, нимало не удивился, увидев старуху, и, подав ей из-под рясы просфору, очень спокойно сказал: «Здравствуй, мать Александра!» Бабушку в пустынях только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, как «мать Александра». Богомольная старушка наша, однако, никогда не была хан-

жою и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои пятьдесят лет, она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зеленое ситцевое платьице, высокий тюлевый чепчик с дикими лентами и ридикюль с вышитой собачкой — все было свежо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ездила она в пустыни в деревенской безрессорной кибитке на паре старых рыжих кобылок очень хорошей породы. Одну из них (мать) звали Щеголихой, а другую (дочь) — Нежданкою. Последняя получила свое название оттого, что явилась на свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, резвы и добронравны, и путешествие на них, с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем, составляло для меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение.

Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л—скую пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного. Старушка умела необыкновенно опоэтизировывать свои путешествия. Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоялый двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которым можно бегать,— все это пленяло меня и имело для меня обаятельную прелесть. Бабушка примется в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело, как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора, когда при съезде с горы к Орлику у хлоповского кучера лопнули вожжи, и как тут один он, Илья Васильевич, своею находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски. Феакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича. В самых же пустынях у меня были приятели. Меня очень любили два старичка: игумен П—ской пустыни и отец казначей Л—ской пустыни. Первый — высокий бледный старик с добрым, но строгим лицом — не пользовался, однако, моею привязанностью; но зато отца казначея я любил от всего моего маленького сердца. Это было добродушнейшее создание в подлунном мире, о котором, мимоходом сказать, он ничего не ведал, и в этом-то его неведении, как мне теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старика к человечеству.

Но кроме этих, так сказать, аристократических знакомств с пустыноначальниками, у меня были демократические связи с пустынными плебеями: я очень любил послушников — этот странный класс, в котором обыкновенно преобладают две страсти: леность и самолюбие, но иногда встречается запас веселой беспечности и чисто русского равнодушия к самому себе.

— Как вы почувствовали призвание поступить в монастырь? — спросишь, бывало, кого-нибудь из послушников.

— Нет,— отвечает он,— призвания не было, а я так поступил.

— А вы примете монашество?

— Беспременно.

Выйти из монастыря послушнику кажется безусловно невозможным, хотя он и знает, что ему никто в этом препятствовать не станет. Я в детстве очень любил этот народ, веселый, шаловливый, отважный и добродушнолицемерный. Пока послушник послушником или «слимаком», на него никто не обращает внимания, и поэтому никто и не знает его натуры; а с тем как послушник надевает рясу и клобук, он резко изменяет и свой характер и свои отношения к ближним. Пока же он послушник, он — существо необыкновен-

но общежительное. Какие гомерические кулачные бои я помню в монастырских хлебопекарнях. Какие песни удалые пелись вполголоса на стенах, когда пять или шесть рослых красивых послушников медленно прогуливались на них и зорко поглядывали за речку, за которой звонкими, взманывающими женскими голосами пелась другая песня — песня, в которой звучали крылатые зовы: «киньтеся, бросьтеся, во зелены гаи бросьтеся». И я помню, как, бывало, мятутся слимаки, слушая эти песни, и, не утерпев, бросаются в зеленые гаи. О! я все это очень хорошо помню. Не забыл я ни одного урока, ни в пении кантат, сочиненных на самые оригинальные темы, ни в гимнастике, для упражнения в которой, впрочем, высокие монастырские стены были не совсем удобны, ни в умении молчать и смеяться, сохраняя на лице серьезное выражение. Более же всего я любил рыбную ловлю на монастырском озере. Мои приятели послушники тоже считали праздником поездку на это озеро. Рыбная ловля в их однообразной жизни была единственным занятием, при котором они могли хоть немножко разгуляться и попробовать крепость своих молодых мышц. И в самом деле, в этой рыбной ловле было очень много поэтического. От монастыря до озера было восемь или десять верст, которые надо было пройти пешком по очень густому чернолеску. Отправлялись на ловлю обыкновенно перед вечерней. На телеге, запряженной толстою и очень старою монастырскою лошадью, лежали невод, несколько ведер, бочка для рыбы и багры; но на телеге никто не сидел. Вожжи были взвязаны у тележной грядки, и если лошадь сбивалась с дороги, то послушник, исправлявший должность кучера, только подходил и дергал ее за вожжу. Но, впрочем, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что от монастыря до озера по лесу была всего одна дорожка, и то такая колеистая, что коню никогда не приходило охоты вытаскивать колес из глубоких колей. С нами для надзора посылали всегда старца Игнатия, глухого и подслеповатого старичка, принимавшего когда-то в своей келье императора Александра I и вечно забывавшего, что Александр I уже не царствует. Отец Игнатий ездил на крошечной тележке и сам правил другою толстою лошадью. Я собственно всегда имел право ехать с отцом Игнатием, которому меня особо поручала моя бабушка, и отец Игнатий даже позволял мне править толстою лошадью, запряженною в короткие оглобли его тележки; но я обыкновенно предпочитал идти с послушниками. А они никогда не шли по дороге. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, в лес, сначала запоем: «Как шел по пути молодой монах, а навстречу ему сам Иисус Христос», а там кто-нибудь заведет новую песню, и поем их одна за другую. Беззаботное, милое время! Благословенье тебе, благословенье и вам, дающим мне эти воспоминания. К ночи только, бывало, дойдем мы так к озеру. Тут на берегу стояла хатка, в которой жили два старичка, рясофорные послушники: отец Сергий и отец Вавила. Оба они были «некнижные», то есть грамоте не умели, и исполняли «сторожевое послушание» на монастырском озере. Отец Сергий был человек необыкновенно искусный в рукоделиях. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый крест его работы. Он также плел сети, кубари, лукошки, корзины и разные такие вещицы. Была у него очень искусно вырезанная из дерева статуэтка какого-то святого; но он ее показал мне всего только один раз, и то с тем, чтобы я никому не говорил. Отец Вавила, напротив, ничего не работал. Он был поэт. «Любил свободу, лень, покой». Он готов был по целым часам оставаться над озером в созерцательном положении и наблюдать, как летают дикие утки, как ходит осанистая цапля, таская по временам из воды лягушек, выпросивших ее себе в цари у Зевеса. Тотчас перед хаткою двух «некнижных» иноков начиналась широкая песчаная полоса, а за нею озеро. В хате было очень чисто: стояли две иконы на полочке и две тяжелые деревянные кровати, выкрашенные зеленою масляною краскою, стол, покрытый суровой ширинкой, и два стула, а по сторонам обыкновенные лавки, как в крестьянской избе. В угле был маленький шкафик с чайным прибором, а под шкафиком на особой скамеечке стоял самовар, вычищенный, как паровик на королевской яхте. Все было очень чисто и уют-

но. В келье «некнижных» отцов, кроме их самих, не жил никто, кроме желто-бурого кота, прозванного «Капитаном» и замечательного только тем, что, нося мужское имя и будучи очень долгое время почитаем настоящим мужчиною, он вдруг, к величайшему скандалу, окотился и с тех пор не переставал размножать свое потомство как кошка.

Из всего нашего обоза в хатке с отцами «некнижными» укладывался спать, бывало, только один отец Игнатий. Я обыкновенно отпрашивался от этой чести и спал с послушниками на открытом воздухе у хатки. Да мы, впрочем, почти и не спали. Пока, бывало, разведем огонь, вскипятим котелок воды, засыпем жидкую кашицу, бросив туда несколько сухих карасей, пока поедим все это из большой деревянной чашки — уж и полночь. А тут, только ляжем, сейчас заводится сказка,и непременно самая страшная или многогрешная. От сказок переходили к былям, к которым каждый рассказчик, как водится, всегда и «небылиц без счета привирал». Так и ночь зачастую проходила, прежде чем кто-нибудь собирался заснуть. Рассказы обыкновенно имели предметом странников и разбойников. Особенно много таких рассказов знал Тимофей Невструев, пожилой послушник, слывший у нас за непобедимого силача и всегда собиравшийся на войну за освобождение христиан, с тем чтобы всех их «под себя подбить». Он исходил, кажется, всю Русь, был даже в Палестине, в Греции и высмотрел, что всех их «подбить можно». Уляжемся, бывало, на веретья, огонек еще курится, толстые лошади, привязанные у хрептуга, пофыркивают над овсом, а кто-нибудь уж и «заводит историю». Я теперь перезабыл множество этих историй и помню только одну последнюю ночь, которую я благодаря снисходительности моей бабушки спал с послушниками на берегу П—ского озера. Тимофей Невструев был не совсем в духе — в этот день он стоял посреди церкви на поклонах за то, что перелезал ночью через ограду в настоятельском саде,— и начал рассказывать Емельян Высоцкий, молодой человек лет восемнадцати. Он был родом из Курляндии, брошен ребенком в нашей губернии и сделался послушником. Мать его была комедиантка, и он о ней ничего больше не знал; а вырос он у какой-то сердобольной купчихи, пристроившей его девятилетним мальчиком в монастырь на послушание. Разговор начался с того, что кто-то из послушников, после одной рассказанной сказки, вздохнул глубоко и спросил:

— Отчего это, братцы мои, нет теперь хороших разбойников?

Никто ничего не отвечал, и меня начинал мучить этот вопрос, которого я давно никак не мог разрешить себе. Я тогда очень любил разбойников и рисовал их на своих тетрадях в плащах и с красными перьями в шляпах.

— Есть и теперь разбойники,— отозвался тоненьким голоском послушник из курляндцев.

— Ну, говори, какие есть теперь разбойники? — спросил Невструев и закрылся под самое горло своим коленкоровым халатом.

— А вот, как я жил еще у Пузанихи,— начал курляндец,— так пошли мы один раз с матерью Натальею, что из Боровска, да с Аленою, тоже странницею из-под Чернигова, на богомолье к Николаю-угоднику амченскому [1].

— Это какая Наталья? Белая-то, высокая? Она, что ли? — прервал Невструев.

— Она,— ответил торопливо рассказчик и продолжал далее: — А тут на дороге есть село Отрада. Двадцать пять верст от Орла. Пришли мы в это село так под вечер. Попросились у мужиков ночевать — не пустили; ну, мы пошли на постоялый. На постоялом по грошу всего берут, да теснота была страшная! Всё — трепачи. Человек, может, с сорок. Питра у них тут зашла, сквернословие такое, что уходи да и только. Утром, как возбудила меня мать Наталья, трепачей уж не было. Только трое осталось, и то увязывали свои сумочки к трёплам. Увязали и мы свои сумочки, заплатили три гроша за ночлег и тоже пошли. Вышли из деревни, смотрим — и те три трепача за

[1] То есть «мценскому», от г. Мценска, где есть резная икона св. Николая. (*Примеч. автора.*)

нами. Ну, за нами и за нами. Ничего нам это невдомек. Только мать Наталья этак проговорила: «Что, дискать, за диво! Вчера, говорит, эти самые трепачи говорили, ужинавши, что в Орел идут, а нынче, гляди, идут за нами к Амченску». Идем дальше — трепачи за нами всё издали. А тут лесок этакой на дороге вышел. Как стали мы подходить к этому лесу, трепачи нас стали догонять. Мы скорей, и они скорей. «Чего, говорят, бежите! не убежите ведь», да вдвоем хвать мать Наталью за руки. Та как вскрикнет не своим голосом, а мы с матерью Аленой ударились бежать. Мы бежим, а они вслед нам грохочут: «держи их, держи!» И они орут, и мать Наталья кричит. «Верно, ее зарезали», думаем, да сами еще пуще. Тетка Алена так и ушла из глаз, а у меня ноги подкосились. Вижу, нет уж моей моченьки, взял да и упал под куст. Что, думаю, уж определено богом, то и будет. Лежу и чуть дух перевожу. Жду, вот сейчас наскочут! ан никого нет. Только с матерью Натальей, слышно, всё еще борются. Баба здоровая, не могут ее прикончить. В лесу-то тишь, все по зорьке мне слышно. Нет-нет, да и опять вскрикнет мать Наталья. Ну, думаю, упокой господи ее душеньку. А сам уж не знаю, вставать мне да бежать или уж тут и ждать какого-нибудь доброго человека? Аж слышу, кто-то будто подходит. Лежу я ни жив ни мертв да смотрю из куста. Что ж, братцы мои, думаете, вижу? Подходит мать Наталья! Черный платок у нее с головы свалился; косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана, и сумку в руках несет, а сама так и натыкается. Кликну ее, думаю себе; да и крикнул этак не во весь голос. Она остановилась и глядит на кусты, а я опять ее кликнул. «Кто это?» — говорит. Я выскочил, да к ней, а она так и ахнула. Озираюсь кругом — никого нет ни сзади, ни спереди. «Гонятся? — спрашиваю ее,— побежим скорей!» А она стоит как остолбенелая, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцарапаны, а аж по самые локти, и лоб тоже исцарапан словно как ногтями. «Пойдем»,— говорю ей опять. «Душили тебя?» — спрашиваю. «Душили, говорил, пойдем скорей», и пошли. «Как же ты от них отбилась?» А она ничего больше не сказала до самой деревни, где мать Алену встретили.

— Ну, а тут что рассказывала? — спросил Невструев, хранивший так же, как и другие, во время всего рассказа мертвое молчание.

— Да и тут только и говорила, что гонялись всё за ней, а она все молитву творила да песком им в глаза бросала.

— И ничего у нее не взяли? — спросил кто-то.

— Ничего. Башмак только с ноги да ладанку с шеи потеряла. Всё они у нее денег за пазухой, сказывала, искали.

— Ну да! Это какие разбойники! им все и дело за пазухой только,— растолковал Невструев и вслед за тем начал рассказывать про лучших разбойников, которые напугали его в Обоянском уезде.— Вот это,— говорит,— были настоящие разбойники.

Становилось нестерпимо интересно, и все обратились в слух о настоящих хороших разбойниках.

Невструев начал:

— Шел,— говорит,— я из Коренной один раз. По обещанию от зуб ходил. Денег при мне было рубля с два да сумка с рубахами. Сошелся с двумя вроде... мещан на дороге. «Куда, спрашивают, идешь?» — «Туда-то», говорю. «И мы, говорят, туда».— «Пойдем вместе».— «Ну, пойдем». Пошли. Пришли в одну деревню; уж смеркалось. «Давайте,— говорю им,— ночевать здесь»; а они говорят: «Тут скверно; пойдем еще с версту: там двор будет важный; там, говорят, нам всякое удовольствие предоставят». — «Мне, говорю, никаких ваших удовольствий не надо». — «Пойдем, говорят, недалеко ведь!» Ну, пошел. Точно, этак верст через пяток стоит в лесу двор не маленький, словно как постоялый. В двух окнах светло виднеется. Один мещанин постучал в кольцо, собаки в сенях залаяли, а никто не отпирает. Опять постучал; слышим, кто-то вышел из избы и окликнул нас; голос, можно распознать, женский. «Кто такие будете?» спросила, а ме-

щанин говорит: «Свои».— «Кто свои?» — «Кто, говорит, с борка, кто с сосенки». Двери отперли. В сенях темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избу. В избе мужчин никого не было, только баба та, что нам отворяла, да другая, корявая такая, сидела, волну щипала. «Ну, здорово, атаманиха!» — говорит мещанин бабе. «Здорово»,— говорит баба и вдруг стала на меня смотреть. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годов этак тридцати будет, да белая, шельма, румяная, и глаза повелительные. «Где, говорит, вы этого молодца взяли?» Это на меня-то, значит. «Опосля, говорят, расскажем, а теперь дай спотыкаловки да едаловки, а то зубаревы девки от работы отвыкли». Поставили на стол солонины, хрену, водки бутылку и пирогов. «Ешь!» — говорят мне мещане. «Нет, говорю, я мяса не ем».— «Ну, бери пирог с творогом». Я взял. «Пей, говорят, водку». Выпил я рюмку. «Пей другую»; я выпил и другую. «Хочешь, говорят, жить с нами?» — «Как, спрашиваю, с вами?» — «А вот, как видишь: нам вдвоем неспоручно,— ходи с нами и пей, ешь... только атаманьшу слушай... Хочешь?» Плохо, думаю себе, дело! В недоброе я попал место. «Нет, говорю, ребята; мне с вами не жить». — «Отчего, говорят, не жить?» А сами всё тянут водку и ко мне пристают: пей да пей. «Умеешь,— спрашивает один,— драться?» — «Не учился», говорю. «А не учился, так вот тебе наука!» — да с этим словом как свистнет меня по уху. Хозяйка ни слова, а баба знай волну щипет. «За что же это, говорю, братцы?» — «А за то, говорит, не ходи по лавке, не гляди в окно», да опять с этим словом в другое ухо ляп. Ну, думаю, пропадать все равно, так уж не даром, развернулся сам да как щелкану его по затылку. Он так под стол и соскочил. Поднимается из-под стола, аж покряхтывает. Отмахнул рукой волосы да прямо за бутылку. «Хошь, говорит, тут твой и конец!» Все, вижу, молчат, и товарищ его молчит. «Нет, говорю, не хочу я конца».— «А не хочешь, так пей водку».— «И водки пить не стану».— «Пей! Игумен не увидит, на поклоны не поставит».— «Не хочу я водки».— «Ну, а не хочешь, так черт с тобой; заплати за то, что́ выпил, и ступай спать».— «Сколько, говорю, за водку с меня?» — «Все, что есть; у нас, брат, дорогая, прозывается «горькая русская доля», с водой да с слезой, с перцем да с собачьим сердцем». Я было в шутку повернуть хотел, так нет; только что я достал кошелек, а мещанин цап его, да и швырнул за перегородку. «Ну, теперь, говорит, иди спать, чернец».— «Куда ж, мол, я пойду?» — «А вот тебя глухая тетеря проводит. Проведи его!» — закричал он бабе, что́ волну щипала. Пошел я за бабой в сени, из сеней на двор. Ночь такая хорошая, вот как теперь, на небе стожары горят, и по лесу ветерок, как белка, бегает. Так мне жалко стало и жизни-то своей и монастыря тихого, а баба отворила мне подклеть: «иди, говорит, болезный», да и ушла. Словно как ей жаль меня было. Вошел я, щупаю руками-то, что-то нагромощено, а что — не разберешь никак. Нащупал столб. Думаю: все равно пропадать, и полез вверх. Добрался до матицы да к застрехе и ну решетины раздвигать. Руки все ободрал, наконец решетин пять раздвинул. Стал копать солому — звезды показались. Я еще работать; продрал дыру; выкинул в нее сперва свой мешочек, а там перекрестился, да и сам кувыркнул. И бежал я, братцы мои, так резво, как и сроду не бегал.

Всё, бывало, больше в этом роде рассказывают, но эти рассказы казались тогда так интересными, что заслушаешься их и едва-едва сомкнешь глаза перед зарею. А тут отец Игнатий уж и поталкивает палочкой: «Вставайте! На озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники, позевают, бедные: сон их клонит. Возьмут невод, разуются, снимут порты и пойдут к лодкам. А неуклюжие, черные, как гагары, монастырские лодки всегда были привязаны к кольям саженях в пятнадцати от берега, потому что с берега далеко шла песчаная отмель, а черные лодки сидели очень глубоко в воде и не могли приставать к берегу. Меня Невструев всю мель до лодок переносил, бывало, на руках. Помню хорошо я эти переходы, эти добрые, беззаботные лица. Будто вижу теперь, как послушники, бывало, со сна идут в холодную воду. Подпрыгивают, посмеиваются и, дрожа от холода, тащат тяже-

лый невод, нагинаясь к воде и освежая ею свои липнущие от сна глаза. Помню редкий пар, поднимающийся с воды, золотистых карасей и скользких налимов; помню утомительный полдень, когда все мы как убитые падали на траву, отказываясь от янтарной ухи, приготовленной отцом Сергием «некнижным». Но еще более помню недовольное и как бы злое выражение всех лиц, когда запрягали толстых лошадей, чтоб везти в монастырь наловленных карасей и нашего командира, отца Игнатия, за которым слимаки должны шествовать в свои монастырские стены.

И в этих-то памятных мне с детства местах пришлось мне еще раз совершенно неожиданно встретиться с убежавшим из Курска Овцебыком.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Много воды уплыло с того времени, к которому относятся мои воспоминания, может быть весьма мало касающиеся суровой доли Овцебыка. Я подрастал и узнавал горе жизни; бабушка скончалась; Илья Васильевич и Щеголиха с Нежданкою побывшились; веселые слимаки ходили солидными иноками; меня поучили в гимназии, потом отвезли за шестьсот верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, прочитал коечто из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим ларам и пенатам. Тут-то я свел описанное мною знакомство с Василием Петровичем. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно печально, и я снова очутился под родными липами. Дома и в это время не произошло никаких перемен ни в нравах, ни во взглядах, ни в направлениях. Новости были только естественные: матушка постарела и пополнела, четырнадцатилетняя сестра прямо с пансионерской скамьи сошла в безвременную могилу, да выросло несколько новых липок, посаженных ее детскою рукою. «Неужто же,— думал я,— ничто не переменилось в то время когда я пережил так много: верил в бога, отвергал его и паки находил его; любил мою родину, и распинался с нею, и был с распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку — всему поверку — себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия. Прежде всего я хотел видеть мои любимые пу́стыни, и в одно свежее утро я поехал на бегунцах в П — скую пустынь, до которой от нас всего двадцать с чем-то верст. Та же дорога, те же поля, и галки так же прячутся в густых озимях, и мужики так же кланяются ниже пояса, и бабы так же ищутся, лежа перед порогом. Все по-старому. Вот и знакомые монастырские ворота — тут новый привратник, старый — уж монахом. Но отец казначей еще жив. Больной старик уже доживал девятый десяток лет. В наших монастырях есть много примеров редкого долголетия. Отец казначей, однако, уже не исправлял своей должности и жил «на покое», хотя по-прежнему назывался не иначе, как «отцом казначеем». Когда меня ввели к нему, он лежал на постеле и, не узнав меня, засуетился и спросил келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвечая, подошел к старику и взял его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте! — бормотал отец казначей,— кто вы такой будете?» Я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и сказал свое имя. «Ах ты, дружочек, дружочек!.. ну что ж, ну, здравствуй!— заговорил старик, снова засуетясь на своей кровати.— Кирилл! самоварчик раздуй скорей!— сказал он келейнику.— А я, раб, уж не хожу. Вот больше года ноги всё пухнут». У отца казначея была водяная, которою очень часто оканчивают монахи, проводящие жизнь в долгом церковном стоянии и в других занятиях, располагающих к этой болезни.

— Зови же Василья Петровича,— сказал казначей келейщику, когда тот поставил самовар и чашки на столик к постели.— Тут у меня один бедак живет,— добавил старик, обращаясь ко мне.

Келейник вышел, и через четверть часа по плитяному полу сеней послышались шаги и какое-то мычанье. Отворилась дверь, и моим удивленным

глазам предстал Овцебык. Он был одет в короткую свитку из великорусского крестьянского сукна, пестрядинные порты и высокие юхтовые, довольно ветхие сапоги. Только на голове у него была высокая черная шапочка, какие носят монастырские послушники. Наружность Овцебыка так мало изменилась, что, несмотря на довольно странный наряд, я узнал его с первого взгляда.

— Василий Петрович! Вы ли это? — сказал я, идя навстречу моему приятелю, и в то же время подумал: «О, кто же лучше, как ты, скажет мне, как пронеслись над здешними головами годы сурового опыта?»

Овцебык мне как будто обрадовался, а отец казначей удивлялся, видя в нас двух старых знакомых.

— Ну, вот и прекрасно, прекрасно,— лепетал он.— Наливай же, Вася, чай.

— Вы ведь знаете, что я не умею наливать чаю,— отвечал Овцебык.

— Правда, правда. Наливай ты, гостёк.

Я стал наливать чашки.

— Давно вы здесь, Василий Петрович?— спросил я, подав Овцебыку чашку.

Он откусил сахару, стрягнул кусочек и, хлебнув раза три, отвечал:

— Месяцев девять будет.

— Куда ж вы теперь?

— Покуда никуда.

— А можно узнать, откуда?— спросил я, невольно улыбаясь при воспоминании, как Овцебык отвечал на подобные вопросы.

— Можно.

— Из Перми?

— Нет.

— Откуда же?

Овцебык поставил выпитую чашку и проговорил:

— Был иже везде и нигде.

— Челновского не видали ли?

— Нет. Я там не был.

— Мать ваша жива ли?

— В богадельне померла.

— Одна?

— Да ведь с кем же умирают-то?

— Давно?

— С год, говорят.

— Погуляйте, ребятки, а я сосну до вечерни,— сказал отец казначей, которому уж тяжело было всякое напряжение.

— Нет, я на озеро хочу проехать,— отвечал я.

— А! ну поезжай, поезжай с богом и Васю свези: он тебе почудит дорогой.

— Поедемте, Василий Петрович.

Овцебык почесался, взял свой колпачок и отвечал:

— Пожалуй.

Мы простились до завтра с отцом казначеем и вышли. На житном дворе мы сами запрягли мою лошадку и поехали. Василий Петрович сел ко мне задом, спина со спиною, говоря, что иначе он не может ехать, потому что ему воздуха мало за чужой головой. Дорогой он вовсе не чудил. Напротив, он был очень неразговорчив и только все меня расспрашивал: видал ли я умных людей в Петербурге? и про что они думают? или, перестав расспрашивать, начинал свистать то соловьем, то иволгой.

В этом прошла вся дорога.

У давно знакомой хатки нас встретил низенький рыжий послушник, заступивший место отца Сергия, который года три как умер, завещав свои инструменты и приготовленный материал беззаботному отцу Вавиле. Отца

Вавилы не было дома: он, по обыкновению, гулял над озером и смотрел на цапель, глотающих покорных лягушек. Новый товарищ отца Вавилы, отец Прохор, обрадовался нам, точно деревенская барышня звону колокольчика. Сам он бросался отпрягать нашу лошадь, сам раздувал самовар и все уверял, что «отец Вавило вот ту минуту вернутся». Мы с Овцебыком вняли этим уверениям, уселись на завалинке лицом к озеру и оба приятно молчали. Никому не хотелось говорить.

Солнце уже совсем село за высокие деревья, окружающие густою чащею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. В воздухе было тихо, но душно.

— Гроза будет ночью,— сказал отец Прохор, таща на себе в сени подушку с моих беговых дрожек.

— Зачем вы беспокоитесь?— отвечал я,— может быть, еще и не будет.

Отец Прохор застенчиво улыбался и проговорил:

— Ничего-с! Какое беспокойство!

— Я и лошадку тоже заведу в сени,—начал он, выйдя снова из хатки.

— Зачем, отец Прохор?

— Гроза большая будет; испужается, оторвется еще. Нет-с, я ее лучше в сени. Ей там хорошо будет.

Отец Прохор отвязал лошадь и, войдя в сени, тянул ее за повод, приговаривая: «Иди, матушка! иди, дурашка! Чего боишься?»

— Вот так-то лучше,— сказал он, уставив лошадь в уголку сеней и насыпав ей овса в старое решето.— Чтой-то отца Вавилы долго нет, право!— проговорил он, зайдя за угол хатки.— А вот уж и замолаживает,— добавил он, показывая рукою на серовато-красное облачко.

На дворе совсем смеркалось.

— Я пойду посмотрю отца Вавилу,— сказал Овцебык и, закрутив свои косицы, зашагал в лес.

— Не ходите: вы с ним разойдетесь.

— Небось!— и с этим словом он ушел.

Отец Прохор взял охапку дров и пошел в избу. Скоро в окнах засветилось пламя, которое он развел на загнетке, и в котелке закипела вода. Ни отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между тем вершины деревьев в это время изредка стали поколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, как застывающий свинец. Только изредка можно было заметить беленькие плески от какого-нибудь резвящегося карася, да лягушки хором тянули одну монотонно-унылую ноту. Я еще все сидел на завалинке, глядя на темное озеро и вспоминая мои в темную даль улетевшие годы. Тут тогда были эти неуклюжие лодки, к которым носил меня могучий Невструев; здесь я спал с послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь как-то все как будто и то же, да нет чего-то. Нет беззаботного детства, нет теплой животворящей веры во многое, во что так сладко и так уповательно верилось.

— Руси дух пахнет! Откуда гости дорогие?— крикнул отец Вавила, внезапно выйдя из-за угла хатки, так что я совершенно не заметил его приближения.

Я его узнал с первого раза. Он только совсем побелел, но тот же детский взгляд и то же веселое лицо.

— Издалека изволите быть?— спросил он меня.

Я назвал одну деревню верст за сорок.

Он спросил: не сыночек ли я Афанасья Павловича?

— Нет,— говорю.

— Ну, все равно: милости прошу в келью, а то дождь накрапывает.

Действительно, начал накрапывать дождик, и по озеру зарябило, хотя ветра в этой котловине никогда почти не бывало. Разгуляться ему здесь было негде. Такое уж было *место тихое*.

— Как величать позволите?— спросил отец Вавила, когда мы совсем вошли в его хатку.

Я назвал свое имя. Отец Вавила посмотрел на меня, и на его добродушно-хитрых губах показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификация моя не удалась: он узнал меня; мы обнялись со стариком, много раз сряду поцеловались и ни с того ни с сего оба заплакали.

— Дай-ка я посмотрю на тебя поближе,— сказал продолжавший улыбаться отец Вавила, подводя меня к очагу.— Ишь вырос!

— А вы состарились, отец Вавила.

Отец Прохор засмеялся.

— А они у нас еще всё молодятся,— заговорил отец Прохор,— и даже ужасть как молодятся.

— А то по-вашему, что ль!— храбрясь отвечал отец Вавила, но тут же и присел на стульце и добавил:—Нет, братик! дух бодр, а плоть уж отказывается. К отцу Сергию пора. Поясницу нынче все ломит —плох становлюсь.

— А давно умер отец Сергий?

— Третий год со Спиридона пошел.

— Хороший был старик,— сказал я, вспоминая покойника с его палочками и ножичком.

— Смотри-ка! В угол-то смотри! тут вся его мастерская и теперь стоит. Да зажги ты свечу, отец Прохор.

— А Капитан жив?

— Ах, ты кота... то бишь кошку нашу Капитана помнишь?

— Как же!

— Удушился, брат, Капитан. Под дежу его как-то занесло; дежа захлопнулась, а нас дома не было. Пришли, искали, искали — нет нашего кота. А дня через два взяли дежу, смотрим — он там. Теперь другой есть... гляди-ко какой: Васька! Васька!— стал звать отец Вавила.

Из-под печи вышел большой серый кот и начал тыкать головою в ноги отцу Вавиле.

— Ишь ты, бестия какая!

Отец Вавила взял кота и, положив его на колени, брюхом кверху, щекотал ему горло. Точно теньеровская картина: белый как лунь старик с серым толстым котом на коленях, другой полустарик в углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освещено теплым, красным светом горящего очага.

— Да зажигай свечу-то, отец Прохор!— крикнул опять отец Вавила.

— Вот сейчас. Никак не справишь.

Отец Вавила между тем оправдывал Прохора и рассказывал мне:

— Мы ведь себе свечи теперь не зажигаем. Рано ложимся.

Зажгли свечу. Хата точно в том же порядке, как была за двенадцать лет назад. Только вместо отца Сергия у печки стоит отец Прохор, а вместо бурого Капитана с отцом Вавилою забавляется серый Васька. Даже ножик и пучок кореневатых палочек, приготовленных отцом Сергием, висит там, где их повесил покойник, приготовлявший их на какую-то потребу.

— Ну, вот и яйца сварились, вот и рыба готова, а Василья Петровича нет,— сказал отец Прохор.

— Какого Василья Петровича?

— Блажного,— отвечал отец Прохор.

— Неш ты с ним приехал?

— С ним,— сказал я, догадываясь, что кличка принадлежит моему Овцебыку.

— Кто ж это тебя с ним сюда справил?

— Да мы давно знакомы,— сказал я.— А вы мне скажите, за что вы его блажным-то прозвали?

— Блажной он, брат. Ух, какой блажной!

— Он — добрый человек.

— Да я не говорю, что злой, а только блажь его одолела; он теперь как нестоящий: всеми порядками недоволен.

Было уже десять часов.

— Что ж, давайте ужинать. Авось подойдет,— скомандовал, начиная умывать руки, отец Вавила.— Да, да, да: поужинаем, а потом литийку... Хорошо? По отце Сергие-то, говорю, литийку все пропоем?

Стали ужинать, и поужинали, и «со святыми упокой» пропели отцу Сергию, а Василий Петрович все еще не возвращался.

Отец Прохор убрал со стола лишнюю посуду, а сковороду с рыбой, тарелку, соль, хлеб и пяток яиц оставил на столе, потом вышел из хаты и, возвратясь, сказал:

— Нет, не видать.

— Кого не видать?— спросил отец Вавила.

— Василья Петровича.

— Уж если б тут был, так не стоял бы за дверью. Он теперь, видно, на прогулку вздумал.

Отец Прохор и отец Вавила непременно хотели меня уложить на одной из своих постелей. Насилу я отговорился, взял себе одну из мягких ситниковых рогож работы покойного отца Сергия и улегся под окном на лавке. Отец Прохор дал мне подушку, погасил свечу, еще раз вышел и довольно долго там оставался. Очевидно, он поджидал «блажного», но не дождался и, возвратясь, сказал только:

— А гроза непременно соберется.

— Может быть, и не будет,— сказал я, желая успокоить себя насчет исчезшего Овцебыка.

— Нет, будет: пáрило нынче крепко.

— Да уж давно пáрит.

— У меня поясницу так и ломит,— подсказал отец Вавила.

— И муха с самого утра как оглашенная в рожу лезла,— добавил отец Прохор, фундаментально повернувшись на своей массивной кровати, и все мы, кажется, в эту же самую минуту и заснули. На дворе стояла страшная темень, но дождя еще не было.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Встань! — говорил мне отец Вавила, толкая меня на постели.— Встань! нехорошо спать в такую пору. Неровен час воли божией.

Не разобрав, в чем дело, я проворно вскочил и сел на лавке. Перед образником горела тоненькая восковая свеча, и отец Прохор в одном белье стоял на коленях и молился. Страшный удар грома, с грохотом раскатившийся над озером и загудевший по лесу, объяснил причину тревоги. Муха, значит, недаром лезла в рожу отцу Прохору.

— Где Василий Петрович?— спросил я стариков.

Отец Прохор, не переставая шептать молитву, обернулся ко мне лицом и показал движением, что Овцебык еще не возвращался. Я посмотрел на мои часы: был ровно час пополуночи. Отец Вавила, также в одном белье и в коленкоровом ватном нагруднике, смотрел в окно; я тоже подошел к окну и стал смотреть. При беспрерывной молнии, светло озарявшей все открывавшееся из окна пространство, можно было видеть, что земля довольно суха. Дождя большого, значит, не было с тех пор, как мы заснули. Но гроза была страшная. Удар следовал за ударом, один другого громче, один другого ужаснее, а молния не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было с грохотом упасть на землю огненным потоком.

— Где он может быть?— сказал я, невольно думая об Овцебыке.

— И не говори лучше,— отозвался отец Вавила, не отходя от окна.

— Не случилось ли чего с ним?

— Да случиться, кажется, чему бы! Зверя большого нет тут. Разве лихой человек — так и то не слышно было давно. Нет, так небось ходит. Ведь на него какая блажь найдет.

— А вид точно прекрасный,— продолжал старик, любуясь озером, которое молния освещала до самого противоположного берега.

В это мгновение грянул такой удар, что вся хата затряслась; отец Прохор упал на землю, а нас с отцом Вавилою так и отбросило к противоположной стене. В сенях что-то рухнуло и повалилось к двери, которою входили в хату.

— Горим!— закричал отец Вавила, первый выйдя из общего оцепененья, и бросился к двери.

Дверь нельзя было отпереть.

— Пустите,— сказал я, совершенно уверенный, что мы горим, и с размаху крепко ударил плечом в дверь.

К крайнему нашему удивлению, дверь на этот раз отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетел за порог. В сенях было совершенно темно. Я вернулся в хату, взял от образника одну свечечку и с нею опять вышел в сени. Шум весь наделала моя лошадь. Перепуганная последним ужасным ударом грома, она дернула повод, которым была привязана к столбу, повалила пустой капустный напóл, на котором стояло решето с овсом, и, кинувшись в сторону, притиснула нашу дверь своим телом. Бедное животное пряло ушми, тревожно водило кругом глазами и тряслось всеми членами. Втроем мы всё привели в порядок, насыпали новое решето овса и возвратились в хату. Прежде чем отец Прохор внес свечечку, мы с отцом Вавилою заметили в хатке слабый свет, отражавшийся через окно на стену. Посмотрели в окно, а как раз напротив, на том берегу озера, словно колоссальная свечка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голом песчаном холме.

— А-а!— протянул отец Вавила.

— Молонья зажгла,— подсказал отец Прохор.

— И как горит прелестно!— сказал опять художественный отец Вавила.

— Богом ей так назначено,— отвечал богобоязливый отец Прохор.

— Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.

Действительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекие раскаты грома, да по небу тяжело ползла черная бесконечная туча, казавшаяся еще чернее от горящей сосны.

— Глядите! глядите!— неожиданно воскликнул все еще смотревший в окно отец Вавила.— Ведь это наш блажной!

— Где?— спросили в один голос я и отец Прохор и оба глянули в окно.

— Да вон, у сосны.

Действительно, шагах в десяти от горящей сосны ясно обрисовывался силуэт, в котором можно было с первого взгляда узнать фигуру Овцебыка. Он стоял, заложа руки за спину, и, подняв голову, смотрел на горевшие сучья.

— Прокричать ему?— спросил отец Прохор.

— Не услышит,— отвечал отец Вавила.— Видите шум какой: невозможно услышать.

— И рассердится,— добавил я, хорошо зная натуру моего приятеля.

Постояли еще у окна. Овцебык не трогался. Назвали его несколько раз «блажным» и легли на свои места. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но в этот раз мне было нестерпимо жаль моего страдающего приятеля... Стоя рыцарем печального образа перед горящею сосною, он мне казался шутом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижных» отцов не было в хатке. У стола сидел Василий Петрович. Он держал в руках большой ломоть ржаного хлеба и прихлебывал молоком прямо из стоящего перед

ним кувшина. Заметив мое пробуждение, он взглянул на меня и молча продолжал свой завтрак. Я с ним не заговаривал. Так прошло минут двадцать.

— Чего растягиваться-то?— сказал, наконец, Василий Петрович, поставив выпитый им кувшин молока.

— А что ж бы нам начать делать?

— Пойдем бродить.

Василий Петрович был в самом веселом расположении духа. Я очень дорожил этим расположением и не стал его расспрашивать о ночной прогулке. Но он сам заговорил о ней, как только мы вышли из хаты.

— Ночь была грозная какая!— начал Василий Петрович.— Просто не запомню такой ночи.

— А дождя ведь не было.

— Начинал раз пять, да не разошелся. Люблю я смерть такие ночи.

— А я не люблю их.

— Отчего?

— Да что ж хорошего-то? вертит, ломит все.

— Гм! вот то-то и хорошо, что все ломит.

— Еще придавит ни за́ что ни про́ что.

— Эко штука!

— Вот сосну разбило.

— Славно горела.

— Мы видели.

— И я видел. Хорошо жить в лесах.

— Комаров только много.

— Эх вы, канареечный завод! Комары заедят.

— Они и медведей, Василий Петрович, донимают.

— Да, а все ж медведь из лесу не пойдет. Полюбил я эту жизнь,— продолжал Василий Петрович.

— Лесную-то?

— Да. В северных-то лесах что это за прелесть! Густо, тихо, лист аж синий — отлично!

— Да ненадолго.

— Там и зимой тоже хорошо.

— Ну, не думаю.

— Нет, хорошо.

— Что ж вам там нравилось?

— Тихость, и сила есть в той тихости.

— А каков народ?

— Что значит: каков народ?

— Как живет и чего ожидает?

Василий Петрович задумался.

— Вы ведь два года с ними прожили?

— Да, два года и еще с хвостиком.

— И узнали их?

— Да чего узнавать-то?

— Что в тамошних людях таится?

— Дурь в них таится.

— А вы же прежде так не думали?

— Не думал. Что думы-то наши стоят? Думы те со слов строились. Слышишь «*раскол*», «раскол», сила, протест, и все думаешь открыть в них невесть что. Все думаешь, что там слово такое, как нужно, знают и только не верят тебе, оттого и не доберешься до живца.

— Ну, а на самом деле?

— А на самом деле — буквоеды, вот что.

— Да вы с ними сошлись ли хорошо?

— Да как еще сходиться-то! Я ведь не с тем шел, чтобы баловаться.

— Как же вы сходились-то? Ведь это интересно. Расскажите, пожалуйста.

— Очень просто: пришел, нанялся в работники, работал как вол... Вот ляжем-ка тут над озером.

Мы легли, и Василий Петрович продолжал свой рассказ, по обыкновению, короткими отрывистыми выражениями.

— Да, я работал. Зимою я назвался переписывать книги. Уставом и полууставом писать наловчился скоро. Только всё книги черт их знает какие давали. Не такие, каких я надеялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пение, и только. А больше ничего. Потом стали всё звать меня: «Иди, говорят, совсем к нам!» Я говорю: «Все одно, я и так ваш».— «Облюбуй девку и иди к кому-нибудь во двор». Знаете, как мне не по нутру. Однако, думаю, не из-за этого же бросить дело. Пошел во двор.

— Вы?

— А то кто ж?

— Вы женились?

— Взял девку, так, стало быть, женился.

Я просто остолбенел от удивления и невольно спросил:

— Ну, что ж дальше вышло?

— А дальше дрянь вышла,— сказал Овцебык, и на лице его отразились и зло и досада.

— Женою, что ли, вы несчастливы?

— Да разве жена может сделать мое счастие или несчастие? Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.

— Раскольники не допустили вас до своих тайн?

— До чего допускать-то!— с негодованием вскрикнул Овцебык.— Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого слова-то «Сезам, отворись», что́ в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения единого стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что — «благая честь да благая вера». В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плеть бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет чтоб тебе подняться дали, а в богадельню ступай, коли стар или слаб, и живи при милости на кухне. А молод — в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Всё еще соболезнуют, индюки проклятые: «Страху мало. Страх, говорят, исчезает». А мы на них надежды, мы на них упования возверзаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем.

Василий Петрович с негодованием плюнул.

— Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?

Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:

— Не в пример лучше.

— Чем же особенно?

— Тем, что не знает, чего желает. Этот рассуждает так, рассуждает и иначе, а у того одно рассуждение. Все около своего пальца мотает. Простую вот такую-то землю возьми, либо старую плотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворост в ней есть, хворост и будет, а хворост повытаскаешь, опять одна земля, только еще дуром взбуровленная. Так вот и рассуждай, что лучше-то?

— Как же вы ушли?

— Так и ушел. Увидал, что делать нечего, и ушел.

— А жена?

—Что же вам про нее интересно?

— Как же вы ее одну там оставили?

— А куда же мне с нею деваться?

— Увести ее с собою и жить с нею.

— Очень нужно.

— Василий Петрович, ведь это жестоко! А если она вас полюбила?

— Вздор говорите! Что еще за любовь: нынче уставщик почитал — мне жена; завтра «поблагословится» — с другим в чулан спать пойдет. Да и что мне до бабы, что мне до любви! что мне до всех баб на свете?

— Но человек же она,— говорю.— Пожалеть-то ее все-таки следовало бы.

— Вот в этом смысле бабу-то пожалеть!.. Очень важное дело, с кем ей в чулан лезть. Как раз время к сему, чтоб об этом печалиться! Сезам, Сезам, кто знает, чем Сезам отпереть,— вот кто нужен!— заключил Овцебык и заколотил себя в грудь. — Мужа, дайте мужа нам, которого бы страсть не делала рабом, и его одного мы сохраним душе своей в святейших недрах.

Дальнейшая беседа наша с Василием Петровичем не ладилась. Пообедав у стариков, я завез его в монастырь, простился с отцом казначеем и уехал домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Спустя дней десять после моей разлуки с Васильем Петровичем, я сидел с матушкою и сестрою на крылечке нашего маленького домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать, и возле дома никого, кроме нас, не было. Везде была кругом глубочайшая вечерняя тишина, и вдруг среди этой тишины две большие дворные собаки, лежавшие у наших ног, разом вскочили, бросились к воротам и с озлоблением на кого-то напали. Я встал и пошел к воротам посмотреть на предмет их злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоял Овцебык и насилу отмахивался палкою от двух псов, напавших на него с человеческим ожесточением.

— Заели было, проклятые,— сказал он мне, когда я отогнал собак.

— Вы пешком?

— Как видите, на цуфусках.

У Василья Петровича за спиною был и мешочек, с которым он обыкновенно путешествовал.

— Пойдемте же.

— Куда?

— Ну, к нам в дом.

— Нет, я туда не пойду.

— Отчего не пойдете?

— Там какие-то барышни.

— Какие барышни! Это — мать моя и сестра.

— Все равно не пойду!

— Полноте чудить! они люди простые.

— Не пойду!— решительно сказал Овцебык.

— Куда же мне вас деть?

— Нужно куда-нибудь деть. Мне некуда деваться.

Я вспомнил о бане, которая летом была пуста и нередко служила спальнею для приезжающих гостей. Домик у нас был маленький, «шляхетский», а не «панский».

Через двор, мимо крыльца, Василий Петрович тоже ни за что не хотел идти. Можно было пройти через сад, но я знал, что баня заперта, а ключ от нее у старой няни, которая ужинает в кухне. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали собаки, отошедшие от нас только на несколько шагов и злобно лаявшие. Я перегнулся через частокол, за которым стоял с Васильем Петровичем, и громко кликнул сестру. Девочка подбежала и остановилась в недоумении, увидя оригинальную фигуру Овцебыка в крестьянской свитке и послушничьем колпаке. Я послал ее за ключом к няне и, получив вожделенный ключ, повел моего нежданного гостя через сад в баню.

Всю ночь напролет мы проговорили с Васильем Петровичем. Ему нельзя было возвращаться в пустынь, откуда он пришел, ибо его оттуда выгнали за собеседования, которые он задумал вести с богомольцами. Идти в иное место у него не было никакого плана. Неудачи его не обескуражили, но разбили на время его соображения. Он много говорил о послушниках, о монастыре, о приходящих туда со всех сторон богомольцах, и все это говорил довольно последовательно. Василий Петрович, живучи в монастыре, приводил в исполнение самый оригинальный план. Мужей, которых бы страсти не делали рабами, он искал в рядах униженных и оскорбленных монастырской семьи и с ними хотел отпереть свой Сезам, действуя на массы приходящего на богомолье народа.

— Этого пути никто не видит: его никто не сторожится; им не брегут зиждущие; а тут-то и есть то, чтó нужно во главу угла,— рассуждал Овцебык.

Припоминая себе хорошо знакомую монастырскую жизнь и тамошних людей из разряда униженных и оскорбленных, я готов был признать, что соображения Василья Петровича во многом не лишены основания.

Но пропагандист мой уже прогорел. Первый муж, стоявший, по его мнению, выше страстей, мой старый знакомый, послушник Невструев, в монашестве дьякон Лука, сделавшись поверенным Богословского, вздумал помочь своему унижению и оскорблению: он открыл начальству, «коего духа» Овцебык, и Овцебык был выгнан. Теперь он был без приюта. Мне через неделю нужно было ехать в Петербург, а у Василья Петровича не было места куда бы приклонить голову. Оставаться у моей матери ему было невозможно, да и он сам не хотел этого.

— Найдите мне опять кондицию, я обучать хочу,— говорил он.

Нужно было искать кондицию. Я взял с Овцебыка слово, что он новое место примет только для места, а не для посторонних целей, и стал искать ему приюта.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В нашей губернии очень много мелкопоместных деревень. Вообще у нас, говоря языком членов С.-Петербургского политико-экономического комитета, довольно распространено хуторное хозяйство. Однодворцы, владевшие крепостными людьми, после отобрания у них крестьян остались хуторянами, небольшие помещики промотались и крестьян попродали на свод в дальние губернии, а землю купцам или разбогатевшим однодворцам. Около нас было пять или шесть таких хуторов, перешедших в руки лиц недворянской крови. В пяти верстах от нашего хутора был Барков-хутор: так он назывался по имени своего прежнего владетеля, о котором говорили, что в Москве он жил когда-то

Праздно, весело, богато
И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,

а на старости лет вступил в законный брак и продавал имение за имением. Барков-хутор, составлявший некогда отдельную дачу большого имения промотавшегося барина, принадлежал теперь Александру Ивановичу Свиридову. Александр Иванович родился в крепостном сословии, обучен грамоте и музыке. Смолоду он играл на скрипке в помещичьем оркестре, а девятнадцати лет откупился за пятьсот рублей на волю и сделался винокуром. Одаренный ясным практическим умом, Александр Иванович отлично повел свои дела. Сначала он сделал себе известность как лучший винокур в околотке; потом стал строить винокуренные заводы и водяные мельницы; собрал рублей тысячу свободных денег, съездил на год в северную Германию и возвратился оттуда таким строителем, что слава его быстро разнеслась на далекое прост-

ранство. В трех смежных губерниях знали Александра Ивановича и наперебой навязывали ему постройки. Дела он вел необыкновенно аккуратно и снисходительно смотрел на дворянские слабости своих заказчиков. Вообще он знал людей и часто смеялся в рукав над многими, но был человек недурной и даже, пожалуй, добрый. Его все любили, кроме местных немцев, над которыми он любил подтрунивать, когда они принимались вводить культурные порядки с полудикими людьми. «Обезьяну,— говорил он,— сейчас сделает», и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну. Через пять лет по возвращении из Мекленбург-Шверина Александр Иванович купил у своего бывшего помещика Барков-хутор, записался в купечество нашего уездного города, выдал замуж двух сестер и женил брата. Семья была выкуплена им из крепостного звания еще до поездки за границу и вся держалась вокруг Александра Ивановича. Брат и зятья все были у него на службе и на жалованье. Обращался он с ними крутенько. Не обижал, но держал в страхе. Так он держал и приказчиков и рабочих. И не то, чтобы он любил почет, а так... Убежден он был, что «нужно, чтоб люди не баловались». Купив хутор, Александр Иванович выкупил у того же помещика горничную девушку Настасью Петровну и сочетался с ней законным браком. Жили они всегда очень согласно. Люди говорили, что у них «совет да любовь». Выйдя замуж за Александра Ивановича, Настасья Петровна, что говорят, «раздобрела». Она всегда была писаная красавица, но замужем расцвела, как пышная роза. Высокая, белая, немножко полная, но стройная, румянец во всю щеку и большие ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Муж, бывало, редко когда неделю просидит дома — все в разъездах по работам, а она и хозяйство по хутору ведет, и приказчиков отсчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает. Во всем она была Александру Ивановичу правая рука и зато все относились к ней очень серьезно и с большим уважением, а муж верил ей без меры и с нею не держался своей строгой политики. Ей у него ни в чем отказу не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучилась и имя свое умела подписывать. Детей у них было всего две девочки: старшей девять лет, а младшей семь. Учила их гувернантка из русских. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочем, она знала едва ли менее многих иных так называемых воспитанных дам. По-французски она не разумела, но русские книги просто пожирала. Память у ней была страшная. Карамзинскую историю, бывало, чуть не наизусть рассказывает. А стихов на память знала без счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последний был особенно понятен и сочувствен ее много перестрадавшему в былое время крепостному сердцу. В разговоре у нее еще часто прорывались крестьянские выражения, особенно когда она говорила с воодушевлением, но эта народная речь даже необыкновенно шла к ней. Бывало, если она станет рассказывать этой речью что-нибудь прочитанное, так такую силу придаст своему рассказу, что после уж и читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наезжало в Барков-хутор, иногда так, чужого ужина попробовать, а больше по делам. Александру Ивановичу везде был кредит открытый, а помещикам мало верили, зная их плохую расплату. Говорили: «он аристократ — дай ему, да ори сто крат». Такова была их репутация. Понадобился хлеб — вино курить не из чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старых долгов пошли,— ну, и тянут к Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчик, такой-сякой, поручись». Тут у Настасьи Петровны ручки целуют — ласковые такие и простодушные. А она, бывало, выйдет да помирает-хохочет. «Видели, говорит, *жиристов-то!*» Настасья Петровна «жиристами» прозывала дворян с тех пор, как одна московская барыня, вернувшись в свое разоренное имение, хотела «воспитать дикий самородок» и говорила: «как же вы не понимаете, ma belle Anastasie, что везде есть свои жирондисты!» Впрочем, руку у Настасьи Петровны все целовали, и она к этому привыкла. Но были и такие ухорцы, что открывались ей в любви и звали ее «под сень струй». Один лейб-гусар доказывал ей даже безопас-

ность такого поступка, если она захватит с собой юхтовый бумажник Александра Ивановича. Но

Они страдали безуспешно.

Настасья Петровна умела держать себя с этими поклонниками красоты.

К этим-то людям — к Свиридовой и к ее мужу — я и решил обратиться с просьбой о моем неуклюжем приятеле. Когда я приехал просить за него, Александра Ивановича, по обыкновению, не было дома; я застал одну Настасью Петровну и рассказал ей, какого мне судьба послала малолетка. Через два дня я отвез к Свиридовым моего Овцебыка, а через неделю поехал к ним снова проститься.

— Что ты, брат, мне бабу тут без меня сбиваешь? — спросил меня Александр Иванович, встречая меня на крыльце.

— Чем я сбиваю Настатью Петровну? — спросил я в свою очередь, не понимая его вопроса.

— Как же, помилуй, для чего ты в филантропию ее затягиваешь? Какого ты ей тут шута на руки навязал?

— Слушайте его! — закричал из окна знакомый, немножко резкий контральт.— Отличный ваш Овцебык. Я вам за него очень благодарна.

— А взаправду, что́ ты за зверя такого нам завез?— спросил Александр Иванович, когда мы взошли в его чертежную.

— Овцебыка,— отвечал я, улыбаясь.

— Непонятный, брат, какой-то!

— Чем?

— Да совсем блажной какой-то!

— Это сначала.

— А может быть, под конец хуже будет?

Я рассмеялся, и Александр Иванович тоже.

— Да, парень, смех смехом, а куда его деть? Ведь мне, право, такого приткнуть некуда.

— Пожалуй, дай ему что-нибудь заработать.

— Да ведь не о том! Я не прочь; да куда его определить-то? Ведь ты гляди какой он,— сказал Александр Иванович, указывая на проходившего в эту минуту по двору Василья Петровича.

Я посмотрел, как тот шагает, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая косицу, и сам подумал: «Куда бы его в самом деле, однако, можно было определить?»

— Пусть на порубке смотрит,— посоветовала мужу хозяйка.

Александр Иванович засмеялся.

— Пусть его будет на порубке,— сказал и я.

— Эх вы, дети малые! Что он там будет делать? Там ведь непривычный человек со скуки повесится. А мой згад — дать ему сто рублей, да пусть идет куда знает и пусть делает что хочет.

— Нет, ты его не отгоняй.

— Да, этак обидеть можно! — поддержала меня Настасья Петровна.

— Ну куда ж я его дену? У меня ведь всё мужики; я сам мужик; а он...

— Тоже не барин,— сказал я.

— Ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся.

— Да отдай ты его Настасье Петровне.

— Право, отдай,— вмешалась она снова.

— Бери, бери, моя матушка.

— Ну и прекрасно,— сказала Настасья Петровна.

Овцебык остался на руках Настасьи Петровны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В августе месяце, живучи уже в Петербурге, я получил в почтамте страховое письмо со вложением пятидесяти рублей серебром. В письме было написано:

«Возлюбленный брате!

Я нахожусь при истреблении лесов, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мне жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя под это подговорилась, но сия их великатность пусть будет втуне: я в сем не нуждаюсь. Десять целковых себе оставил, а пятьдесят, при сем прилагаемых, тотчас, *без всякого письма*, отошлите крестьянской девице Глафире Анфиногеновой Мухиной в в деревню Дубы, —ской губернии, — ского уезда. Да чтоб не знали, от кого. Это та, которая будто жена моя: так это ей на случай, если дитя родилось.

Тут мое житье постылое. Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать опричь того, что́ все делают: родителей поминают да свои брюхи набивают. Здесь все на Александра Свиридова молятся. Александр Иванович!— и человека больше ни для кого нет. До него все дорасти хотят, а что он такое за суть, сей муж кармана?

Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе «Русь, куда стремишься ты?» и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Везде все одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь.

Василий Богословский».

Ольгина-Пойма.
3 августа 185... года.

В первых числах декабря я получил другое письмо. Этим письмом Свиридов извещал меня, что он выезжает на днях в Петербург с женою, и просил нанять ему удобную квартирку.

Дней через десять после этого второго письма Александр Иванович с женою сидели в премиленькой квартире против Александринского театра, отогревались чаем и отогревали мою душу рассказами о той далекой стороне,

Где сны златые снились мне.

— А что же вы мне не скажете, — спросил я, улучив минуту,— что делает мой Овцебык?

— Брыкается, брат,— отвечал Свиридов.

— Как брыкается?

— Чудит. К нам не ходит, пренебрегает, что ли, все с рабочими якшался, а теперь и это, должно быть, надоело: просил, чтоб его в другое место отправить.

— Что ж вы-то? — спросил я Настасью Петровну.— На вас ведь вся надежда была, что вы его приручите?

— Чего надежда? От нее-то он и бегает.

Я взглянул на Настасью Петровну, она на меня.

— Что будешь делать? Страшна, видно, я.

— Да как же это? Расскажите.

— Что говорить? — и говорить-то не про что — просто: пришел ко мне, да и говорит: «Отпустите меня».— «Куда?»— говорю. «Я, говорит, не знаю»— «Да чем вам худо у меня?» — «Мне, говорит, не худо, а отпустите».— «Да что же, мол, такое?» Молчит. «Обидел вас кто, что ли?» Молчит, только косицы крутит. «Вы, говорю, Насте сказали бы, что́ вам худого делают». — «Нет, вы, говорит, пошлите меня на другую работу». Жаль стало мне его совсем выправить — послал на другую порубку, в Жогово, верст за тридцать. Там он и теперь,— прибавил Александр Иванович.

— Чем же вы его так разогорчили? — спросил я Настасью Петровну.

— А уж бог его знает: я его ничем не огорчала.

— Как мать родная за ним упадала,— поддержал Свиридов.— Обшила, одела, обула. Ведь знаешь, какая она сердобольная.

— Ну, и что же вышло?

— Невзлюбил меня,— смеясь, сказала Настасья Петровна.

Зажили мы знатно с Свиридовыми в Петербурге. Александр Иванович все хлопотал по делам, а мы с Настасьей Петровной все «болтались». Город ей очень понравился; но особенно она полюбила театры. Всякий вечер мы ходили в какой-нибудь театр, и никогда это ей не наскучало. Время шло быстро и приятно. От Овцебыка я в это время получил еще одно письмо, в котором он ужасно злобно выражался об Александре Ивановиче. «Разбойники и чужеземцы,— писал он,— по мне, лучше, чем эти богатеи из русских! А все за них, и черевы лопаются, как подумаешь, что это так и быть должно, что все за них будут. Вижу я нечто дивное: вижу, что он, сей Александр Иванов, мне во всем на дороге стоял прежде чем я узнал его. Вот кто враг-то народный —сей вид сытого мужлана, мужлана, питающего от крупиц своих перекатную голь, чтобы она не сразу передохла да на него бы работала. Сей вот самый христианин нашему нраву под стать, и он всех и победит и дондеже приидут отложенная ему. С моими мыслями нам вдвоем на одном свете жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо он излюбленный их. Он хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни к черту не годится. Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признает своим, и я сам ни в ком своего не признал». Затем он просил написать, жив ли я и как живет Настасья Петровна. Этим же временем из Вытегры к Александру Ивановичу зашли бондари, сопровождавшие вино с одного завода. Я их взял к себе в свободную кухню. Ребята всё были знакомые. С ними мы как-то разговорились о том, о сем, и до Овцебыка дошло.

— Как он у вас поживает? — спрашиваю их.

— Ничего живет!

— Действует,— подсказывает другой.

— А что он работает?

— Ну, какая от него работа! Так невесть для чего его хозяин содержит.

— В чем же он время проводит?

— Слоняется по лесу. Указано ему от хозяина вроде приказчика рубку записывать, и того не делает.

— Отчего?

— Кто его знает. Баловство от хозяина.

— А здоровый он,— продолжал другой бондарь.— Иной раз возьмет топор да как почнет садить — ух! только искорья летят.

— А то на караул ходил еще.

— На какой караул?

— Брехал народ, что беглые будто ходят, так он по целым ночам стал пропадать. Ребята подумали, что и он не заодно ли с теми беглыми, да и подкарауль его. Как он пошел, а они втроем за ним. Видят, прямо на хутор попер. Ну, только ничего — всё пустяки вышли. Сел, сказывают, под ракитой, насупротив хозяйских окон, подозвал Султанку, да так и просидел до зорьки, а зорькою поднялся и опять к своему месту. Так и в другой и в третий. Ребята и бросили за ним смотреть. Почитай, до осени до самой так ходил. А после успенья тут как-то ребята стали раз спать ложиться, да и говорят ему: «Полно, Петрович, на караул-то тебе ходить! Ложись-ко с нами». Ничего не сказал, а через два дни слышим, отпросился: в другую дачу его хозяин поставил.

— А любили его,— спрашиваю,— ваши ребята-то?

Бондарь подумал и сказал:

— Ничего будто.

— Ведь он добрый.

— Да, он худа не делал. Рассказывать, бывало, когда что зачнет про Филарета Милостивого либо про другое что, то все на доброту сворачивает

и против богачества складно говорит. Ребята его много которые слушали.
— И что же: нравилось им?
— Ничего. Тоже другой раз и смешно сделает.
— А что же бывает смешно?
— А вот, например, говорит-говорит про божество, да вдруг — про господ. Возьмет горсть гороху, выберет что ни самые ядреные гороховины, да и рассажает их по свитке: «Вот это, говорит, самый на́больший — король; а это, поменьше,— его министры с князьями; а это, еще поменьше,— баре, да купцы, да попы толстопузые; а вот это,— на горсть-то показывает,— это, говори́т, мы, гречкосеи». Да как этими гречкосеями-то во всех в принцев и в попов толстопузых шарахнет: все и сровняется. Куча станет. Ну, ребята, известно, смеются. Покажи, просят, опять эту комедию.
— Это он так, известно, дурашен,— подсказал другой.
Оставалось молчать.
— А из каких он будет? Не из комедиантов? — спросил второй бондарь.
— С чего это вы выдумали?
— Народ так-то баил. Миронка, что ли, сказывал.
Миронка был маленький вертлявый мужик, давно разъезжающий с Александром Ивановичем. Он слыл за певца, сказочника и балагура. В самом деле, он иногда выдумывал нелепые утки и мастерски распускал их между простодушным народом и наслаждался плодами своей изобретательности. Очевидно было, что Василий Петрович, сделавшись загадкою для ребят, рубивших лес, сделался и предметом толков, а Миронка воспользовался этим обстоятельством и сделал из моего героя отставного комедианта.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Была масленица. Мы с Настасьей Петровной едва достали билет на вечерний спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотелось видеть. Спектакль шел очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы с Настасьей Петровной пошли домой пешком. Дорогою я заметил, что моя винокурша очень задумчива и часто отвечает невпопад.
— Что вас так занимает?— спросил я ее.
— А что?
— Да вы не слышите, что́ я вам говорю.
Настасья Петровна засмеялась.
— А как вы думаете: о чем я задумываюсь?
— Трудно отгадать.
— Ну, а так, например?
— Об Эсмеральде.
— Да вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимает, а этот бедный Квазимодо.
— Вам жаль его?
— Очень. Вот настоящее несчастье: быть таким человеком, которого нельзя любить. И жаль его, и хотел бы снять с него горе, да нельзя этого сделать. Это — ужасно! А нельзя, никак нельзя,— продолжала она в раздумье.
Усевшись за чай, в ожидании возвращения к ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александр Иванович не приходил.
— Э! Еще слава богу, что в самом деле на свете таких людей не бывает.
— Каких? Как Квазимодо?
— Да.
— А Овцебык?

Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала рассмеялась, но потом как бы застыдилась своего смеха и проговорила тихо:

— А ведь в самом деле!

Она придвинула свечку и пристально стала смотреть в огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Свиридовы пробыли в Петербурге до лета. Всё день за день откладывали за делами свой отъезд. Они уговорили меня ехать с ними вместе. Вместе мы ехали до нашего уездного города. Тут я сел на перекладную и повернул к матушке, а они уехали к себе, взяв с меня слово быть у них через неделю. Александр Иванович собирался тотчас же по приезде домой ехать в Жогово, где у него шла рубка и где резидировал теперь Овцебык, а через неделю обещал быть дома. У нас меня не ожидали и очень мне обрадовались... Я сказал, что с неделю никуда не выеду; мать вызвала моего двоюродного брата с женою, и начались разные буколические наслаждения.

Так прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двенадцатый на самой ранней зоре, ко мне вошла несколько встревоженная моя старушка-няня.

— Что такое?— спрашиваю ее.

— От барковских, дружочек, к тебе,— говорит,— прислали.

Вошел двенадцатилетний мальчик и, не кланяясь, переложил раза два из руки в руку свою шляпенку, откашлялся и сказал:

— Хозяйка тебе велела, чтоб сичас к ней ехал.

— Здорова Настасья Петровна? — спрашиваю.

— Ну, а то что ей.

— А Александр Иваныч?

— Хозяина нетути дома,— отвечал мальчик, снова откашливаясь.

— Где ж хозяин?

— У Жогови... там, вишь, случай припал.

Я велел оседлать себе одну из матушкиных пристяжных лошадей и, одевшись в одну минуту, поехал шибкою рысью в Барков-хутор. Было только пять часов утра, и дома у нас все еще спали.

В домике на хуторе, когда я приехал туда, все окна, кроме комнаты детей и гувернантки, были уже отворены, и в одном окне стояла Настасья Петровна, повязанная большим голубым фуляром. Она растерянно отвечала головою на мой поклон и, пока я привязывал к коновязи лошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шел скорее.

— Вот напасть-то! — сказала она, встречая меня на самом пороге.

— Что такое?

— Александр Иванович третьего дня вечером уехал в Турухтановку, а нынче в три часа ночи из Жогова, с порубки, вот какую записку прислал с нарочным.

Она подала мне измятое письмо, которое до того держала в своих руках.

«Настя!— писал Свиридов.— Пошли сейчас в М. на телеге парой, чтоб отдали письмо лекарю и исправнику. Чудак-то твой таки наделал нам дел. Вчера вечером говорил со мной, а нынче перед полдниками удавился. Пошли кого поумнее, чтоб купил все в порядке и чтоб гроб везли поскорее. Не то время теперь, чтобы с такими делами возиться. Пожалуйста, поторопись, да растолкуй, кого пошлешь: как ему надо обращаться с письмами-то. Знаешь, теперь как день дорог, а тут мертвое тело.

Твой

Александр Свиридов».

Через десять минут я ехал крупной рысью к Жогову. Виляя по различным проселкам, я очень скоро потерял настоящую дорогу и едва к сумеркам добрался до жоговского леса, где шла рубка. Лошадь я совершенно измучил и сам изнемог от продолжительной верховой езды по жару. Въехав на поляну, на которой была караульная изба, я увидел Александра Ивановича. Он стоял на крыльце в одном жилете и держал в руках счеты. Лицо у него было, по обыкновению, спокойно, но несколько серьезнее обыкновенного. Перед ним стояло человек тридцать мужиков. Они были без шапок, с заткнутыми за пояса топорами. Несколько в стороне от них стоял знакомый мне приказчик Орефьич, а еще далее — кучер Миронка.

Тут же стояла пара выпряженных коренастых лошадей Александра Ивановича.

Миронка подскочил ко мне и, взяв лошадь, с веселой улыбкой сказал:

— Эх, как упарили!

— Поводи, поводи хорошенько! — крикнул ему Александр Иванович, не выпуская счет из руки.

— Так так, ребята?— спросил он, обратясь к стоявшим перед ним крестьянам.

— Должно, так, Александра Иваныч,— отозвалось несколько голосов.

— Ну, и с богом, коли так,— отвечал он крестьянам, протянул мне руку и, долго посмотрев мне в глаза, сказал:

— Что, брат?

— Что?

— Какову штучку-то отколол?

— Повесился.

— Да; сказнил себя. Ты от кого узнал?

Я рассказал, как было.

— Умница баба, что спосылала за тобою; я, признаться, и не вздумал. Да ты еще-то что знаешь?— понизив голос, просил Александр Иванович.

— А еще я ничего не знаю. Разве еще что есть?

— Как же! Он тут, брат, было такую гармонию изладил, что унеси ты мое горе. Поблагодарил было за хлеб за соль. Да и вам с Настасьей Петровной спасибо: одра этакого мне навязали.

— Что же такое?— говорю.— Сказывай толком!

А самому страсть как неприятно.

— Писание, братец, начал толковать на свой салтык, и, скажу тебе, уж не на честный, а на дурацкий. Про мытаря начал, да про Лазаря убогого, да вот как кому в иглу пролезть можно, а кому нельзя, и свел все на меня.

— Как же он оборотил на тебя?

— Как?.. А так, видишь ли, что я в его расчислении «купец — загребущая лапа» и гречкосеям надо меня лобанить.

Дело было понятно.

— Ну, а что же гречкосеи?— спросил я Александра Ивановича, смотревшего на меня значительным взглядом.

— Ребята, известно — ничего.

— То есть начистоту, что ли, всё вывели?

— Разумеется. Волки!— продолжал Александр Иванович с лукавой усмешкой.— Всё, будто не смысля, ему говорят: «Это, Василий Петрович, ты, должно́, в правиле. Мы теперь как отца Петра увидим, тоже его об этом расспрошаем», а мне тут это все больше шутя сказывают и говорят: «Не в порядках, говорят, все он гуторит». И прямо в глаза при нем его слова повторяют.

— Ну, что ж дальше?

— Я было это хотел так и спустить, будто тоже не разумею; ну, а теперь, как такой грех случился, призывал их нарочно будто счеты поверить, да стороною им загвоздку добрую закинул, что эти, мол, речи пустошные, их надо из головы выкинуть и про них крепко молчать.

— А хорошо, как они это соблюдут.
— Небось соблюдут, со мной не дурачатся.
Мы вошли в избу. На лавке у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьяновая подушка; стол был накрыт чистой салфеткой, и на нем весело кипел самовар.
— Что это ему вздумалось?— проговорил я, усевшись к столику вместе с Свиридовым.
— Поди ж ты! С большого ума-то ведь чего не вздумаешь. Терпеть не могу этих семинаристов.
— Третьего дня вы с ним говорили?
— Говорили. Ничего промеж нас не было неприятного. Вечером тут рабочие пришли, водкой я их потчевал, потолковал с ними, денег дал, кому вперед просили; а он тут и улизнул. Утром его не было, а перед полденками девчонка какая-то пришла к рабочим: «Смотрите, говорит, вот тут за поляной человек какой-то удавился». Пошли ребята, а он, сердечный, уж очерствел. Должно, еще с вечера повесился.
— А больше ничего неприятного не было?
— Ничегошеньки.
— Может, ты не сказал ли ему чего?
— Еще что выдумай!
— Письма он никакого не оставил?
— Никакого.
— В бумагах ты у него не посмотрел?
— Бумаг у него, кажется, и не было.
— А все бы посмотреть, пока полиция не приехала.
— Пожалуй.
— Что, у него сундучок, что ли, был?— спросил Александр Иванович у стряпки.
— У покойника-то? — сундучок.
Принесли маленький незапертый сундучок. Открыли его при приказчике и стряпке. Ничего тут не было, кроме двух перемен белья, засаленных выписок из сочинений Платона да окровавленного носового платка, завернутого в бумажку.
—Что это за платок такой?— спросил Александр Иванович.
— А это как он, покойник, руку тут при хозяйке порубил, так она ему своим платочком завязала,— отвечала стряпка.— Тот он самый и есть,— добавила баба, посмотрев на платок поближе.
— Ну, вот и все,— проговорил Александр Иванович.
— Пойдем посмотреть на него.
— Пойдем.
Пока Свиридов одевался, я внимательно рассмотрел бумажку, в которой был завернут платок. Она была совершенно чистая. Я перепустил листы Платоновой книги — нигде ни малейшей записочки; есть только очеркнутые ногтями места. Читаю очеркнутое:
«Персы и афиняне потеряли равновесие, одни слишком распространивши права монархии, другие — простирая слишком далеко любовь к свободе».
«Вола не поставляют начальником над волами, а человека. Пусть царствует гений».
«Ближайшая к природе власть есть власть сильного».
«Где бесстыдны старики, там юноши необходимо будут бесстыдны».
«Невозможно быть отлично добрым и отлично богатым. Почему? Потому что кто приобретает честными и нечестными способами, тот приобретает вдвое больше приобретающего одними честными способами, и кто не делает пожертвований добру, тот менее расходует, чем тот, кто готов на благородные жертвы».
«Бог есть мера всех вещей, и мера совершеннейшая. Чтобы уподобиться богу, надо быть умеренным во всем, даже в желаниях».

Тут есть на поле слова, слабо написанные каким-то рыжим борщом рукой Овцебыка. С трудом разбираю: *«Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель — народу шут, себе поношение, идее — пагубник. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую»*.

Я закрыл Овцебыкову книгу.

Александр Иванович надел свой казакин, и мы пошли на поляну. С поляны повернули вправо и пошли глухим сосновым бором; перешли просеку, от которой начиналась рубка, и опять вошли на другую большую поляну. Здесь стояли два большие стога прошлогоднего сена. Александр Иванович остановился посреди поляны и, вобрав в грудь воздуха, громко крикнул: «Гоп! гоп!» Ответа не было. Луна ярко освещала поляну и бросала две длинные тени от стогов.

— Гоп! гоп!— крикнул во второй раз Александр Иванович.

— Гоп-па!— отвечали справа из леса.

— Вот где!— сказал мой спутник, и мы пошли вправо.

Через десять минут Александр Иванович снова крикнул, и ему тотчас отвечали, а вслед за тем мы увидели двух мужиков: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь на свои длинные палки.

— Здорово, христиане!

— Здравствуй, Ликсандра Иваныч!

— Где покойник-то?

— Тутотка, Ликсандра Иваныч.

— Покажите: я не заприметил что-то места.

— Да вот он.

— Где?

— Да вот он!

Крестьянин усмехнулся и показал вправо.

В трех шагах от нас висел Овцебык. Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста. Колени у него были поджаты и чуть не доставали до земли. Точно он на коленях стоял. Руки даже у него, по обыкновению, были заложены в карманы свитки. Фигура его вся была в тени, а на голову сквозь ветки падал бледный свет луны. Бедная это голова! Теперь она была уже покойна. Косицы на ней торчали так же вверх, бараньими рогами и помутившиеся, остолбенелые глаза смотрели на луну с тем же самым выражением, которое остается в глазах быка, которого несколько раз ударили обухом по лбу, а потом уже сразу проехали ножом по горлу. В них нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольного мученика. Они не говорили и того, что́ говорили его платоновские цитаты и платок с красною меткою.

— Вот тебе и все: был человек, как его и не было,— сказал Свиридов.

— Ему гнить, а вам жить, батюшка Ликсандра Иваныч,— проговорил старичок заискивающим сладеньким голоском.

Он тоже говорил, что ему гнить, а Александрам Ивановичам жить.

Душно тут было, в этом темном лесном куточке, избранном Овцебыком для конца своих мучений. А на поляне было так светло и отрадно. Месяц купался в лазури небес, а сосны и ели дремали.

Париж.
28-го ноября 1862 года.

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

Очерк

«Первую песенку зардевшись спеть».
Поговорка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Мценского уезда.*

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уже лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самоё Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое — и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неро́дица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и

по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают,— опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи, и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думала, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле раззевалась? — подумала Катерина Львовна.— Сем-ну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

— Чего это вы так радуетесь? — спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали,— отвечал ей старый приказчик.

— Какую свинью?

— А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины,— смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладкие,— ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

— Восемь пудов до обеда тянет, а пихтерь сена съест, так и гирь недостанет,— опять объяснил красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мне будет? — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтов,— отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму.— Диковина!

— Чему ж ты дивуешься?

— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

— Что же я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь,— ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы,— отвечал ей Сергей на ее замечание.

— Не так ты, молодец, рассуждаешь,— говорил ссыпавший мужичок.— Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет — не тело!

— Да, я в девках страсть сильна была,— сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна.— Меня даже мужчина не всякий одолевал.

— А ну-с, позвольте ручку, если как зто правда,— попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно! — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

— Н-да, вот ты и расссуждай, что женщина,— удивился мужичок.

— Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки,— относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись,— ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было шевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

— Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай гребла́ не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.

— Девичур зтот проклятый Сережка!— рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья.— Всем вор взял — что ростом, что лицом, что красотой, какую ты хочешь женщину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья... того,— говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка,— мальчик-то твой у тебя жив?

— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

—А откуда зто он у тебя?

— И-и! так, гулевой — на народе ведь живешь-то — гулевой.

— Давно он у нас, этот молодец?

— Кто зто? Сергей-то, что ли?

— Да.

— С месяц будет. У Копчоновых допрежь служил, так прогнал его хозяин.— Аксинья понизила голос и досказала: — Сказывают, с самой хозяйкой в любви был... Ведь вот, треанафемская его душа, какой смелый!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечёрила, открыла у себя на вышке окошечко, и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй, — тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

— Сударыня! — произнес кто-то через две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергей,— отвечал приказчик.

— Что тебе, Сергей, нужно?

— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.

— Что тебе? — спросила она, сама отходя к окошку.

— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их,— отвечала Катерина Львовна.

— Такая скука,— жаловался Сергей.

— Чего тебе скучать!

— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

— Чего же ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них как канарейка в клетке содержитесь.

— Да, мне скучно,— сорвалось у Катерины Львовны.

— Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

— Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

— Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...

— Нет, позвольте, сударыня,— произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне.— Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь,— произнес он одним придыханием,— теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь,— говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неописуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться?— развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

— Ох, ох! пусти,— тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки, и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

— Иди,— говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдова пойду,— отвечал ей счастливым голосом Сергей.

— Свекор двери запрет.

— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя — везде двери,— отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохоньки спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

— Сказывай,— говорит Борис Тимофеич,— где был, вор ты эдакой?

— А где был,— говорит,— там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету,— отвечал Сергей.

— У невестки ночевал?

— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?

— Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить,— отвечал Борис Тимофеич.

— Моя вина — твоя воля,— согласился молодец.— Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея»,— пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

— Что ты это, такая-сякая,— начал он срамить Катерину Львовну.

— Пусти,— говорит,— я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

— Худого,— говорит,— не было! — а сам зубами так и скрипит.— А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристает: пусти его да пусти.

— А коли так,— говорит Борис Тимофеич,— так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла,— смекали,— у хозяйки с Сергеем алигория, да и только.— Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на вы-

сокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо пóтом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар,— говорит,— под яблонью глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? — думает Катерина Львовна.— Сливки тут-то я на окне поставила: беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его»,— решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? — рассуждает в кошмаре Катерина Львовна.— Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?»,— подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

— Заспалась я,— говорила Аксинье Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить.— И что это такое, Аксиньюшка, значит?— пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

— Что, матушка?

— Не то что во сне, а вот совсем наяву кот ко мне все какой-то лез.

— И, что ты это?

— Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

— И зачем тебе его было ласкать?

— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

— Чудно, право! — восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

— Да что ж такое именно?

— Ну *именно что* — уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, чтó именно, а только что-нибудь да будет.

— Месяц все во сне видела, а потом этот кот,— продолжала Катерина Львовна.

— Месяц это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

—Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? — попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

— Ну что ж,— отвечала Катерина Львовна, — и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

— То-то, я говорю, что послать его,— порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

— Мечтанье одно,— отвечал Сергей.

— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

—Ух, голова закружилась,— заговорила Катерина Львовна,— Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, — позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

— А ты сох же по мне, Сережа?

— Как же не сох.

— Как же ты сох? Расскажи мне про это.

— Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

— Отчего же я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел,— продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости,— отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! — воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

— Ах, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить! — отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

— Изменщик ты, Сережа,— ревновала Катерина Львовна,— необстоятельный.

— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю,— отвечал спокойным тоном Сергей.

— Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

— Это только мужья с женами,— продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна,— так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот,— шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

— Слушай, Сережа, что я тебе скажу,— начала Катерина Львовна спустя малое время,— с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

— Кому ж это про меня брехать охота?

— Ну уж говорят люди.

— Может быть, когда и изменял, тем, какие совсем нестоящие.

— А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоящею не надо и любви иметь.

— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня,— живая не расстанусь.

Сергей встрепенулся.

— Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! — заговорил он.— Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

— Этого не будет! — весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

— Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

— А повторительно,— продолжал Сергей, тихонько высвобаживая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны,— повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женчины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце...

— Что ты это мне все про такое толкуешь?— перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?

— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась,— успокаивала его все с теми же ласками Катерина Львовна.— Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать,— отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою.— Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой — полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастия; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобой совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому прикащику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным прикащиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались плевок, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатились по приставленному к крыше пуку теса.

— Пойдем спать,— сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давишний кот.

— Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна.— Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину,— собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет,— думает она,— больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудреный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: «Какой же,— говорит,— я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощенья. С того,— мурлычит,— я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что́ я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел — и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли,—должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта»,— подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа,— сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаючи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко,— прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на гелереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери, и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня»,—думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

— Кто там? — не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

— Свои,— отозвался Зиновий Борисыч.

— Это ты, Зиновий Борисыч?

— Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

— Чтой-то перед зарей холодно становится,— произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

— Как живешь-можешь? — спросил он супругу.

— Ничего,— отвечала Катерина Львовна, и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

— Самовар небось поставить? — спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила на́ босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

— Сиди тут,— шепнула она.

— Докуда же сидеть? — также шепотом спросил Сережа.

— О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, что́ в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

— Что ты там возилась долго? — спрашивает жену Зиновий Борисыч.

— Самовар ставила,— отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

— Ну как же это вы тятеньку схоронили? — осведомляется муж.

— Так,— говорит жена,— они померли, их и схоронили.

— И что это за удивительность такая!

— Бог его знает,— отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

— Ну, а вы тут как свое время провождали? — расспрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по тиатрам столько ж.

— А словно радости-то у вас и к мужу немного,— искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? — как-то мудрено вдруг спросил он жену.

— А все вас дожидала,— спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

— И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— В саду,— говорит,— нашла да юбку себе подвязала.

— Да! — произнес с особым ударением Зиновий Борисыч,— мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.

— Что ж это вы слыхали?
— Да всё про дела ваши про хорошие.
— Никаких моих дел таких нету.
— Ну, это мы разберем, все разберем,— отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.
Катерина Львовна промолчала.
— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем,— проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.
— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается,— ответила та.
— Что! что! — повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.
— Ничего — проехали,— отвечала жена.
— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!
— А с чего мне и речистой не быть? — отозвалась Катерина Львовна.
— Больше бы за собой смотрела.
— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!
— Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.
— Про какие такие мои амуры? — крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.
— Знаю я, про какие.
— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!
Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.
— Видно и говорить-то не про что,— отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдце мужу чайную ложечку.— Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами полюбовник?
— Узнаете, не спешите очень.
— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?
— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...
— И-их! терпеть я этого не могу,— скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна, и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.
— Ну вот он,— произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея.— Расспрашивайте и его и меня, что́ вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что́ тебе хочется?
Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолоки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели и ничего не понимал, к чему это близится.
— Что ты это, змея, делаешь? — насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.
— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо,— отвечала дерзко Катерина Львовна.— Ты меня бойлом задумал пужать,— продолжала она, значительно моргнув глазами,— так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допрежь твоих этих обещаниев знала, что́ над собой сделать, так я то сделаю.
— Что это? вон! — крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.
— Как же! — передразнила Катерина Львовна.
Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.
— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик,— поманила она к себе приказчика.
Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.
— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! — вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.
— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясмен соко́л, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! — вскрикнула Катерина Львовна.— Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло, и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

— Подержи его,— шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновенье сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

— Попа,— тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея.— Исповедаться,— произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

— Хорош и так будешь,— прошептала Катерина Львовна.

— Ну полно с ним копаться,— сказала она Сергею,— перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно

замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свети,— сказала она Сергею, идучи к двери.— Ниже, ниже свети, — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.

— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай,— произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

— Теперь шабаш, — сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

— Ну вот ты теперь и купец,— сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису́ и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник,— сказала она и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уже Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

— Я,— говорит, — покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

— Чего ты? — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

— Ничего,— отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик.— Думаю, сколь эти Ливны дивны,— договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

— Ну, а как же теперь быть? — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром.— Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.

— Отчего так прах, Сережа?

— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

— Неш с тебя, Сережа, мало будет?

— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

— Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допрежь сего жили,— отвечал Сергей Филипыч.— А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

— Да неш мне это, Сережечка, нужно?

— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастию их конца-меры не будет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому

Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что и в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла,— думает Катерина Львовна,— а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все неро́дица была, все худела да чаврела, и в друг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

— Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! — кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья.— Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

— Потрудись, — скажет, — Катеринушка, — ты, мать, сама человек грузный, сама суда божьего ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уже обмогался.

Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

— Житие, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что,— думалось Катерине Львовне,— ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

— Пора тебе, Федя, лекарства?

— Пожалуйте, тетенька, — отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: — очень занятно, тетенька, это о святых описывается.

— Ну читай,— проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

— Надо окна велеть закрыть,— сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли,— отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

— Нонче всенощная не скоро кончится?— спросила Катерина Львовна.

— Праздник большой завтра: долго будут служить, — отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

— Сходить к Феде: он там один,— произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Один? — спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

— Один,— отвечала она ему шепотом,— а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампады спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вот ту, с образника, пожалуйте.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснул ли бы, Федя?

— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебе ее ждать?

— Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее потянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.

— Ну! — шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

— Что? — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

— Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

— Пойдем, — порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

— Что ж взять?

— Ничего,— одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Ох, я, тетенька, чего-то испугался,— отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

— Чего ж ты испугался?

— Да кто это с вами шел, тетенька?

— Где? Никто со мной, миленький, не шел.

— Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

— Это мне, верно, так показалось,— сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? — ласкался к ней племянник.

— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю,— ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? — вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик.— Идите сюда, тетенька: я боюсь,— еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

— Чего боишься? — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом.— Ляг,— сказала она ему вслед за этим.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нет ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг,— повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

— Нет, ты ложись, ложись,— проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновенье Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

— Кончился,— прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привесть все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтоб, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! — бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую с ног Катерину Львовну.

— Где? — спросила она.

— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! — закричал Сергей, — гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

— Дурак! вставай, дурак! — крикнула Катерина Львовна и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой ес-

тественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами,— все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки[1].

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм пресвятые богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, — заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу,— сказывают, — говорил он,— будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут....

— Это уж всем известно,— отвечал тулуп, крытый синей нанкой.— Ее нонче и в церкви, знать, не было.

— Что церковь? Столь скверная бабёнка испаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

— А ишь, у них вот светится, — заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями.

— Глянь-ка в щелочку, что там делают? — цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

— Видел сам, собственными моими глазами видел,— свидетельствовал над мертвым Федею машинист,— младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

---

[1] В Орловской губернии певчие так называют форшляги.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.

— Для чего же? — спрашивали ее.

— Для него, — отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменый Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастием.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

— Ты заместо того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачок всего, Сереженька, я дала,— оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачок нешто не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

— За то же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

— Глупости все это,— отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партиею, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна — солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая — семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

— Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет,— говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся

в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.

— Ишь жируют, — буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

— Кто это? — спросил вполголоса Сергей.

— А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

— Злодей! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

— Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у *той* под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку, — побудила ее утром солдатка Фиона.

— А, так это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачем разлучаешь?

— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

— Тьпфу,— сказала она себе,— неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану! Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вот что,— говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей,— ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

— Вот ты на меня плакалась,— сказала как-то Катерине Львовне Фиона,— а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь»,— решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

— Ильвовна! — позвал он ее на привале.— Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что ж, может, сердишься еще — не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

— Как только соберу, я вам додам гривну,— упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

— Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Сонетке.

— Ах ты, Катерина Ильвовна! — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома.— Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

— Катя моя! — произнес, обняв ее, Сергей.

— Ах ты, злодей ты мой! — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

— Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут,— жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

— Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?

— Ох, чтой-то ты, Сережа?

— А что ж, когда смерть моя больно.

— Как же ты останешься, а меня погонят?

— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще,— проговорил Сергей спустя минуту.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что! — отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парою толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

— Эдак теперь ничего не будет,— произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанный со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься, но его удержали.

— Погоди ж ты! — произнес он и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает,— трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

— Ну, это ж тебе так не пройдет,— грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одной суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

— Пятьдесят,— сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татарином.

Все скучились, потом выровнялись кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье? — нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
Я полой тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

— Не троньте ее,— заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною.— Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

— Должно, ножки промочила,— острил молодой арестант.

— Известно, купеческого роду: воспитания нежного,— отозвался Сергей.

— Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще,— продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змей подлый! — произнесла она, не стерпев,— насмехайся, подлец, насмехайся!

— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

— На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит,— заметил какой-то арестант, когда осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

— Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего,— отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

— Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно,— прозвенела Сонетка.

— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.

— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с упреком головою.

— Не к чести твоей совсем это,— поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

— Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону Сергей.— Тоже— совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободрaпной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит, а то...— он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил:— а то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.

— И все б офицершей звать стали,— прозвенела Сонетка.

— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала,— поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой

Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

— Багор! бросай багор! — закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.

1865

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дело было о святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу, везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Кто там? — окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы,— ответили глухо из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро,— говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

— Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

— Пусти хоть малость обогреться!

— А кто же вы такие?

— Извозчики.

— Порожнем или с возами?

— С возами, родной, шкурье везем.

— Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

— А что же им делать? — спросил приезжий, лежавший под медвежьею шубой на верхней лавке.

— Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, — отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина,— заговорил он,— он это с практики берет и внушает правильно — со шкурьем безопасно.

— Да?— отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

— Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

— Это почему?

— А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

— А кого теперь еще понесет черт? — молвила шуба.

— А ты слушай,— отозвался хозяин,— ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и богородичный лик.

— Это верно,— поддержал рыженький человечек.— Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

— А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел,— отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

— Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику,— проговорила шуба.

— Да-с, ее и имел.

— Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

— Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

— Что вы, шутите или смеетесь?

— Боже меня сохрани таким делом шутить!

— Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

— Это, милостивый государь, целая большая история.

— А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

— Извольте-с.

— Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на колепях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

— Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

— Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

— Извольте-с, я начинаю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских

или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт, праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая ангел-хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а ис-под лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот эта была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели, как должно, лествицу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас глядючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан — одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого пития, которое надлежало нам испить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот болт,— по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии,— отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудрение смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

— Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его господь умудрил. А наш Пимен Иванов пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни всё причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого

у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чаи пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этакие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

— Я слыхала,— говорит,— что к вам божие благословение видимо,— говорит,— проявляется.

А тот сейчас и подхватывает:

— Как же,— отвечает,— матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо,— говорит,— государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

— Ах,— говорит,— как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете,— говорит,— прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-с,— отвечает Пимен,— отчего же-с; очень можно! Только,— говорит,— в таковых случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

— Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял,— и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

— Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастие этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он уже выхлопотал у бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и ор-

денов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и премениться одним дивесам на другие.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

— Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да чтоб они хорошенько,— говорит,— молились, потому мне это очень нужно!

— Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю,— заспокоил ее Пимен,—я их голодом запощу, пока не вымолят,— взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

— Я,— говорит,— как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хранитель, вот ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

— Ах, прекрасно,— отвечает,— прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да дорогими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора:

— У нас,— говорим,— таковог ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змеиевидности может нравиться? — отвечал он.

— У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! — повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. — Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змеиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, а потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

— Чего вы? она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы: разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы,— говорю, — второродительница, на таком месте усевшись?
А она отвечает:
— А где же мне, Марочка, притулиться?
Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.
«Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»
— А зачем же,— говорю,— вы в чуланчике у себя не ляжете?
— Нельзя,— говорит,— Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.
«Ага! вот,— думаю,— так и есть, что что-нибудь по вере сталось», а тетка Михайлица и начинает:
— Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось?
— Нет, мол, второродительница, не знаю.
— Ах, страсти!
— Расскажите же скорее, второродительница.
— Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?
— Отчего же,— говорю,— не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?
— Знаю, родной мой, — отвечает, — что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.
Но я никак не мог. чтобы дождаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.
А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:
— У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел.
Меня от всего этого открытия в трепет бросило.
— Говорите,— прошу,— скорее: как это диво сталося и кто были оного дивозрители?
А она отвечает:
— Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала.
И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:
— Уснув,— говорит,— помолившись, не помню я сколько спала, но только вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и в глубь глотает, сосет.— А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырьях, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой? — потому что чувствиями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Исусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава богу, — думает, — что еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне за-

брался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч,— кличет,— Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица пи будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает,то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец,— говорит,— что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежачим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измраман нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

— Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

— Ангел господень, да пролиются стопы твоя аможе хощеши!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

— Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:

— Того самого, — говорит, — что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

— Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

— Слыхал-де,— говорит,— как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

— Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

— Говори,— говорит,— говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

— Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру»; а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу»; они двадцать. Он: «Что же вы,— говорит,— не понимаете, что ли, что я *не могу*, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

— Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят.

— А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

— Давайте же скорее мою печать.

А жиды говорят:

— А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? как?» А те на своем стали:

— Мы зи,— говорят,— деньги под залог оставляли.

Тот опять:

— Как под залог?

— А как зи,— говорят,— мы под залог.

— Врете,— говорит,— вы подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

— Гёрш-ту,— говорят,— слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче,— говорят,— пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно,— говорит,— твою приданную деревнишку про-

дать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты,— говорит,— сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим,— говорит,— это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо,— говорит,— съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте,— говорит,— я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротится и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне,— говорит,— хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые нѝвари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осаждила: «Что вы, что вы,— говорит,— мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу: чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «с меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий,— говорит,— шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким

подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы пострадовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать... Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут... Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа». А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши в чем дело, да «связать,— говорят,— его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котёлки нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастию их впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

— Стой, Христов народушко, не дерзничайте!— а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит:— Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

— Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

— Прочь!— а шепотом шепнул:— Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

— Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

— Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналлогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

— Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! — да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела

стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощию подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас как водный труд по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: «его,— бают,— запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

— Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

— Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

— Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

— Кому в какой вере быть — это дело божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

— Не говори,— говорит,— мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею,— и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:

— Что же, молись,— говорю,— и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла всё яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало, и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один

гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

— Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

— Что же,— говорит,— вы думаете делать?

— Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чем,— говорит,— он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорог он,— отвечаем,— нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он написан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

— А как,— говорит,— вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

— Ну, уж на этот счет,— отвечаем,— ваша милость не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

— Вы в этом уверены?

— Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

— Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

— Нет,— говорим,— на небольшое время.

— Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

— Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

— Это почему так?

А мы отвечаем:

— Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

— Пустяки,— говорит,— я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

— Нет-с,— отвечаем,— вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое, и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной рус-

ской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

— А где же,— говорит,— есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

— Очень,— докладываю,— они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть,— говорю,— в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же,— говорю,— нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

— Это опять почему?— пытает.

— А потому,— ответствую,— что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

— Так как же,— говорит,— быть?

— Сам,— говорю,— не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные,— говорит,— вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же,— говорю,— сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают.

— Может ли,— говорит,— это быть?

— Все равно,— отвечаю,— как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?

— А есть,— говорю,— разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

— Где же они делись?

— А не знаю,— говорю,— на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

— Это,— говорит,— быть не может.

— Напротив,— отвечаю,— вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?

— Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем самым явствует, кто от какого родословия происходит.

— Ну, а у нас,— говорю,—верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.

— А если таковая,— говорит,— ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

— Некем,— отвечаю,— нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

— Я уже все кончил,— а он говорит:

— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новегороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят седмь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями — дар премудрости, седмисвещный подсвечник — дар разума; седмь очес — дар совета; седмь трубных рогов — дар крепости; десная рука посреди седми звезд — дар видения; седмь курильниц — дар благочестия; седмь молоний — дар страха божия. «Вот,— говорю,— таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе богу вознестись.

— Да ведь это же,— говорит,— всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет,— ответствую,— Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо

этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

— А вы же, чудаки, чего себе молите?

— Мы,— отвечаю,— молим христианския кончины живота и доброго ответа на страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает и жене моей в вашем роде напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слезы улыбается и частит:

— Ни-ни-ни: это он, а я особая,— да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

— Муж,— говорит,— мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

— Нет,— говорит,— не смейте ей отказывать и берите, что она дает,— и сам отвернулся и говорит:— ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовение моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего сиреброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратилися.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В путь шествующему человеку первое дело сопутник; с умным и добрым товарищем и хо́лод и голод легче, а мне зто благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами всё, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все зто люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А зти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта̀ кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда как воробьи за совами старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все зто обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми, друг друга обманывают, так и они святынею и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же,— думаем,— такова она к зтому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в

скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» — да и говорю:

— Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

— Нет,— говорит,— дядя, ничего: это я так.

— Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

— Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

— Отчего же,— говорю,— ты не пойдешь?

— А так,— отвечает,— мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:

— Пойдем, Левонтьюшка, пойдем молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

— Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

— Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а всё дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

— Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

— Ты гляди, человече, этой иконе не покланяйся.

Я говорю:

— Почему?

А он отвечает:

— Потому что она адописная,— да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик.

— Господи,— заплакал я,— да что же это такое?

— А то,— говорит,— что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня:

— Дядя! а дядя!

— Что,— говорю,— добрый молодец?

— А знаешь ли ты,— говорит,— кто эта наша мать, про которую тут поется?

— Рахиль,— отвечаю.

— Нет,— говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Как же,— спрашиваю,— таинственно?

— А так,— отвечает,— что это слово с преобразованием сказано.

— Ты,— говорю,— смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

— Нет,— отвечает,— я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

— Что же: пойдем,— отвечает,— здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там,— говорит,— я слыхал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

— Старец Памва,— отвечаю со строгостию,— господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?

— А что же,— говорит,— за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунял «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

— Церковные,— говорю,— и на небо смотрят не с верою, а в Аристетилевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

— Церковные кофий пьют!

— А что за беда,— отвечает Левонтий,— кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

— Откуда,— говорю,— ты это все знаешь?

— В книгах,— говорит,— читал.

— Ну так знай же, что в книгах не все писано.

— А что,— говорит,— там еще не написано?

— Что? что не написано?— А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

— Церковные,— говорю,— зайцев едят, а заяц поганый.

— Не погань,— говорит,— богом созданного, это грех.

— Как,— говорю,— не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

— Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но,— думаю себе,— чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот, совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

— Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настигаем!

Вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

— Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

— Нет, не могу я, дядя, больше идти,— сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебе, дитятко?

А он отвечает:

— Разве,— говорит,— ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый пень и говорит:

— Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить!— а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

— Левушка, батюшка, поневолься, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок; и словно во сне бредит:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

— Не спяй и бдяй сохранит.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает... «Владыко многомилостиве!— думаю,— это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-то все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит... Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и

сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю... И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное,— не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

— Понеси-ко за мною.

А Левонтий и понес.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а бородка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

— Доброчестный человек!

А он отзывается:

— Что тебе?

— Куда ты нас ведешь?

— Я,— говорит,— никого никуда не веду, всех господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:

— Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу. Не пущу!

Но старичок опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я: это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

— Спаси тебя бог, брате мой, за твою услугу.

«Господи!— помышляю,— куда это мы попали», и вдруг как молонья меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый!— взгадал я,— да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы,— думаю,— я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

— Вся господня земля и благословенны вси живущие,— ложись, спи!

— Нет, позволь,— говорю,— тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

— Все,— говорит,— уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

— Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

— Прости, божий человек, еще одно вопрошение...

Он отвечает:

— Что вопрошать: бог все знает.

— Нет, скажи,— говорю,— мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

— Зовут меня зовуткою, а величают уткою,— и с этими пустыми словами пополз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду,— отвечает,— брате Мирон, не буду. Спаси тебя бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя так грубительно грозится?

А он отвечает:

— Это служка мой Мирон... добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш!— думаю,— это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь истлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой... самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапо́ток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит лапо́тки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты всё знаешь?

— Знаю,— говорит,— знаю. Когда же человек далекий путь без дела

творит? Все, брате, все пути господнего ищут. Помогай господь твоему смирению, помогай!

— Какое же,— говорю,— святой человек, мое смирение? — ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

— Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

— Господи! — молится,— не прогневайся на меня за сию волевращность: вишли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну,— думаю,— нет: слава богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить дабы послал его господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

— Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

— Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапóток плесть.

Тут я сразу вскочил и думаю:

«Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шепотом шепчу ему:— Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит... Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

— Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостию:

— Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да,— отвечаю сквозь слезы,— он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! — и, повергшись к ногам усопшего, стенал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благословит, прибей его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапóтком аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг...

«Господи! — дерзаю рассуждать,— если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

— Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить!

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

— За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

— Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится.

Я говорю:

— Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал, и отвечает:

— Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит господь, он в то и одеется, что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать...

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу, и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или... господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что если он сам ангел, и бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух божий в ноздрех человека сего».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились к англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

— Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

— Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

— Да тебе,— говорит,— что-нибудь мелкое ими не вывесть.

Тот спрашивает:

— Почему?

— А потому что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

— Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

— Значит ты,— говорит,— нам запечатленного ангела подведешь?

— Отчего же, — отвечает,— я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

— Хорошо, — молвил Яков Яковлевич,— мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

— Какое же во имя?

— А уж этого я,— говорит,— не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

— А о чем ваша супруга более богу молится?

— Не знаю,— говорит,— друг мой; не знаю о чем, но я думаю, вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

— Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

— Как же ты потрафишь?

— Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — рождество пресвятые Владычицы, богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово пречистое рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означении, что идет сие не от жидовства, а от божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую богородицу омывает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит пресвятую богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил , и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фан-

тазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

— Могу.

— Так скопируй мне,— говорит,— в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

— Нет, вот уж этого я не могу.

— А почему?

— А потому,— говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

— Что за вздор такой!

— Никак нет,— отвечает,— это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

— А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

— Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас останутся.

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

— Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карахтер». Но только молвил в конце:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

— Ну так смотрите,— говорит,— я начинаю,— и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домогает; а мы уже ждем, что порох огня.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово рождество. Но вы не числите тамошнее рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постянет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халепа*, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет.

Зато создал бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

— Завтра,— говорит,— ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготовлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

— Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

— Эй, вы! Староверы! Вот вам привез!— и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

— Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебристая с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

— Да что же вы всё путаете! Вы же сами говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

— Твои,— говорит,— мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует:

— Нет,— говорит, — ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это,— говорит,— только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике поставлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Канона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаяваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил ливень , и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года вспёрло и понесло... Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости господи, точно демоны... Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того: потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился — складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: всё, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

— Знаешь что, мужик: пойдем вашего ангела красть?

Лука отвечает:

— Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее вглядится и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынесть. А на дворе за церковью наш человек, чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

— Что же-с? Мы,— говорим,— на все согласны!

— Только смотрите же,— говорит,— помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

— Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок.

— Ну, а если тебе что-нибудь помешает?

— Что же такое мне может помешать?

— Ну, вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а впрочем соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

— На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

— А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

— Ковач Марой,— отвечает Лука.

— Это старик?

— Да, он не молод.

— Но он, кажется, глуп?

— Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

— Какой же,— говорит,— может быть дух у глупого человека?

— Дух, сударь,— ответствует Лука,— бывает не по разуму: дух иде же хощет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный.

Англичанин подумал и говорит:

— Хорошо, хорошо: это всё интересные ощущения. Ну, а как же он меня выручит, если я попадусь?

— А вот как,— отвечает Лука,— вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет и всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно,— говорит,— любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

— Ну уж это, мол, дело взаймоверия.

— Взаймоверия,— повторяет.— Гм, гм, взаймоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово... под кнут... Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит:

— Ну так что же?

— А ты не убежишь?— говорит англичанин.

А Марой отвечает:

— Зачем?

— А чтобы тебя плетьми не били да в Сибирь не сослали.

А Марой говорит:

— Экося!— Да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется: весь ожил.

— Прелесть,— говорит,— как интересно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

— Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?

— Видел,— отвечает,— и потрафлю, только разве как бы малость чем

живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.

— Батюшка,— молим его,— порадей!

— Ничего,— отвечает,— порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступил самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо, под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления, как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всенощная пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим передавленным голосом говорит:

— Греби!

Я беру весла, да никак со страха в уключицы не попаду. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, ангела?

— Со мной он, греби мощней!

— Расскажи же,— пытаю,— как вы его достали?

— Непорушно достали, как было сказано.

— А успеем ли назад взворотить?

— Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Греби! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, впоперек течения держу, а нашей слободы нет,— это потому что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку, и говорит:

— Хороша! только надо ее маленько грязцой с шафраном усмирить!— А потом взял икону с ребер в тиски и наимячил свою пилку, что приправил в крутой обруч и... пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь вспиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такою холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку

скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и, наконец, глянул сквозь холст, на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках... Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в потерханный списочек крепко-накрепко втирать... Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

— Давай каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет; одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою—утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярок и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красно-огненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден...

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

— Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

— Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

— Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

— Так как же нам теперь быть?

— А уже я,— говорит,— этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

— И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:

— Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему:

— Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что́ на дворе?

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а треперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло... У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу... Стою, и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и... выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

— Нате, готово!

Мы глянули: у нового ангела на лике печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

— Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

— Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:

— Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти!— и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь!— да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

— Прочь! или насмерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но ... угодно вам — верьте, не угодно — нет, а только в это мгновенье не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

— Заводи катавасию!

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается... А далее? далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучине забуровило, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвещенный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англи-

чанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин, лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаймоверии превозвысить, а к этим двум верам третия, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья вера, творит. Но вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:

— Перенеси бог! перенеси бог, перенеси бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит: — Перенес бог, перенес бог!

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

«Ну конец: глупый старик помешался и я погиб», — ан смотрит, Марой с Лукою туже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

— Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же светение?

Лука отвечает:

— Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал... точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

— Это ангелы, — я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

— Что же, — говорит, — печати нет?

Лука говорит:

— Как нет?

— Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

— Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

— Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своея все то выслушал и ответствует:

— Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, — говорит, — плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей ответствует разрешительным словом:

— Властию, мне данною от бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься заутро принять пречистое тело Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

— Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

— И мы за тобою, дядя Лука! — да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но,наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забеглая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то,— добавил слушатель,— что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера, где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно переэябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер...

— Да он и умер-с,— отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с,— весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

— Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою вы́водил. С новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

1873

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца в Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен,— сказал этот путник,— что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М...н...не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал,— откликнулся философ.

— Прекрасно?— переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцо-

вого цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу да лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит,— начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов.— Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с,— отвечал богатырь-черноризец,— есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли,— так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница,— пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталося: тогда по крайней мере владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души,— куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после

трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?»

А святой Сергий отвечает:

«Милости хощу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте,— говорит,— их: теперь нет их молитвенника»,— и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его!— он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват,— говорит,— в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай,— изволили сказать,— и к тому не согрешай, а за кого молился — молись»,— и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «*должен*»?

— А потому, что «толцытеся»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не перемениться же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы та-

кие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же, ведь уже это значит, вы инок?

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают,— отозвался на это купец,— но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли?— снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я *конэсер*.

— Что-о-о тако-ое?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь, бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется,— она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло.

Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал,— «бешеный усмиритель» он назывался,— так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего,— говорю,— это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «*Чести моей никому не отдам*». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите,— говорю,— скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как,— говорят,— это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб; горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой ему по боку щелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и наконец оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конзсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так... он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенно истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедщей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н... н... не знаю, как это объясмить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли, были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лощади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддди-ди-и-и-тты-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена и по краям саженными берегами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно, на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаяся, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а *он* не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрози-

лись мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А *он* отвечает:

«Ты,— говорит,— меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет,— отвечаю.— Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем,— говорю,— тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то,— говорит,— это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын*?»

«Как же,— говорю,— слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли,— говорит,— ты еще и то, что ты *сын обещанный*?»

«Как это так?»

«А так,— говорит,— что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал»?

«Мать твоя».

«Ну так пускай же,— говорю,— она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я,— говорит,— не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так,— говорит,— потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь,— говорит,— так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу,— отвечаю,— только какое же знамение?»

«А вот,— говорит,— тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно,— отвечаю,— согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж,— к новоявлённым мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли,— и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его силь-

но потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

«Ну что, неужели ты, малый, жив?»

Я отвечаю:

«Должно быть, жив».

«А помнишь ли,— говорит,— что с тобою было?»

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

«Да и где же,— говорит,— тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь,— говорит,— если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть».

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

«Вот,— говорит,— мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны».

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

«Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю».

Я говорю:

«Я не знаю, чего просить!»

А он говорит:

«Ну, чего тебе хочется?»

А я думал-думал да говорю:

«Гармонию».

Граф засмеялся и говорит:

«Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию,— говорит,— ему сейчас же купить».

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:
«На,— говорит,— играй».

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилося мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала, и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну,— думаю,— нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал,— так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива

она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо,— думаю,— теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

«Ага, ага! вот это кто! вот это кто!»

Я говорю:

«Что такое?»

«Это ты,— говорит,— Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?»

Я говорю:

«Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?»

«А как же ты,— говорит,— это смел?»

«А она, мол, как смела моих голубят есть?»

«Ну, важное дело твои голубята!»

«Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня».

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

«Что,— говорю,— за штука такая кошка».

А та стрекоза:

«Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала»,— да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

«Что это,— говорит,— ты, браток, делаешь?»

«А тебе, мол, что до меня за надобность?»

«Или,— пристает,— тебе жить худо?»

«Видно,— говорю,— не сахарно».

«Так чем своей рукой вешаться,— пойдем,— говорит,— лучше с нами жить, авось иначе повиснешь».

«А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?»

«Воры,— говорит,— мы и воры и мошенники».

«Да; вот видишь,— говорю,— а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?»

«Случается,— говорит,— и это действуем».

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются

все. «А еще,— говорят,— спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

«Чтоб я,—говорит,— тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать».

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

«Вот тебе твоя доля».

Мне это обидно показалось.

«Как,— говорю,— я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?»

«Потому,— отвечает,— что такая выросла».

«Это,— говорю,— глупости: почему же ты себе много берешь?»

«А опять,— говорит,— потому, что я мастер, а ты еще ученик».

«Что,— говорю,— ученик,— ты это все врешь!» — Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

«Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец».

А он отвечает:

«И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься».

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

«Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?»

«Нет,— говорю,— у меня один целковый есть, а десяти рублей нету».

«Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?»

«Да,— говорю,— это сережка».

«Серебряная?»

«Серебряная, и крест, мол тоже, имею от Митрофания серебряный».

«Ну, скидавай,— говорит,— их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит».

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателеву печать приложил и говорит:

«Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай,— говорит,— и кому еще нужно — ко мне посылай».

«Ладно,— думаю,— хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу навмного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный и говорит:

«Скажи правду: ты ведь беглый?»

Я говорю:

«Беглый».

«Вор,— говорит,— или душегубец, или просто бродяга?»

Я отвечаю:

«На что вам это расспрашивать?»

«А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен».

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

«Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты,— говорит,— верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру».

Я ужаснулся.

«Как,— говорю,— в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден».

«Нет, это пустяки,— говорит,— пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить».

«Помилуйте,— отвечаю,— тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?»

«Пустяки,— говорит,— ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится».

«Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен».

«А я,— говорит,— на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тем молочком мою дочку воспитывай».

Я задумался и говорю:

«Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы,— говорю,— кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь».

«Нет, ты мне про женщин, пожалуйста,— отвечает,— не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?»

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю: или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать,— и коза-то, и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее

что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

«Я,— говорит,— тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит».

Я понес, а лекарь говорит:

«Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать».

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторяю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну,— думаю,— опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песка выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

«Что надо?»

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

«Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!»

Я говорю:

«Ну так что же в этом такое?»

«Отдай,— говорит,— мне ее».

«С чего же ты это,— говорю,— взяла, что я ее тебе отдам?»

«Разве тебе,— плачет,— ее не жаль? видишь, как она ко мне жмется».

«Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам».

«Почему?»

«Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить».

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

«Ну, хорошо,— говорит,— ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай,— говорит,— моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла».

«Это, мол, другое дело,— это я обещаю и исполню».

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

«Кури,— говорит,— пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить».

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то.... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?.. с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

«Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать».

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

«Послушай, Иван (она уже имя мое знала) послушай,— говорит,— что я тебе скажу: нынче,— говорит,— *он* сам сюда к нам придет».

Я спрашиваю:

«Кто это такой?»

Она отвечает:

«Ремонтер».

Я говорю:

«Ну так что ж мне за причина?»

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я то есть ей ее дочку отдал.

«Ну, уж вот этого,— говорю,— никогда не будет».

«Отчего же, Иван? отчего же? — пристает.— Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?»

«Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне».

Она плакать, а я говорю:

«Ты лучше не плачь, потому что мне все равно».

Она говорит:

«Ты бессердечный, ты каменный».

А я отвечаю:

«Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его».

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

«Опять-таки,— отвечаю,— это не мое дело».

«Неужто же,— вскрикивает она,— неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?»

«А что же,— говорю,— если ты, презрев закон и религию...»

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

«Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги,— говорит,— раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка»,— и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

«Вот,— говорит,— тут ровно тысяча рублей,— отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь».

А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

«Нет,— говорю,— это твое средство, ваше благородие, не подействует»,— а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

«Тубо,— пиль, апорт, подними!»

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцыю,— что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

«Вот тебе,— говорю,— и храбрость твою под ногой придавлю».

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачонками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

«Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!»

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

«Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется».

Он кричит:

«Подлец, подлец, изверг!» — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бегит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

«Держи их, Иван! Держи!»

«Ну как же,— думаю себе,— так я тебе и стану их держать! Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

«Нате вам этого пострела! Только уже теперь и меня,— говорю,— увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту».

Она говорит:

«Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить».

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

«Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя».

Я говорю:

«Почему же?»

«А потому,— отвечает,— что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет».

«Нет, у меня был,— говорю,— паспорт, только фальшивый».

«Ну вот видишь,— отвечает,— а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом куда хочешь».

А мне, признаюсь, ужасть как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

«Ну, прощайте,— говорю,— покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что».

«Что,— спрашивает,— такое?»

«А то,— отвечаю,— что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил».

Он рассмеялся и говорит:

«Ну что это, бог с тобою, ты добрый мужик».

«Нет-с, это,— отвечаю,— мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил».

«Это,— отвечает,— правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем *вас* и повелеваем *вас* почитать и уважать».

«Ну, позвольте же,— говорю,— я этого никак дальше снесть не могу...»

«А что же,— говорит,— теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь».

«Вынуть,— говорю,— нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить»,— и взял обе щеки перед ним надул.

«Да за что же? — говорит,— за что же я тебя стану бить?»

«Да так,— отвечаю,— для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил».

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

«Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?»

А я говорю:

«Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте,— говорю,— меня с обеих сторон ударить»,— опять щеки надул; а он вдруг вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

«Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут».

«А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?»

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш,— думаю,— пойду в полицию и объявлюсь, но только,— думаю,— опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку, в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посереди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

«Нешто ты,— говорит,— его не знаешь; это хан Джангар».

«Что, мол, еще за хан Джангар?»

А тот и говорит:

«Хан Джангар,— говорит,— первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь».

«Разве,— говорю,— эта степь не под нами?»

«Нет, она,— отвечает,— под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине,— говорит,— хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться».

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро оглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться:

один дает сто рублей, а другой полтораста и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрела, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаэ от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, эмея! — думаю себе,— ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты,— думаю,— милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел,— но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен и никому она не досталась, как видим из-за Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет, и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

«Моя кобылица».

А хан отвечает:

«Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают».

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

«Сто монетов больше всех даю!»

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и зтот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и, как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей, и говорит:

«Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!»

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит.

А он отвечает:

«Это,— говорит,— дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он,— говорит,— не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что консеры не знать что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку энавши, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...»

«Диво,— говорю,— какая лошадь!»

«Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всереди косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?»

«А что, мол, такое: из-за чего нам биться?»

«А из-за того,— отвечает,— что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет

«Что же они,— спрашиваю,— очень, что ли, богаты?»

«И богатые,— отвечает,— и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев,— оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают».

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

«Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов» (значит пять лошадей),— а другой вопит:

«Врет твоя мордам, я даю десять».

Бакшей Отучев кричит:

«Я даю пятнадцать голов».

А Чепкун Емгурчеев:

«Двадцать».

Бакшей:

«Двадцать пять».

А Чепкун:

«Тридцать».

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню»,— и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормошат их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

«Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?»

«А вот видишь,— говорит,— этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Башкеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили».

«Как же,— спрашиваю,— можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может».

«Отчего же,— отвечает,— азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперекор пустят».

Я любопытствую:

«Что же, мол, такое это значит: «наперекор».

А тот мне отвечает:

«Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается».

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкуп Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

«Сгода́!» — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

«Сгода́: поладили!»

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситце-

вые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

«Сейчас, бачка, сейчас».

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите,— говорит,— обе штуки ровные».

«Ровные,— кричат татарва,— все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают».

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

«Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?»

«Да,— отвечает,— тоже такой поединок, только это,— говорит,— не насчет чести, а чтобы не расходоваться».

«И что же,— говорю,— они здак могут друг друга долго сечь?»

«А сколько им,— говорит,— похочется и сколько силы станет».

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

«Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет».

А я говорю:

«Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят».

А тот мне отвечает:

«Сидят-то,— говорит,— они еще оба ровно, да не одна в них повадка».

«Что же,— говорю,— по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает».

«А вот то,— отвечает,— и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет».

«Что это,— думаю,— такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же,— размышляю,— должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

«Скажи,— говорю,— милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?»

А он говорит:

«Экой ты пригородник глупый! ты гляди,— говорит,— какая у Бакшея спина».

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

«А видишь,— говорит,— как он бьет?»

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

«Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?»

«Что же, мол, такое нутрём?» — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

«Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет».

«Что же,— спрашиваю,— стало быть, Чепкун надежней?»

«Непременно,— отвечает,— надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вот она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?»

«Теперь,— говорю,— понимаю»,— и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

«А еще самое главное,— указует мой знакомец,— замечай,— говорит,— как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет,— это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет».

Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш, пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

«Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла».

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

«Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай».

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот,— думаю,— все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет»,— а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

«Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет».

Я говорю:

«Чему же еще быть? все кончено».

«Нет,— говорит,— не кончено, ты смотри,— говорит,—как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское».

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит,— по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны,—настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища, и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что,— говорит,— по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татарином сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татарином... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль...

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на óпух бить, чтобы кровь не спущать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало,— отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик, и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите,— продолжал он,— это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацыю не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно, потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помога-

ет, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверное этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, и я сбился на минуту и уже так, без счета пущал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как,— говорят,— ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он,— говорят,— тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя,— говорят,— по христианству надо судить. Пойдем,— говорят,— в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас *скрыли*?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы,— говорят,— тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь,— коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было,— в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетинен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были *подщетинены*?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним,

чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван,— ты,— говорят,— нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши,—всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь,— говорят,— здравствуй, Иван,теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это,— говорю,— вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что́ ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же,— говорю,— это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты,— говорят,— приснаровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал,— скука смертная одолела, и стал приснаравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастие, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел, не хуже ли́са, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо,— отвечал Иван Северьяныч,— да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь,— говорят,— тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери,— говорят,— брат, себе теперь Наташу,— мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас дру-

гую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да,— отвечал он,— эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно... Как ей, бывало, вздумается: на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же,— запытал опять один из слушателей,— как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-за́ды, и мало-за́ды, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх,— говорит,— Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я,— говорит,— было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы,— отвечаю ему,— ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья,— говорю,— слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так,— говорит,— и видел, что из них,— говорит,— настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что,— говорят,— тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить,— Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что,— говорю,— мне их больше? мне больше не надо».

«Нет,— говорят,— ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут».

«Ну,— говорю,— легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь пàлом по траве пойдет,— суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются,— это и называется *тюбенькуют*... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела

еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайней мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, — говорит, — мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуй бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и *плененных*», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся. Я говорю:

«Что такое?»

«Ничего,— говорят,— из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять».

Я бросился, говорю:

«Где они?»

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-зàдов, и мало-задов, и мамов, и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

«А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета».

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

«Нет,— я говорю,— я, точно, русский! Отцы,— говорю,— духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите как изувечен: ходить не могу».

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтися»,— и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

«Попугайте, — говорю,— их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я,— говорю,— здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть».

А они отвечают:

«Что,— говорят,— сыне: выкупу у нас нет, а пугать,— говорят,— нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем».

«Так что же, — говорю,— стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?»

«А что же,— говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть, он тебя и избавит».

«Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил».

«А ты,— говорят,— не отчаявайся, потому что это большой грех!»

«Да я,— говорю,— не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите».

«Нет, — отвечают,— ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны».

«Все?» — говорю.

«Да, — отвечают,— все это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу,— говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать».

И показывают мне книжку.

«Вот ведь,— говорят,— видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано,— это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!»

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

«У нас на озере, тятька, человек лежит».

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет,— а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх,— думаю,— не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания принял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли и закопал, и «Святой боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смирного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азият смирного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Йовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Йовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел, ну, ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин батюшки как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой,— говорят,— давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки, и всего по кусочкам из песку повытаскивали, и наконец добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий,— говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «натшальник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните,— говорят,— а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что́ он им сделать может в степи зимою с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужасть как интересно, и все мы хотя

немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну,— думаю,— однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер,— как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя, этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!»— да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши бàтыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге,— думаю себе,— да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали»,— да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал да только ногами дрыгают... Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адьюмусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости,— говорят,— Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно, уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости,— говорят,— что мы в твоего бога не верили».

«Ага,— думаю,— вон оно как я их пугнул»,— да говорю: «Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи,— отвечают,— мы все под вашего бога согласны подойти». Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись,— кричит,— веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как,— говорит,— нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же,— говорю,— твой бог?»

«А у меня, — говорит, — всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос,— говорю,— стало быть, тебе не бог?»

«Нет,— говорит,— и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой,— говорю, — Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда,— говорю,— его почитай, потому что он русский»,— и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же,— говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь,— говорю,— не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют,— ну, значит русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего,— говорят,— здесь своя нацыя, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за свое возвращение!»— и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще!— говорят,— ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если,— говорит,—нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я,— говорю,— я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить,— говорит,— у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же,— говорит,— тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду,— говорит,— тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я,— говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли,— говорит,— что; ты ждал, а зачем ты,— говорит,— татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли,— говорит,— что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты,— говорит,— этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же, — думаю, — делать; останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена», — но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я,— говорят,— не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так пожалуйста.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как

коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужику и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина, и угощенья, и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и всё магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно, что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой,— говорит,— братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристает:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь,— вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело,— говорю,— если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную лато́ху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики,— их обрезывают,— а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой,— барышники уже так и зрят, чтобы такую звездоч-

ку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подымется и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты,— будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет»,— и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому услужу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?»— Он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный*, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои,— говорит,— так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы,— отвечает,— изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько,— спрашиваю,— вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты,— говорит,— лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это,— отвечаю,— покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь!— начнет смехом, а там уже пойдет сердиться:— Ну, пожалуйста,— говорит,— не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда,— отвечал он.— Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с,— говорит,— извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы?*

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока не пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало: «Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золотогнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял, или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И наконец стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятавши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул из себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послюнивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам

после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому, что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

«Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет».

Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне,— говорит,— я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки!— я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом сьем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

«Верно,— говорит,— ты происхождения из господских людей?»

«Да,— говорю,— из господских».

«Сейчас,— говорит,— и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси,— говорит,— тебе за это».

Я говорю:

«Ничего, иди с богом».

«Нет,— отвечает,— я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду».

«Ну, мол, пожалуй, садись».

Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

«Что это... ты чай пьешь?»

«Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей».

«Спасибо,— отвечает,— только я чаю пить не могу».

«Отчего?»

«А оттого,— говорит,— что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..— И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете».

«Подумай,— говорит,— ты, какой я человек? Я,— говорит,— самим богом в один год с императором создан и ему ровесник».

«Ну так что же, мол, такое?»

«А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я,— говорит,— нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем».— И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит:

«Они,— говорит,— необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное: но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу».

«Зачем же,— рассуждаю,— этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось».

«Бросить?— отвечает.— А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно».

«Почему же,— говорю,— нельзя?»

«А нельзя,— отвечает,— по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют».

«Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу».

«Да, вот ты,— отвечает,— не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет, или нет?»

«Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется».

«А-га!— говорит.— Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!»

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

«Оно,— говорит,— это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я,— говорит,— хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и наконец, будучи во всем сам виноват, еще на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть».

«И что же,— спрашиваю,— теперь ты уже на этот характер не ропщешь?»

«Не ропщу,— отвечает,— потому что оно хотя хуже, но зато лучше».

«Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?»

«А так,— отвечает,— что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я,— говорит,— теперь все равно что Иов на гноище, и в этом,— говорит,— все мое счастье и спасение»,— и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

«А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял».

«Ну, где же,— говорю,— возможно такого человека найти! Никто на это не согласится».

«Отчего так?— отвечает,— да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек».

Я говорю:

«Ты шутишь?»

Но он вдруг вскакивает и говорит:

«Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай».

«Ну как,— говорю,— я могу это испытывать?»

«А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня

ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь,— я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?»

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый, и весь осоловевши, и на ногах покачивается, и говорю:

«Да разумеется, что ты пьян».

А он отвечает:

«Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

«А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?»

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

«Что же это значит: какой это секрет?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— не секрет, а это называется магнетизм».

«Не понимаю, мол, что это такое»?

«Такая воля,— говорит,— особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я,— говорит,— это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести».

«Так сведи,— говорю,— сделай милость, с меня!»

«А ты,— говорит,— разве пьешь?»

«Пью,— говорю,— и временем даже очень усердно пью».

«Ну так не робей же,— говорит,— это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму».

«Ах, сделай милость, прошу, сними!»

«Изволь,— говорит,— любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму»,— и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

«На что тебе две рюмки?»

«Одна,— говорит,— для меня, другая — для тебя!»

«Я, мол, пить не стану».

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

«Тссс! силянс! молчать! Ты теперь кто?— больной».

«Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной».

«А я,— говорит,— лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство»,— и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать.

Помахал, помахал и приказывает:

«Пей!»

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай,— думаю,— ни для чего иного, а для любопытства выпью!»— и выпил.

«Хороша ли,— спрашивает,— вкусна ли или горька?»

«Не знаю, мол, как тебе сказать».

«А это значит,— говорит,— что ты мало принял»,— и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

«Эта что-то тяжела показалась».

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

«Эта легче,— и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной

рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

«Шу, силянс... атанде»[1], — и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

«Теперь готово, можешь *принимать, как сказано*».

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

«Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь».

А он говорит:

«Шу, силянс! любовь — наша святыня!»

«Пустяки, мол».

«Мужик,— говорит,—ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть».

«Да, пустяки, мол, оно и есть».

«Да ты понимаешь ли,— говорит,— что такое «краса природы совершенство»?»

«Да,— говорю,— я в лошади красоту понимаю».

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

«Разве лошадь,— говорит,— краса природы совершенство?»

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоих под ручки, и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя зтому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь,— думаю,— вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампады навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

---

[1] Молчание... подождите (от *фр.* silence... attendez).

Стою я и потихоньку оглядываюсь, и, имени его не зная, потихоньку зову так:

«Слышишь, ты? — говорю, — магнетизер, где ты?»

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

«Я вот он».

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе. — И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-типе», а я в том ничего не понимаю.

«Что ты такое, — говорю, — лопочешь?»

А он опять по-французски:

«Ди-ка-ти-ли-ка-типе».

«Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл».

Отвечает:

«Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизер».

«Тьфу, мол, ты, пострел этакой!» — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

«Кто ты такой?»

Он опять говорит:

«Магнетизер».

«Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?»

«Не совсем, — говорит, — так, а около того».

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

«За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?»

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

«Да кто же ты, мол, такой?»

Он говорит:

«Я твой довечный друг».

«Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?»

«Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь».

«Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать».

«Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пё...»

«Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пё!»

«Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам».

«Ну вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?»

«А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство».

«Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?»

«А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь».

«Хорошо, мол, пойдем».

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

«Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду».

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

«Отчего же это я позабываю, кто ты такой?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу».

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

«Послушай, ты... кто ты такой? что ты там роешься?»

«Погоди,— отвечает,— стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю».

«Хорошо,— говорю,— что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?»

Он отпирается.

«Ну так постой, мол, я деньги попробую».

Попробовал — деньги целы.

«Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор»,— а кто он такой— опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот,— думаю,— штуку он со мной сделал!»—«А где же теперь,— спрашиваю,— мое зрение?»

«А твоего, — говорит,— теперь уже нет».

«Что, мол, это за вздор, что нет?»

«Так,— отвечает,— своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету».

«Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь».

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, а оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

«Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься».

А он мне на это отвечает:

«Погоди,— говорит,— еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести».

Я говорю:

«Чего, мол, такого я не могу перенести?»

«А того,— говорит,— что в воздушных сферах теперь происходит».

«Что же я, мол, ничего особенного не слышу?»

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

«Ты,— говорит,— чтобы слышать, подражай примерно́ гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою».

«Нет,— думаю,— да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

«Так,— говорит,— купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя».

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

«Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись,— говорит,— и подкрепись!»

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и наконец что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький, махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно, оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

«Раскрой рот».

Я говорю:

«Зачем?»— а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

«Соси,— говорит,— смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит».

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь,—все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня»— и все рассыпется.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место,— а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

«Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам *от него* польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим».

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

«Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать! Голоса есть хорошие».

И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух,— думаю,— да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи,— только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации: а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

«Грушка!»— и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами... ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

«Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!»

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она,— думаю,— где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за́ что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

«Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно».

А он отвечает:

«У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают».

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пущают, и зовут:

«Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!»

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

«Не обидь: погости у нас на этом месте».

«Ну уж тебя ли,— говорю,— кому обидеть можно»,— и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но со́лу не делает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты,— думаю,— доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелося ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

«Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!»

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигательное и за сердце трогает, а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла́-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла́-ла прингала́!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай, та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не

считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, мила́я,
Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилася, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром, да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей

лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался... «Тьфу ты,— думаю,— черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ну, и что же далее? — вопросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как *он* обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и наконец думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить»,— и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять,— а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

«Что,— говорит,— это значит?»

«Да оттрепите же,— прошу,— меня по крайней мере как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте,— говорю,— как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как,— говорю,— это так?»

«Так,— отвечает,— так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист».

«И понять,— говорю,— не могу».

«Ты,— говорит,— не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это,— думаю,— понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты,— отвечает,— очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как,— говорю,— полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это,— отвечает,— вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да,— говорит,— и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы,— говорю,— плюнуть, и больше ничего».

«Не мог,— говорит,— братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

«Правда, мол, правда!»

«Мне,—говорит князь,— знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же,— говорю,— тут непонятного, краса природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так,— отвечаю,— и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец,— отвечает мой князь,— молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премногомалозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как,— говорю,— будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли,— говорю,— зто быть?»

«А вот ты,— говорит,— постой, я ее сейчас приведу. Ты артист,— от тебя я ее не скрою».

И с зтим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю: «Эх, нехорошо зто, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об зтом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

«Пти-ком-пё»,— говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной»,— да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу,

внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли?— вопросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже,— отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Видите,— начал Иван Северьяныч,— мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именьице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал. «Садись,— говорит,— послушай».

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

«Перед кем я стану петь! Ты,— говорит,— холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась».

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

«А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи».

Я говорю:

«Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть».

А он вдруг обиделся.

«Как,— говорит,— вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что что же это такое у меня *есть?*»

«Да все, мол, что нужно».

«Неправда,— говорит,— я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?»

«Вот,— думаю,— что тебя огорчает»,— и говорю:

«Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду».

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

«Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...»

«А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?»

Князь вспыхнул.

«Ты,— говорит,— братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом».

«А-га! — думаю, — вот ты что, брат, запел?»— и говорю:

«Что же, мол, теперь делать?»

«Давай,— говорит,— станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили».

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. «Мало,— говорит,— его вижу»,— а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

«Ты бы,— говорит,— изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая».

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

«Береги,— говорит,— ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит».

Я говорю:

«Почему же это так? ведь это слово любовное».

«Любовное, — отвечает,— да глупое и надоедное».

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

«Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович,— возговорит,— ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит».

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

«Чего,— говорю,— очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится».

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

«Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?»

«У господ,— говорю,— у соседей или в городе».

«А нет ли,— говорит,— там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходей мой, жениться?»— А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает»,— потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как впало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

«Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город: съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи».

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд, все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

«Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился».

Она отвечает:

«Ну что же; очень рада. Только отчего же,— говорит,— ты к князю не едешь, на его квартиру?»

«А разве,— говорю,— он здесь, в городе?»

«Здесь,— отвечает.— Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит».

«Какое, мол, еще дело?»

«Фабрику,— говорит,— суконную в аренду берет».

«Господи! мол, еще что такое он задумал?»

«А что,— говорит,— разве это худо?»

«Ничего,— говорю,— только что-то мне это удивительно».

Она улыбается.

«Нет, а ты,— говорит,— вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть».

«И что же,— говорю,— вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?»

Она пожала плечами и отвечает:

«Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит»,— и с этим вздохнула и задумалась, сидит опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я ее и взревновал.

«Ох,— думаю себе,— как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

«Князенька к нам приехал!»

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

«Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную, за шкапу, сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем».

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке,

в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

«Здравствуй, старый друг! испытанный!»

А она ему отвечает:

«Здравствуйте, князь! Чему я обязана?»

А он ей:

«Об этом,— говорит,— после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать»,— и мне слышно, как он ее в головку чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

«Здорова?»

«Здорова», — говорит.

«И выросла небось?»

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

«Разумеется, — говорит,— выросла».

Князь спрашивает:

«Надеюсь, что ты мне ее покажешь?»

«Отчего же,— отвечает,— с удовольствием,— и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

«Выведите,— говорит,— нянюшка, Людочку к князю».

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит: «О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут!— и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди»,— а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит:

«Хочешь, мой анфан [1], в карете покататься?»

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

«Же ву при [2],— говорит,— пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается».

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

«Оденьте ее и поезжайте».

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот уже когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что́ у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу ще-

[1] Дитя (от *фр.* enfant).
[2] Я вас прошу (от *фр.* je vous prie).

лочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна, и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

«Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?»

А он отвечает:

«Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому».

Барыня стоит, руки пазад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

«Что же,— говорит,— ты: я прошу,— мне говорить с тобой надо».

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

«Ну, мол, посиди, посиди по-старому»,— и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

«Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?»

«Что же это,— спрашивает князь,— стало быть, без разговора все начистоту выкладать?»

«Конечно,— говорит,— объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы,— церемониться нечего».

«Мне деньги нужны»,— говорит князь.

Та молчит и смотрит.

«И не много денег»,— молвил князь.

«А сколько?»

«Теперь всего тысяч двадцать».

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать,— что: «Я,— говорит,— суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер; я,— говорит,— все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно».

Евгенья Семеновна говорит:

«Где же их достать?»

А князь отвечает:

«Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень неумен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...»

И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает:

«Расчет,— говорит,— ваш, князь, верен».

«Не правда ли?»

«Верен,— говорит,— верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...»

«Да».

«Да; и тогда...»

«Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею».

«Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимите всем этим фу-фу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете».

«Ты так думаешь?»— говорит князь.

А барыня отвечает:

«А вы разве иначе думаете?»

«А ну, если ты,— говорит,— все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить».

«*Нам?*»

«Конечно,— говорит,— тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам».

Барыня отвечает:

«Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен».

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, еслы ты мне веришь...»

А она отвечает:

«Ах, полноте,— говорит,— князь, то ли я вам,— говорит,— верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла».

«Ах да,— говорит,— ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?»

«Присылайте,— говорит,— я подпишу».

«А тебе не страшно?»

«Нет,— говорит,— я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться».

«И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?»

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

«Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная».

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

«Нет,— говорит,— кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай»,— и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит: «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?»

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

«Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила».

«А вы,— говорит,— будто про нее так и позабыли?»

«Ей-богу,— говорит,— позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить».

«Устраивайте,— отвечает Евгенья Семеновна,— только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого».

«Ничего,— отвечает,— как-нибудь успокоится».

«Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?»

«Страсть надоела; но слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья».

«Что же вам из этого?»— спрашивает Евгенья Семеновна.

«Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить».

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила: «Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?»

А князь отвечает:

«Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать».

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастие так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведает; и людито в прислуге всё новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вспрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снесть и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

«Сестрица моя, моя,— говорю,— Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнися мне; покажися мне на минуточку!» И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит: и вот прибежал, вокруг меня вьется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне и повисло и колотится...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

«Родная моя! — говорю, — голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь».

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

«Я жива».

«Ну, и слава, мол, богу».

«Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась».

«Что ты, — говорю, — бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры».

А она отвечает:

«Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить».

Пытаю ее:

«Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?»

А она отвечает:

«Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю».

«Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?»

«Не-е-е-т, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!»

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

«Скажи, — говорю, — мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?»

А она вдруг улыбнулась и говорит:

«Что?.. чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь...»

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

«Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло перееем».

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

«А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...»

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

«Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не

был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила».

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

«Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?»

А она всплескивает руками и говорит:

«Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно изменство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина,— и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать.— Он,— говорит,— платьев мне по своему вкусу таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями, я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь; не идет тебе»; не падену их, в роспашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...»

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

«Я,— говорит,— давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...»

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

«Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое море́вое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула: «Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!»— да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

«А прочудилась я,— говорит,— у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была,— говорит,— со мною ужасная слабость»,— и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не ишел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие,— говорит,— такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!»— да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

«На счастье,— говорит,— мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниял и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А оп:

«Тьфу, тьфу, тьфу»,— заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляке кататься!»— и притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это,— спрашиваю его,— какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...»

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

«Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают... Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте,— говорю,— ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Опи согласились.

«А наместо глаз,— говорю,— станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричат, а я, хоть тягостная, ударилась быстрей коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала цѐлую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать,— вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо!»— и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

«Ты мне все равно что милый брат».

Я говорю:

«И ты мне все равно что сестра милая»,— а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

«Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь свою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час».

«Говори,— отвечаю,— что тебе хочется?»

«Нет; ты,— говорит,— прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану».

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

«Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты,— говорит,—страшней поклянись».

«Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать».

«Ну так я же,— говорит,— за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай».

Я сдуру пообещался, а она говорит:

«Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь».

«Хорошо»,— говорю,— и взял да ее душу проклял.

«Ну, так послушай же,— говорит,— теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих,— говорит,— больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его* и *ее* порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат: ударь меня раз ножом против сердца».

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

«Ты,— говорит,— поживешь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла...— Н... н... н... у...»

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьешь,— говорит,— меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но наконец кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась,— отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу

устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе,— говорят,— у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же,— отвечаю,— мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии, зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побили, но кои переправились за Койсу,— те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог,— говорит,— как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьею парою и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!»— и вышел, разделся. «Отчу» прочитал, на все четы-

ре стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названая, прими за себя кровь мою!»— да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог,— говорит,— какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я,— говорю,— на своем веку много неповинных душ погубил»,— да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо,— говорит,— и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я,— говорит,— очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог, как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем,— говорят,— тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно,— и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал.— Ступай,— говорит,— он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливило мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту*? что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них фамилиев начинается, и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты чрез ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду на пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», вовторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демонов изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в средине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому же с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и всё это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало,

и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил,— здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут),— я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте,— говорим,— так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни

на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших спутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и вопросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и *его*, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: «Противустаньте дьяволу, и побежит от вас», и ты,— говорит,— противустань». И тут наставил меня так делать, «что ты,— говорит,— как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека,— говорит,— первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом *он* понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... *он*-то... Это так: вы его преодолели, но ведь столько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с, что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила,— а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждать?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшо́му: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву,— нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим засну́л, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось,— говорит,— и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги,— я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно»,— отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то,— говорит,— и самое важное есть *ключи:* ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надеж-

ных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну,— думаю,— так тебе и надо», — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили..

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу, — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же,— думаю,— если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что,— говорит,— вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?!

— Да-с, я в погребу наконец в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть,— говорит,— помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай,— говорит,— и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда,— говорит,— все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? Наконец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «Егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, говорят, наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевести и поставить мне образ «*Благое молчание*», пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах завместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все «*Благому молчанию*» молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий,— говорит,— ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я,— говорит,— его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это,— говорит,— по вашей части, а я в этом несведущ, мнение же мое такое: прогоните,— говорит, — его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам «*Благое молчание*» не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.

1873

ПАВЛИН

Рассказ

Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок: откуда бы ни приплыл сюда далекий посетитель и как бы ни велико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия, — говорю *огромного*, потому что остров поистине прекрасен и грандиозные картины его восхитительны. На Валааме за обычай всякий паломник подчиняется *послушанию:* он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревания здесь не рассчитано; но, однако, мне, в сообществе трех мужчин и двух дам, удалось обойти в одну ночь весь остров и запечатлеть навсегда в памяти дивную картину, которую представляют при бледном полусвете летней северной ночи дикие скалы, темные урочища и тихие скиты русского Афона. Особенно хороши эти скиты, с их непробудною тишью, и из них особенно поражает скит Предтечи на островке Серничане. Здесь живут пустынники, для которых суровость общей валаамской жизни кажется недостаточною: они удаляются в Предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампады люди, умершие миру, но неустанно молящиеся за мир: здесь вечный пост, молчапье и молитва.

Не зная направления валаамских тропинок, мы подошли к проливу, отделяющему островок Серничан от главного острова, и, пленясь густыми папоротниками, которыми заросла здешняя котловина, сели отдохнуть и заговорили о людях, избравших это глухое уединение местом для своей молитвенной и созерцательной жизни.

— Какие это люди, с какими силами и с каким прошлым приходят они сюда, чтоб погребсти себя здесь заживо?— воскликнул один из наших собеседников. — Я никак не могу иначе думать, что это должны быть какие-то титаны и богатыри духа.

— Да; и вы правы,— отвечал другой,— это богатыри, но только богатыри, мощные нищетою. Это зерна, которые уже *прозябли* и пошлп в рост.

— А пока они прозябли?

Собеседник улыбнулся и ответил:

— Пока они прозябли... они лежали при дорогах, глохли под тернием и погибали, как вы, и я, и целый свет, пока ветер схватил их и бросил на добрую почву.

— Вы говорите так, как будто вы знали кого-нпбудь из людей, имевших силу погребсти себя заживо в этих дебрях.

— Да, мне кажется, что я действительно знал такого человека.

— Он был умен?

— Да.

— И рассудителен?

— Гм!.. да. А впрочем, я о нем судить не берусь, но я его любил и очень уважаю его память.

— А он уже умер?

— Да.

— Здесь?

— Неподалеку,— ответил, снова тихо улыбаясь, собеседник.

— Жизнь такого человека всегда способна возбуждать во мне большой интерес.

— И во мне, и во мне тоже,— подхватили другие.

Дамы интересовались еще более мужчин, и одна из них, красивая блондинка с черными глазами, обратясь к этому нашему попутчику, сказала:

— Знаете ли, что вы сделали бы нам чрезвычайно большое одолжение, если бы здесь же, в тиши этой дебри, где мы так неожиданно очутились, рассказали нам историю известного вам отшельника.

Другая дама и все мы присоединились к этой просьбе — и тот, к кому она относилась, согласился ее исполнить и начал:

I

Назад тому лет двадцать, когда я был школяром и ходил в одну из петербургских гимназий, мы с покойницей моей матушкой и ее сестрою, а моею теткой Ольгой Петровной, жили в доме моей другой богатой тетки по отцу. Хотя этой последней теперь уже нет в живых, но я все-таки не выдам ее настоящего имени и назову ее Анной Львовной. Дом ее стоит и теперь на том же месте, на котором стоял; но только тогда он был известен как один из бóльших на всей улице, а нынче он там один из меньших. Громадные новейшие постройки его задавили, и на него никто более не указывает, как было в то время, с которого начинается моя история.

Начав свой рассказ не с людей, а с дома, я уже должен быть последователен и рассказать вам, что это был за дом; а он был дом страшный — и страшный во многих отношениях. Он был каменный, трехэтажный и с тремя дворами, уходившими один за другой внутрь, и обстроенный со всех сторон ровными трехэтажными корпусами. Вид его был мрачный, серый, почти тюремный. Впечатление, производимое им, было самое тягостное. Дом этот составлял часть приданого моей тетки, когда она выходила замуж за своего не совсем далекого родственника, очень много обещавшего в свое время, блестящего светского молодого человека, который, впрочем, кончил тем, что необыкновенно проворно спустил все незначительное свое и значительное женино состояние и протянул руки к остаткам ее приданого, то есть к этому дому. Такое поползновение муж моей тетки обнаружил в Париже, где супруги в то время жили и где Анна Львовна думала, что она блистает красотою и может удивить ею весь свет — если бы только на глазах у этого света не мелькала какая-то дама полусвета, с которою борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь сей последней была до того баснословна, что самые солидные дамы интересовались: откуда все это берется у этой куртизанки? Интересовалась, вероятно, этим и моя тетушка Анна Львовна и получила от своего мужа в ответ, что завидное положение проходимки зависит от щедрости какого-то разбогатевшего в индийской кампании англичанина; но вскоре оказалось, что все это вздор и что богач-англичанин был не кто иной, как сам супруг моей тетушки, самым неосмотрительным образом распорядившийся ее состоянием в пользу этой темной звезды. Увлечение его зашло так далеко, что у них не осталось ничего, кроме петербургского дома, о котором я говорю. Узнав об этом, тетка Анна Львовна побесновалась, порыдала, а потом взялась за ум и проявила не только большую силу характера, но даже и порядочную долю жестокосердия: она уничтожила формальным порядком свои доверенности на имя мужа — и, бросив его в Париже на жертву кредиторам, укатила назад в Россию и поселилась в своем доме. Дом этот давал изрядный доход, так что тетка могла без нужды жить этими средствами и воспитывать сына Вольдемара, или, по-домашнему Додю. Мужу она ничего не посылала и никогда о нем не говорила: так он где-то пропадал и, наконец, совсем пропал за границею в полной безвестности. Одни говорили, что он умер где-то в долговой тюрьме; другие уверяли, что служил в долж-

ности крупье [1] в каком-то игорном доме. Но это для нас все равно. Тетка Анна Львовна к тому времени, когда я ее узнал, была женщина лет сорока пяти; она еще сохраняла следы довольно замечательной, хотя самой неприятной, сухой и жесткой красоты, составляющей принадлежность женщины русского бомонда [2]. Анна Львовна жила в своем доме, занимая половину прекрасного бельэтажа. Это было большое помещение, которое давало тетушке возможность жить как должно большой даме, притом даме строгой и солидной, какою она слыла у огромного числа посещавших ее высокопоставленных людей. Она любила немножко рисоваться своим положением, жаловалась при случае на свою беззащитность и ограниченность вдовьих средств — и превосходно обделывала свои дела. Благодаря ее связям и ловкости воспитание сына ей ничего не стоило, она кроме того каким-то образом исходатайствовала себе очень порядочную субсидию за «беспримерное несчастие», а доходы с дома копила. Анна Львовна была женщина очень расчетливая и, по правде сказать, весьма бессердечная, что вы, я думаю, можете отчасти заключить из ее поступка с мужем, которому она никогда не простила его вины и не помогла ему в его бедственном положении ни одним грошом. В доме тетки все ее боялись и трепетали: я это знал отлично, потому что, живучи в одном из флигелей ее дома, я мог наблюдать, как на нее смотрели люди. У тетки не было управляющего: она сама заведовала домом и была госпожою строжайшею и немилосерднейшею. У нее был порядок, что все жильцы должны были платить ей за квартиры за месяц вперед, и если кто не платил один день, тому сейчас же выставляли окна, а через два дня вышвыривали жильца вон. Льготы и снисхождения не оказывалось никому, и их никто из жильцов не пытался добиться, потому что все знали, что это было бы напрасно. Тетка правила мудро: она сама была для жильцов никогда не видима, и к ней никого из них не допускали ни под каким предлогом,— она только отдавала приказания, и немилостивые приказания эти приводились в исполнение. Говорили, что в исполнении этих приказаний никогда не допускалось ни малейшей поблажки, но тетка все-таки находила, что исполнители ее воли действовали еще довольно слабо, и переменила многих из них, пока не нашла, наконец, одного, который вполне удовлетворял ее немилосердной строгости. Этот замечательный человек был швейцар Павлин Петров, по фамилии Певунов, или попросту, как его звали, *Павлин*. Рекомендую этого человека особенному вашему вниманию, потому что, несмотря на его скромное положение, он будет героем начатого вам рассказа. По этому же самому я и опишу его вам несколько поподробнее и расскажу, как мы лично имели удовольствие познакомиться с этим антиком в пестрой ливрее.

II

Когда мы с матушкою поселились в маленькой квартирке одного из флигелей второго двора теткиного дома, Павлин Певунов уже лет шесть состоял у нее в должности швейцара и считался преданнейшим ей человеком и, что называется, ее правою рукою. Насчет безграничного доверия Анны Львовны к Павлину и еще более насчет того, что он жил у нее бессменно много лет, тогда как до него никто из людей у нее не уживался, по дому ходили даже разные нелепые толки, основанные на самых глупых выводах и более всего на том, что Павлин, по мнению многих, был красавец. Опишу вам наружность Павлина в ту пору его жизни, как я его зазнал. Ему в то время было лет с небольшим за сорок, он был мужчина высокий, плотный и очень стройный; светлый блондин, с большими, очень приятными серыми глазами, прекрасным умным лбом, замечательною строгостию в лице и достоинством в движениях и во всей его в глаза бросавшейся многозначительной позитуре.

---

[1] Банкомета (*фр.* croupier).
[2] Высшего общества (*фр.* beau monde).

Можно держать какое угодно пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее Павлина. Я думаю, что он был бы еще важнее в какой-нибудь другой, более важной, не швейцарской ливрее; но, однако, и этот пестрый убор шел к нему чрезвычайно. В расшитом галунами длинном ярко-синем сюртуке с капюшоном, в широкой, убранной галуном перевязи, в трехугольной шляпе и с блестящею вызолоченною булавою в руках, Павлин был настоящий *павлин*, и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной Юноною из Аргуса. По этой представительности Павлин мог бы получить место швейцара в любом из клубов или при каком-нибудь из самых блестящих посольств, но Павлин за этим не гнался и служил в довольно скромном и буржуазном доме моей тетки. Сюда он поступил на первое место в Петербурге, а менять места было не в его правилах. Павлин у тетушки содержался не в особой холе и, по обычаю буржуазных домов, нес на себе несколько обязанностей. Павлин был тетушкин Аргус; при его содействии она могла знать все, что только желала. Он, кажется, видел весь дом сквозь его каменные стены и знал, что делается в самых сокровенных его закоулках,— и это для всех было тем удивительнее, что Павлин не имел во всем доме ни с кем из прислуги никаких сношений. Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру — самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлин жил в небольшой, но очень чисто им содержимой комнате, скрытой за колоннадою просторного парадного антре [1], где на небольшом возвышении между двух колонн стоял его трон, старинное черное кресло с медным драконом на высокой спинке. С тех пор, как Павлин поселился в своей комнате, у него не был никто из посторонних людей, и никому не было известно, что там у него за убранство. Два выходившие на улицу окна клетки Павлина были всегда задернуты чистою кисеею, на них стояли горшки с цветами — и если кому доводилось заглянуть в эти окна вечером, когда комната освещалась изнутри горевшею перед образником лампадою, то тот мог только видеть верх очень чистых, густою голубою краскою выкрашенных стен и ширмы, а более ничего невозможно было рассмотреть. Комната постоянно была заперта, и ключ от ее маленькой двери всегда был у Павлина в кармане. Досужих людей, которые под тем или другим предлогом пытались проникнуть в покой Павлина, он не допускал до этого самым решительным и бесцеремонным образом, так что его, наконец, все оставили, и никто в гости к нему не порывался. Что так тщательно хранил Павлин в своей вечно запертой комнате,— этого никто не мог отгадать, а так как нельзя же было оставить этого без объяснения, то учредившийся в доме наблюдательный комитет за Павлином открыл, что он тоже чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока,— поэтому комитет объявил, что Павлин «молокан». Это всем очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчет личности Павлина настолько, что все почили в спокойной уверенности, что Павлин *гордец по религии*. Как во всяком вздоре есть своя доля истины, так было и здесь: Павлин действительно был заносчив и горд и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою никого из служащих людей. Оно и было понятно: он был поставлен с ними в одну среду, но не имел с ними ничего общего ни по уму, ни по характеру. Прошлое его было мало известно: были слухи, что он из крепостных людей, служил камердинером у какого-то важного лица и лет пять тому назад откупился на волю, взнеся своему господину чуть ли не тысячу рублей серебром за одну свою гордую и суровую душу; но этим слухам не совсем доверяли. Гораздо охотнее верили чьей-то выдумке, что Павлин ограбил почту, убил шесть почтальонов и потом добыл себе фальшивую бумагу, с которою и живет в швейцарах, храня в своей запертой каморке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, и это, разумеется, рассказывали только стороною; сам же Павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он провождал однообразно и рассчитанно, как

[1] Входа (*фр.* entrée).

часы: рано утром он появлялся в антре, мел его и потом скрывался в свою комнату, где пил чай или кофе из какого-то особого самоварчика, которого устройство и способ кипячения оставался для всех секретом и предметом неразъяснимого любопытства. Затем Павлин выходил в одной ливрее на лестницу и отправлялся к тетушке; тут у них шел доклад или беседа, по поводу которой никто ничего достоверного не знал и все сплетничали невероятный, невозможный вздор. Беседа длилась около часа, и после нее Павлин снова появлялся на лестнице, но уже не с пустыми руками, а с домовою книгою, которую клал на столе под клеенку, надевал перевязь, брал в руки булаву и отпирал двери подъезда. Совершив эту церемонию, он садился в широкое, обитое красным сафьяном кресло и начинал просматривать домовую книгу, делая из нее карандашом отметки в особую тетрадку. Этим делом Павлин занимался до десяти. С последним ударом десятого часа он ставил к колонне булаву, сменял треугольную шляпу обшитою галуном фуражкою и в этой полуформе выходил через ворота на двор; мимоходом он молча ударял рукою в дворницкую дверь, и когда оттуда на этот знак тотчас же выскакивали два рослые парня, один с топором, другой с молотком и клещами, и оба ему низко кланялись, он отвечал им на их приветствие молчаливым поклоном и шел далее. Дворники, вооруженные топором и клещами, следовали за ним молча и в почтительном отдалении. Павлин направлял свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая перед ним на руке квартирная книга.

Я вам едва ли сумею передать хоть слабую тень того, что́ такое производило на всех в доме это утреннее шествие Павлина по дому в сопровождении двух следовавших за ним ликторов. Из всех окон длинных флигелей внутреннего двора, занимаемых бедными жильцами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры; нередко вслед ему слышались бранные слова и ядовитые насмешки, еще чаще проклятия и слезные вопли; Павлин не обращал ни на что на это никакого внимания. Он совершал свое течение, как планета в ряду расчисленных светил по закону своего вращения, и не удостоивал никаких заявлений ни гнева, ни сожаления. Шествие это выражает, что Павлин идет собирать ежемесячную плату с бедных жильцов дробных квартир, на которые тетушка переделала все внутренние флигеля — в том основательном расчете, что дробные квартиры всегда приносят более, чем крупные, потому что они занимаются людьми бедными, которых всегда более, чем богатых, и которые не претендуют ни на вкус, ни даже на чистоту. А почему это шествие Павлина представлялось столь внушительным и возбуждало столько ужаса, мы сейчас увидим, если последуем за ним на одну из узких темных лестниц, по которым он взбирается в сопровождении своих ассистентов. Вот он останавливается у известного ему нумера и звонит у двери; ему не скоро отворяют, но он терпелив и не докучает; он слышит, как там шушукаются, бегают, что-то прячут и плачут — и все стоит, а потом звонит во второй раз, не особенно сильно, но так внушительно, что более не отпираться нельзя, и двери нехотя отпираются. Павлин снимает фуражку и спокойно входит в них со своею книгою, а сопровождающие его люди между тем ждут его на террасе. Если он минуты через три выходит назад, то вы непременно видите, что он кладет что-то за широкий обшлаг своей пестрой ливреи. Это он прячет хозяйские деньги и идет далее, в другую квартиру, для которой сегодняшний день есть тоже день очередной расплаты за месяц вперед. Дворники опять следуют за ним по пятам с топором и клещами и ждут его *распоряжений*. Все ждут этих распоряжений, и все молят бога, чтобы их не последовало. Но что же это за распоряжения?.. А вот что: вот Павлин, выйдя из одной квартиры, ничего за свой обшлаг не спрятал, а только кивнул головою, и сейчас же в одном из окон этой квартиры появляются две головы Павлиновых сопутников; топор и клещи работают с неописанною быстротою и ловкостью, рама исчезает — и в обезрамленное окно несется женский крик и детский плач, а Павлин течет далее, и течение его опять где-нибудь выражается исчезающею из окна рамою... И опять крик и плач, и в пустые окна вырывается клубом незащищенная комнатная

теплота, которую вымораживаемая бедность напрасно силится удержать и сберечь вывешиваемыми на рычагах и щетках лохмотьями...

Чем далее в глубь дворов и чем выше этажи по лестницам, тем эти в содрогание приводящие распоряжения Павлина повторяются чаще. Я хотел было сказать «и тем решительнее», но у Павлина ничего никогда не было малорешительно.

Обойдя все двери, в которые ему надлежало в этот день постучаться, он тек обратным течением, а дворники за ним несли выставленные рамы, которые Павлин собственною рукою запирал в особый чулан у себя под лестницею и затем спокойно садился в свое высокое кресло с бронзовым драконом на спинке и начинал читать *Пчелку* и другие газеты, которые получались в доме, проходя непременно предварительно через Павлиновы руки. Это чтение, по-видимому, очень его интересовало, и он занимался им во все свои свободные минуты. Просмотрев газеты и потом уже раздав их подписчикам, Павлин брался за чтение книг, преимущественно или даже исключительно переводных французских романов, которых, впрочем, он по гордости своей ни у кого не выпрашивал, а абонировался на них в библиотеке.

За этим занятием, кроме посетителей, которым Павлин должен был оказать то или другое содействие по должности швейцара, его за этим же занятием заставали другие посетители — это те жильцы, квартиры которых он подвергнул утром усиленной вентиляции через вынутые рамы.

Если неисправный жилец приносил деньги, Павлин молча брал их, отмечал в книге и дергал звонок, на который являлись дворники и, вынеся из чулана молча указанную им раму, отправлялись ее вставить. Если же жилец или жилица являлись с жалобою, пенями или просьбою льготы, то опять молчание, звонок, дворники — и проситель выводился, не услыхав в ответ на свои жалобы ни одного слова.

Так исполнял свою службу моей тетке ее знаменитый Павлин, с которым потом с самим судьба сыграла не менее знаменитую штуку, чем все разыгранные им с жильцами теткина дома.

III

Мы с матушкою и ее сестрою Ольгой Петровной, занимавшеюся при нездоровье maman моим воспитанием, имели в доме Анны Львовны небольшую квартирку по одной из лестниц второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру, и не могу сказать, как бы с нами было поступлено, если бы мы хотя один раз не сделали за нее своего взноса в срочное время. Вероятно, что, не щадя своего запропавшего мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и к его сестре, а моей матери, которая бог весть почему заблагорассудила жить в доме своей золовки, где нас на первом же шагу встретила памятная неприятность, при которой мы в первый раз познакомились с Павлином. Мы перебирались в тетушкин дом в самый рождественский сочельник. День был морозный и, по обыкновению в это время года в Петербурге, очень короткий, так что когда возы с нашею небогатою мебелью въехали на двор, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, а мы с тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анны Львовны, расхаживали по пустой квартире; но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла в свою квартиру, чтобы распорядиться, где ставить вещи. По ее словам, Анна Львовна сама посоветовала ей прийти для этого, и она пришла и сказала людям: «Вносите», но люди только переглянулись, а из-за плеч их вырос Павлин и за ним два его адъютанта с известными инструментами.

— Что тебе, батюшка, угодно?— спросила maman.

— Деньги пожалуйте за месяц,— отвечал Павлин, разворачивая перед maman свою книгу.

— Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утром пришлю,— отвечала maman с родственною короткостию, отстраняя от себя рукою и книгу и Павлина и подзывая своих слуг; но слуги не трогались, а Павлин едва заметно улыбнулся и отвечал, что он до завтра не может ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непременно сию же минуту.

Maman сочла это за невежливость: она так обиделась, что побледнела.

Павлин это заметил, и это ему, очевидно, было неприятно: он насупил брови и с некоторою нервною нетерпеливостью в голосе проговорил:

— Сударыня! Здесь такой порядок.

— Прекрасно, что у тебя такой порядок, но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить...— Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.

Павлин ответил ей на ее последнее замечание:

— Могу-с.

— Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя?..

— Знаю-с.

— А знаешь, так что... так чего же тебе?..

— Деньги-с... я без того не могу позволить вносить ваших вещей.

— Как не можешь позволить? Но неужто же вещам стоять ночь на дворе, и нам на полу спать?

— И вам не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчас велю выставить окна,— отвечал Павлин и, опять сделав нетерпеливое движение бровями, добавил:— У нас такой порядок.

Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говор и смятение. Павлин стоял с книгою в передней и не обращал ни на что это никакого внимания.

— Но это смешно,— воскликнула maman,— я сейчас виделась с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра... Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги. Но... но что за глупость! Я вовсе не хочу с тобой и рассуждать,— добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне.

— Это будет напрасно-с,— сухо ответил Павлин.

— Ну, уж это не твое, батюшка, дело.

И она, взволнованная, накинула на себя платок и пошла к хозяйке, меж тем как Павлин, не покидая своего поста, сделал незаметный для нас знак своим ассистентам — и через минуту, к немалому нашему удивлению, из комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянул проницающий холод. Я, занимавшийся до сих пор рассматриванием пестрого убранства Павлина, оглянулся и увидел, что дворники несли в руках по одной внутренней раме, а в то же время с другой стороны появилась maman и, вся дрожа от холода и негодования, сказала по-французски:

— Представь, Ольга, какова эта Анна Львовна? Вообрази: она меня не приняла!

Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала.

— Это ужасно!— отвечала maman.— Я уверена, что она дома, потому что нет четверти часа, как мы расстались; но мне сказали, что она уехала ко всенощной. Как она может быть у всенощной, когда здесь, в ее доме, так оскорбляют родню ее мужа? Уедем отсюда: пусть всё бросают на дворе, но я не хочу здесь жить, и моя нога более не будет в этом доме! Одевайся, и уедем куда-нибудь в гостиницу. Я не могу одной минуты видеть этого негодяя!

Отпустив этот последний комплимент по адресу Павлина, моя нервная maman начала порывисто надевать на меня мое теплое платье. Между прислугою смятение еще более усиливалось; дворники, с вынутыми рамами в руках, тихонько пересмеивались; извозчики внизу кричали и шумели, ропща, что их долго не отпускают; по квартире расползался через выставленные рамы холод. Павлин стоял в своей строгой позитуре, и на лице его не было заметно ни малейшего беспокойства. Как ни странно может показаться вам мое сравнение, но он мне сразу напомнил тогда собою Гете, величавую и до холодности спокойную фигуру которого я знал по гравюрке, вклеенной в моей детской

книжке. Павлина как будто вовсе не трогали мелкие страдания людей: он имел в виду одну какую-то общую гармонию того, что совершал и видел.

Но, помимо этих моих наблюдений, я не знаю, чем бы все это смешное и досадное замешательство с нами кончилось; вероятно, нас бы прогнали, если бы в дело не вмешалась тетка Ольга. Она отвела maman немножко в сторону и, говоря с нею по-французски, успела ее убедить, что дело от каприза ничего не выиграет и что мы почтенной Анне Львовне ничего не докажем, потому что она уже, вероятно, видела всякие доказательства в этом роде и ни одним из них не переубедилась.

— Но я уверена, что это не она, а этот грубиян,— молвила, смягчаясь, maman.

— А я уверена, напротив, что это именно *она*, а не «этот», как ты его называешь, «грубиян». Он мне кажется очень хорошим и честным человеком, потому что он точно исполняет то, что обязан исполнить; я это уважаю и ценю,— отвечала Ольга.

— Но что же нам делать? Это смешно: у меня недостает денег, я забыла их взять...

— Мы их достанем и заплатим.

— Где? Теперь банк закрыт, на дворе вечер, а у нас нет никого из знакомых (мы тогда только переселились в Петербург из провинции). Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить.

— Нет, не у нее,— молвила тетя Ольга и с этим, подойдя к Павлину, сняла со своей руки два бриллиантовые кольца и спросила:— Не можете ли вы взять от нас это до послезавтра в залог? Послезавтра мы возьмем деньги и выкупим.

— Сударыня, я должен сейчас представить госпоже деньги,— отвечал Павлин с глубоким уважением к Ольге.

Отвечая ей на вопрос, он точно благодарил ее интонацией своего голоса за то, что она о нем сказала maman.

— Ну, пошлите заложить эти вещи в какую-нибудь лавку.

Павлин подумал — и, моргнув одному из своих дворников, велел ему исполнить требование Ольги, заложив ее кольца у какого-то известного ему лавочника, имя которого им названо было и потом для обстоятельности еще раз повторено.

Пока посланный дворник возвратился с деньгами, которых принес более, чем нам на этот случай было нужно, Павлин молча помогал другому вставить вынутые у нас рамы— и, получив, что ему следовало, за квартиру, вежливо поклонился и вышел.

Тетка Ольга, обладавшая не только большим смыслом и добротою, но и превосходным веселым характером и остроумием, тотчас же по уходе Павлина начала очень забавно трунить над нашим минувшим затруднением и привела в самое веселое расположение не только maman и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиков, которые, внося каждую вещь снизу в комнаты, не упускали случая отпускать разные остроты насчет Анны Львовны, величая ее чертовкой, и ведьмой, и другими лестными названиями.

Через час у нас вся мебель была поставлена на место, мелкие вещи более или менее были убраны, и квартира приведена в возможный порядок; а еще через другой час, который мы с матушкою и теткою провели во всенощной, мы застали нашу квартиру уже теплою и встретили праздник на своих чистых постелях. Через день кольца тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но без решимости оставаться здесь долго, после встретивших нас на первых же шагах неприятностей. Maman говорила, что мы здесь не останемся долее месяца, а если она ранее найдет удобную квартиру, то мы переедем отсюда и ранее. Ей никто не противоречил, но другой удобной квартиры, к крайней досаде maman, не находилось, а та, в которой мы теперь жили, была тепла, суха и как нельзя более для нас удобна. К тому же суровый дом тетки Анны Львовны, благодаря царившему в нем строгому духу Пав-

лина, отличался тишиною и опрятностью, на что тетка Ольга указывала maman и мало-помалу убедила ее не горячиться и не переезжать отсюда до лета.

— Мы ее этим не накажем,— говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну,— а только себе наделаем хлопот и убытков. Стоит ли она этого?

Матушка мало-помалу согласилась, что Анна Львовна этого не стоит, и решилась остаться еще на месяц, но только с тем, чтобы «грубиян», то есть Павлин, не возмущал ее спокойствия и никогда не показывался к нам в квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить — и под тот день, когда нам предстоял второй месячный платеж, она сама занесла деньги в швейцарскую и вручила их Павлину.

С Анной Львовной не виделись ни maman, ни тетка Ольга, в отношениях которой к Анне Львовне, я, при всей моей тогдашней неопытности, замечал неодолимое отвращение. Мы жили совершенно как чужие и вовсе не знакомые хозяйке люди, и это нас нимало не тяготило,— ее это тоже, вероятно, не очень смущало. Мы видели из своих окон, как Павлин от времени до времени совершал свои роковые обходы по дому за сбором денег; после чего то в одной, то в другой квартире открывались прорехи; но это нас непосредственно не касалось, и мы к этому скоро привыкли и даже стали понемножку подсмеиваться. Что делать? Такова сила «чудовища-привычки». Мы смеялись не над горем вымораживаемых жильцов, а над тем способом, как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый Павлин с физиогномиею и позитурою Гете, эти дворники с инструментами, напоминающие распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена, и это быстрое выставление и вставление окон и полное равнодушие всех к этому самоуправству — все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое. К нам Павлин не появлялся, потому что в конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его появление, лично занеся ему деньги в его швейцарскую накануне срока; точно так же опять накануне заплатила она и на четвертый месяц, и такой порядок у нас установился, и благодаря ему мы продолжали жить в своей хорошей и удобной квартире, вовсе позабыв, что дом этот принадлежит Анне Львовне, по милости которой мы так оригинально встретили канун рождества. Мы вспоминали о ней, впрочем, когда видели из своих окон огни в ее парадных комнатах, но вспоминали так, мимоходом, равнодушно: «вот-де у нее гости» или что-нибудь подобное. Что же касается до Павлина, то я и сам не знаю, как это сталось, что имя его, бывши у нас долгое время под запретом, вдруг начало произноситься не только без раздражения и злобы, но даже с чем-то похожим на уважение.

IV

Если установившееся у нас доброе мнение о Павлине могло ему на что-нибудь пригодиться, то он обязан был за это тетке Ольге, к которой он при всякой встрече относился с бесконечной аттенцией и сам обрел у нее себе благоволение. Матушка шутя смеялась над тетей Ольгой, что она совершила Даниилово чудо над зверем, поработив себе Павлина, но в этой шутке была своя доля истины: Павлин благоговел перед теткой, хотя к чести его надо сказать, что он, однако, и это благоговение выражал с полным сохранением своего неприступного достоинства. Он только кланялся ей гораздо ниже, чем прочим, и уступал ей дорогу почтительнее, чем самой Анне Львовне, которую он, по наблюдениям тетки Ольги, терпеть не мог и презирал. На чем она основывала эти свои выводы и заключения, никогда не говоря с Павлином, я не знаю, но в выводах этих чувствовалась правда. Из этого вы видите, что у нас почему-то постоянно занимались Павлином: он заинтересовал нас собою, не исключая даже и меня, засматривавшегося на его пеструю

ливрею, и maman, начавшую симпатизировать ему за подмеченное в нем теткой Ольгой презрение к Анне Львовне.

Так шло довольно долго: мы всё продолжали жить в доме Анны Львовны и наблюдали Павлина издали, как вдруг совершенно неожиданно представился повод к ближайшему с ним знакомству. Это случилось таким образом, что maman, будучи недовольна кем-то из прислуги, нанимала другого человека. Вместо отходящего был отыскан и ангажирован другой, и на следующий день этот новый слуга должен был прибыть и вступить в отправление своей должности, но в предшествовавший этому дню вечер тетя Ольга получила с дворником конверт, надписанный на ее имя. Почерк был незнакомый и из нещегольских, каким пишут на Руси грамотные самоучки; в конверте оказалось письмо, писанное опрятно, на чистой бумажке, но тем же самоучковым почерком, и содержало оно в себе, сколько я помню, от слова до слова следующее: «Ваше Высокоблагородие Ольга Петровна! Госпожа ваша сестрица договорили себе прислугу (имярек), но сей договоренный есть человек легкомысленный, а потому к доверенности ему ненадежный, о чем приемлю смелость вам для предосторожности доложить». Подпись: «швейцар Павлин Певунов». Тетка показала это письмо матушке, и та решила послушаться предостережения, которое делал Павлин, и договоренному легкомысленному слуге был послан отказ, а maman, идучи на свою обычную прогулку и встретив на дворе Павлина, поблагодарила его за доброжелательство. Антик снял свою шляпу с галуном и ответил maman молчаливым, но вежливым поклоном. Вечером maman, сидя за чаем, сказала тетке Ольге:

— Но, однако же, нам все-таки нужен слуга. Господин Павлин нам одного опорочил, а где искать лучшего — не показал.

— Это и не его дело,— отвечала тетка.

— Знаю; но... он бы, я думаю, мог нам порекомендовать, если бы захотел.

— А ты его разве прóсила?

— Нет; да он, кажется, со мною и не желает говорить — взглянул оком по меньшей мере министерского величия и откланялся. Другое дело,— пошутила она,— если бы ты его об этом попросила: для тебя он, верно, за высокую для себя честь почтет оказать нам эту услугу.

Тетка приняла эту шутку с обыкновенно свойственною ей веселостью и так же шутя отвечала:

— Хорошо: я его попрошу.

На другой же день тетушка, идучи куда-то перед вечером, вместе со мною зашла в швейцарскую, где Павлин, по обыкновению, сидел один в своем кресле и читал перед зеленою лампою книгу.

Увидев тетку, он тотчас же положил на стол книгу, вежливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный рост, принял позитуру Гете.

Тетушка высказала ему просьбу. Павлин сдвинул брови, подумал и отвечал:

— Ныне обстоятельных к своей должности слуг нет.

— Так вы и не можете нам никого рекомендовать?

— Не смею-с, потому что никого такого не предвижу.

Мы отошли ни с чем, и когда вернулись домой, то maman не мало потрунила над тетушкой, что власть сей последней над Павлином Певуновым не плодотворна и он все-таки грубый бирюк; но тетя и тут защищала его, говоря, что она и в этом его отказе видит только новое доказательство его обстоятельности и благоразумия: он осторожен, говорила она, потому что «обстоятельный человек». А знай он кого-нибудь, за кого бы мог поручиться, он бы, конечно, непременно порекомендовал.

И тетка не ошиблась: к ее вставанью на следующее утро опять появилось краткое письмо, которым Павлин, в лапидарном стиле, просил ее повременить дня два наймом слуги, ибо он получил какие-то сведения об известном «обстоятельном господском служителе, бывшем одних с ним господ».

Тут сказались настоящие чувства maman к Павлину: она перестала говорить о нем как о грубияне и очень обрадовалась, что может иметь слугу одной с ним школы, и изъявила согласие ждать рекомендованного Павлином человека хоть целый месяц. Но это было вовсе не нужно, потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и тотчас же было нанято и вступило в должность скромного лакея нашего скромного жилища.

Поставленный Павлином человек был несколько старше его и гораздо его простодушнее и добрее. Он даже совсем был добряк и имел веселый и открытый характер и необычайную кротость и исполнительность, чем и заслужил у нас сразу всеобщее доверие и расположение, хотя, разумеется, ему в этом немало содействовала рекомендация Павлина, оказавшего нам таким образом первую услугу.

Вскоре он сделал и другую: мы собирались на лето в деревню и грустили, что должны были оставить нашего любимого человека дома при квартире, и что же? Не успели мы об этом поговорить дома за нашим вечерним чаем, как утром опять к тетушке послание: Павлин, опять в том же лапидарном стиле, извещает, что нам отнюдь не нужно никого оставлять на лето в своей квартире, так как он, Павлин, «сам достаточно может ее досмотреть без всякого затруднения». Принять это одолжение было очень соблазнительно; это отлично улаживало все наши дела, и вопрос мог быть только в том, как вознаградить Павлина за его досмотр? К обсуждению этого вопроса был допущен наш слуга, но от него получился по этому поводу решительный протест.

— Павлин Петрович — человек амбиционный,— сказал он,— он это предоставляет из чести, и платою его можно несносно обидеть.

Так это и осталось: ни maman, ни тетка Ольга решительно не могли придумать, чем бы поблагодарить «нашего *доброго* Павлина».

Павлин у нас начал именоваться «*добрым*». Так изменял он в наших глазах свою репутацию в преддверии наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя на искусе в борьбе чувств, ему, по-видимому, вовсе не свойственных.

V

Мы уехали и возвратились, застав свою нежилую во все время нашего отсутствия квартиру в чрезвычайном порядке, а из дверей в двери против нас в другой квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама с престарелою матерью и шестилетнею дочерью, очень красивою девочкою. Нам, разумеется, до этих новых соседей не было никакого дела, но maman и тетка невольно обратили внимание на одну замечательную странность фамильной черты всех трех лиц наших новых соседок: все три они были в разных порах жизни, но у всех у них на лицах — в красоте меркнущей, цветущей и еще только распускающейся — была как бы растворена какая-то родовая печаль и роковое предназначение к несчастию.

Тетка Ольга первым делом позаботилась узнать, не бедны ли они,— и отрадно успокоилась, что у этой семьи есть кормилец; оказалось, что у молодой дамы есть муж, который служит полковым врачом, и они живут не нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: «Слава богу». Это «слава богу» касалось и наших соседок и самой тетки, которая в первую же ночь по нашем возвращении в город видела во сне, будто к нашим соседкам пришел Павлин и его распинатели, и будто из их окон выкидывали все на двор, и в ту же пору со двора поехал гроб, на этом гробу сидела та прекрасная девочка с растворенною печалью в лице и чертами рокового несчастия, а за этим поездом очутился Павлин в своей пестрой ливрее с расписною перевязью и в шляпе. В одной руке у него будто была его блестящая булава и факел, а в другой — его собственная отрезанная голова, а вокруг него из-под земли выныривали какие-то бледно-розовые птицы: они быстро поднимались вверх, производя нестерпимый свист своими крыльями, а оттуда, с высоты, с этих крыльев

сыпались белые перышки и по мере приближения к земле обращались в перетлевший пепел. Минута — и от всей пестроты Павлинова убора уже не осталось и знака, а он стоял весь черный, как обгорелый пень, и был опять с головою, но с какою-то такою страшною головою, что тетушка пришла в ужас, закричала и проснулась,— но проснулась с убеждением, что она видела сон вещий, который не может пройти без последствий.

Тетка не ошиблась: ее сон был в руку, и непререкаемого Павлина ждало тяжкое и роковое испытание.

Дело началось с того, что, проснувшись однажды в жестоко холодное крещенское утро, мы увидали в квартире наших новых соседей три выставленные окна. Матушка и тетка тотчас же поняли, что это работа нашего «*доброго*» Павлина, и так и ахнули. На дворе, как я вам сказал, стояла жестокая стыдь, и нетрудно было себе представить, чтó теперь должны были переносить злополучные женщины, жилище которых добрый Павлин привел среди зимы на летнее положение. Очевидно, они должны были коченеть в своих комнатах без окон. Maman с свойственною ей нервностью страшно разгневалась; назвала несколько раз «доброго» Павлина палачом, жидом и разбойником и послала девушку просить соседок сделать ей одолжение занять на время одну из наших комнат, которая сию же минуту и была приготовлена к их принятию. Но девушка возвратилась с ответом, что самой соседней барыни нет дома,— что она куда-то ушла, а старушка мать ее благодарит за участие, но решительно отказывается принять матушкино предложение. Отказ старушки был мотивирован тем, что она ждет дочь и уверена, что та скоро возвратится с деньгами, тогда-де заплатим, и все опять будет в порядке. Maman опять послала второго посланца просить, чтобы к нам отпустили хоть маленькую девочку, которой вынутые из окон рамы угрожали простудою. Это посольство было задачливее: я точно сейчас вижу, как к нам привели шестилетнюю девочку с прехорошеньким, но будто отмеченным какою-то печатью несчастия лицом. Есть такие лица, есть: по крайней мере я не раз встречал их. Наша маленькая гостья, очевидно, неясно понимала тогда затруднительное положение своего семейства и, освободясь из шелкового ватошника, в котором ее привели в нашу переднюю, обратила свое внимание на то, чтобы взойти с известною грациею и сделать реверанс, что ей вполне и удалось. Видно было, что о ее внешней благовоспитанности и манерах заботились,— впрочем, тогда дети, не умеющие войти и поклониться, еще не входили в моду,— фребелевских матерей у нас еще не было.

Пока мы обогревали девочку, которую звали Любою, ее мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась домой. Наши видели, как эта молодая дама прошла к себе в квартиру, но, к величайшему нашему удивлению, она не спешила из квартиры прибежать или прислать за дочерью, и за нею, как бывало в подобных случаях, если недоимка была вымогнута, не несли выставленных рам... Все зто были плохие знаки. Нетрудно было отгадать, что бедная соседка наша вернулась без денег: мать и тетя Ольга поняли зто сию же минуту, и последняя, нимало не медля, бросилась в разоренную квартиру, а еще через минуту вернулась назад, щелкнула ключиком своей шкатулки и снова убежала к соседям. Десять минут спустя по двору подвигалась известная процессия: дворники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбан с замазкой, а за всем этим пестрый Павлин, с его, до сих пор в трепет меня приводящею, платежною книгою. Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нужные деньги и что соседки наши приняли их и заплатили за свою квартиру, которая немедленно же была приведена в порядок и топилась. Но как комнаты, оставаясь в течение нескольких часов без окон, значительно настыли, то maman и тетя не только не отпустили домой маленькой Любы, но залучили к себе на весь день и ее мать. Просили и бабушку Любы, но старушка вежливо благодарила, а ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же Любы просидела у нас до полуночи и, горько плача, рассказала, что муж ее служит врачом в одном из находившихся тогда в Венгрии русских полков, что состояния у них никакого не было и нет; но что они

жили без нужды до тех пор, пока муж ее не выступил с полком в поход. Сначала он присылал им на содержание, но вдруг два месяца замолк, и они не имеют о нем ни слуха ни духа.

— Бог весть,— говорила, рыдая, дама,— может быть... его уже нет в живых, или он в плену, или с ним случилось еще что-нибудь худшее — и тогда... мое бедное дитя... мое бедное дитя, что с ним будет?

Она взглянула на Любочку, которую я развлекал, усадив ее на кресло и стоя перед нею на коленях, и вдруг быстро отвернулась и, закрыв рукою глаза, молвила в каком-то вдохновении:

— Темно, темно: я не могу глядеть в эту темнь!

И она вдруг затрепетала, рванулась к ребенку и, прижав к груди своей ребенка, замерла.

Тетка Ольга знала более; она знала, что кормильца этих сирот уже не было на свете: его не то поразила венгерская пуля, не то прикончила лихорадка. И бабушка знала об этом и сказала это тетке Ольге с тем, чтобы она помогла ей открыть роковую весть бедной вдове и пособила бы ей принять весь ужас ее беспомощного положения.

Тетка, вероятно, исполнила как-нибудь это печальное поручение, хотя я не знаю, как и когда она это сделала: потому что моя впечатлительная и нервная maman после этого дня ни за что не хотела оставаться в нашей квартире, и мы вскоре же действительно выбрались в другой дом, где не было ни Павлина, ни жестоких порядков, которые он с такою суровостью приводил в исполнение.

VI

Maman, как очень многие впечатлительные женщины, более всего избегала сцен возмущавшего ее жестокосердия и заботилась о том, чтобы *не видать их*, но нервы тетки Ольги были крепче, и она не боялась становиться с горем лицом к лицу, а потому она и здесь не оставила наших злополучных соседок и навещала их с своей новой квартиры. Тонкая деликатность тетки, вероятно, не позволяла ей спросить у них: есть ли им чем заплатить за следующий, наступающий месяц, но она стерегла и подкарауливала, как им обойдется урочный день наступающего срочного платежа. Я помню, как она тревожно и с каким сердобольным беспокойством берегла в своей памяти этот день, страшась, как бы не просчитать его, и, дождавшись, когда он наступил, рано утром побежала в дом, где наши бедные соседки оставались во власти Павлина. Взбежав на двор, она прежде глянула на их окна... рамы были на месте... Тетка успокоилась. Прошел и еще месяц — и тетка Ольга опять точно так же стерегла срочное число и опять с деньгами в кармане побежала к старым соседям, и опять все застала в полном порядке и спокойствии, какое было возможно в их стесненном положении. По крайней мере квартира была тепла, хотя, видимо, все мало-помалу пустела. На третьем месяце у этих бедных жильцов умерла старушка бабушка... Ходили странные слухи: говорили, будто она отравилась фосфорными спичками и сделала это в полной памяти и с знанием дела: она распустила фосфор не в воде и не в спирте, как это делает большинство отравляющихся этим способом, а в масле, в котором фосфор растворяется совершенно. Говорили, что она отравилась с единственной целью не обременять собою бедную дочь, которая не хотела ее оставить и бедствовала, давая дешевые уроки, тогда как она с одною девочкою могла бы поступить куда-нибудь классною дамою или гувернанткою. Бабушка хотела развязать своей дочери руки, и развязала их с удивительным спокойствием. Справедливы или нет были все эти толки об отраве — я наверное не знаю; но только старушку, однако, схоронили без всяких полицейских историй, а расчет ее оказался неверным: хотя она и развязала руки дочери, но дочь ее не получила желаемого места,— а, напротив, бегая по своим дешевым урокам, совсем надломила свой потрясенный организм, после чего ей доволь-

но было самой маленькой простуды, чтобы у нее развилась жестокая болезнь, менее чем в месяц низведшая эту бедную женщину в могилу.

Она умирала, не оставляя дочери ничего: ни имения, ни добрых людей, даже моей доброй тетки Ольги не было тогда в городе, потому что она об эту пору ездила в другой город к родным и возвратилась в очень скверный день, когда по грязному снегу ранним февральским утром на Волково кладбище тащились бедные дроги с гробом, у изголовья которого тут же, на дрогах, сидела заплаканная Люба, а сзади дрог шел... Павлин... Словом, все точь-в-точь, как тетка Ольга видела когда-то во сне. Павлин был с непокрытою головою, облаченный для сего печального случая в серую шинель на старом волчьем меху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этим событием, и, переговорив с maman, решили взять сиротку Любу к нам, пока удастся ее куда-нибудь устроить; но все это оказалось излишним: Люба была уже устроена, и, вероятно, не хуже, чем бы могли устроить ее мы с нашими весьма ограниченными средствами и без всяких сколько-нибудь веских и значительных связей. Виновником попечительных забот об осиротевшей девочке явился тот же самый Павлин, который два месяца тому назад вымораживал ее вместе с ее матерью и бабушкой.

Когда тетка Ольга, окончив свои переговоры с maman, пришла в швейцарскую Павлина, чтобы узнать от него, где Люба, она не нашла его на обычном кресле. Это было едва ли не первое нарушение Павлином своих обязанностей с тех пор, как он надел в этом доме пеструю ливрею и взял в руки блестящую булаву.

Осведомясь у кого попало о швейцаре, тетка узнала, что он уже возвратился с кладбища к себе и пронес туда на руках в свою комнату девочку.

Тетка, долго не раздумывая, направилась к неприкосновенному апартаменту Павлина и растворила дверь. Перед нею открылась очень маленькая комнатка, с диванчиком, на котором помещалась плачущая Люба, а перед нею стоял на коленях Павлин и переменял на ребенке промокшую обувь.

При входе тетки он встал и, вежливо поклонясь ей, сказал:

— Сударыня, верно, изволили пожаловать насчет барышни?

— Да,— отвечала тетка.

— Изволите желать взять их?

— Да.

— Как вам угодно.

Девочка тянулась к тетке, и мы ее взяли, но ввечеру того же дня к нам появился Павлин и просил доложить тетке, что он пришел переговорить о сироте.

Павлина позвали в зал, куда к нему вышла и тетка. Они говорили около получаса, по истечении которого Павлин ушел, а тетка возвратилась к maman в восторге от ума и твердости характера Павлина.

Павлин, явясь к тетке, объяснил ей, что желает взять Любу на свое попечение, но не настаивает на этом, если девочка может быть устроена лучше. А для того, чтобы дать тетке возможность судить о его средствах и благонадежности, он нашел нужным рассказать ей свое прошлое и представить нынешнее свое положение и планы насчет Любы. По его словам, он был крепостной человек, обучен музыке, но не любил ее, и из музыкантов попал в камердинеры, потом откупился дорогою ценою на волю сам, своею единственною душою; но после собрал трудами и бережливостью довольно большую для его положения сумму, он выкупил на волю свою старуху мать, сестру и зятя и снял им на большой тульской дороге хороший постоялый двор. Затем, считая себя обязанным помогать хозяйству этих родственников, он сам не женился и жил для родных; но назад тому с месяц он получил известие, что все его родные вслед друг за другом поумирали холерою. Оставаясь теперь совершенно одиноким и находя, что ему время для женитьбы уже прошло, Павлин выразил желание остаток дней своих посвятить сироте Любе, которая, по своему положению, сделалась ему чрезвычайно жалка.

Тетку мою так тронуло это доброе движение, что она подала Павлину

руку и посадила его, чтобы он обстоятельно изложил ей свой план, которому думает следовать насчет Любы. Тетка была уверена, что степенный Павлин, решась взять дитя на свои руки, непременно имеет ясные намерения, которые и рассчитывает привести к выполнению, и она не ошиблась. Павлин действительно имел план, и притом весьма обстоятельный, удобоисполнимый и вполне отвечающий его солидному и твердому характеру. Он приготовился не только взять девочку и воскормить ее, но расчел весь путь, каким она должна была войти в жизнь и стать в ней твердою ногою. При этом он обнаружил в своем характере некоторые до сих пор еще не замеченные в нем черты, а именно: прямоту, скромность и презрение к тщеславным посягательствам человека на высший полет. Павлин избирал сироте, может быть, очень скромную долю: он сказал тетке, что намерен отдать Любу в школу к одной известной ему очень хорошей даме, где девочка года в четыре обучится необходимым, по его соображению, наукам, то есть чтению, письму, закону божию и арифметике, а также «историческим сведениям», а потом он отдаст ее учиться рукоделиям, а сам в это время к выходу ее из этой последней науки соберет ей денег, откроет магазин и потом выдаст ее замуж за честного человека, «который ее мог бы стоить. Этак,— говорил он,— я располагаю, будет гораздо вернее, потому что к благородству, если удастся судьба, можно всегда очень легко привыкнуть, но самое первое дело человеку иметь средства на себя надеяться».

Тетке, которая всегда была сама очень умна и проста, этот простой и удобный план воспитания необыкновенно как нравился, но maman план Павлина не совсем был по мысли: она находила, что никто не имеет права таким образом «исковеркать будущность бедный сиротки против того, на что она имела право по своему происхождению». На этом maman и тетка никак не могли согласиться, и они, вероятно, долго бы спорили, если бы в дело не вмешался случай и не порешил все это по-своему: здоровье maman потребовало перемены климата, и она должна была уехать на год далеко из Петербурга к своему брату; меня отдали в Петербурге в пансион, а моя добрая тетка отъехала в иную сторону и устроилась особенным образом: она поступила в один уединенный женский монастырь на берегу Днепра за Киевом. Сиротку Любу таким образом волею-неволею пришлось вверить исключительным попечениям Павлина, которого рвение устроить это дитя и средства все это сделать были притом едва ли не далеко превосходнее наших. Притом же и нравственные ручательства, которые Павлин дал тетке при прощании с нею, значительно успокаивали ее за судьбу Любы. Павлин объяснился тетке в таком роде:

— Я знаю, сударыня,— сказал он,— что меня считают злым человеком, а это все оттого, это я почитаю, что всякий человек должен прежде всего свой долг исполнять. Я не жестокое сердце имею, а с практики взял, что всякий в своей беде много сам виноват, а потворство к тому людей еще более располагает. Надо помогать человеку не послаблением, так как от этого человек еще более слабнет, а надо помогать ему на ноги становиться и о себе вдаль основательно думать, чтобы мог от немилостивых людей сам себя оберегать.

И так maman и тетка, оплакав Любу, оставили ее Павлину на его произвол делать из нее женщину без слабостей и способную саму себя оберегать, а вышло, что она — эта маленькая девочка — сделала из самого Павлина то, чем этот крепкий человек вряд ли думал сделаться.

VII

Время шло; Павлин воспитывал Любу точно так, как обещал моей тетке в первом их разговоре об этой сиротке. Пока я проводил последние годы в гимназическом пансионе, Люба училась в домашней школе у одной дамы, которой Павлин платил за учение и содержание своей питомки с свойствен-

ной ему аккуратностью. Здесь Люба, разумеется, не набралась больших знаний, но, однако же, все-таки узнала гораздо более, чем считал для нее нужным и полезным Павлин. Занятый своим делом, я было совсем позабыл о Любе, но, увидев ее случайно на улице вскоре после своего поступления в университет, я тотчас же ее вспомнил и очень ей обрадовался. Мне тогда было лет восемнадцать, а Любе шел четырнадцатый год. Она расцветала и обещала быть очень красивою девушкой, у нее выполнялась очень стройная и преграциозная, миньонная [1] фигурка; головка ее была повита густыми волнующимися золотистыми волосами самого приятного цвета, и при этом — черные брови и длинные темные ресницы, из-под которых глядели два большие темно-синие гла̀за. Я так был поражен ее красотою, что противу воли моей не умел этого скрыть, и мы оба друг друга сконфузились и расстались, не успевши наговориться. Потом еще через год мы с нею снова встретились в церкви за ранней обедней, где она, еще более расцветшая, стояла впереди Павлина, глядевшего на нее, как мне тогда казалось, с глубочайшею нежностию. Восемь лет имели на Павлина небольшое влияние, но влияние не особенно разрушительное: он только начал седеть и потучнел, но все-таки был молодцом для своих пятидесяти лет. В его выходном костюме не было никакой разницы; Люба же у него была одета скромно, но очень опрятно и держалась барышней,— Павлин, в поношенной коричневой бекеше, казался ее дядькой. Он, как я вам сказал, стоял сзади Любы и держал на руке ее плащ и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому что в церкви было довольно жарко. Жарко было всем, но казалось, что Любе было особенно знойно и томно: она краснела как маков цвет, и взгляд ее представлялся мне беспокойным и растерянным. И еще что было замечательнее, эта видимая напряженность ее состояния усиливалась по мере приближения службы к концу. Мне сдавалось, что в этой напряженности кое-что принадлежит моему неожиданному появлению перед Любой, так как она, увидав и очевидно узнав меня, не переставала наблюдать меня своими большими зрачками из-под густых и длинных темных ресниц. Последствия убедили меня, что я не ошибался; когда я по окончании обедни подошел к Любе, которой Павлин подавал в это время ее верхнее платье, напряженность ее достигла крайней степени: она мне едва кивнула головкой и, спешно одеваясь, все совала руку мимо рукава, меж тем как на опущенных книзу ресницах ее потупленных глаз сверкала большая полная слеза — слеза не умиленная и добрая, а раздражительная и досадливая. Люба, несомненно, страдала от того, что я видел ее с *лакеем*, но не в том положении, в каком лакей мог бы быть приятен для человеческой суетности. Павлин не показывал ни малейшего вида, что он это замечает, но я был уверен, что он все это видел и понимал; однако же он, по-видимому, не смущался, но делал свое дело, как всегда, точно и аккуратно, то есть в данном случае он одел Любу и оправил все на нее надетое не более как со вниманием служителя; а Любе, казалось, и это не нравилось: она, что называется, *пижонилась* — сторонилась от него, как голубенок от соседящегося к нему грача.

Во мне шевельнулись старые воспоминания: припомнилось уважение, которое моя добрая тетка выражала к этому суровому блюстителю всякого принятого на себя долга,— и мне стало досадно на Любу: я одновременно подал правую руку ей, а левую Павлину и, как умел, ласково сказал ему:

— Я очень рад, что вижу вас, Павлин Петрович,— простите, что подаю вам левую руку, но она ближе правой к сердцу.

Он сжал мою руку крепко-крепко, и мне показалось, что на глазах у него даже блеснула слеза, но не такая, как у Любы. Это не скрылось от Любиной наблюдательности, и потупленные глаза ее поднялись: она точно обрадовалась, что между всеми нами тремя как будто восстановилось равенство,

[1] Милая, изящная (от *фр.* mignonne).

и просияла. Павлин опять был тот же по внешности, но было что-то такое, что и в нем сказалось тихо сдержанным удовольствием.

— Любовь Андревна-то-с,— заговорил он ко мне, выходя из церкви,— как переменились... выросли — совсем особенные стали против прежнего вида.

— Да, выросла и...— я хотел сказать, что она похорошела, но нашел, что не следует ей этого говорить, и добавил, что я едва узнал ее.

— Как же,— отвечал Павлин,— помните... ведь они тогда остались... совсем ребенком... А теперь им нынче уже пятнадцать лет.

Я очень некстати удивился, что будто уже со дня сиротства Любы идет десятый год. Тем зто и кончилось; но в следующее воскресенье я опять свиделся с Любой и Павлином в той же церкви, и встречи эти пошли все чаще и чаще, пока, наконец, я однажды увидал Павлина в церкви без Любы и осведомился: что это значит?

— Они... Любочка, нездоровы-с, — отвечал швейцар, называвший Любу в ее присутствии не иначе, как Любовь Андревна.

Я спросил: что с нею такое случилось?

Павлин задумался и развел руками, а потом неохотно промолвил:

— Должно быть, что-нибудь от воображения.

— Разве,— говорю,— Любочка очень мнительна?

— Нет-с, если вы полагаете мнительность насчет болезни, то нет-с; на этот счет они не мнительны, а даже напротив... не занимаются собой; а... так... в характере у нее сохраняется что-то... этакое...

Мы на этом расстались и после долго не виделись, но вдруг совсем неожиданно в один осенний вечер ко мне приходит Павлин и с тревожным выражением сообщает, что Люба заболела.

— Пришла,— говорит,— в прошлую субботу ко мне вечерком на одну минуту и вдруг разнемоглась и всех перепугала.Анна Львовна своего доктора присылали; и даже сами приходили и молодой барин... но теперь ей лучше: спала немножко, и, проснувшись, говорит: «Как бы мне хотелось что-нибудь о моей мамаше слышать». Сделайте милость, пожалуйте к ней посидеть. Она про вас вспомнила — и я замечаю, что ей хотелось бы про детство свое поговорить, так как вы ее мать видели. Вы этим ей, больной, большое удовольствие можете принести.

Я встал и пошел.

— Только, знаете, если она будет много спрашивать, вы ей не всё говорите,— шепнул Павлин, вводя меня в заповедную дверь своей швейцарской комнатки.

Эта комната, которую я теперь видел в первый раз, была очень маленькая, но преопрятная и приютная; она мне с первого же вгляда напомнила хорошенькую коробочку, в которой лежит хорошенькая саксонская куколка: куколка эта была пятнадцатилетняя Люба.

VIII

Павлин оставил нас здесь с Любою вдвоем, а сам пошел хлопотать о чае. Люба сидела в кресле, с ногами, положенными на скамеечку и укутанными стареньким, но очень чистым пледом. Я приветствовал ее выражением удовольствия, что она поправляется, и сел напротив ее через столик.

Она мне ничего не ответила, но вздохнула и сделала гримаску, которую я принял за выражение какого-нибудь болезненного ощущения,но зто была ошибка: Люба хотела показать своею гримасою, что она недовольна и безутешна.

— Я вовсе не рада, что я выздоравливаю,— проговорила она мне наконец, надув свою губку.

— Не рады! Что же, вам нравится болеть?— отвечал я, стараясь настроить разговор на шутливый тон; но Люба еще больше насупилась и молвила:

— Нет, не болеть, а у...

— «У...»?— отвечал я с попыткою обратить дело в шутку.— Вам еще рано «у...».

— Я очень несчастна,— прошептала больная, и слезы ручьями полились по обеим ее щекам.

Я старался ее успокоить общими утешениями вроде того, что вся ее жизнь еще впереди и пройдет тяжелая полоса, наступит и лучшая, но она махнула мне ручкою и нетерпеливо сказала:

— Никогда мне ничего лучшего не будет.

— Почему?

— Так... мне это на роду написано.

Я посмотрел на нее и не нашелся, что ей отвечать: в ее словах звучало не минутное болезненное настроение, а в самом деле что-то роковое, и во всем существе ее лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ее личико напоминало мне лица ее бабушки и матери. Разговор наш прервался и не шел далее. Люба не выспрашивала меня о своем прошлом, как ожидал Павлин, а молчала и сердилась. На что? Очевидно, на свое положение. Кого же она в нем винила? Устроившее так провидение?.. Нет; у нее, кажется, был на уме другой виноватый — и этот виноватый, как мне показалось, был едва ли не Павлин. Подозрительность подсказывала мне, что, вероятно, между ними незадолго перед этим произошла какая-нибудь сценка, от которой Павлин растерялся, и, не желая беспокоить Любу своим присутствием, а в то же время жалея оставить ее одну, позвал меня к ней сам, без всякого ее желания. Та же, может быть, не совсем основательная подозрительность подсказывала мне, что Павлин нажил себе в Любе напасть. Люба казалась мне девочкою не в меру чувствительною, претензионною и суетною, а я уже и тогда знал, что с такими существами серьезному человеку нелегко ладить. Мне сдавалось, что всё страдание Любы, главным образом, происходит от того, что она живет в швейцарской, а не в бельэтаже, и что она обязана благодарностью *лакею*, а не его госпоже... И вот, придя с тем, чтобы сожалеть Любу, я невольно начал жалеть Павлина. Он, казалось, уже пасовал перед нею и теперь чувствовал, что он прирожденный лакей, а она, всем ему обязанная, все-таки прирожденная барышня, в которой сила привычки заставляет его признавать существо, чем-то его превышающее. Люба тоже, несомненно, замечала это преобладание над своим воспитателем, но у нее не было великодушия, чтобы быть скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она всего охотнее рассказывала лишь о том,что у нее сегодня и вчера была сама Анна Львовна и ее старший сын Вольдемар, тогда только что произведенный в корнеты одного из щегольских гвардейских кавалерийских полков. Надутая и молчаливая, Люба чрезвычайно охотно распространялась об их посещении и о том, что они «говорили с нею по-французски, потому что не хотели, чтобы Павлин понимал их разговора», и при этом Люба со вниманием рассматривала и нюхала оставленный ей старою генеральшею флакон с ароматическим уксусом. После этого разговора я был окончательно убежден, что, чтобы вылечить Любу, надо бы ее только, как кошечку, перекинуть с места на место, то есть перенести из швейцарской в бельэтаж — и последствия невдалеке же показали мне, что я не ошибся.

Выздоровев и побывав в бельэтаже у генеральши, молоденькая Люба нашла отраду в том, чтобы хотя несколько часов в день не удаляться оттуда. В мастерскую, куда она была отдана Павлином, теперь ей было так тяжело идти, что при одной мысли об этом она снова разнемогалась. Павлин не знал, что ему с нею делать: он все только жаловался говоря:

— Вот, вот люди!.. Гм... подруги... наговорили ей, знаете, про то, что она благородная! Теперь не хочет! А что такое это благородство?— Пустяки.

Принудить же Любу, заставить, поневолить ее идти в мастерскую... на это непреклонная воля Павлина была бессильна. Взять же ее к себе и держать в своей каморочке он тоже находил неудобным и непристойным, так как каморка была тесна, а Люба была уже почти совсем взрослая девушка. Одним

словом, дело гнуло совсем не туда, куда направлял его Павлин,— и что же вы думаете: как он нашелся уладить всю эту неладицу? Ручаюсь, что вы не отгадаете!.. Павлин через год женился на этой шестнадцатилетней Любе, на этой пустой и напыщенной девочке, которая его презирала со всею жестокостию безнатурности,— и вы были бы несправедливы, если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлин Любу к этому прямо или косвенно чем-нибудь приневоливал. Нимало нет; молодая девушка сама этого захотела. А как ей это пришло в голову — про это я вам сейчас расскажу.

IX

Как иногда люди женятся и выходят замуж? Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо бо́льшим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду: не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая. Так было и у Павлина с Любой.

Люба хотела только не идти в магазин, где какая-то девочка сказала ей грубость, и в этих —целях «пижонилась» и, ластясь под крылышко Анны Львовны, жаловалась и горевала, что ей опять надо идти туда, где люди так необразованны и грубы, что не умеют ценить преимуществ ее происхождения, а напротив, как бы мстят ей за него.

— Да и наверное они мстят тебе,— отвечала, глядя на Любу, Анна Львовна.

Они обе в это время сидели и работали у матового карселя в уютном кабинете.

— И чему этот Павлин хочет тебя еще учить? Не понимаю я этого!— продолжала Анна Львовна, взглянув на Любину работу,— по-моему, ты и теперь уже превосходная мастерица.

— *Он* хочет мне открыть магазин...

— *Он*... Позволь мне тебе сказать, что этот твой *он* — ужасный, пестрый, гороховый шут. Зачем он будет тебе открывать магазин?

— А что же ему со мной делать?

— Что делать?.. Очень просто; я не понимаю: зачем он на тебе не женится?

Девушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва ли думала о замужестве, но во всяком случае оно представлялось ей желанным вовсе не с Павлином. Генеральша видела, что высказанная ею мысль не приходила в голову Любы, но видела и то, что она ее, однако, не пугает и, по-видимому, довольно хорошо укладывается в ее голове.

— Конечно, так,— продолжала генеральша.— Ты думаешь, это легко быть модисткой, лгать всякой роже: «Это хорошо! Это вам идет!» да потрафлять на всякий каприз и становиться перед каждою на колени да мерку снимать?.. А между тем, выйди ты замуж... это гораздо лучше. Особенно если за него, за Павлина; тогда бы мы с тобой никогда не расставались: ты бы у нас при гостях разливала чай и кофе, я бы тебе что-нибудь платила, на гардероб, а по вечерам мы бы с тобою сидели и вместе работали, ожидали бы, пока Володя приедет и расскажет нам, где что делается. Володя очень любит с тобою говорить, и ты всегда будешь как своя в нашем доме.

Люба, краснея, молчала, и на ресницах у нее стали поблескивать слезки, а генеральша продолжала:

— А то ты подумай, что же, если ты, открывши магазин, когда-нибудь и выйдешь хоть и за молодого человека, да за необразованного какого-нибудь, положим, хоть ремесленника или даже чиновника — ничего ведь из этого лучше не будет. Так в том кружке и погрязнешь. А за кого-нибудь другого, повыше, тебе выйти мудрено, потому что ты не так поставлена.

— Я это знаю,— произнесла, глотая слезы, Люба.

— Вот и прекрасно, что ты такая умница! А Павлин, как ты хочешь, он хоть и немолод, но человек редких правил, он тебя ни в чем не стеснит: я его более двадцати лет знаю, и всегда он честен, всегда умен, всегда в порядке и при том всем, хотя я не верю, что люди болтают, будто бы он нажил себе у меня порядочные деньги, но он человек очень бережливый, и какие-нибудь деньжонки у него непременно есть в запасе. Вот пусть он на тебя этот запасец-то и порастрясет. Да, мой друг, да! И ты этого стоишь. И оно, конечно, так все и будет, потому что же ему может быть приятнее, как не наряжать молоденькую и такую хорошенькую жену? Поверь-ка мне, что люди его лет гораздо надежнее, чем всякие вертопрахи вроде этого художника, который ходит снимать с меня портрет и все на тебя заглядывается.

Люба спламенела: она еще в первый раз слышала, что на нее заглядываются мужчины — и притом слышала это от такой солидной женщины, как генеральша, к которой молодая девочка стремилась, как травка к солнцу. Ей было приятно, что Анна Львовна ее так бережет, и Люба разнервничалась, и, сбросив с колен работу, кинулась к ней на грудь и заплакала, лепеча:

— Заступитесь за меня, я вас во всем буду слушаться.

Анна Львовна отвечала ласками на ее ласки и продолжала ее наставлять и уговаривать и, наконец, заключила:

— Я только одного боюсь: может быть, Павлин в самом деле тебе кажется немножко стар?

Люба молчала.

— Может быть, тебе непременно хочется молоденького мужа?

— Ах, я ничего об этом не говорю,— перебила Люба.

— Ну и прекрасно, если ты этого не говоришь, так и дай бог добрый час.

Девочка испугалась, что все было так скоро кончено, и, краснея, поспешила сказать, что она ни за кого не пойдет замуж; но Анна Львовна пропела ей стишок из «Красного сарафана», что «не век-де пташечкой в поле распевать и златокрылой бабочкой порхать», и, рассмеявшись, приподняла рукою ее личико и спросила:

— Не хочешь ли ты в монастырь?

— Мне все равно,— отвечала шепотом Люба.

— О-о-о, лжешь; не те у тебя глазенки, чтобы идти в монастырь. Нет, ты там всех будешь смущать: мужчины, вместо того чтобы богу молиться, будут на тебя смотреть.

Девушка рассмеялась.

— А ты вот что... шутки в сторону, ты подумай, на что тебе решиться: я тебе об этом давно хотела сказать и теперь так серьезно говорю, потому что вижу, что ты нас очень полюбила...

— Я вас очень, очень люблю!— подтвердила Люба, покрывая поцелуями генеральшины руки.

— Да, и я понимаю, что, побыв с нами, ты в мастерскую к этим своим швеям решительно не можешь идти...

— Решительно не могу! Я скорее утоплюсь.

— Я все это понимаю; решительно все понимаю, но не знаю, зачем топиться: это грех. Павлину не делает чести, что он такой умный чловек, а посылает тебя туда, где ты наслушиваешься всех этих нехристианских мыслей: я уже ему про это говорила...

— Вы ему говорили *про это*?

— Да; я ему говорила, и он тоже это понимает и согласен со мною, но ты посуди: куда же ему тебя деть? В самом деле, ведь с тобою очень трудно что-нибудь придумать: ты так воспитана, что гувернанткою ты не можешь быть, потому что мало знаешь; бонною при детях ты тоже еще не годишься, потому что очень молода; а ведь в швеи или в горничные тебя опреде-

лить — это ему будет очень тяжело... Он о тебе все-таки заботился... Не правда ли?

Девушка уронила тихое: «Да».

— Ну, вот видишь,— продолжала генеральша,— я бы, положим, сама взяла тебя к себе жить...

Люба кинулась перед нею на колени и воскликнула:

— Ах, возьмите! возьмите! Бога ради возьмите!

— Но какая же будет у меня твоя роль?

— Это все равно; только бы у вас...

— Да и Павлин этого не захочет; он непременно найдет, что это нехорошо, и не захочет; к тому же у меня взрослый сын, мужчина. Положим, что он у меня добрый молодой человек и очень тебя любит, но все-таки ты теперь уже совершеннолетняя девушка, и это не идет. А раз что ты выйдешь за Павлина замуж... тогда все это прекрасно улаживается.

Девушка молчала, а Анна Львовна продолжала:

— Мой совет вот: послушайся меня и выходи за Павлина замуж, и ты будешь жить преспокойно; а время свое ты будешь проводить у нас: я стара, и мне все простят эту слабость, что я тебя к себе приблизила.

Люба опять молчала.

— Ну, что же, надо говорить, а не молчать: быть так или нет?

Девушка опять припала к мягкой пухлой руке своей покровительницы и прошептала:

— Вы лучше знаете, что мне нужно: я на все согласна.

Так экспромтом подготовилось это несчастье для Павлина с Любою, в которую Павлин действительно был жестоко влюблен, но только не смел о ней думать. Когда же генеральша все это за него обдумала и прямо открыла перед ним двери рая, у него закружилась голова, он позабыл все доводы рассудка, заставлявшего его не мечтать о Любе.

Я как сейчас помню визит, которым он почтил меня, приглашая к Любе шафером. Павлин был неузнаваем: он просидел у меня с час и все делал в это время себе разные комплименты, чего с ним прежде никогда не бывало. Мысль, что его любит молодая девушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала язык, что он сделался несносно болтлив и даже хвастлив, но, конечно, совершенно по-своему. Он и в этом порыве говорливости все стоял на почве долга.

— Я человек простой,— говорил он,— но я человек довольно начитанный, и я, изволите видеть, раньше времени себя не погубил. Я давно разве не мог бы жениться-с? Очень бы мог-с, и многие женщины мне к этому виды подавали, но я имел такой долг, чтобы этого не сделать. Проще сказать: я для родных этого не сделал. Глупые люди говорили, что родные мои будут мне неблагодарными родственниками, а я останусь на старость лет один. Что же, я никогда на это не уважал: я ведь родным помогал не из благодарности, а долг свой исполнял; я и Любовь Андревну воспитал совсем не из благодарности и не из каких-нибудь видов, а вышло вот, что счастье себе и подругу в них получил. Надо всегда делать все как должно, а уже оно само непременно все выйдет как следует, на настоящую пользу.

Этот обобщающий вывод меня чрезвычайно заинтересовал, и я с величайшим вниманием слушал, как Павлин все подводил под это правило: выходило, что он и окна у жильцов выставлял для блага человечества, в тех видах, что *она*, то есть Анна Львовна, жалости не знает и надо, чтобы на свете никто на жалостливых не рассчитывал, потому что их немного, да и в тех можно ошибиться, и «тогда хуже выйдет. А строгость лучше: при ней всяк о себе больше заботится и, злых людей опасаясь, лучшее себе во всем получает».

И за сим, менее чем через две недели после этого разговора, Павлин сделался мужем своей питомки Любы, а вскоре и очень большим страдальцем по ее милости и по милости других, не пощадивших ни его заслуг, ни его седин и достоинств его замечательного, твердого и честного характера.

X

Я не знаю, достаточно ли я обрисовал в начале своего рассказа генеральшу Анну Львовну? Вероятно, нет, и потому теперь еще раз обращусь к этому и вкратце скажу, что это была женщина не только сухая, своекорыстная и жесткая, но и едва ли не жесточайшая и расчетливейшая эгоистка в мире, способная не остановиться ни перед чем, ради самых ничтожных своих выгод. Она всегда была готова с невозмутимейшим спокойствием приносить в жертву для самомельчайших своих расчетов и счастие и самую жизнь своего ближнего. То самое делала она и теперь, соединив пожилого Павлина узами брака с юною Любой. Анна Львовна знала, что Люба не может любить Павлина, и не ошибалась: ни лежавшая между супругами огромная разница лет, ни строгость Павлинова характера, ни его внешняя суровость — ничто не позволяло надеяться, что Люба рано или поздно привыкнет к своему мужу и станет питать к нему что-нибудь, кроме страха и отвращения — не столько как к старику, сколько как к лакею... Генеральша Анна Львовна сама хотя давно умерла для всяких увлечений, но все-таки она была женщина и знала, что в таком супружестве, какое она устроила для Павлина и Любы, у последней непременно будет много горьких минут если не бешеной, то тихой, но ядовитой тоски; а от тоски разовьется мечтательность, мечтательность воспитывает беспокойное воображение, а беспокойное воображение чего не нарисует и чего не подстроит? Анна Львовна знала, что в молодой голове с беспокойным воображением непременно скоро пойдут сравнения,— и как вообще никакая жизнь не сможет выдержать сравнений с пылкой мечтою, то мечта одолеет и... Люба увлечется и очутится в руках Анны Львовны. Вы не подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказав вам, будто генеральше понадобилось, чтобы Люба попала в *ее руки*. Нет, ей действительно так было нужно. Чтобы скорее вести мою историю к концу, скажу вам прямо, что Анна Львовна, соединив Павлина с Любою, затеяла на их счет прежестокую игру, мысль и план которой внушили ей самые возвышенные чувства, именно *материнские*.

Володичка, служа в щегольском полку, стоил Анне Львовне дорого и вел себя рискованно. Анне Львовне хотелось его немножечко присадить дома, а как его присодишь, когда его тянет надесно и налево. Женить его было рано; вниманием светских женщин он хотя и хвастался, но на самом деле ни в чем подобном никогда никакого успеха не имел; иностранные дамы из «морских» и в те времена обходились так дорого их адораторам [1], что генеральша трепетала всякого слуха о сближении Володички с этими кровопийцами,— а между тем Володичка доказывал, что он, как русский барчук известного тона, непременно должен жить как все «порядочные люди»; а для того чтобы жить так — он, конечно, хотел обнаруживать покровительственные права на какую-нибудь женщину, которая была бы не хуже других за веселым столом у любого из «морских» рестораторов. Генеральша и сама понимала, что это настоящему светскому кавалеристу необходимо, и против этого не спорила; но это и тогда, как и теперь, стоило чертовски дорого, и вот... добрая мать, после долгих ночных дум и соображений, набрела на мысль, что у нее против всего этого есть под рукою универсальнейшее средство, и это средство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна,— и если ее немножечко *поразвить*, то она очень и очень может отслужить Доде службу за выездную даму: а что Додя влюбит ее в себя — в том может ли быть сомнение?

Он, на взгляд матери, был хорош собою — и хотя она считала его «дураком на службе», но у него такой красивый мундир, он умеет подбирать себе аккомпанемент и поет романсы вроде кружившего тогда женские головы песнопения об «удалом постояльце»:

---

[1] Обожателям (*фр.* adorateur).

— Как хорош, не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый!
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты.
Боже мой! боже мой!
Ах, когда бы он был мой!

Анна Львовна знала, что того скудного обаяния, каким владел ее «дурак на службе», было много, слишком много для легкомысленной женщины, имеющей семнадцать лет от роду и мужа старика, которого она стыдится... Игра казалась беспроигрышною, и началась подтасовка и сдача на руки карт.

Прежде всего, чтобы повысить социальное положение Любы, обратились к шутке: ее все в доме звали «швейцаркой Любой». Это очень хорошо звучало и удачно маскировало ее лакейский марьяж [1]. Все молодые люди, вертевшиеся в доме Анны Львовны, видели в Любе не молоденькую жену надутого швейцара Павлина, а что-то совсем особенное, стоящее совсем ни от кого независимо и... и привлекательно.

За Любой началось волокитство, умеренное и сначала благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое. Ухаживали за нею без исключения все товарищи Доди. Любе не нравился из них никто; она довольна была всеми, кого видела в доме Анны Львовны, но, как говорили встарь поэты, сердце ее еще никого не избрало, и Павлин был счастлив. Счастлив чем? Разве Люба так любила и счастливила его? Нет; Люба была все та же: она от него только тщательно сторонилась и проводила все свое время у Анны Львовны за работою или разливанием кофе и чая, но Павлин безмерно любил ее и не желал ничего, кроме ее счастья. Для ее счастья было нужно не быть с ним — он и это принимал с удовольствием. Уязвленный страстью, Павлин совсем, что называется ослеп, и осуетился: его прирожденный демократизм стаял, как снег, и он сам хотя и не стыдился своей пестрой ливреи, но, видимо, желал, чтобы Люба забирала крылом повыше. Люба, знакомая с французским языком с детства и подучившаяся ему еще более в школе, а потом окончательно напрактиковавшаяся у Анны Львовны, радовала своего мужа тем, что она могла держать себя совсем как барышня, совсем как иностранка,— словом, швейцарка по всем статьям. В Павлине, который всего этого как бы сам желал, в то же время развивалась особенная, весьма странная робость, которую он чувствовал перед капризами Любы. Бедный старик, кажется, беспрестанно стеснялся тем, что она родовая барышня, а он лакей. Ему, вероятно, никогда и в голову не приходило, что он будет ее так любить и так ее стесняться, как это вышло. Он против этого нимало не восставал и не возмущался: напротив, ему даже нравилось служить Любе и во всем поблажать ей. Он рядил ее как куколку, рядил именно так, чтобы она походила не на швейцаршу, а на настоящую швейцарку. Это порядком опустошало мешок его заветных, но относительно, конечно, весьма незначительных сбережений; но он все это терпел безропотно и усугублял экономию на себя и на все те статьи, где мог заменить расходы личным трудом. Так, с женитьбою своею он хотя не ослабел в исполнении своих служебных обязанностей, но у него уже не оставалось так много времени для чтения романов, потому что чуть Люба, вставши и раздевшись утром, отправлялась наверх к Анне Львовне, Павлин убирал свою комнату, пересматривал женин гардероб и, наконец, брался приводить его в порядок. Люба наверху шила для Анны Львовны разные broderie anglaise,[2] а Павлин, запершись на ключ в своей чистенькой каморочке, чистил женины сапожки, пришивал подпоровшуюся прюнель, закреплял пуговки и крючочки и грел в маленькой круглой печке плоильные щипцы и утюги, а когда они раскалялись — вытаскивал из-за шкафа гладильную доску, покрывал ее чистым закатником и начинал гладить и плоить ее рукавчики, юбки и манишки. Взявшись за эти занятия в видах экономии, Павлин скоро

[1] Брак (*фр.* mariage).
[2] Английское шитье (*фр.*).

достиг в глаженье и плойке надлежащего совершенства, но сбережения от всего этого были ничтожны в сравнении с огромными расходами, каких требовало франтовство Любы и страсть Павлина утешать ее хорошими нарядами, о которых Люба его никогда не просила, но которыми влюбленный старик сам хотел ее забавлять и тешить.

При таком баловстве и холе Любе нетрудно было для всех посетителей дома Анны Львовны оставаться на счету интересной «швейцарки»— иностранки, которою заниматься в качестве хорошенькой, пикантной женщинки отнюдь не предосудительно: с нею говорили, смеялись, шутили и вообще обращались как с ровнею. Некто из приятелей сына генеральши, имевший небольшой талант грациозно рисовать карандашом женские головки, беспрестанно набрасывал во всех альбомах легкую белокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себе у автора эти приятные абрисы. Эскизы эти, расходясь по рукам jeunes dorés [1], сообщали Любе довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и вовсе о том не заботясь, сделалась в некотором роде магнитом для очень многих молодых людей, желавших видеть оригинал художественного списка. Таким образом, у Любы являлось все больше и больше поклонников: за нею волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видела и допускала. Что же касается до Павлина, то он обнаруживал в отношениях к своей молоденькой жене такую толерантность, какой не встретите у очень многих крикунов о независимости чувств и равноправии полов в рассуждении свободы. Павлин, впрочем, предавался в это время некоторой суетности: он *молодился* и с этой целью достал где-то редкую, по его словам, книгу, из которой вычитывал замечательные вещи. Так, например, он однажды рассказывал мне, что «совсем утвердился в своих правилах насчет обязанности человека, который, если будет жить по нравоучению долга, то проживет на свете по меньшей мере сто лет». Свой век в пятьдесят лет Павлин рассматривал на основании той книги только как *совершеннолетие* и по той же книге уверял, что «умирают ранее ста лет одни глупцы, а болеют негодяи, которые практики жизни не понимают». Что же касается до него, то он, всеконечно, был глубоко убежден, что им эта «практика» вполне усвоена.

— Я,— говорил он,— никогда болен не был и не знаю, зачем болеть: живи как следует: не пей вина, ни кофею, не копти грудь табаком — не заболеешь: спи без подушки в правильную линию — и не будешь гнуться; а ешь солонее и пей кислее, так и умрешь — не сгниешь.

Из этих сказов Павлина я познал тайны его обыденной гигиены и подумывал: вряд ли все это может нравиться молоденькой и свеженькой Любе?

Он нимало не претендовал, что Люба почти не жила в его швейцарском затворе, в котором с женитьбою Павлина появились новые занавесы, цветы и канарейки. Он даже не ревновал, когда выходящие от Анны Львовны молодые люди, принимая из его рук свои шинели, расточали неосторожно не совсем скромные похвалы красоте «швейцарки». Павлин при этих хвалениях только молчал и улыбался в свои густые светло-русые усы.

Благоразумный и рассудительный, но всегда строгий к себе и честный Павлин, не будучи способен ни к какому коварству и предательству, не подозревал его в других и потому, имея ум свой чистым и светлым, являлся совершенно слепым. Глядя на него, можно было проверить всю истинность слов Бэкона Веруламского о людях, которые, вследствие преобладания философского настроения, делаются совами, видящими только во мраке своих умозаключений и слепотствующими при свете действия, а особенно лишенными способности видеть то, что всего яснее и очевиднее. Как «сынове мира сего мудрее сынов света в роде своем» и как Павлин в своем роде был сын света и слуга долга, то сынове мира его перемудрили и обокрали...

---

[1] Золотой молодежи (*фр.*).

Люба была окончательно отвращена от мужа и затем, конечно, сбита с толку и обманута сама. Как это произошло — я не стану вам рассказывать, потому что сам при том не был и ни от кого этих подробностей не слыхал, да и, наконец, не все ли это равно нам, как это сделалось. Довольно того, что имеющий стадо овец таки взял и отнял последнюю у имевшего одну овцу.

XI

Вам, я думаю, едва ли нужно говорить, кто был виновником увлечения Любы? Нетрудно отгадать, что она, при всеобщем за нею волокитстве, должна была сделаться львиною долею Доди, которому особенно благоприятствовали на этот счет все домашние обстоятельства. Люба проводила с ним дни и ночи под одним кровом и... не столько увлеклась им, как спасовала и сдалась перед его настойчивостью. Она видела, что он готов мстить ей, нарушая дорогое ей расположение Анны Львовны; видела, что когда он супится и дуется на нее, это огорчает ее благодетельницу, и та плачет и страдает... Люба не нашлась как поступить иначе и отерла ее слезы.— Додя был малый пустой, он мотал деньги, когда они были, а когда их не было, добывал их под тройные векселя, и при всем том не имел дамы, которая бы слыла его фавориткою за ужинами. Люба ему представилась удобною для этой роли, и он ее к тому предназначил и довел. На этот выход ее снарядил и одел сам Павлин своими собственными руками (он мне впоследствии рассказывал об этом в одну прискорбнейшую минуту своей жизни).

Это был такой случай: на дворе стояла зима; в городе шли балы и маскарады, и Анна Львовна, желая доставить бедной Любе маленькое удовольствие, снарядила ее на один из костюмированных балов в дворянском зале. Об этом выезде Павлину было сказано чуть ли не за месяц, а в течение этого месяца в доме шли хлопоты о Любином костюме. В этих хлопотах принимали участие все, начиная от самой Анны Львовны до Павлина, который, сверх обыкновения, был постоянно отрываем от должности и бегал с записками то в один, то в другой магазин за мелочами, требовавшимися к волшебному костюму Любы. Самым же выполнением костюма, требовавшим особых художественных соображений, заведовал в качестве главного художника друг и товарищ Доди, рисовавший такие удачные карандашовые портреты Любы. Все это, разумеется, сближало молодых людей до самой дружественной короткости и совсем затушевывало в головке Любы старого мужа-лакея. Наконец костюм был готов и вышел как нельзя более удачен. Павлин увидал жену, сходившую по лестнице сверху в сопровождении родственницы Анны Львовны и оберегавших Любу кавалеров, в числе коих были главный художник и Додя.

Люба была одета *Зарею*: на ней был легкий эфирный хитон из расцвеченной красками в тень дымки. Низ этого широкого, густыми складками платья был темен как ночь, но чем выше, тем темнота редела, облегчалась и переходила мягкими полутонами в другие, более легкие и яркие цвета, и с пояса вверх становилась уже такою воздушной и легкой, что фигура Любы словно утомилась и таяла, как облако, и посреди-то этого таяния светлая головка Любы сияла, венчанная лилией и красною розой; а за плечами у нее сквозили переливами света испещренные тысячью цветов восковые крылышки, в руках же у нее был золотой светоч, обвитый голубыми незабудками и махровым маком. Сон и пробуждения, темная дрема страстей и яркий разгар их — все знаменовалось в Любе приличными приспособлениями, и Павлин такою усадил ее в карету, а через четыре часа вынул ее из этой же кареты совсем другою: восковые крылья ее растаяли и изорвались, платье было изорвано, светоч растрепан и опален...

Люба, встретив мужа, не сказала ему ни слова; не хотела прикоснуться к приготовленной им для нее жареной курице и пастиле, а, сорвав с себя пла-

тье, бросилась в постель, обернулась к стене и, не двигаясь, пролежала в таком положении остаток ночи и весь следующий день. Павлин берег ее долгий сон, но берег его напрасно: Люба не спала, а она сначала долго плакала и потом лежала с красным, воспаленным лицом и сухими открытыми глазами, устремленными в одну точку.

Всякий мало-мальски наблюдательный человек, взглянув на эту женщину, не усомнился бы сказать, что у нее через руки прошла большая игра, и это было верно. Люба сама хотела открыть что-то на этот счет Павлину, но передумала и, дождавшись вечера, оделась и пошла жаловаться на Додю Анне Львовне. Однако жалоба так дурно сочинялась в ее голове, что она и это отменила и ограничилась тем, что пожаловалась на Додю ему самому и... заключила мир поцелуем. Но любовь и обладание Любою было не все, чего требовалось Доде: мужчине таких свойств, как Додичка, в соотношениях с женщиною главнее всего щеголять любовницею, показывать ее и хвастать ею перед другими, чем Додичка, разумеется, и не преминул воспользоваться. Санки, на которых спускалась добродетель Любы, раскатились быстро книзу. Раз начатые выезды и веселости под маскою стали повторяться. Когда Павлин, дремля поздно вечером в своих креслах, поджидал запаздывающих жильцов парадной лестницы или укладывался без подушки на жесткий коник за колоннами, он и не подозревал, что в это время его жена отнюдь не скучает с Анной Львовной, а носится в черном домино по ярко освещенным маскарадным залам под руки с золотою молодежью, а в те часы, когда он пробуждается и посылает жене вверх на генеральшину половину мысленный привет, нежная Люба, с головкою, отуманенною парами шампанского, спускается неверными шагами с лестниц французского ресторана, а потом мчится на погромыхивающей бубенчиками тройке, жадно глотая распаленными устами свежий воздух и весело напевая шансонетки своему сопутнику, прижимающему ее к своей груди под теплою шинелью.

Долгонько-с все это шло шито да крыто. Петербург не провинция, здесь попадается только тот, кому самому придет охота попасться. Одни сквозные ворота, которые пользовались таким благоуважением гоголевского Осипа, составляют, как известно, такой эффект в петербургской жизни, что с ними не пропадешь, и Люба дознала это опытом. Скоро оставив всякую застенчивость и позабыв внутренно мучиться тем, что она бесчестит седины мужа, она еще скорее перестала беспокоиться о том, как скрывать от него свое поведение. Обстоятельства так хорошо сложились, что, казалось, обманщице никогда нечего было опасаться. Старая генеральша так рано уходила в свою комнату и так плотно запирала за собою двери из маленькой моленной, где спала на обитом мягким ковром оттомане Люба, что последней не стоило никакого труда встать, одеться в свои лучшие платья, которые по милости той же генеральши хранились в шкафах ее гардеробной. Анна Львовна или крепко спала, или была так занята своими счетами, что никогда не слыхала этих сборов. Более: она была так простодушна, что даже никогда невзначай им не помешала ни уходить, ни приходить. Люба с Додичкой спускались черною лестницею, проходили на улицу задними воротами, у которых их за углом ожидал отчаянный лихач или ухарская тройка — и след их стыл или заметался прахом. Дальше ночь-матка покрывала все гладко, а потом утром они возвращались тою же дорогою, один в свой кабинет, другая в образную, где могла, если хотела, поплакать перед слабо освещенными строгими, темными ликами фамильных икон. Но плакала ли перед ними Люба о своем низком падении? Верно, немножко поплакалось вначале, но зато очень много поплакала в конце своего яркого блистания в полусвете. Полусвет!.. этот мало пристойный, но крепко затягивающий круг был затрогиваем очень многими писателями в литературах всех образованных стран света, не обходящихся без своей стороны полусвета, но едва ли он имеет где-нибудь полное, комплектное описание, которое могло бы знакомить с физиологиею его роковой и чудовищно затягивающей жизни. У нас он вовсе никем не изображен ни в одной мало-мальски живой и яркой картине.

XII

В полусвете страсти кишат и пылают часто гораздо сильнее, чем в свете, и наша швейцарка увлеклась своей новой жизнью и играла видную роль в своей среде. Сначала Додичка ее насилу *вывез* в круг «морского плавания», — она так дичилась и конфузилась, что едва решилась на это только после клятв Доди, что это нужно для его бесценной карьеры. Она любила этого мальчишку и понимала, что ему недостает для его renommée [1] женщины, которою он мог бы щеголять, как щеголяют подобными женщинами другие, и Люба выступила на путь состязаний в полусвете. А потом тут вскоре замешалось самолюбие: Люба увидала, что Додя трусит и сомневается, может ли он предстать с нею, не опасаясь, что она будет хуже других, то есть покажется робче и неловче, заговорит не складнее, не остроумнее и преснее, чем известные в этом роде Iréne, Jacqueline, Fadette и Lisette? [2] Отнюдь не лишенная ума и проницательности, Люба заметила эту обидную неуверенность, в ней заговорила гордость суетной красавицы, и она во что бы то ни стало положила себе быть первою между теми последками, куда спускалась, и все, что она себе тогда в уязвлении своей гордости положила — то все так в совершенстве и исполнила. Додичке не приходилось краснеть за Любу: она сразу же вошла в свою роль и исполняла ее с таким апломбом, что самые кровные морские львицы французской породы должны были признать полный успех за madame Paulin. И была своя пора, свое время, что этим славным именем дышала вся атмосфера, окружающая известные кружки золотой молодежи. О madame Paulin говорили на «солнечной стороне», в театральных партерах, у буфетов ресторанов и на подъездах, где встречались знакомые амикошоны. Это сладостное имя, может быть, даже не раз долетало до ушей самого Павлина; но что ему было за дело до этого? он не знал, что оно значит.

Между тем успех Любы усиливался, темная слава ее росла; она уже не только заняла весьма видное место, но даже господствовала и царила в полусвете: проводить вечер с madame Paulin — это было высочайшее comme il ne faut pas [3], прокатить ее на своей тройке — это было счастие, ужинать с нею en deux [4] — это такое блаженство, за которое многие не постояли бы за крупные суммы, но Люба была клад не купленный: она любила Додю и тем окончательно сбила его с толку. Он возмечтал о себе так высоко, что не умел сочинить себе цены, и возмнил, что для любой женщины нет человека его драгоценнее. Этим воспользовалась дышавшая на Любу зависть и злоба соперниц по полусвету: зазнавшегося Додичку коварно приласкали и усыпили в коварных объятиях, и потом все это вывели наружу. Люба была уязвлена в самое сердце и стала мстить равнодушием. А между тем, пока она вела эту игру, Додичку трясли за карман, и трясли так немилосердно и ловко, что он не успел оглянуться, как погряз в самых запутанных долгах. Тут началась история обыкновенная, кончившаяся, однако же, не совсем обыкновенно. По мере того как средства Додички истощались, соперницы Любы охладевали к ее изменнику и, наконец, насытясь местию и не видя в Доде более ничего лестного, покинули его на жертву скорби и унижения. Между тем в это время с глаз Павлина начала опускаться завеса: Люба, обнаруживавшая так много способностей скрывать свою любовь, решительно оказалась бессильною так же скрытно переносить свое страдание: она, во-первых, сбежала из апартаментов своей благодетельницы и плотно поселилась у мужа. Этим шагом Люба, разумеется, не хотела начинать шагов бесповоротных к доброму житью, а желала только не видать некоторое время своего изменника: бедняжка надеялась дать ему этою порою почувствовать, что она к нему равнодушна и легко может обойтись без него... Потом, вероятно, ею опять ожи-

---

[1] Репутации, славы (*фр.*).
[2] Ирена, Жаклина, Фадетта и Лизетта (*фр.*).
[3] Здесь: пренебрежение правилами хорошего тона (*фр.*).
[4] Вдвоем (*фр.*).

далось возвращение прошлых чувств и прошлых забав и наслаждений, а между тем по неискусности и неопытности Любы в этом деле музыка заиграла совсем не то, что бедная женщина написала на нотах. Павлин напряг ум и зрение, чтобы проникнуть, что за сокровенная, но злая скорбь мутит его жену? Доискиваясь этой разгадки, он сначала было подумал: не обидела ли Любу Анна Львовна, но Люба успела уверить мужа, что Анна Львовна ничего ей не сделала обидного. Тогда подозрения Павлина пошли по другому пути и все прямее и ближе к цели.— Он мекнул: не обидел ли его жену monsieur Woldemar? и сердце его упало в груди и заныло. В этом расстройстве он вдруг лицом к лицу столкнулся с бледным и расстроенным Додичкой, который возвращался откуда-то домой, что называется, не имея на себе зрака человеческого.

Павлин, встретив молодого человека и приняв брошенную им шинель, покачал вслед ему укоризненно головою и только что обернулся, чтобы продолжать уборку антре, как почувствовал бесцеремонный и тяжеловесный удар по плечу: он оглянулся и увидал двух полицейских и одного плац-майора, которые, немножко стесняясь, немножко храбрясь, спросили Павлина: дома ли Анны Львовнин первенец. Получа утвердительный ответ, неожиданные гости пошли втроем по лестнице, а у дверей оставили двух солдат, квартального и бледного, встревоженного старичка с жидовским обличьем. Павлин понял, что тут что-то дело неладно, и хотел как-нибудь предупредить Анну Львовну, но полицейский пристав тотчас же заметил это и арестовал его.

Павлин несколько удивился, но удивление это еще более усилилось, когда он услыхал, что пристав вместе с тем распорядился, чтобы была арестована Люба, и тотчас же неожиданно начал делать обыск в его каморке.

Павлин было попытался сказать что-то в защиту своего жилища, но едва он вымолвил одно слово, как пристав ударил его по шляпе и крикнул:

— Что, у тебя шляпа к башке приросла, или ты боишься рога показать?

— Рога!— молвил растерянный Павлин.

— Да, рога, рога,— отвечал ему развязный офицер.— А ты, пестрый дурак, еще не знал до сих пор, что у тебя есть рога? Поклонись же за них своей миленькой жене и поцелуй у нее ручку, которая так ловко в чужие комоды ходит...

Павлин более ничего не слушал и не понимал: с него было много и того, что звучало в его ушах: «рога и комоды».

«Что сделала Люба? Что она могла сделать такого, за что бы ее обыскивали и, наконец... арестовали?»

Да, ее арестовали, и притом не одну, а вместе с Додичкой, только с тою разницею, что Додю повезли куда-то в карете, а ее квартальный увел в часть пешком с солдатом.

XIII

Павлин пришел в себя, когда ни Додички, ни жены его не было. Он тотчас же отправился в полицейскую часть, где получил объяснение, за что была арестована его жена, и ни с того ни с сего явился поздно вечером ко мне с просьбою дозволить ему переночевать у меня, так как он *боялся* ночевать в доме Анны Львовны, ибо, «поняв все дело как следует, опасался, как бы не мог во гневе сделать чего не должно». Я, разумеется, ему в этом не отказал, и вот тут-то наступила довольно странная в моей жизни ночь, когда я в течение нескольких часов жил в недрах чужой души и сам ощущал то палящий жар ее любви и страдания, то смертный леденящий холод ее ужасного отчаяния. Павлин находился в состоянии сильнейшего возбуждения, но какого возбуждения? какого-то странного и непонятного. Я хотел бы для более точного определения наблюдаемого мною тогда состояния этого человека воспользоваться библейским выражением и сказать, что он был *восхищен* из самого

себя и поставлен на какую-то особую степень созерцания, открывающего ему взгляд во что-то сокровенное. Если помните, в Эрмитаже, недалеко от рубенсовской залы, есть небольшая картинка Страшного суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко каким-то средневековым художником. Там есть эмблематическая фигурка, которая помещена в середине картины, так что ей одновременно виден вверх бог в его небесной славе, а вниз глубина преисподней с ее мрачным господином и отвратительнейшими чудищами, которые терзают там грешников. Всякий раз, когда я становлюсь перед этой картиной и гляжу на описанную мною фигуру, мне непременно невольно припоминается Павлин: так, мне казалось, схоже было его душевное состояние с положением этого эмблематического лица. Павлин, если так можно выразиться, страдал мучительно, но торжественно и благоговейно: он не пал духом, не плакался и не рыдал, но и не замкнулся в суровом и гордом молчании, в чем многие полагают силу характера. Напротив, он созерцал, откуда ниспал и куда еще глубже того мог погрузиться и низвесть с собою другое существо,— и он принял все над ним разразившееся, как вполне заслуженный им удар учительной лозы, и заговорил в самом неожиданном для меня тоне самоосуждения. Взойдя ко мне, он сел в моей зале без всякого моего приглашения и несколько минут провел в глубоком и тихом молчании, переводя глаза с предмета на предмет и потирая на коленях одну руку другою, а потом вдруг окинул меня тяжелым, как бы усталым взглядом и спросил:

— Слышали-с?

Я догадался, что он спрашивает о драматическом случае с его женою, и, чтобы не заставлять его попусту мучить себя повторением этого рассказа, отвечал ему утвердительно.

Он покачал в раздумье головою и тихо произнес: «Это ужасно!», а вслед за тем, как бы спохватясь, добавил живее: «Вы извините меня, что я так... сел...»

— Сделайте милость, Павлин Петрович!

— Колени гнутся-с... Все на ногах был... столько часов. Не мог успокоиться-с... пока ее не увидал... Все хотел утвердиться во всем.

— И что же: видели вы ее?

Он ничего не ответил, но склонил в знак согласия молча голову и через минуту начал таинственным шепотом:

— Благородная-с!.. Всю душу свою мне открыла... на груди моей плакала-с и прощения просила...

— Вы простили?

— То есть... в чем же-с? Она мне, открыв душу свою, в глубь меня зренье открыла, и я-с ужаснулся-с. Ее вина про себя, как легкий жаворонок, все пропела и под небом скрылась; а мой грех, как грач разботелый, понизу крячет и от земли не поднимется... Я сейчас ходил к духовному отцу, он меня утешал, говорит: «Ты закон сохранил, а она жена неверная». Позвольте!.. Это все смоковничье листье: ими я себя не закрою. Бог видит, где был я, когда к годам своим сопрягал ее юность? Я насильник: я вижу, что я пал, как гора, и рассыпался... Вы полагаете, что я тот, какой был вчера и третьего дня? Нет-с: ныне в день скорби господь мне явил свою милость: я внял, что я прах, что я весь образован из брения и что все вожди страстей могут орать и сеять на хребте моем: страсть, гордость, нечистота, и сластолюбие, и ревность, и... и... склонность к убийству... Ах! ах! ах!..

Он вскочил и, заметавшись по комнате, продолжал:

— Простите меня... Я... сам я теперь ничьего прощенья не стóю, а ради Христа... во имя Христово.. простите!.. Я все говорю и... молчать не могу... Дух внутри... меня теснит, как вино неоткрытое, и... бьет в совесть и язык подвигает к гортани... Прошу... если со мной что случится... чтоб знали, что я ее погубил, а *она*... она только чувства любви укротить не могла... Обвиню ль ее в том... ее... слабый, скудельный сосуд, когда сам на нее, на весь ее юный век тем же грехом поползнулся... Прав господь... меня наказуя: благословляю душу того и исполню все к счастию их.

— Что вы такое думаете?
— Я... я хочу сделать... чтобы я не мешал.
— То есть как же это?.. Умереть, что ли?

Он посмотрел на меня и вдруг неожиданно улыбнулся чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу такое доброе и прелестное выражение, какого я никогда на нем не видал, и проговорил:

— Умру-с и жив буду. Надо спасаться. Жену мою освободили-с: она ни в чем не виновата... Это *он* у одной... дамы драгоценности снес, а на Любу подозрение бросил... Да-с: она его любит, и ей... тяжело... за него-с... Она дома теперь. Позвольте мне у вас немножко уснуть!

«Вино, верно, открылось, и дух его более не теснил». Он казался глубоко спокойным и, оставшись один в комнате, тотчас же лег на диван и заснул. Утром я еще спал, когда Павлин встал и, умывшись на кухне, ушел. Мой человек, по любопытству своему проследив Павлина, видел, что он пошел в церковь.

XIV

Тогда время в некоторых отношениях было не похоже на нынешнее: теперь в военном быту, что ни шаг, то суд, а тогда была пора иных распорядков: в полках строго блюлась репутация мундира, и принимались особые меры к ограждению этой *мундирной чести*. Судили одних солдат, да и то не всегда, а когда видели в том особенную надобность; благородных же персон более или менее высокого происхождения, обличенных в негодяйничествах вроде плутовства и воровства, большею частию сплавляли на страну далече и там навсегда или надолго прятали их от общественного внимания. Этого-де требовала честь мундира, и этим она будто бы и удовлетворялась. Нынче об этом, кажется, думают иначе. Нынче мне доводилось слышать от современных воинов насмешки над этой *честью мундира*: они говорят, что «мундир может приносить честь или бесчестье только тому портному, который его шил». Оно, конечно, такое суждение весьма реально и может быть и основательно, но я об этом судить не берусь; в то же время, о котором я говорю, «оскорбившего мундир» старались поскорее размундирить и сослать с глаз долой.

Такая мера была приложена и к Додичке. Когда я, в то время еще довольно нетерпеливый, утром появился к огорченной ma tante [1] Анне Львовне, она уже была вставши и довольно грациозно сидела в глубоких креслах— и, изображая из себя невинную страдалицу, понемножечку плакала, обтирая платком глаза. Она была говорлива и даже красноречиво распространялась на тему о злонравном товариществе, которое будто бы подвело ее неосторожного Додю под незаслуженные им подозрения и погубило его при содействии отвратительнейшей женщины, молодой, но настолько развращенной, что она, забыв ласки ее, Анны Львовны, была в самой непозволительной близости *со всеми*...

Тут Анна Львовна, в подкрепление своей клеветы, несла всякий вздор, рисуя такие фантастические картины мнимой близости Любы «со всеми», что всякий поневоле убеждался, что все это вздор и клевета.

Однако Анна Львовна была благодарна богу и одному «священному», по ее словам, лицу за то, что если уже Додичке нет средств оправдаться, потому что он так хитро опутан коварством Любы, то по крайней мере его не отдают на суд всяких приказных, где бы он должен был стать наравне с другими, а жалеют его и посылают в небольшой городок N, *недалеко* за Уралом.

Анна Львовна уверяла, что Додичке там будет прекрасно, потому что о нем туда напишут, а она с своей стороны даст ему крест с мощами и пошлет

---

[1] Тетушке *(фр.)*.

много книг; а там его после непременно скоро и простят, и все это только послужит ему в жизни полезным уроком.

Исполнение подобных кар следовало тогда немедленно же вслед за распоряжением, и Анна Львовна, говорившая утром этого дня, что Додичка уедет, вечером уже возвращалась в карете с заплаканными глазами из-за рогатки, за которую борзая тройка умчала в телеге Додичку в сопровождении двух жандармов, имевших в суме предписание отвезти милого шалуна гораздо подальше, чем рассказывала утром Анна Львовна.

Во весь этот день, приходя и уходя от Анны Львовны, я не видал ни Любы, ни Павлина, должность которого в этот суматошный день оставалась без отправления, и мне не у кого было о нем даже осведомиться. Не получил я о нем никаких слухов и во весь другой день, а к вечеру пошел без церемонии о нем справиться. Я узнал следующее: комната Павлина еще со вчерашнего дня оказалась пустою; имущество его найдено все брошенным зря и как попало, точно после воровского визита; ни Павлина, ни жены его нигде не было, и никто о них не мог дать никакого ни слуху, ни духу.

В общей суматохе прошедшего дня никто не видал, возвращалась ли Люба домой из-под ареста и приходил ли ночью домой Павлин. Один я мог свидетельствовать, что Павлин говорил мне, будто он отвел жену домой и будто желает освободить ее от греха и соблюсти свою душу; но что могли значить все эти его слова? Теперь им приписывались разные иносказательные значения, в истолковании которых казалось по временам что-то не совсем невероятное. «Отвел домой»— это, говорили, будто бы значит, что он ее прикончил и таким образом проводил в вечный дом; а пошел соблюдать свою душу, это он ушел куда-нибудь в пустыню, всего вернее куда-нибудь на Афон или на Валаам, где будто бы и насчет паспортов не очень строго, да и за женитьбу тоже не очень бракуют, а если хороший человек, то его не прогоняют, и он там будет себе жить, и молиться, и действительно, хоть и убил жену, а душу свою соблюдет, потому что там всегда труд, песнопение, пост и до смерти жизнь без соблазна, а по смерти братский неугасимый канун. Как вы хотите, в этом было нечто столь вероподобное, что все так на этот рассказ и положились. Вдобавок же ко всему, недели через две или несколько позже где-то у Екатерингофа или в Чекушах волною прибило к берегу подвергшееся гнилости тело молодой женщины, лица которой узнать было невозможно, но на ней оказалось тонкое белье и черное шелковое платье, как раз такое, в котором видели в последний раз швейцарку Любу. Правда, что большинство черных шелковых платьев все похожи одно на другое, но подозрение не рассуждает: к молодой утопленнице никто не признавался ни из родных, ни из знакомых, и потому домашними Анны Львовны и ею самою было решено и утверждено, что эта утопленница не кто иная, как несчастная Люба, жена свирепого и мстительного Рауля, швейцара Павлина Певунова, пропавшего без вести.

Это обстоятельство не прошло без последствий: погибшую женщину схоронили, и Анна Львона была так добра, что отпустила для нее десять рублей на гроб и на помин души Любы. Таким образом, благодаря христианской заботливости Анны Львовны были устроены заупокойные молитвы о душе безвременно погибшей Любы, а полиция для очищения своей души учинила розыски о губителе. Отзывов о месте нахождения Павлина, однако же, ниоткуда не последовало. Наконец даже говорили, что будто бы какой-то переодетый квартальный ездил на Валаам, но и там не отыскал скрывающегося Павлина и не мог доставить его со святого острова в тюрьму. Больше искать его было негде, и поиски прекратились: времени ушло день за день много, и про Павлина забыли. И позабыли про него так хорошо, что не вспомнили о нем и до сих пор, кроме одного раза, когда в аукционной камере продавали неразворованные остатки имущества «безвестно пропавшего Певунова».

Но где же делись Павлин и Люба?

Для этого мы должны вернуться назад, к тому времени, когда потеряли их из виду.

Павлин, простясь со мною, прошел к жене, никем не замеченный. Люба, увидя мужа, затрепетала. Она никогда не видала его таким добрым, и оттого он ей и показался таким страшным.

Он наскоро переоделся, одел жену, взял все, что находил нужным, и вывел Любу из дома Анны Львовны. Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее куда-то везут. Павлин и Люба встретили ссыльного Додичку на первой станции. Люба не показывалась, но Павлин предстал моему милому кузену на крыльце, но предстал не в злобе оскорбленного мужа, а в великой кротости смирившего себя христианина, и сказал ему:

— Будьте милостивы и великодушны, скажите: любили ли вы мою жену?

— Да; что же тебе нужно?— отвечал Додичка, еще не отвыкший тогда чувствовать свое барское превосходство перед стоявшим против него лакеем.

— Я вам сейчас скажу, что мне нужно,— отвечал смиренный Павлин,— но вы извольте мне прежде ответить: любите ли вы ее и теперь?

— Да, люблю, ну и что же такое?

— Только-с, только-с всего, и она вас тоже любит, ужасно любит... и... и сама мне об этом сказала.

— Ты ее об этом спрашивал?

— Да-с; я ее об этом спрашивал, и она мне прямо во всем призналась и плакала... Что делать: я виноват за нее богу!

Додичка ушам своим не верил и не понимал, что это значит? А Павлин вышел в это время в соседнюю комнату и вывел оттуда за руку свою смущенную жену и сказал:

— Вот она-с; она мне больше не жена! Господь Иисус Христос разрешил человеку оставить жену ради греха... седьмой заповеди. Она мне в этом грехе созналась, и к тому же сами видите ее в том положении, что она будет матерью, а ребенку тому не я отец...

— Ну!— воскликнул, не понимая, чем это кончится, Додичка.

— По всему этому я ее по божественному закону от себя отпускаю... И как она вас столь преданною любовью любит, то берите ее и женитесь на ней!

— Ты с ума сошел!— оправился Додичка.— Как я могу на ней жениться?

— Почему же нет?.. Разве вам унизительно?.. Напрасно-с. Я бы ей даже не советовал выходить за вас, потому что я знаю, какой вы человек, и ей счастья с вами не будет, но и она сама это знает и все-таки вас в сердце имеет, так тут делать нечего... Ей бы надо в монастырь идти, а ее еще в пропасть тянет, так пусть же это будет хоть без греха и срама; а потому... женитесь!

— Но ты постой, Павлин,— залепетал, оправдываясь, Додичка,— я ведь совсем не то... не потому... а что ты жив еще...

— Да-с, я жив; я жив еще, и бог знает, сколько еще промаячу, но я рук на себя и для нее даже не наложу. Вчера я об этом думал, но...

При этих словах Люба взвизгнула и бросилась в темный угол с сжатыми у лица руками.

— Гм, видите!— молвил, болезненно улыбнувшись, Павлин,— она меня не любит, и ей за меня тяжко, а вам за нее словно бы нет, а между тем она вас все-таки любит... Люби она меня сотую долю так, как она вас любит, я бы даже ссылку с нею за рай почитал... Ну да что толковать!.. Все равно: извольте ее теперь взять, и поезжайте... и... женитесь на ней... я за этим буду наблюдать, и... если вы не сделаете, как я говорю, то...— он пригнулся к уху Доди и добавил:— не понуждайте меня ко греху: я теперь говорю вам смирно, как христианин, а то я вас убью; непременно-с убью, и сразу убью, где бы вы ни были, я вас найду и убью, за нее, за жену... за беззащитную... Везде... во храме господнем убью.

Павлин, должно быть, говорил это очень решительно или кузен мой был уже слишком большой трус, но только у него вдруг отпала всякая охота отказываться от женитьбы на Любе, и он изъявил на это свое полное согласие. Впрочем, возможно, что он дал это согласие, имея в уме твердое намере-

ние никогда его не исполнить, тем более что имел основание рассчитывать на возможность скрыться от Павлина. В этих соображениях он только указал старику на то обстоятельство, что немедленное бракосочетание его с Любой невозможно, потому что жену живого мужа с другим не перевенчают, но Павлин отвечал:

— Ну, уж об этом вы не беспокойтесь, это мое дело: я к тому времени умру, а вас с ней перевенчают.

— Ты умрешь?

— Да; я умру.

«Умрет, а между тем хочет убивать меня,— думал Додя.— Бедный старик, как они, эти простые люди, иногда любят!.. Мне его даже жалко: он помешался».

XV

С этим они разъехались — и Додя, конечно, считал себя совершенно освобожденным и от наскучившей ему жены Павлина, которую он не прочь был показывать как свою любовницу, но никак не хотел иметь своею женою. Додя ехал хорошо. Так как он не был собственно осужденным преступником и преступление его, хранясь под сурдинкой, давало ему полное основание выдавать себя за обыкновенного гвардейского шалуна, то он везде пользовался по пути снисхождением начальств, и сопровождавшие его жандармы, видя это снисхождение, мирволили ему еще более. Он путешествовал не спеша, не по срочному маршруту; останавливался в подорожных городах, принимал посещения и сам посещал лиц, вниманию которых был рекомендован доброжелателями Анны Львовны из Петербурга, и даже заживался кое-где под предлогом усталости и болезни. Будучи немножечко практиком, он даже научился извлекать некоторые выгоды из своего подневольного положения и, умалчивая о настоящей причине своего изгнания из столицы, давал чувствовать, что тут замешаны каким-то боком деспотизм, преследующий его любовь к свободе. Это на Руси издавно служило в пользу всех обращающихся к этому средству практических людей, и Додя, интересничая своим страдальчеством *за свободу мысли*, даже имел некоторый успех у мужчин и легко входил в фавор у дам... Словом, все шло для нашего изгнанника как нельзя лучше, и он таким образом отбыл половину своего пути, как вдруг на самом перевале через Урал на него — как будто из вековечных снегов и туманов — глянул Павлин!.. Да ведь какой Павлин: грозный и неотразимый, видимый и незримый, действующий и несуществующий.

Знаете: когда читаешь в повести или романе какое-нибудь чрезвычайное событие, всегда невольно думаешь: «Эх, любезный автор, не слишком ли вы широко открыли клапан для вашей фантазии?» А в жизни, особенно у нас на Руси, происходят иногда вещи гораздо мудренее всякого вымысла — и между тем такие странности часто остаются совсем незамеченными. Я теперь припоминаю пресловутый роман «Что делать?». Когда его читали у нас с таким большим удовольствием и всеконечно еще с большею пользою, я, к удивлению моему, от очень многих слышал сомнение не в том: удобно ли жить втроем и будут ли у швей алюминиевые дворцы, а лишь только в том одном: возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай? А то ли случается в жизни, если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол? Первый мой Павлин совершил поистине нечто гораздо более замечательное, тем паче что этот Павлин был человек простой и любил свою жену понатуральнее, чем герой упомянутого мною, столь известного в летописях литературы, романа.

Додичка приехал в какой-то городок, которого я вам не назову, да тут и не в названии дело. Здесь мой милый кузен надеялся найти лиц, к которым он имел открывающие благоволение письма. Рассчитывая тут приотдохнуть

и понежиться, он пристал за болезнию в единственной тамошней гостинице рядом со станцией и, послав жандарма с посланием по адресу, уже успел à la Хлестаков перемигнуться с какою-то соседкою из противоположного дома,— соседкою, лица которой он, к слову сказать, надлежащим образом не рассмотрел, потому что чуть она появилась у окна в комнате, снаружи, перед этим окном вдруг встал и начал протирать рукавом стекла высокий, лохматый седой старик с огромною бородою и в неестественной, по понятиям Доди, оленьей шубе. И черт его знает, откуда он взялся? Додичка его, правда, слегка заметил сидящим у окна на заметенной снегом завалине, но он ему с первого взгляда показался более похожим на старого козла, чем на человека,— и вдруг это чучело вскакивает и ездит по стеклам своими лапами, точно нарочно для того, чтобы лишить доброго юношу возможности наслаждаться красотою соседки... И он таки своего достиг, этот старик: Додя не рассмотрел заинтересовавшей его соседки, но это, впрочем, ему было совершенно все равно: она ему понравилась по одному чутью — и с его стороны не было более никаких препятствий разыграть с ней мимолетную интрижку, тем более что соседка, сколько он мог судить, тоже им, вероятно, заинтересовалась. По крайней мере Додя имел основание так думать, потому что занимательная незнакомка, заметив его, очевидно не без умысла несколько раз мелькнула в окне. Досадно было только то, что она все мелькала немножко слишком быстро, так что Додя никак не мог ее хорошо рассмотреть. Но зато это, конечно, еще более раздражило его любопытство, и он присел к окну с твердою решимостию не встать с места, прежде чем ее хорошенько увидит. Дело было под вечер; один жандарм был в откомандировке с письмом, другой, оставшийся для порядка на карауле после длинного переезда на тряском облучке, оглушительно храпел в передней на чемодане. Додя все сидел у окна и все дожидался, не покажется ли еще раз пояснее в окне его интересное vis-a-vis... Судьбе заблагорассудилось его побаловать: вот в окне блеснул слабый свет, на столе появилась зажженная свеча, а между нею и окном выдвинулся и стал силуэт женской фигуры. Опять весьма эффектное, но самое неудобное положение. Какая же женщина, желая показать себя, станет или сядет между темным окном и свечою, освещающую ее сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или уже очень опытная кокетка, желающая производить свои коварные упражнения над неопытным человеком. Но Додя — не провинциальная простофиля: он прошел хорошую петербургскую школу у женщин и, конечно, хотел считать себя человеком опытным: он не зажжет у себя огня, и соседке его нельзя будет видеть, занимается он ею или нет? Таким образом, если она не кокетка, а податливая романическая простушка, то она непременно попадется на эту удочку. Это ей покажется досадно: она не поостережется и, рассердясь, подойдет сама, приняв свою свечку — и тогда он ее увидит, а если она ловка и хитра, как... как, например, была в Петербурге эта Люба, от которой он, слава богу, так далеко теперь откатился, то тем лучше: она будет хорошо наказана за свою хитрость и может просидеть хоть до завтра, или пока этот ее седой козел закроет ставни... А кстати, где делся этот седой козел? Его что-то нет... Впрочем, легок оказался и он на помине: не успел сидящий во тьме Додя о нем подумать, как ему послышалось, будто скрипнула дверь его номера, и когда он обернулся, ожидая увидать перед собою посланного им с письмом жандарма, то, вместо этого вестника, перед ним стоял упомянутый козловатый старик. Он взошел тихо и, имея на ногах мягкие валеные сапоги, тихо же подошел к самому креслу Додички и остановился у него за плечами так близко, что когда мой кузен обернулся, то они стали нос к носу с таинственным пришельцем. Додя, как все наглые люди, был большой трус и, при подобной встрече невыразимо потерявшись, едва произнес упавшим голосом:

— Что вам здесь нужно?.. Эй ты!.. жандарм!

Но жандарм спал крепко и не слышал зова.

— Не беспокойтесь-с, — отвечал таинственный посетитель голосом, в котором не было ничего страшного, но от которого трусливого Додю забила

лихорадка.— Не беспокойтесь, я к вам по маленькому делу не от себя...

— Павлин!.. Это ты?

— Тсс! позвольте... Что такое Павлин? никак нет; вы ошибаетесь, я не Павлин: не знаю никакого Павлина, я совсем другой человек, я мещанин Спиридон Андросов, простой мещанин... да-с, и со мною мой паспорт есть... хороший паспорт, законный: с печатью, и все прописано. Спиридон Андросов, мастеровой, хожу для промысла и бумагу свою часто прописываю. Куда приеду, сейчас же ее прописываю... для осторожности тоже и здесь неделю тому назад прописал...

— Но это ты... ты сам Павлин! Разве я тебя не знаю?

— Никак нет, я Спиридон Андросов.

— Что же вам от меня нужно?

— Мне совершенно ничего; а я вам принес записочку, вот извольте получить.

— От кого это?

— От одной вдовы тут... да, молодая вдова... извольте прочесть: сами увидите, что тут такое.

Кузен мой за минуту пред сим был уверен, что перед ним стоит не кто иной, как окосматевший Павлин, но, услышав соблазнительные слова о вдове и ее записке, он как-то все упустил из виду и торопливо зажег свечу, чтобы скорее прочитать бумажку, и вдруг неожиданно уронил ее снова; теперь не могло быть ни малейшего сомнения в том, что стоявший перед ним человек был Павлин Певунов. Он только чрезвычайно оброс седыми волосами вокруг всей головы и лица да вырядился в какой-то полуазиатский костюм, но тем не менее всякий, кто его знал, не мог бы не сказать, что это он, Павлин, сам, собственнейшею своею особой. И в его глазах ясно читалось, что он видит, что его узнали, и понимает, что не узнать его невозможно. Кузен мой от всего этого так растерялся, что на сей раз уже громко закричал:

— Павлин... Что ты от меня хочешь, проклятый Павлин?..— Но при этих его словах пришлец так сильно сдавил Додю в косточках руки, что молодой франт присел книзу и пролепетал: «Ах ты, дерзкий!»— и в растерянности опять взял оброненную им бумагу: это была церковная выпись из книги об умерших, где значилось, что около полутора месяца тому назад в таком-то городе скоропостижно умер и погребен царскосельский мещанин Павлин Петров Певунов, а вдове его, Любови Андреевой Певуновой, выдано в том сие свидетельство с подписью и печатью.

Так вот кто эта вдова! Эта вдова была не кто иная, как сама влюбленная в Додю Люба. Дело было поставлено круто и узловато — и результатом всего этого вышло, что Додичка, не доехав до места своего назначения, женился на «швейцарке Любе». Посягнул он на это, не оказав никакого сопротивления, а как будто даже и с удовольствием. Почему это произошел в нем такой куркен-переверкен — рассказать не умею, но думаю, что тут играли роль все большее и большее удаление его от дома и, по мере большего удаления, все более и более чувствуемое сиротство. Они-то, вероятно, пробудили в нем живые чувства к нежно любившей его женщине, а тут и ее красота, и романическое положение, а может быть, и угрожающие настояния Павлина, и суетная боязнь, как бы этот чудак не разгласил, за что Додичка сослан, и тем не сбил его с его политической позиции,— одним словом, все это вместе или порознь подвигнули моего кузена к тому, что он даже с удовольствием обвенчался с женою Павлина, а мещанин Спиридон Андросов был при их свадьбе и расписался свидетелем в обыскной книге. Надеюсь, вы меня не станете расспрашивать: как же это могло статься, что Павлин похоронил самого себя и добыл в том свидетельство своей вдове? Эти вещи у нас не сказка, а побывальщина: умер на постоялом дворе прохожий, Павлин стакнулся с кем надо, сунул в суму покойника свой паспорт, а его бумагу взял себе, — вот и дело сделано. В Новороссийском крае когда-то при крепостных бегах это систематически делалось, и оттого там были не в редкость люди, которые по паспортам до полутораста лет доживали. Умрет Иван семидесяти лет, его

паспорт берет сорокалетний Петр, и пошло продолжение возраста... Однако это более касается до наших статистиков, а я продолжаю, или, лучше сказать, оканчиваю мою повесть.

XVI

Молодые, поселясь в назначенном им для житья крохотном городишке, решительно не знали, чем им занять себя и что делать. Привязанность Любы не могла надолго осчастливить Додю, который в качестве петербургского светского юноши любил жизнь общественную и душа которого жаждала сильных ощущений. Не имея желания, а может быть, не находя в себе и силы отстать от этого образа времяпрепровождения, он и теперь в этом скверном своем положении отыскал каких мог подходящих ему по вкусам «политических» людей между насыльным сбродом, пьянствовал с ними простой водкой, играл на мелкие деньжонки в карты, дергал и передергивал, был часто бит и наконец, к великому своему, но едва ли сознаваемому им счастию, совсем убит в драке, за неправильно взятый с кону пятиалтынный. Во все время этой жизни, продолжавшейся около двух лет, Люба пила, что называется, горькую чашу жесточайшего страдания, но в этой унылой горести своей постоянно была поддерживаема письмами и деньгами Спиридона Андросова, который, как видно, не упускал ее ни на минуту из вида и был на страже ее спокойствия. Он определился где-то неподалеку на службу к какому-то золотопромышленнику и при отличной честности, умеренности и аккуратности, не изменившихся в нем с переменою имени, он скоро приобрел себе уважение и деньги, и из последних почти ничего на себя не тратил, а все берег для Любы. Не знаю, как Люба распоряжалася этими сбережениями, которые пересылал ей ее отставной муж, но, вернее всего, можно полагать, что если не все эти деньги, то по крайней мере большую их часть пропивал и проигрывал ее настоящий муж, совершенно распившийся и омужичевший Додичка. Говорили, что он отнимал у Любы все, иногда самыми грубыми требованиями, а в другой раз даже и побоями... Павлин все это знал, как будто он тут вот и жил с ними, но не смутил души Любы ни на одно мгновение и не воспользовался ее разочарованием в Доде для того, чтобы разлучить их друг с другом. Совсем напротив: Павлин поддерживал Любу большими и прекрасными письмами, которые по некоторому случаю сделались моим достоянием, и я храню их как редкий и превосходный образец простого, но глубокого философски-мистического умствования необразованного, но умного и могучего волею человека. Эти письма, писанные «от грешного раба к сostраждущей Любови», имеют немножко характер посланий: в них автор говорит, как бы уже он свое все вынес, отстрадал и, быв искушен, сам теперь может помогать искушаемым. В некоторых из них, и даже очень во многих, Павлин ничего не пишет жене об интересе дня, а дает советы, убеждает ее быть терпеливою, благоразумною, доброю, неизменно верною и преданною избранному ею мужу. Если читать эти письма в хронологическом порядке и читать по времени их следования одного за другим, то в них невольно обращает на себя внимание постоянно усиливающийся дух религиозного мистицизма. Автор сначала как будто соболезнует доле Любы и говорит о необходимости терпения, потому что от нетерпения бывает еще горше; но потом он мало-помалу видоизменяет этот мотив и начинает ее убеждать, что она должна радоваться, если несчастна, и сам радуется, да радуется так, что вначале поневоле чувствуется смущение: не овладело ли душою автора низкое злорадство к очевидным несчастиям изменившей ему Любы; но потом, ближе вникая в дальнейшие письма, вы видите, что пером их сочинителя водит иное чувство, чувство какой-то совершенно особенной, прямо можно сказать, неземной любви — и притом любви самой заботливой и самоотреченной, но строгой. Павлин учит Любу терпеть для блага других и для искупления своих заблуждений и, убеждая в этом доводами довольно старыми, издавна

известными из книг духовного содержания, излагает эти доводы с такою живостью и непосредственным даром убедительного красноречия, что как бы придает им новую живую силу. Он несомненно заботится об одном: *возродить духом* погибающую Любу — и, вероятно, видя из ее ответных писем, что это озабочивающее его возрождение возможно, он принимает совсем отеческий тон и даже в самом обращении к ней употребляет слова «дочь моя». Последнее письмо с этим воззванием вначале исполнено своеобразнейшей и трогательной нежности, не поглощаемой покрывающим его общим локальным суровым колоритом: в этом письме Павлин, подписывающийся «Спиридоном Андросовым», пишет: «Не унывай: не нам, слабым, а святому апостолу Павлу ангел сатаны был дан в плоть его, но он его победил, и ты победишь его силою, ибо уже и недолго остается».

Это «недолго» было пророчеством провидца, и Люба его так и приняла, когда, через несколько дней после получения этого письма от первого своего, умершего миру, мужа, второй ее муж был избит в драке и умер у ее дверей, в которые не мог попасть спьяна. Она тотчас же известила об этом событии Павлина, и тот немедленно же явился к ней: они вместе похоронили как должно Додю и... вслед за тем немедленно же вместе исчезли. Куда? Никто этого не знал; но я вам расскажу то, чего и никто не знает: за Киевом, над Днепром, в темном дремучем бору есть бедный женский монастырек. Бедность и незначительность этой обители такова, что ее иначе и не называют как *монастырек*: там некогда была начальницею моя тетка Ольга и там же была монахиня, потом схимница, Людмила. Она скончалась очень недавно, всего несколько лет тому назад, далеко еще не в преклонных годах, *ослепнув от слез*. Эта милая, чистая сердцем старица с *выплаканными глазами*, в орбиты которых у нее для благообразия были вставлены кругленькие перламутровые образки, была настоящий ангел кротости и милосердия; о доброте ее и всепрощающей христанской любви и теперь еще с умилением и слезами вспоминают не только сестры бедной обители и посещающие монастырек богомольцы, но даже евреи близлежащего торгового местечка. О ней известно, что она была вдова человека очень хорошей фамилии и поступила в монастырь, потеряв мужа, а привез ее сюда на собственной лошади очень издалека какой-то суровый человек — *молчальник*, от которого никто не слыхал ни одного слова. На могиле ее нет памятника, объясняющего ее происхождение, а стоит простой дубовый крест с надписью: «Схимонахиня Людмила, в мире грешная Любовь». Крест этот над нею поставил тот же схимник, приходивший в монастырек после смерти сестры Людмилы из далекой суровой обители, которой мне вам называть незачем. Не знаю также, нужно ли вам пояснять и то, что эта «схимонахиня Людмила, в мире грешная Любовь», была не кто иная, как наша знакомая швейцарка Люба; а схимник, который пришел и поставил на ее могиле крест, был Павлин, иноческого имени которого я не знаю, а хоть и знаю, так не скажу. Вот какие тайны и какие характеры живут иногда в стенах наших монастырей.

— И этот схимник... как его? — заговорила одна из дам.

— Что такое?

— Он жив еще?

— Мне кажется; по крайней мере в прошлом году он был еще жив.

— И вы его видели?

Рассказчик сделал утвердительный знак головою.

— Где же? Неужто здесь, на этом острове, — на этом Валааме?

— Ну, не все ли это равно для вас, — воображайте его где хотите: он везде возможен.

1874

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ

Ржа железо точит.
Русск. поговорка

1

Мы во всю мочь спорили, очень сильно напирая на то, что у немцев железная воля, а у нас ее нет — и что потому нам, слабовольным людям, с немцами опасно спорить — и едва ли можно справиться. Словом, мы вели спор, самый в наше время обыкновенный и, признаться сказать, довольно скучный, но неотвязный.

Из всех из нас один только старик Федор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а преспокойно занимался разливанием чая; но когда чай был разлит и мы разобрали свои стаканы, Вочнев молвил:

— Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете, и вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете. Ну, положим, что у господ немцев есть хорошая, твердая воля, а у нас она прихрамывает,— все это правда, но все-таки в отчаяние-то отчего тут приходить? ровно не от чего.

— Как не от чего? и мы и они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение.

— Ну что же такое, если и будет?

— Они нас вздуют.

— Ну, как же!

— Да разумеется, вздуют.

— Полноте, пожалуйста: не так-то это просто нас вздуть.

— А отчего же не просто: не на союзы ли вы надеетесь? Кроме авоськи с небоськой, батюшка мой, не найдется союзов.

— Пускай и так,— только опять: зачем же так пренебрегать авоськой с небоськой? Нехорошо, воля ваша, нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь и в воду, а это чего-нибудь да стоит в наше практическое время.

— Да, только не в деле с немцами.

— Нет-с: именно в деле с немцем, который без расчета шагу не ступит и, как говорят, без инструмента с кровати не свалится; а во-вторых, не слишком ли вы много уже придаете значения воле и расчетам? Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтоб понять ее. И впрямь, господа; нельзя же совсем на это не понадеяться.

— Это на глупость-то?

— Да, зовите, пожалуй, глупостью, а пожалуй, и удалью молодого и свежего народа.

— Ну, батюшка, это мы уже слышали: надоела уже нам эта сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость.

— Что же? и вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом: и железный-то у них граф, и железная-то у них воля, и поедят-то они нас поедом. Тпфу ты, чтобы им скорей все это насквозь прошло! Да что это вы, господа, совсем ума, что ли, рехнулись? Ну, железные они, так и железные, а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто, — ну, а вы бы вспом-

нили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а пожалуй, еще и топор там потеряешь.

— Ага, это вы насчет старинного аргумента, что, мол, мы всех шапками закидаем?

— Нет, я совсем не об этих аргументах. Таким похвальбам я даю так же мало значения, как вашим страхам; а я просто говорю о природе вещей, как видел и как знаю, что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом.

— Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого сделаны очень широкие обобщения.

— Да, случай и обобщения; а только, по правде сказать, не понимаю: почему вы против обобщения случаев? На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который, выслушав содержание «Мертвых душ» Гоголя, воскликнул: «О, этот народ неодолим».—«Почему же?»— говорят. Он только удивился и отвечал: «Да неужто кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков».

Мы невольно засмеялись и заметили Вочневу, что он, однако, престранно хвалит своих земляков, но он опять сделал косую мину и отвечал:

— Извините меня, вы все стали такая не свободная направленская узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят,— и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся; а если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю.

— А не длинно это, Федор Афанасьич?

— Н-нет! не длинно; это совсем маленькая история, которую как начнем, так и покончим за чаем.

— А если маленькая, так валяйте; маленькую историю можно и про немца слушать.

— Сидеть же смирно — история начинается.

II

— Вскоре после Крымской войны (я не виноват, господа, что у нас все новые истории восходят своими началами к этому времени) я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, то есть я бросил довольно удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Частною службою я надеялся достать себе «честные» средства для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, висящих над каждым служащим человеком по известному пункту, на основании которого он может быть уволен без объяснения. Словом, я думал, что вырвался на свободу, как будто свобода так и начинается за воротами казенного здания; но не в этом дело.

Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане: их было двое, оба они были женаты, имели довольно большие семейства и играли один на флейте, а другой на виолончели. Они были люди очень добрые, и оба довольно практические. Последнее я заключаю потому, что, основательно разорившись на своих предприятиях, они поняли, что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться. Тогда они взялись за дело на простой русский лад и снова разбогатели чисто по-английски. Но в то время, с которого начинается мой рассказ, они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, «сырые», и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностию.

Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, все более по преимуществу из иностранцев. Из русских высшего, по экономическому значению, ранга только и был один я — и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев. Зато иностранцы составили у нас целую колонию; хозяева настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные флигеля, и мы сели в этих коттеджах вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы.

Дом, построенный с разными причудами, был так велик и поместителен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. Над домом вверху, в полукруглом куполе была эолова арфа, с которой, впрочем, давно были сорваны струны, а внизу под этим самым куполом — огромнейший концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певчие, распроданные поодиночке прежним владельцем в то время, когда слухи об эмансипации стали казаться вероятными. Мои господа, англичане, давали в этом зале квартеты из Гайдена, на которые в качестве публики собирали всех служащих, не исключая нарядчиков, конторщиков и счетчиков.

Делалось это в целях «облагоражения вкуса», но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдена простолюдинам не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что «им нет хуже, как эту гадину слушать», но тем не менее эту «гадину» они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьбою другая, более веселая забава, что случилось с прибытием к нам из Германии нового колониста, инженера Гуго Карловича Пекторалиса. Этот человек прибыл к нам из маленького городка Доберана, что лежит при озере Плау в Мекленбург-Шверине, и самое его прибытие к нам уже имело свой интерес.

Так как Гуго Пекторалис и есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нем в небольшие подробности.

III

— Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привезти, поставить, пустить в ход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина и отчего они самые машины заказали в маленьком немецком Доберане— я наверно не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и, облюбовав их, пренебрег некоторыми условиями патриотизма. Карман ведь не свой брат — и над английскими патриотами свои права предъявляет. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался.

Машины назначались для паровой мельницы и лесопильни, для которых уже были готовы здания. Высылкою их и инженера мы очень торопили — и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем с самыми последними фрахтами. Об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее машин и мог сделать нужные для них приспособления в постройках, нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан; что зовут его Гуго Пекторалис; что он знаток своего дела и имеет железную волю для того, чтобы сделать все, за что возьмется.

Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принять из таможни машины и отправить их в нашу глушь, а также взять с собою Гуго Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явить-

ся в «Сарептский дом», Асмус Симонзен и К°, — известный нам более под именем «горчичного дома». Но в высылке этих машин и инженера вышло какое-то qui pro quo: [1] машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания и приехал в Петербург раньше времени. Только что я прибыл в «горчичный дом», чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес, мне отвечали, что он уже с неделю тому назад как проехал.

Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как назло, выдался особенно лют и ненастен. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, сменявшиеся пронизывающими туманами; северные ветры дули так, что, казалось, хотели выдуть мозг костей, а грязь повсеместно была такая невылазная, что можно было представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение опрометчивого, как мне казалось, иностранца, который в такое время пустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков,— казалось мне просто ужасным, и я в своих предположениях не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания.

Я осведомился в «горчичном доме»: владеет ли, по крайней мере, приехавший Пекторалис хотя сколько-нибудь русским языком, — и получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос: довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы «за счет компании» прогонные и суточные на десять дней и что он более ничего не требовал.

Дело все осложнялось. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками, Пекторалис мог застрять где-нибудь и, чего доброго, дойти, пожалуй, до прошения милостыни.

«Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика?»— пенял я в «горчичном доме», но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути; но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать не останавливаясь — и так поедет; а трудностей никаких не боится, потому что имеет *железную волю*.

В большой тревоге я написал своим принципалам все, как случилось, и просил их употребить все зависящие от них меры к тому, чтобы предупредить несчастия, какие могли встретить бедного путника; но, писавши об этом, я, по правде сказать, и сам хорошенько не знал, как это сделать, чтобы перенять на дороге Пекторалиса и довезти его к месту под охраною надежного проводника. Я сам в эту пору никак не мог оставить Петербурга, где меня задерживали довольно важные получения, и притом он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать. Если же будет послан кто-нибудь навстречу этой железной воле, то кто поручится, что этот посол встретит Пекторалиса и узнает его?

Я тогда еще думал, что, встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, оттого, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его примет. Аккуратные и бесталанные, они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не к каждому. По их словам, Пекторалис был молодой человек лет от двадцати восьми до тридцати; роста немного выше среднего, худощав, брюнет, с серыми глазами и веселым, твердым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, по чему бы, встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания, это «твердое и веселое выражение», но кто же это из простых людей такой знаток в определении выражений, чтобы сейчас приметить его и — «стой, брат, не ты ли Пекторалис!». Да и наконец самое это выражение могло измениться — могло достаточно размокнуть и остыть на русской осенней сырости и стуже.

---

[1] Недоразумение (*лат.*).

Выходило, что, кроме того, что мною было написано в пользу этого чудака, я более уже не мог для него ничего сделать — и волею-неволею я этим утешился, и притом же, получив внезапно неожиданные распоряжения о поездках на юг, не имел и досуга думать о Пекторалисе. Между тем прошел октябрь и половина ноября; в беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов.

Погода тогда уже значительно изменилась: дожди окончились, стояла сухая холодная ко́лоть, и всякий день порхал сухой мелкий снежок.

Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще служить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях,— и я тронулся в путь в моем экипаже.

Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измаяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я насилу добрался до Василева Майдана и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу.

Не знаю, как теперь, а тогда Василев Майдан была холодная, бесприютная станция в открытом поле. Довольно безобразный, обшитый тесом дом, с двумя казенными колоннами на подъезде, смотрел неприветливо и нелюдимо — и на самом деле, сколько мне известно, дом этот был холоден; но тем не менее я так устал, что решился здесь заночевать.

Несмотря на то, что по мерцавшему в окнах пассажирской комнаты огоньку я мог подозревать, что тут уже есть люди, расположившиеся на ночлег, — решимость моя дать себе роздых была тверда, и за нее-то я и был вознагражден самою приятною неожиданностию.

— Вы встретили здесь Пекторалиса?— перебил некто нетерпеливо рассказчика.

— Кого бы я тут ни встретил,— отвечал он,— я вас прошу ждать, чтобы я вам сам рассказал об этом, и не перебивать меня.

— А если это интересно?

— Тем лучше, вы постарайтесь это записать и отдать для фельетона интересной газеты. Теперь вопрос о немецкой воле и нашем безволии в моде — и мы можем доставить этим небезынтересное чтение.

IV

— Отдав приказ своему человеку внесть кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор, а сам ощупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. Насилу я ее нашел и начал дергать, но пазы туго набухли — и дверь не подавалась. Сколько я ни дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука, или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я едва успел отскочить — и тогда увидал пред собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе и широчайшем клеенчатом плаще, на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик.

Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание — это то, что он не вышел в отворенную им дверь, как я мог этого ожидать, а, напротив, снова возвратился назад и начал преспокойно шагать из угла в угол по отвратительной, пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшею сальною свечою.

Я обратился к нему с вопросом: не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив-человек.

«Ich verstehe gar nichts russisch» [1], — отвечал незнакомец.

Я заговорил с ним по-немецки.

Он, видимо, обрадовался звукам родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел.

«А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?»

«О! да, я жду лошадей».

«И неужто лошадей нет?»

«Не знаю, право, я не получаю».

«Да вы спрашивали?»

«Нет, я не умею говорить по-русски».

«Ни слова?»

«Да», «можно», «не можно», «таможно», «подрожно»...— пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний.— Скажут «можно»— я еду, «не можно» — не еду, «подрожно»— я дам подрожно, вот и все».

Батюшки мои, думаю себе: вот антик-то! и начинаю его осматривать... Что за наряд!.. Сапоги обыкновенные, но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфайка; поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа, с зеленою оторочкою, и поверх всего этот совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи.

Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего.

«Это удивительно!»— воскликнул я и чуть не спросил его: «Неужто вы так вот это и едете?»— но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости— и, обратясь к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин.

Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил:

«Ага, «можно», а я тут третий день — и третий день все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно».

«Как, вы тут уже третий день?»

«О да, я третий день,— отвечал он спокойно.— А что такое?»

«Да зачем же вы сидите здесь третий день?»

«Не знаю, я всегда так сижу».

«Как всегда, на каждой станции?»

«О да, непременно на каждой; как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду».

«На каждой станции вы сидите по три дня?»

«О да, по три дня... Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня, у меня это записано; но зато на другой четыре, это тоже записано».

«И что же вы делаете на станциях?»

«Ничего».

«Извините меня, может быть, вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?» Тогда это было в моде.

«Да, я смотрю, что со мною делают».

«Да зачем же вы это позволяете все с собою делать?»

«Ну... как быть!.. — отвечал он. — Видите, я не умею по-русски говорить — и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил: но зато потом...»

«Что же будет потом?»

«Я буду всё подчинять».

«Вот как!»

---

[1] Я ничего не понимаю по-русски (*нем.*).

«О да; непременно!»

«Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?»

«О, это было необходимо нужно; у нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь,— и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал»,— отвечал незнакомец — и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло «веселое и твердое выражение».

«Боже, что за чудак!»— думаю себе и говорю: «Но вы извините меня, пожалуйста, разве этак ехать, как вы едете,— значит «ехать не останавливаясь?»

«А как же? я все еду, все еду; как только мне скажут «можно», я сейчас еду — и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь».

«Чист же,— я думаю,— ты, должно быть, мой голубчик!» И говорю ему:

«Извините, мне странно, как вы собою распорядились».

«А что?»

«Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее».

«Для этого надо было останавливаться».

«Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку».

«Я решил и дал слово не останавливаться».

«Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь».

«О да, но это не по моей воле».

«Согласен, но зачем же это и как вы это можете выносить?»

«О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля!»

«Боже мой!»— воскликнул я,— у вас железная воля?»

«Да, у меня железная воля; и у моего отца, и у моего деда была железная воля,— и у меня тоже железная воля».

«Железная воля!.. вы, верно, из Доберана, что в Мекленбурге?»

Он удивился и отвечал:

«Да, я из Доберана».

«И едете на заводы в Р.?»

«Да, я еду туда».

«Вас зовут Гуго Пекторалис?»

«О да, да! я инженер Гуго Пекторалис, но как вы это узнали?»

Я не вытерпел более, вскочил с места, обнял Пекторалиса, как будто старого друга, и повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле.

«Вот как!— воскликнул он, придя в неописанный восторг, и, подняв руки кверху, проговорил: — О мой отец, о мой гроссфатер! [1] слышите ли вы это и довольны ли вашим Гуго?»

«Они непременно должны быть вами довольны,— отвечал я,— но вы садитесь-ка скорее к столу и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, черт знает как назяблись!»

«Да, я зяб; здесь холодно; о, как холодно! Я это все записал».

«У вас и платье совсем не такое, как нужно: оно не греет».

«Это правда: оно даже совсем не греет,— вот только и греют что одни чулки; но у меня железная воля,— и вы видите, как хорошо иметь железную волю».

«Нет,— говорю,— не вижу».

«Как же не видите: я известен прежде, чем я приехал; я сдержал свое слово и жив, я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости».

«Но позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о котором говорите?»

Он широко отмахнул правою рукою с вытянутым пальцем — и, медленно наводя его на свою грудь, отвечал:

[1] Дедушка (*нем.* Grossvater).

«Себе».

«Себе! Но ведь позвольте мне вам заметить: это почти упрямство».

«О нет, не упрямство».

«Обещания даются по соображениям — и исполняются по обстоятельствам».

Немец сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признает такого правила; что у него все, что он раз себе сказал, должно быть сделано; что этим только и приобретается настоящая железная воля.

«Быть господином себе и тогда стать господином для других — вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать».

«Ну,— думаю,— ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять — смотри же только, сам на нас не удивись!»

V

— Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Назябшийся немец поместился на креслах перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим теплым местом; но он чесался, как блошливый пудель, — и эти кресла под ним беспрестанно двигались и беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его перелечь на диван; но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напились чаю и поехали. В первом же городе я послал его с своим человеком в баню; велел хорошенько отмыть, одеть в чистое белье — и с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже Пекторалиса и из его клеенки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека — и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно жив и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только иззябся, но и наголодался, потому что его порционных денег ему не стало, да он и из тех что-то вначале же выслал в свой Доберан и во все остальное время питался чуть не одною своею железною волею. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России и что можно взять уменьем, настойчивостью и, главное, «железною волею».

Я очень им был доволен и за себя, и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал привезти немалую потеху в лице этого оригинала, уже заранее изловчавшегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли.

Что он нахватает — вы это увидите из развития нашей истории, а теперь идем по порядку.

Во-первых, этот Пекторалис оказался очень хорошим,— конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твердости и настойчивости дело, для которого он приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные препятствия. Машины, для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточно и не из доброкачественного материала. Списываться об этом и требовать новых частей было некогда, потому что заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис много вещей сделал сам. Детали эти с грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивейшего мещанина, по прозванию Сафроныча, а Пекторалис отделывал их, работая сам на самоточке. Уладить все это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкою ему жалованья, которое у него поднялось теперь до полуторы тысячи рублей в год.

Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил за нее с достоинством и сейчас же присел к столу и начал что-то высчитывать, а потом уставил глаза в потолок и проговорил:

«Это, значит, не изменяя моего решения, сокращает срок ровно на один год одиннадцать месяцев».

«Что вы считаете?»

«Я суммирую... одни мои соображения».

«Ах, извините за нескромность».

«О, ничего, ничего: у меня есть известные ожидания, которые зависят от получения известных средств».

«И эта прибавка, о которой я вам принес известие, конечно, сокращает срок ожидания?»

«Вы отгадали: оно сокращает его ровно на год одиннадцать месяцев. Я должен сейчас написать об этом в Германию. Скажите, когда у нас едут в город на почту?»

«Едут сегодня».

«Сегодня? очень жаль: я не успею описать все как следует».

«Ну что за вздор! — говорю, — много ли нужно времени, чтобы известить о деле своего компаниона или контрагента?»

«Контрагента, — повторил он за мною и, улыбнувшись, добавил: — О, если бы вы знали, какой этот контрагент!»

«А что? конечно, это какой-нибудь сухой формалист?»

«А вот и нет: это очень красивая и молодая девушка».

«Девушка? Ого. Гуго Карлыч, какие вы за собою грешки скрываете!»

«Грешки?— переспросил он и, помотав головою, добавил:— Никаких грешков у меня не было, нет и не может быть таких грешков. Это очень, очень важное, обстоятельное и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет три тысячи талеров. Тогда вы увидите меня...»

«Наверху блаженства?»

«Ну, нет еще,— не совсем наверху, но близко. Наверху блаженства я могу быть только тогда, когда у меня будет десять тысяч талеров».

«Не значит ли все это попросту, что вы собираетесь жениться и что у вас в вашем Доберане или где-нибудь около него есть хорошенькая, милая девица, которая имеет частицу вашей железной воли?»

«Именно, именно, вы совершенно правы».

«Ну, и вы, как настоящие люди крепкой воли, дали друг другу слово: отложить ваше бракосочетание до тех пор, пока у вас будет три тысячи талеров?»

«Именно, именно: вы прекрасно угадываете».

«Да и не трудно,— говорю,— угадывать-то!»

«Однако как это, на ваш русский характер, разве возможно?»

«Ну что, мол, еще там про наш русский характер: где уже нам с вами за одним столом чай пить, когда мы по-вашему морщиться не умеем».

«Да ведь и это,— говорит,— еще не все, что вы отгадали».

«А что же еще-то?»

«О, это важная практика, очень важная практика, очень важная практика, для которой я себя так строго и держу».

«Держи,— думаю,— брат, держи!..»— и ушел, оставив его писать письмо к своей далекой невесте.

Через час он явился с письмом, которое просил отправить,— и, оставшись у меня пить чай, был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далее горизонта. И все помечтает, помечтает — и улыбнется, точно завидит миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно и хотелось ему хоть какую-нибудь щетинку всучить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения и не воздержался — и когда Гуго ни с того ни с сего обнял меня за плечи и спросил, могу ли я себе представить, что может произойти от очень твердой женщины и очень твердого мужчины?— я ему отвечал:

«Могу».

«А как вы именно думаете?»

«Думаю, что может ничего не произойти».

Пекторалис сделал удивленные глаза и спросил:

«Почему вы знаете»?

Мне стало его жаль — и я отвечал, что я просто пошутил.

«О, вы шутили, а это совсем не шутка,— это действительно так может быть, но это очень, очень важное дело, на которое и нужна вся железная воля».

«Лихо тебя побирай,— думаю,— не хочу и отгадывать, что ты себе загадываешь!..»— да все равно и не отгадал бы.

VI

— А между тем железная воля Пекторалиса, приносившая свою серьезную пользу там, где нужна была с его стороны настойчивость, и обещавшая ему самому иметь такое серьезное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте все как-то смахивала на шутку и потешение. И что всего удивительней, надо было сознаться, что это никак не могло быть иначе; так уже это складывалось.

Бесконечно упрямый и настойчивый, Пекторалис был упрям во всем, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьезном деле. Он занимался своею волею, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно, точно это было его призвание. Значительные победы над собою делали его безрассудно самонадеянным и порою ставили его то в весьма печальные, то в невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своею железною волею, он учился русскому языку необыкновенно быстро и грамматично; но, прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него от той же самой железной воли — и страдал сильно и осязательно до повреждений в самом своем организме, которые сказались потом довольно тяжелыми последствиями.

Пекторалис дал себе слово выучиться русскому языку в полгода, правильно, грамматикально,— и заговорить сразу в один заранее им предназначенный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски,— и не хотел быть смешным. Учился он один, без помощи руководителя и притом втайне, так что мы никто этого и не подозревали. До назначенного для этого дня Пекторалис не произносил ни одного слова по-русски. Он даже как будто позабыл и те слова, которые знал: то есть «можно, не можно, таможно и подрожно», и зато вдруг входит ко мне в одно прекрасное утро — и если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит:

«Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?»

«Ай да Гуго Карлович!— отвечал я,— ишь какую штуку отмочил!»

«Штуку замочил?— повторил в раздумье Гуго и сейчас же сообразил:— ах да... это... это так. А что, вы удивились, а?»

«Да как же,— отвечаю,— не удивиться: ишь как вдруг заговорил!»

«О, это так должно было быть».

«Почему же «так должно»? дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?»

Он опять немножко подумал — опять проговорил про себя:

«Дар мужиков»,— и задумался.

«Дар *языков*»,— повторил я.

Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски:

«О нет, не дар, но...»

«Ваша железная воля!»

Пекторалис с достоинством указал пальцем на грудь и отвечал:

«Вот это именно и есть так».

И он тотчас же приятельски сообщил мне, что всегда имел такое намерение выучиться по-русски, потому что хотя он и замечал, что в России живут некоторые его земляки, не зная, как должно, русского языка, но что это можно только на службе, а что он, как человек частной профессии, должен поступать иначе.

«Без этого,— развивал он,— нельзя: без этого ничего не возьмешь хорошо в свои руки: а я не хочу, чтобы меня кто-нибудь обманывал».

Хотел я ему сказать, что, «душа моя, придет случай,— и с этим тебя обманут», да не стал его огорчать. Пусть радуется!

С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски и хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то к каким бы неудобствам это его ни вело, он все сносил терпеливо, со всею своею железною волею, и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось наказание его самолюбивому самочинству. Как все люди, желающие во что бы то ни стало поступать во всем по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения,— так вышло и с Пекторалисом. Опасаясь быть смешным немножечко, он проделывал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не сознавался.

Скоро это, однако, было подмечено, и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут-то и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например:

«Гуго Карлович, вам послабее чаю или покрепче?»

Он не вдруг соображал, что значит «послабее» и что значит «покрепче», и отвечал:

«Покрепче; о да, покрепче».

«Очень покрепче?»

«Да, очень покрепче».

«Или как можно покрепче?»

«О да, как можно покрепче».

И ему наливали чай, черный, как деготь, и спрашивали:

«Не крепко ли будет?»

Гуго видел, что это очень крепко,— что это совсем не то, что он хотел, но железная воля не позволяла ему сознаться.

«Нет, ничего»,— отвечал он и пил свой ужасный чай; а когда удивлялись, что он, будучи немцем, может пить такой крепкий чай, то он имел мужество отвечать, что он это любит.

«Неужто вам это нравится?»— говорили ему.

«О, совершенно зверски нравится»,— отвечал Гуго.

«Ведь это очень вредно».

«О, совсем не вредно».

«Право, кажется,— вы это... так...»

«Как так?»

«Ошиблись сказать».

«Ну вот еще!»

И тогда как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что «зверски» его любит — и его, один перед другим усердствуя, до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуго; но он все крепился и все пил теин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар.

Бедный немец провалялся без движения и без языка около недели, но при получении дара слова — первое, что прошептал, это было про железную волю.

Выздоровев, он сказал мне:

«Я доволен собою»,— признался он, пожимая мою руку своею слабою рукою.

«Что же вас так радует?»

«Я себе не изменил»,— сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка.

Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с этих пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации

ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей диафан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гуго Карлович прослыл непомерно страстным любителем французской горчицы диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду, и он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится.

Опыты с горчицею окончились тем же, что ранее было с чаем: Пекторалис чуть не умер от острого катара желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стоика до самой его трагикомической смерти.

Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде: всех их нет возможности припомнить и пересказать; но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуго, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось.

Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея — и потом, колеблясь, идти к своему перигею.

VII

— Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуго изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось верст сорок, но была одна лесная тропинка, которою путь сокращался едва ли не наполовину. Только зато тропа эта была почти непроездна,— по ней едва-едва, и то с великим трудом езжали на своих двуколесках крестьяне. Гуго хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двуколеске, сварганил себе нечто вроде колесницы: это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «мордовским богом»; но что всего хуже — кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать, оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы, и от этого не раз случалось, что лошадь Гуго прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуго, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже: раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде.

Уверять, что он сам этого хотел, Гуго не мог, но стоять на своем, чтобы не оставить своего упорства, он мог — и делал это с изумительною настойчивостью.

Другая история была такая: раз сильно перемокший Гуго прямо с охоты был затащен одним из наших принципалов к чайному столу, за которым в приятной вечерней беседе сидела в сборе вся наша колония. Для Гуго налили стакан горячей воды с красным вином и расспрашивали о его охотничьей удаче. Он был хороший охотник и лгал не много, но так как его железная воля, разумеется и здесь имела свое место, то рассказ, сам по себе и весьма невинный, выходил интересен и забавен. Мы все слушали рассказчика и посмеивались; но только, к немалой досаде всех, удобство нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. Престранное было дело,— и решительно невозможно было понять: откуда они сюда брались? Хотя окна дома, где мы сидели, и были открыты, но на дворе шел частый летний дождь, и лёта этим злым насекомым не было: откуда же они могли браться? А они так и порхали, как цветы из шляпы фокусника: они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти, на тарелках и, наконец, на спине Гуго — и в заключение одна из них пребольно ужалила в руку молодую хозяйку.

Дальнейшая беседа была решительно невозможна: сделался переполох, в котором дамская нервность и мужская услужливость заварили страшную

кашу. Были вызваны самые энергические меры: все начали метаться — кто хлопал платком, кто гонялся за осами с салфеткою, некоторые сами спешили спрятаться. Во всей этой суете и беготне не принимал участия один Гуго — и он знал почему... Он один стоял неподвижно у стула, на котором сидел до этого времени, и был жалок и ужасен: лицо его было покрыто страшною бледностию, губы дрожали и руки корчились в судорогах; и весь его сыроватый еще сюртук и особенно спина были сплошь покрыты осами.

«Великий боже!— воскликнули мы, охватывая его со всех сторон,— вы, Гуго Карлыч, настоящее гнездо ос».

«О нет,— отвечал он, едва выговаривая слово за словом,— я не гнездо, но у меня есть гнездо».

«Гнездо ос?!»

«Да; я его нашел, но оно было мокро — и я хотел его рассмотреть и принес его с собою».

«И где же оно теперь?»

«Оно в моем заднем кармане».

«Так вот оно что!»

Мы сдернули с него сюртук (так как дамы давно уже оставили эту опасную комнату) и увидели, что вся спина жилета бедного Гуго была покрыта осами, которые ползли по нем вверх, отогревались, расправлялись и пускались в лёт, меж тем как из кармана бесконечным шнурком ползли одна за другою новые.

Прежде всего, разумеется злополучный сюртук Гуго бросили на пол и растоптали осиное гнездо, бывшее причиною всего переполоха, а потом взялись за самого Гуго, который был изжален до немощи, но не издал ни жалобы, ни звука. Его освободили от ос, ползавших под его рубашкой, смазали, как сосиску, маслом и, положив на диван, покрыли простынею. Он быстро начинал распухать и, очевидно, страдал невыносимо; но когда один из англичан, соболезнуя о нем, сказал, что у этого человека действительно железная воля,— Гуго улыбнулся и, оборотясь в нашу сторону, проговорил с укоризною:

«Я очень рад, что вы больше в этом не сомневаетесь».

Его оставили любоваться своею железною волею и более с ним не разговаривали — и он, бедный, не знал, как много над ним все смеялись; а между тем новая история ждала его впереди.

VIII

— Здесь я должен заметить, что Гуго если не был скуп, то был очень расчетлив и бережлив,— и как бережливость его имела целью скорейшее накопление нужных ему трех тысяч талеров и сопровождалась его железною волею в преследовании этой цели, то она стоила самой безумной скупости. Он себе решительно отказывал во всем, в чем была какая-нибудь возможность отказать: он не возобновлял себе платья и, не держа слуги, сам себе чистил сапоги. Но была одна статья, на которую он должен был израсходоваться, так как это было нужно в видах благоразумной экономии. Гуго дорого казалось ездить на наемной лошади, и он решился завести себе свою лошадь, но задумал он это сделать не просто. Конские заводы в тех краях и большие и маленькие в изобилии; но между заводчиками был некто Дмитрий Ерофеич — помещик средней руки и конный заводчик с «закальцем». Никто на свете не умел так обмануть конем, как этот Дмитрий Ерофеич, и надувал он не как обыкновенный, сухой, прозаический барышник, а как артист,— больше для шику, для форса и для славы. Чем большим знатоком слыл или выдавал себя тот или другой покупатель, тем смелее и дерзче обманывал его Дмитрий Ерофеич. Он приходил в неописанную радость при столкновении с таким знатоком и говорил ему комплименты, что нет-де ему ничего приятнее, как иметь дело с таким человеком, который сам все понимает. И

был тогда Дмитрий Ерофеич до бесконечности прост — коня не нахваливал, а, напротив, сам говорил о нем полупрезрительно:

«Лошаденка, дескать, так себе, завидного ничего нет — и на выставку ее не пошлешь; но а впрочем, дело в виду, сами смотрите».

И знаток смотрел, а Дмитрий Ерофеич только конюху командовал:

«Не верти ее, не верти! Что ты с нею вертишься, как бес перед заутреней? мы ведь не цыгане. Дай барину ее хорошо осмотреть, стой спокойно. Вот там ножка-то у нее болела, прошла, что ли?»

«Где болела?»— спрашивает покупатель.

«Да на цевочке что-то у нее было».

«Это не у нее, Дмитрий Ерофеич»,— замечает конюх.

«Ай не у нее? ну, да пусто ей будь, кто их вспомнит. Смотрите, батюшка мой, чтобы не ошибиться, товар недорогой, а все денег зря бросать не следует, они дороги; а я, извините, устал и домой пойду».

И он уходил, а покупатель без него начинал еще зорче смотреть на ножку, на которой действительно никакой болезни никогда не было,— и не видал того, где заключались пороки.

Надувательсто совершалось, и Дмитрий Ерофеич спокойно говорил:

«Дело торговое, а ты не хвались, что знаешь. Это тебе за похвальбу наука».

Но был и у Дмитрия Ерофеича свой пункт, своя ахиллесова пята, в которую он был довольно уязвим. Как всякий желает иметь то, чего не заслуживает, так и Дмитрий Ерофеич любил, чтобы ему верили. Давно он обрел в этом вкус и изрек правило:

«Не смотри, не гляди, дураком назовись да на меня положись, я тогда тебе все в аккурат исполню, за сотню полтысячного коня дам».

И точно, это так и бывало, Дмитрий Ерофеич имел на этот счет свой pointd'honneur[1], своего рода железную волю. Но как на это пустились довольно многие, то Дмитрию Ерофеичу это стало очень невыгодно — и он давно хотел отбиться от этой докуки доверия. Долго он никак не мог на это решиться, но когда бог послал ему Пекторалиса, Дмитрий Ерофеич напустил на себя смелость. Чуть Гуго заговорил с ним о своей надобности иметь лошадь и попросил дать ему коня на совесть, Дмитрий Ерофеич отвечал ему:

«И, матинька, какая нынче совесть!.. коней у меня много, смотри и выбирай любого, какого знаешь,— а что такое за совесть!»

«О, ничего, Дмитрий Ерофеич, я вам верю, я на вас полагаюсь».

«А мой тебе совет — никому, матинька, и не верь и ни на кого не полагайся; что такое на людей полагаться? Что, ты сам дурак, что ли, какой вырос?»

«Ну, уже воля ваша, а я это так решил, вот вам сто рублей, и дайте мне за них лошадь. Не можете же вы мне в этом отказать».

«Да что отказать-то? Сто рублей, разумеется, деньги — и отчего их не взять, а только мне неприятно, что ты жалеть будешь».

«Не пожалею».

«Ну, как не пожалеть! Тоже ведь у тебя не шальные деньги, а трудовой грош, жаль станет, как я дрянную лошадь дам,— будешь жаловаться».

«Не буду я жаловаться».

«Это ты только так говоришь, а то где не жаловаться? Обидно покажется, пожалуешься».

«Ручаюсь вам, что никогда никому не пожалуюсь».

«А побожись!»

«У нас, Дмитрий Ерофеич, не божатся».

«Ну вот видишь, еще и не божатся. Как же тут верить?»

«Моей железной воле поверьте».

---

[1] Свое понимание чести *(фр.)*.

«Ну, быть по-твоему,— порешил Дмитрий Ерофеич и, угощая Пекторалиса ужином, позвал конюха и говорит:— Запрягите-ка Гуге Карловичу в саночках Окрысу».

«Окрысу, Дмитрий Ерофеич?»— удивился конюх.

«Да, Окрысу».

«То есть так ее самую и запречь?»

«Тпфу, да что ты, дурак, переспрашиваешь? Сказано запречь — и запряги.— И, отворотясь с улыбкою от конюха, он молвил Пекторалису:— Славного, брат, тебе зверя даю, кобылица молодая, рослая, статей превосходных и золотой масти. Чудная масть, на заглядение. Уверен, что век будешь помнить».

«Благодарю, благодарю»,— говорил Пекторалис.

«Ну, поблагодаришь-то после, как наездишься; а только если что не по-твоему в ней выйдет, так смотри помни уговор: не ругайся, не пожалуйся, потому что я твоего вкуса не знаю, чего ты желал».

«Никогда никому не пожалуюсь, я уже вам это сказал, положитесь на мою железную волю».

«Ну, молодец, если так, а у меня, брат, вот воли-то совсем нет. Много раз я решался, дай стану со всеми честно поступать, но все никак не выдержу. Что ты будешь делать — и попу на духу после каюсь, да уже не воротишь. А у вас, у лютеран, ведь совсем и не каются?»

«У нас богу каются».

«Ишь какая воля: и не божатся и не каются! Да, впрочем, у вас и попов нет, и святых нет; ну, да вам их и взять негде, все святые-то русские. Прощай, матинька, садись да поезжай, а я пойду помолюсь да спать лягу».

И они расстались.

Пекторалис знал Дмитрия Ерофеича за шутника и был уверен, что все это шутки; он оделся, вышел на крыльцо, сел в саночки, но чуть только забрал вожжи, его лошадь сразу же бросилась вперед и ударилась лбом в стену. Он ее потянул в другую сторону, она снова метнулась и опять лбом в запертый сарай — и на этот раз так больно стукнулась, что даже головою замотала.

Немец долго не мог понять этой штуки и не нашел, у кого бы спросить ей объяснение, потому что, пока это происходило, в доме сник всякий след жизни, все огни везде погасли и все люди попрятались. Мертво, как в заколдованном замке, только луна светит, озаряя далекое поле, открывающееся за растворенными воротами, да мороз хрустит и потрескивает.

Оглянулся Гуго туда и сюда, видит: дело плохо; повернул лошадь головой к луне — и даже испугался: так мертво и тупо, как два тусклые зеркальца, неподвижно глядели на луну большие бельма бедной Окрысы, и лунный свет отражался от них, как от металла.

«Лошадь слепая»,— догадался Гуго и еще раз оглянулся по двору.

В одном из окон при свете луны ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрия Ерофеича, который, вероятно, еще не спал и любовался луною, а может быть, и собирался молиться. Гуго вздохнул, взял лошадь под уздцы и повел ее со двора,— и как только за Пекторалисом заперли ворота, в окошечке Дмитрия Ерофеича засветился тихий огонек: вероятно, старичок зажег лампадку и стал на молитву.

IX

— Бедный Гуго был жестоко и немилосердно обманут, его терзала обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди поля,— и он все это нес, терпеливо нес, идучи целые сорок верст пешком с слепою лошадью, за которою тянулись его пустые санки. И что же, однако, он сделал со всеми этими чувствами и с лошадью? Лошади нигде не оказалось — и он ничего никому не сказал о том, куда она делась (вероятно, он продал ее татарам в Ишиме). А к Дмитрию Ерофеичу, на дворе которого все наши имели обычай

приставать, Пекторалис заезжал по-прежнему, не давая заметить в своих отношениях и тени неудовольствия. Долго, долго Дмитрий Ерофеич не показывал ему глаз, но потом они встретились — и Пекторалис не сказал ни слова о лошади.

Наконец уже Дмитрий Ерофеич не выдержал и сам заговорил:

«А что, бишь, я все забываю тебя спросить: какова твоя лошаденка?»

«Ничего, очень хороша»,— отвечал Пекторалис.

«Да она, что и говорить, разумеется, лошадь хорошая; только вот какова она в езде-то?»

«Хорошо ездит».

«Ну и чудесно. Я так и полагал, что хорошо будет ездить. Только что же ты, кажется, не на ней сегодня приехал?»

«Да я ее поберегаю».

«А, вот зто прекрасно, это ты очень умно делаешь, поберегай, брат, ее, поберегай. Кобылица чудная, грех такую не беречь».

И людям он с добротою сердечною сообщал, что вот-де Гуго Карлыч нашу Окрысу очень хвалит, а сам все думал: «Что зто за чертов такой немец, ей-право, во всю мою жизнь со мной такая первая оказия: надул человека до бесчувствия, а он не ругается и не жалуется».

И впал от зтого Дмитрий Ерофеич даже в беспокойство. Понять он не мог, что зто такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он надул Пекторалиса, и сильно претендовал, что отчего же тот не жалуется. Но Пекторалис держал свой термин и, узнав, что Дмитрий Ерофеич рассказывает, только пожал плечами и сказал:

«Никакой выдержки нет».

Дмитрий Ерофеич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен; он вообразил, что Пекторалис замышляет ему какое-то ужасно хитро рассчитанное мщение, и, чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в триста и велел ему кланяться и просить извинения.

Пекторалис покраснел, но решительно велел отвести лошадь назад и вместо ответа написал: «Мне стыдно за вас, у вас совсем нет воли».

И вот зтот-то человек, проделавший перед нами такую бездну экспериментов на своей железной воле, вдруг подвинулся к краю своих желаний: новый год ему принес новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила эа три тысячи талеров.

Пекторалис поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещаясь через месяц возвратиться оттуда с женою.

Сборы его были невелики — и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругою, которая, по всем нашим соображениям, должна была представлять нечто особенное.

Но в каком роде?

«Непременно, братцы, в надувательном»,— старался утверждать Дмитрий Ерофеич.

X

— Мы недолго оставались без вестей от Пекторалиса: через месяц после своего выезда он написал мне, что соединился браком, и называл свою жену по-русски, Кларой Павловной; а еще через месяц он припожаловал к нам назад с супругою, которую мы, признаться сказать, все очень нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством.

У нас в колонии, где каждому так известны были крупные и мелкие чудеса Пекторалиса, существовало всеобщее убеждение, что и женитьба его непременно должна быть в своем роде какое-нибудь замысловатое чудо.

Оно, как ниже увидим, так и было в действительности, но только на первых порах мы ничего не могли понять.

Клара Павловна была немка как немка — большая, очень, по-видимому, здоровая, хотя и с несколько геморроидальною краснотою в лице и одною весьма странною замечательностью: вся левая сторона тела у нее была гораздо массивнее, чем правая. Особенно это было заметно по ее несколько вздутой левой щеке, на которой как будто был постоянный флюс, и по оконечностям. И ее левая рука и левая нога были заметно больше, чем соответствующие им правые.

Гуго сам обращал на это наше внимание и, казалось, даже был зтим доволен.

«Вот,— говорил он,— зта рука побольше, а эта рука поменьше. О, зто так не часто бывает».

Я тогда в первый раз видел эту странную игру природы и соболезновал, что бедный Гуго вместо одной пары обуви и перчаток должен был покупать для жены две разные; но только соболезнование это было напрасно, потому что madame Пекторалис делала это иначе: она брала и обувь и перчатки *на бóльшую* мерку, и оттого у нее всегда одна нога была в сапоге, который был впору, а другая в таком, который с ноги падал. То же было и с рукою, если когда дело доходило до перчаток.

У нас никому не нравилась эта дама, которую, по правде говоря, даже не шло как-то называть и дамою — так она была груба и простонародна, и из нас многие задавали себе вопрос: что могло привлечь Пекторалиса к этой здоровой, вульгарной немке и стоило ли для нее давать и исполнять такие обеты, какие нес он, чтобы на ней жениться. И еще он ездил за нею в такую даль, в Германию... Так и хочется, бывало, ему спеть:

Чего тебя черти носили,
Мы бы тебя дома женили.

Преимущества Клары, разумеется, заключались в каких-нибудь ее внутренних достоинствах — например, в воле. Мы и об этом осведомлялись:

«Большая воля у Клары Павловны?»

Пекторалис делал гримасу и отвечал:

«Чертовская!»

К обществу наших английских дам, между которыми были существа очень умные и прекрасно воспитанные, Клара Павловна совершенно не подходила,— и это чувствовала и она сама, и Пекторалис, который об этом, впрочем, нимало не сожалел и вообще не заботился о том, как кому кажется его жена. Как истый немец, он содержал ее не про господ, а про свой расход, и нимало не стеснялся ее несоответствием среде, в которую она попала. В ней было то, что ему было нужно и что он ценил всего дороже: железная воля, которая в соединении с собственною железною волею Пекторалиса должна была произвесть чудо в потомстве,— и этого было довольно!

Но вот что могло несколько удивлять — это что никто не видал никаких проявлений этой воли. Клара Пекторалис жила себе как самая обыкновенная немка: варила мужу суп, жарила клопс и вязала ему чулки и ногавки, а в отсутствие мужа, который в то время имел много работы на стороне, сидела с состоявшим при нем машинистом Офенбергом, глупейшим деревянным немцем из Сарепты.

Об Офенберге мне достаточно вам сказать десять слов: это был молодой юноша, которого, мне кажется, должны бы имитировать все актеры, исполняющие роль работника, соблазняемого хозяйкою в известной пиеске «Мельничиха в Марли». У нас все считали его дурачком, хотя он, впрочем, имел в себе нечто расчетливое и мягкоковарное, свойственное тем особенным простячкам с виду, каких можно встречать при иезуитских домах в rue de Sevres и других местах.

Офенберг был взят в помощь Пекторалису не столько как механик, сколько как толмач для передачи его распоряжений рабочим; но и в зтом роде

он был не совсем удовлетворителен и многое часто путал. Однако тем не менее Пекторалис терпел его и находил полезным даже после того, когда уже и сам научился по-русски. Даже более: Пекторалис почему-то полюбил этого глупого Офенберга и делил с ним свои досуги: он жил с ним в одной квартире, спал до женитьбы в одной спальне, играл с ним в шахматы, ходил с ним на охоту и зорко наблюдал за его нравственностию, на что будто бы имел особенное поручение от его родителей и от старшин сарептских гернгутеров. Вообще Офенберг и Пекторалис у нас жили друзьями и очень редко расставались. Теперь это изменилось, потому что Пекторалис часто уезжал, но это нимало не угрожало нравственности Офенберга, за которою в отсутствие мужа имела неослабное наблюдение фрау Клара. Таким образом, оба они были друг другу полезны. Офенберг развлекал фрау Клару, а она его оберегала от всяких покушений и соблазнов юности. И здесь дело было обдумано умно; но черт ему позавидовал и сделал из него замечательную глупость, которая благодаря прямоте и оригинальности нашего славного Гуго получила самую нескромную огласку и повернула весь дом вверх дном.

По женскому суждению, во всем этом, о чем я сейчас начну рассказывать, был непростительно виноват сам Гуго; но когда же у дам бывают другие виноватые, кроме мужей? Слушайте, пожалуйста, беспристрастно и рассудите дело сами, без дамского подсказа.

XI

— Со времени женитьбы Пекторалиса утек год, затем прошел другой — и, наконец, третий. Так точно мог бы уйти и шестой, и восьмой, и десятый, если бы этот третий год не был необыкновенно счастлив для Пекторалиса в экономическом отношении. От этого счастья и произошло большое несчастие, о котором вы сейчас услышите.

Я уже вам сказал, кажется, что Пекторалис был основательный знаток своего дела — и при отличавшей его аккуратности и настойчивости, свойственной его железной воле, делал все, за что принимался, чрезвычайно хорошо и добросовестно. Это скоро сделало ему такую репутацию в околотке, что его постоянно приглашали то туда, то сюда, наладить одну машину, установить другую, поправить третью. Наши принципалы его в этом не стесняли — и он всюду поспевал, а зато и заработок его был очень значителен. Средства его так возрастали, что он начал подумывать отложиться от своего Доберана и завести собственную механическую фабрику в центре нашей заводской местности, в городе Р.

Желание, конечно, самое простое и понятное для всякого человека, так как кому же не хочется выбиться из положения поденного работника и стать более или менее самостоятельным хозяином своего собственного дела; но у Гуго Карловича были к тому еще и другие сильные побуждения, так как у него с самостоятельным хозяйством соединялось расширение прав жизни. Вам, пожалуй, не совсем понятно, что я этим хочу сказать, но я должен на минуточку удержать пояснение этого в тайне.

Не помню, право, сколько именно требовалось по расчетам Пекторалиса, чтобы он мог основать свою фабрику, но, кажется, это выходило что-то около двенадцати или пятнадцати тысяч рублей,— и как только он доложил к этой сумме последний грош, так сейчас же и поставил точку к одному периоду своей жизни и объявил начало нового.

Обновление это совершилось в три приема, из коих первый заключался в том, что Пекторалис объявил, что он более не будет служить и открывает в городе фабрикацию. Второе дело было — устройство этой фабрикации, для которой прежде всего нужно было место, и притом, разумеется, по мере возможности дешевое и удобное. Таких мест в небольшом городе было немного — и из них одно только отвечало всем требованиям Пекторалиса: он к нему и привязался. Это было большое глубокое место, выходившее одною стороною

к ярмарочной площади, а другою — к берегу реки,— и притом здесь были огромные старые каменные строения, которые с самыми ничтожными затратами могли быть приспособлены к делу. Но половина этого облюбованного Пекторалисом места была давно заарендована на долгое время некоему мещанину Сафронычу, у которого тут был маленький чугуноплавильный завод. Пекторалис знал и этот завод, и самого Сафроныча и надеялся его выжить. Правда, что Сафроныч не подавал ему на это никаких надежд и даже прямо отвечал, что он отсюда не пойдет; но Пекторалис придумал себе план, против которого Сафроныч, по его расчету, никак не мог устоять. И вот, в надежде на этот план, место было куплено, и Пекторалис в один прекрасный день вернулся к нам на старое пепелище с купчею крепостию и в самом веселом расположении духа. Он был так весел, что позволил себе большие и совсем ему несвойственные нескромности, обнял при всех жену, расцеловал обоих своих принципалов, взял за уши и потянул кверху Офенберга и затем объявил, что он устроился, благодарит за хлеб-за соль и скоро уезжает в Р. на свое хозяйство.

Мне показалось, что Клара Пекторалис при этом известии побледнела, а Офенберг как будто потерялся до того, что сам Гуго обратил на это внимание и, расхохотавшись, сказал:

«О! ты не ждал этого, бедный разиня!— И с этими словами он повернул к себе деревянного гернгутера, сильно хлопнул его по плечу и произнес:— Ну, ничего, не грусти, Офенберг, не грусти, я и о тебе подумал — я тебя не оставлю, и ты будешь со мною, а теперь отправляйся сейчас в город и привези оттуда много шампанского и все то, что я купил по этой записке».

Записка была — реестр самых разнообразных покупок, сделанных Пекторалисом и оставленных в городе. Тут было вино, закуска и прочее.

Пекторалис, очевидно, хотел задать нам большой пир — и действительно, на другой же день, когда вся бакалея была привезена, он обошел всех нас, прося к себе вечером на большое угощение, по случаю своей женитьбы.

Мне показалось, что я не вслушался, и я его переспросил:

«Вы даете нам прощальный пир по случаю своего отъезда и нового приобретения?»

«О нет; это мы еще будем пировать там, когда хорошо пойдет мое дело, а теперь я делаю пир потому, что я сегодня буду жениться».

«Как, вы будете сегодня жениться?»

«О да, да, да: сегодня Клара Павловна... я с ней сегодня женюсь».

«Что вы за вздор говорите?»

«Никакой вздор, непременно женюсь».

«Как женитесь? Да ведь, позвольте, вы ведь три года уже как женаты».

«Гм! да, три года, три года. Ишь вы! Вы думаете, что это всегда будет так, как было три года. Конечно, это могло так оставаться и тридцать три года, если бы я не получил денег и не завел своего хозяйства; но теперь нет, брат, Клара Павловна, будьте покойны, я с вами нынче женюсь. Вы меня, кажется, не понимаете?»

«Решительно не понимаю, не понимаю».

«Дело самое простое: у меня с Клариинькой так было положено, что когда у меня будет три тысячи талеров, я буду делать с Клариинькой нашу свадьбу. Понимаете, только свадьбу, и ничего более, а когда я сделаюсь хозяином, тогда мы совсем как нужно женимся. Теперь вы понимаете?»

«Батюшки мои,— говорю, — я боюсь за вас, что начинаю понимать, как вы это... три года... все еще не женились!»

«О да, разумеется, еще не женился! Ведь я вам сказал, что если бы я не устроился как нужно, я бы и тридцать три года так прожил».

«Вы удивительный человек!»

«Да, да, да, я и сам знаю, что я удивительный человек,— у меня железная воля! А вы разве не поняли, что я вам давно сказал, что, получая три тысячи талеров, я еще не буду наверху блаженства, а буду только близко блаженства?»

«Нет,— отвечаю,— тогда не понял».

«А теперь понимаете?»

«Теперь понимаю».

«О, вы неглупый человек. И что вы теперь обо мне скажете? Я теперь сам хозяин и могу иметь семейство, я буду все иметь».

«Молодец,— говорю,— молодец!.. и черт вас побери, какой вы молодец!..»

И целый потом этот день до вечера я был не шутя взволнован этою штукою.

«Этакой немецкий черт!— думалось мне,— он нашего Чичикова пересилит».

И как Гейне все мерещился во сне подбирающий под себя Германию черный прусский орел, так мне все метался в глазах этот немец, который собирался сегодня быть мужем своей жены после трех лет женитьбы.

Помилуйте, чего после этого такой человек не вытерпит и чего он не добьется?

Этот вопрос стоял у меня в голове и во все время пира, который был продолжителен и изобилен, на котором и русские, и англичане, и немцы — все были пьяны, все целовались, все говорили Пекторалису более или менее плоские намеки на то, что задлившийся пир крадет у него блаженные и долгожданные мгновения; но Пекторалис был непоколебим; он тоже был пьян, но говорил:

«Я никуда не тороплюсь; я никогда не тороплюсь — и я всюду поспею и все получу в свое время. Пожалуйста, сидите и пейте, у меня ведь железная воля».

В эти минуты он, бедняжка, еще не знал, как она ему была нужна и какие ей предстояли испытания.

XII

— На другой день по милости этого пира пришлось проспать добрым полчасом дольше обыкновенного, да и то не хотелось встать, несмотря на самую неотвязчивую докуку будившего меня слуги. Только важность дела, которое он мне сообщал и которое я не скоро мог понять, заставила меня сделать над собою усилие.

Речь шла о Гуго Карловиче,— точно еще не был окончен заданный им пьянейший пир.

«Да в чем же дело?»— говорю я, сидя на постели и смотря заспанными глазами на моего слугу.

А дело было вот в чем: через час после ухода от Пекторалиса последнего гостя, Гуго на рассвете серого дня вышел на крыльцо своего флигеля, звонко свистнул и крикнул:

«Однако!»

Через несколько минут он повторил это громче и потом раз за разом еще громче прокричал:

«Однако! однако!»

К нему подошел один из ночных сторожей и говорит:

«Что твоей милости, сударь?»

«Пошли мне сейчас «Однако»!

Сторож посмотрел на немца и отвечал:

«Иди спать, родной,— что тебе такое!»

«Ты дурак: пошли мне «Однако». Пойди туда, вон в тот флигель, где слесаря, и разбуди его там в его комнатке,— и скажи, чтобы сейчас пришел сюда».

«Перепились, басурманы!»— подумал сторож и пошел будить Офенберга: он-де немец и скорее разберет, что другому немцу надо.

Офенберг тоже был под-шефе и насилу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к Пекторалису, который во все это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Офенберга, он весь вздрогнул и опять закричал ему:

«Однако!»

«Чего вы хотите?»— отвечал Офенберг.

«Однако, чего я хочу, того уже, однако, нет,— отвечал Пекторалис. И, резко переменив тон, скомандовал:— Но иди-ка за мною».

Позвав к себе Офенберга, он заперся с ним на ключ в конторе — и с тех пор они дерутся.

Я просто своим ушам не верил; но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуго и Офенберг дерутся опасно — запершись на ключ, так что видеть ничего не видно, и крику, говорит, из себя не пущают, а только слышно, как ужасно удары хлопают и барыня плачет.

«Пожалуйте,— говорит,— туда, потому что там давно уже все господа собрались — потому убийства боятся; но никак взлезть не могут».

Я бросился к флигелю Пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колония была в сборе и суетилась у дверей Пекторалиса. Двери, как сказано, были плотно заперты и за ними происходило что-то необыкновенное: оттуда была слышна сильная возня — слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал. Побьет, побьет и потащит, опрокинет и бросит, и опять тузит, и потом вдруг будто пауза — и опять потасовка, и тихое женское всхлипывание.

«Эй, господа!— кричали им.— Послушайте... довольно вам. Отпирайтесь!»

«Не отвечай!»— слышался голос Пекторалиса, и вслед за этим опять идет потасовка.

«Полно, полно, Гуго Карлыч!— кричали мы.— Довольно! иначе мы двери высадим!»

Угроза, кажется, подействовала: возня продолжалась еще минуту и потом вдруг прекратилась — и в ту же самую минуту дверной крюк откинулся, и Офенберг вылетел к нам, очевидно, при некотором стороннем содействии.

«Что с вами, Офенберг?»— вскричали мы разом; но тот ни слова нам не ответил и пробежал далее.

«Батюшка, Гуго Карлыч, за что вы его это так обработали?»

«Он знает»,— отвечал Пекторалис, который и сам был обработан не хуже Офенберга.

«Что бы он вам ни сделал, но все-таки... как же так можно?»

«А отчего же нельзя?»

«Как же так избить человека!»

«Отчего же нет? и он меня бил: мы на равных правилах сделали русскую войну».

«Вы это называете русскою войною?»

«Ну да; я ему поставил такое условие: сделать русскую войну — и не кричать».

«Да помилуйте,— говорим,— во-первых, что это такое за русская война без крику? Это совсем вы выдумали что-то не русское».

«По мордам».

«Ну да что же «по мордам»,— это ведь не одни русские по мордам дерутся, а во-вторых, за что же вы это, однако, так друг друга обеспокоили?»

«За что? он это знает»,— отвечал Пекторалис. Этим двусмысленным образом он ответил на всю трагическую суть своего положения, которое, очевидно, имело для него много неприятного в своей неожиданности.

Вскоре же после этой русской войны двух немцев Пекторалис переехал в город и, прощаясь со мною, сказал мне:

«Знаете, однако, я очень неприятно обманулся».

Догадываясь, чего может касаться дело, я промолчал, но Пекторалис нагнулся к моему уху и прошептал:

«У Клариньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Офенбергом».

Уезжая, он жену, разумеется, взял с собою, но Офенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне; но на Пекторалиса не жаловался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что воевал.

«Позвал,— говорит,— меня, кричит: «Однако!»— а потом: «Становись, говорит, и давай делать русскую войну; а если не будешь меня бить,— я один тебя буду бить». Я долго терпел, а потом стал и его бить».

«И все за «однако»?»

«Больше ничего не слыхал и не знаю».

«Это ведь, однако, странно!».

«И, однако, больно-с»,— отвечал Офенберг.

«А вы Кларе Павловне кур не строили [1], Офенберг?»

«То есть, ей-богу, ничего не строил».

«И ни в чем не виноваты?»

«Ей-богу, ни в чем».

Так это и осталось под некоторым сомнением: в какой мере был виноват сей Иосиф за то, за что он пострадал, но что Пекторалис на сей раз получил жестокий удар своей железной воле — это было несомненно,— и хотя нехорошо и грешно радоваться чужому несчастью, но, откровенно вам признаюсь, я был немножко доволен, что мой самонадеянный немец, убедясь в недостатке воли у самой Клары, получил такой неожиданный урок своему самомнению.

Урок этот, конечно, должен был иметь на него свое влияние, но все-таки он не сломал его железной воли, которой надлежало оборваться весьма трагикомическим образом, но совершенно при другом роковом обстоятельстве, когда у Пекторалиса зашла русская война с настоящим русским же человеком.

XIII

— Пекторалис имел достаточно воли, чтобы снесть неудовольствие, которое причинило ему открытие недостатка большой воли в его супружеской половине. Конечно, ему это было нелегко уже по тому одному, что его теперь должна была оставить самая, может быть, отрадная мечта — видеть плод союза двух человек, имеющих железную волю; но, как человек самообладающий, он подавил свое горе и с усиленною ревностью принялся за свое хозяйство.

Он устраивал фабрику и при этом на каждом шагу следил за своею репутациею человека, который превыше обстоятельств и везде все ставит на своем.

Выше было сказано, что Пекторалис приобрел лицевое место, задняя, заплатанная часть которого была в долгосрочной аренде у чугуноплавильщика Сафроныча, и что этого маленького человека никак нельзя было отсюда выжить.

Ленивый, вялый и беспечный Сафроныч как стал, так и стоял на своем, что он ни за что не сойдет с места до конца контракта,— и суды, признавая его в праве на такую настойчивость, не могли ему ничего сделать.

А он со своим дрянным народом и еще более дрянным хозяйством мешал и не мог не мешать стройному хозяйству Пекторалиса. И этого мало; было нечто более несносное в этом положении: Сафроныч, почувствовав себя в силе своего права, стал кичиться и ломаться, стал всем говорить:

«Я-ста его, такого-сякого немца, и знать-де не хочу. Я своему отечеству патриот — и с места не сдвинусь. А захочет судиться, так у меня знакомый приказный Жига есть,— он его в бараний рог свернет».

---

[1] Ухаживать, флиртовать (от *фр.* faire la cour).

Этого уже не мог снесть самоуважающий себя Пекторалис и, в свою очередь, решил отделаться от Сафроныча по-своему, и притом самым решительным образом,— для чего он уже и вперед расставил неосмотрительному мужику хитрые сети.

Пекторалис скомбинировал свои отношения с Сафронычем, казалось, чрезвычайно предусмотрительно,— так что Сафроныч, несмотря на свои права, весь очутился в его руках и увидал это тогда, когда дело было приведено к концу, или, по крайней мере, так казалось.

Но вот как шло дело.

Пекторалис трудился и богател, а Сафроныч ленился, запивал и приходил к разорению. Имея такого конкурента, как Пекторалис, Сафроныч уже совсем оплошал и шел к неминучей нищете, но тем не менее все сидел на своих задах и ни за что не хотел выйти.

Я помню этого бедного, слабовольного человека с его русским незлобием, самонадеянностью и беспечностью.

«Что будет с вами, Василий Сафроныч,— говорили ему, указывая на упадок его дел, совершенно исчезавших за широкими захватами Пекторалиса,— ведь вон у вас по вашей беспечности перед самыми устами какой перехват вырос».

«И, да что же такое, господа?— отвечал беспечный Сафроныч,— что вы меня все этим немцем пугаете? Пустое дело: ведь и немец не собака — и немцу хлеб надо есть; а на мой век станет».

«Да ведь вон он всю работу у вас захватывает».

«Ну так что же такое? А может быть, это так нужно, чтобы он за меня работал. А с пепелища своего я все-таки не пойду».

«Эй, лучше уйдите — он вам отступного даст».

«Нет-с, не пойду: помилуйте, куда мне идти? У меня здесь целое хозяйство заведено, да у бабы — и корыта, и кадочки, полки, и наполки: куда это все двигать?»

«Что вы за вздор говорите, Сафроныч, да мудрено ли все это передвинуть?»

«Да ведь это оно так кажется, что не мудрено, но оно у нас все лядащенькое, все ветхое: пока оно стоит на месте, так и цело; а тронешь — все рассыпется».

«Новое купите».

«Ну для чего же нам новое покупать, деньги тратить,— надо старину беречь, а береженого и бог бережет. Да мне и приказный Жига говорит: «Я, говорит, тебе по своему самому хитрому рассудку советую: не трогайся; мы, говорит, этого немца сиденьем передавим».

«Смотрите, не врет ли вам ваш Жига».

«Помилуйте, что же ему врать! Если бы он, конечно, это трезвый говорил, то он тогда, разумеется, может по слабости врать; а то он это и пьяный божится: ликуй, говорит, Сафроныч, велии это творятся дела не к погибели твоей, а ко славе и благоденствию».

Такие обидные речи Сафроныча опять доходили до Пекторалиса и раздражали его неимоверно и, наконец, совсем вывели его из терпения и заставили выкинуть самую радикальную штуку.

«О, если он хочет со мною свою волю померить,— решил Пекторалис,— так я же ему покажу, как он передавит меня своим сиденьем! Баста!— воскликнул Гуго Карлыч, — вы увидите, как я его теперь кончу».

«Он тебя кончит»,— передали Сафронычу; но тот только перекрестился и отвечал:

«Ничего: бог на выдаст — свинья не съест, мне Жига сказал: погоди, он нами подавится».

«Ой, подавится ли?»

«Непременно подавится. Жига это умно судил: мы, говорит, люди русские — с головы костисты, а снизу мясисты. Это не то что немецкая колбаса, ту всю можно сжевать, а от нас все что-нибудь останется».

Суждение всем понравилось.

Но на другой день после этих переговоров жена Сафроныча будит его и говорит:

«Встань скорее, нетяг ленивый,— иди посмотри, что нам немец сделал».

«Что ты все о пустяках,— отвечал Сафроныч,— я тебе сказал: я костист и мясист, меня свинья не съест».

«Иди смотри, он и калитку и ворота забил; я встала, чтобы на речку сходить, в самовар воды принести, а ворота заперты, и выходить некуда, а отпирать не хотят, говорят — не велел Гуго Карлыч и наглухо заколотил».

«Да — вот это штука!»— сказал Сафроныч и, выйдя к забору, попробовал и калитку и ворота: видит — точно, они не отпираются; постучал, постучал: никто не отвечает. Забит костистый человек на своем заднем дворе, как в ящике. Взлез Василий Сафроныч на сарайчик и заглянул через забор — видит, что и ворота и калитка со стороны Гуго Карлыча крепко-накрепко досками заколочены.

Сафроныч кричал, кликал всех, кого знал, как зовут в доме Пекторалиса, и никого не дозвался. Никто ему не помог, а сам Гуго вышел к нему со своею мерзкою немецкою сигарою и говорит:

«Ну-ка, ну, что ты теперь сделаешь?»

Сафроныч оробел.

«Батюшка,— отвечал он с крыши Пекторалису,— да что же вы это учреждаете? Ведь это никак нельзя: я контрактом огражден».

«А я,— отвечает Пекторалис,— вздумал еще тебя и забором оградить».

Стоят этак — один на крыльце, другой на крыше — и объясняются.

«Да как же мне этак жить?— спрашивал Сафроныч,— мне ведь теперь выехать наружу нельзя».

«Знаю, я это для того и сделал, чтобы тебе нельзя было вылезть».

«Так как же мне быть, ведь и сверчку щель нужна, а я как без щели буду?»

«А вот ты об этом и думай да с приказным поговори; а я имел право тебе все щели забить, потому что о них в твоем контракте ничего не сказано».

«Ахти мне, неужли не сказано?»

«А вот то-то есть!»

«Быть этого, батюшка, не может».

«А ты не спорь, а лучше слезь да посмотри».

«Надо слезть».

Слез бедный Сафроныч с крыши, вошел в свое жилье, достал контракт со старым владельцем, надел очки — и ну перечитывать бумагу. Читал он ее и перечитывал, и видит, что действительно бедовое его положение: в контракте не сказано, что, на случай продажи участка иному лицу, новый владелец не может забивать Сафроновы ворота и калитку и посадить его таким манером без выхода. Но кому же это и в голову могло прийти, кроме немца?

«Ах ты, волк тебя режь, как ты меня зарезал!»— воскликнул бедняк Сафроныч и ну стучаться в забор к соседке.

«Матушка,— говорит ей Сафроныч,— позволь мне к твоему забору лесенку приставить, чтобы через твой двор на улицу выскочить. Так и так,— говорит,— вот что со мной злобный немец устроил: он меня забил,— в роковую петлю уловил мои ноги, так что мне и за приказным слазить не можно. Пока будет суд да дело, не дай мне с птенцами гладом-жаждой пропасть. Позволь через забор лазить, пока начальство какую-нибудь от этого разбойника защиту даст».

Мещанка-соседка сжалилась и открыла Василию Сафронычу пропуск.

«Ничего,— говорит,— батюшка, неужели я тебя этим стесню: ты добрый человек,— приставь лесенку, мне от этого убытку не будет, и я с своей стороны свою лесенку тебе примощу, и лазьте себе туда и сюда на здоровье через мой забор, как через большую дорогу, доколе вас начальство с немцем рассудит. Не позволит же оно ему этак озорничать, хотя он и немец».

«И я думаю, матушка, что не позволит».

«Но пока не позволит, ты только скорее к Жиге беги — он все дело справит».

«И то, к нему побегу».

«Беги, милый, беги; он уже что-нибудь скаверзит, либо что, либо что, либо еще что. Ну, а пока я тебе, пожалуй, хоть одно звено в своем заборчике разгорожу».

Сафроныч успокоился — щель ему открывалась.

Утвердили они одну лесенку с одной стороны, другую с другой, и началось опять у Сафроновых хоть неловкое, а все-таки какое-нибудь с миром сообщение. Пошла жена Сафроныча за водкою, а он сам побежал к приказному Жиге, который ему в давнее время контракт писал,— и, рыдая, говорит свою обиду.

«Так и так,— говорит,— все ты меня против немца обнадеживал, а со мною вот что теперь сделано, и все это по твоей вине, и за твой грех все мы с птенцами должны,— говорит,— гладом избыть. Вот тебе и слава моя и благополучие!»

А подьячий улыбается.

«Дурак ты,— говорит,— дурак, брат любезный, Василий Сафроныч, да и трус: только твое неожиданное счастье к тебе подошло, а ты уже его и пугаешься».

«Помилуй,— отвечал Сафроныч,— какое тут счастье, во всякий час всему семейству через чужой забор лазить? Ни в жизнь я этого счастья не хотел! Да у меня дети не великоньки, того гляди, которого за чем пошлешь, а он пузо занозит, или свалится, или ножку сломит; а порою у меня по супружескому закону баба бывает в году грузная, ловко ли ей все это через забор прыгать? Где нам в такой осаде, разве можно жить? А уже про заказы и говорить нечего: не то что какой тяжелый большой паровик вытащить, а и борону какую сгородить — так и ту потом негде наружу выставить».

А подьячий опять свое твердит:

«Дурак ты,— говорит,— дурак, Василий Сафроныч».

«Да что ты зарядил одно: дурак да дурак? ты не стой на одной брани, а утешенье дай».

«Какого же,— говорит,— тебе еще утешения, когда ты и так уже господом взыскан паче своей стоимости?»

«Ничего я этих твоих слов не понимаю».

«А вот потому ты их и не понимаешь, что ты дурак — и такой дурак, что моему значительному уму с твоею глупостию даже и толковать бы стыдно; но я только потому тебе отвечаю, что уже счастье-то тебе выпало очень несоразмерное — и у меня сердце радуется, как ты теперь жить будешь великолепно. Не забудь, гляди, гляди, меня, не заветряйся; не обнеси чарою».

«Шутишь ты надо мною, бессовестный».

«Да что ты, совсем уже, что ли, одурел, что речи человеческой не понимаешь? Какие тут шутки, я тебе дело говорю: блаженный ты отныне человек, если только в вине не потонешь».

Ничего бедный Василий Сафроныч не понимает, а тот на своем стоит.

«Иди, иди домой своею большою дорогою через забор, только ни о чем не проси немца и не мирись с ним. И боже тебя сохрани, чтобы соседка тебе лаза не открывала, а ходи себе через лесенку, как показано, этой дороги благополучнее тебе быть не может».

«Полно, пожалуй, неужто так всё и лазить?»

«А что же такое? так и лазий, ничего не рушь, как сделалось, потому что экую благодать и пальцем грех тронуть. А теперь ступай домой да к вечеру наготовь штофик да кизлярочки — и я к тебе по лесенке перелезу, и на радостях выпьем за немцево здоровье».

«Ну, ты приходить, пожалуй, приходи, а чтобы я стал за его здоровье пить, так этого уже не будет. Пусть лучше он придет на мои поминки блины есть да подавится».

А развеселый приказный утешает:

«И, брат, все может статься, теперь такое веселое дело заиграло, что отчего и тебе за его здоровье не попить; а придет то, что и ему па твоих похоронах блин в горле комом станет. Знаешь, в Писании сказано: «Ископа ров себе и упадет». А ты думаешь, не упадет?»

«Где ему сразу пасть! всю силу забирает...»

«А «сильный силою-то своею не хвались», это где сказано? Ох вы, маловеры, маловеры, как мне с вами жить и терпеть вас? Научитесь от меня, как вот я уповаю: ведь я уже четырнадцатый год со службы изгнан, а все водку пью. Совсем порою изнемогу — и вот-вот уже возроптать готов, а тут и случай, и опять выпью и восхвалю. Все, друг, в жизни с перемежечкой, тебе одному только теперь счастье до самого гроба сплошное вышло. Иди жди меня, да пошире рот разевай, чтобы дивоваться тому, что мы с немцем сделаем. Об одном молись...»

«О чем это?»

«Чтобы он тебя пережил».

«Тпфу!»

«Не плюй, говорю, а молись: это надо с верою, потому что ему теперь очень трудно станет».

XIV

— И все это изрекал Жига такими загадками.

Побрел Василий Сафроныч к своему загороженному дому, перелез большою дорогою через забор, спосылал тою же дорогою, кого знал, закупить для подьячего угощение,— сидит и ждет его в смятенном унынии, от которого никак не может отделаться, несмотря на куражные речи приказного.

А тот, в свою очередь, этим делом не манкировал: снарядился он в свой рыжий вицмундир, покрылся плащом да рыжеватою шляпою — и явился на двор к Гуго Карловичу и просит с ним свидания.

Пекторалис только что пообедал и сидел, чистя зубы перышком в бисерном чехольчике, который сделала ему сюрпризом Клара Павловна еще в то блаженное время, когда счастливый Пекторалис не боялся ее сюрпризов и был уверен, что у нее есть железная воля.

Услыхав про подьячего, Гуго Карлыч, который на хозяйственной ноге начал уже важничать, долго не хотел его принять, но когда приказный объявил, что он по важному делу, Гуго говорит:

«Пусть придет».

Подьячий явился и ну низко-низко Пекторалису кланяться. Тому это до того понравилось, что он говорит:

«Принимайте место и садитесь-зи [1]».

А приказный отвечает:

«Помилуйте, Гуго Карлович,— мне ли в вашем присутствии сидеть, у меня ноги русские, дубовые, я перед вами, благородным человеком, и стоять могу».

«Ага,— подумал Пекторалис,— а этот подьячий, кажется, уважает меня, как следует, и свое место знает»,— и опять ему говорит:

«Нет, отчего же, садитесь-зи!»

«Право, Гуго Карлович, мне перед вами стоять лучше: мы ведь стоеросовые и к этому с мальства обучены, особенно с иностранными людьми мы всегда должны быть вежливы».

«Эх вы, какой штука!»— весело пошутил Пекторалис и насильно посадил гостя в кресло.

Тому больше уже ничего не оставалось делать, как только почтительно из глубины сиденья на край подвинуться.

---

[1] Вы (*нем.* Sie).

«Ну, теперь извольте говорить, что вы желаете? Если вы бедны, то вперед предупреждаю, что я бедным ничего не даю: всякий, кто беден, сам в этом виноват».

Приказный заслонил ладонью рот и, воззрясь подобострастно в Пекторалиса, ответил:

«Это вы говорите истинно-с: всякий бедный сам виноват, что он бедный. Иному точно что и бог не даст, ну, а все же он сам виноват».

«Чем же такой виноват?»

«Не знает, что делать-с. У нас такой один случай был: полк квартировал, кавалерия или как они называют... на лошадях».

«Кавалерия».

«Именно кавалерия, так там меня один ротмистр раз всей философии выучил».

«Ротмистр никогда не учит философии».

«Этот выучил-с, случай это такой был, что он мог выучить».

«Разве что случай».

«Случай-с: они командира-с ожидали и стояли верхами на лошадях да курили папиросочки, а к ним бедный немец подходит и говорит: «Зейен-зи зо гут»; [1] и как там еще, на бедность. А ротмистр говорит: «Вы немец?»—«Немец»,— говорит. «Ну так что же вы, говорит, нищенствуете? Поступайте к нам в полк и будете как наш генерал, которого мы ждем»,— да ничего ему и не дал».

«Не дал?»

«Не дал-с, а тот и взаправду в солдаты пошел и, говорят, генералом сделался да этого ротмистра вон выгнал».

«Молодец!»

«И я говорю — молодец; и оттого я всегда ко всякому немцу с почтением, потому бог его знает, чем он будет».

«Это совсем превосходный человек, это очень хороший человек»,— подумал про себя Пекторалис и вслух спрашивает:

«Ну, анекдот ваш хорош; а по какому же вы ко мне делу?»

«По вашему-с».

«По моему-у-у?»

«Точно так-с».

«Да у меня никаких делов нет-с».

«Теперь будет-с».

«Уж не с Сафроновым ли?»

«С ним и есть-с».

«Он никакого права не имеет, ему забор сказано стоять — он и стоит».

«Стоит-с».

«А про ворота ничего не сказано».

«Ни слова не сказано-с, а дело все-таки будет-с. Он приходил ко мне и говорит: «Бумагу подам».

«Пусть подает».

«И я говорю: «Подавай, а про ворота у тебя в контракте ничего не сказано».

«Вот и оно!»

«Да-с, а он все-таки говорит... вы извините, если я скажу, что он говорил?»

«Извиняю».

«Я, говорит, хоть и все потеряю...»

«Да он уже и потерял, его работа никуда не годится, его паровики свистят».

«Свистят-с».

«Ему теперь шабаш работать».

---

[1] Будьте так добры (*нем.* Seien Sie so gut).

«Шабаш, и я ему говорю: «Твоей фабрикации шабаш, и никто тебе ничего не поможет,— в ворота ничего ни провесть, ни вывезть нельзя». А он говорит: «Я вживе дышать не останусь, чтобы я этакому ферфлюхтеру[1] немцу уступил».

Пекторалис наморщил брови и покраснел.

«Неужто это он так и говорил?»

«Смею ли я вам солгать? Истинно так и говорил-с: ферфлюхтер, говорит, вы и еще какой ферфлюхтер, и при многих, многих свидетелях, почитай что при всем купечестве, потому что этот разговор на благородной половине в трактире шел, где все чай пили».

«Вот именно негодяй!»

«Именно негодяй-с. Я его было остановил,— говорю: «Василий Сафроныч, ты бы, брат, о немецкой нации поосторожнее, потому из них у нас часто большие люди бывают»,— а он на это еще пуще взбеленился и такое понес, что даже вся публика, свои чаи и сахары забывши, только слушать стала, и все с одобрением».

«Что же именно он говорил?»

«Это, говорит, новшество, а я по старине верю: а в старину, говорит, в книгах от царя Алексея Михайловича писано, что когда-де учали еще на Москву приходить немцы, то велено-де было их, таких-сяких, туда и сюда не сажать, а держать в одной слободе и писать по черной сотне».

«Гм! это разве был такой указ?»

«Вспоминают в иных книгах, что был-с».

«Это совсем не хороший указ».

«И я говорю, не хорошо-с, а особенно: к чему о том через столько прошлых лет вспоминать-с, да еще при большой публике и в народном месте, каковы есть трактирные залы на благородной половине, где всякий разговор идет и всегда есть склонность в уме к политике».

«Подлец!»

«Конечно, нечестный человек, и я ему на это так и сказал».

«Так и сказали?»

«Так и сказал-с; но только как от моих этих слов у нас между собою горячка вышла, и дошло дело до ругани, а потом дошло и больше».

«Что же: у вас вышла русская война?»

«Точно так-с: пошла русская война».

«И вы его поколотили?»

«И я его, и он меня, как по русской войне следует, но только ему, разумеется, не так способно было меня побеждать, потому что у меня, извольте видеть, от больших наук все волоса вылезли,— и то, что вы тут на моей голове видите, то это я из долгового отделения выпускаю; да-с, из запасов, с затылка начесываю... Ну, а он лохматый».

«Лохматый, негодяй».

«Да-с; вот я потому, как вижу, что мир кончен и начинается война, я первым делом свои волосы опять в долговое отделение спустил, а его за вихор».

«Хорошо!»

«Хорошо-с; но, признаться, и он меня натолкал».

«Ничего, ничего».

«Нет, больно-с».

«Ничего; я вас буду на мой счет лечить. Вот вам сейчас же и рубль на это».

«Покорно вас благодарю: я на вас и полагался, но только это ведь не вся беда».

«А в чем же вся-то?»

«Ужасную я неосторожность сделал».

---

[1] Проклятому (*нем.* Verfluchter).

«Ну-у?»

«Началось у нас после первого боя краткое перемирие, потому что нас розняли, и пошел тут спор; я сам и не знаю, как впал от этого в такое безумие, что сам не знаю, что про вас наговорил».

«Про меня?»

«Да-с; об заклад за вас на пари бился-с, что подавай, говорю, подавай свою жалобу,— а ты Гуги Карлыча волю не изменишь и ворота отбить его не заставишь».

«А он, глупец, думает, что заставит?»

«Смело в этом уверен-с, да и другие тоже уверяют-с».

«Другие!»

«Все как есть в один голос».

«О, посмотрим, посмотрим!»

«И вот они восторжествуют-с, если вы поддадитесь».

«Кто, я поддамся?»

«Да-с».

«Да вы разве не знаете, что у меня железная воля?»

«Слышал-с, и на нее в надежде такую и напасть на себя сризиковал взять: я ведь при всех за вас об заклад бился и увлекся сто рублей за руки дать».

«И дайте — назад двести получите».

«Да вот-с, я, их всех там в трактире оставивши, будто домой за деньгами побежал, и к вам и явился: ведь у меня, Гуго Карлыч, дома, окромя двух с полтиною, ни копейки денег нет».

«Гм, нехорошо! Отчего же это у вас денег нет?»

«Глуп-с, оттого и не имею; опять в такой нации, что тут — честно жить нельзя».

«Да, это вы правду сказали».

«Как же-с, я честью живу и бедствую».

«Ну ничего,— я вам дам сто рублей».

«Будьте благодетелем: ведь они не пропадут-с. Это все от вас зависит».

«Не пропадут, не пропадут, вы с него когда двести получите, сто себе возьмите, а эти сто мне возвратите».

«Непременно ворочу-с».

Пекторалис вручил подьячему бумажку, а тот, выйдя за двери, хохотал, хохотал, так что насилу впотьмах в соседний двор попал и полез к Сафронычу через забор пьяный магарыч пить.

«Ликуй,— говорит,— русская простота! Ныне я немца на такую пружину взял, что сатана скорее со своей цепи сорвется, чем он соскочит».

«Да хотя поясни»,— приставал Сафроныч.

«Ничего больше не скажу, как уловлен он — и уловлен на гордости, а это и есть петля смертная».

«Что ему!»

«Молчи, маловер, или не знаешь, ангел на этом коне поехал, и тот обрушился, а уж немцу ли не обрушиться».

Осушили они посудины, настрочили жалобу, и понес ее Сафроныч утром к судье опять по той же большой дороге через забор; и хотя он и верил и не верил приказному, что «дело это идет к неожиданному благополучию», но значительно успокоился. Сафроныч остудил печь, отказал заказы, распустил рабочих и ждет, что́ будет всему этому за конец, в ожидании которого не томился только один приказный, с шумом пропивавший по трактирам сто рублей, которые сорвал с Пекторалиса, и, к вящему для всех интересу и соблазну, а для Гуго Карлыча к обиде,— хвастался пьяненький, как жестоко надул он немца.

Все это создало в городе такое положение, что не было человека, который бы не ожидал разбирательства Сафроныча и Пекторалиса. А время шло; Пекторалис все пузырился, как лягушка, изображающая вола, а Сафроныч все переда в своем платье истер, лазя через забор, и, оробев, не раз уже подсылал тайком от Жиги к Пекторалису и жену и детей за пардоном.

Но Гуго был непреклонен.

«Нет,—говорил он,— я к нему приду по его приглашению, но приду на его похороны блины есть, а до того весь мир узнает, что такое моя железная воля».

XV

— И вот получили и Сафроныч и Пекторалис повестки — настал день их, и явились они на суд.

Зала была, разумеется, полна,— как я говорил, это смешное дело во всем городе было известно. Все знали весь этот курьез, не исключая и происшествия с подьячим, который сам разболтал, как он немца надул. И мы, старые камрады [1] Пекторалиса, и принципалы наши — все пришли посмотреть и послушать, как это разберется и чем кончится.

И Пекторалис и Сафроныч — прибыли оба без адвокатов. Пекторалис, очевидно, был глубоко уверен в своей правоте и считал, что лучше его никто не скажет, о чем надо сказать: а Сафронычу просто вокруг не везло: его приказный хотел идти говорить за него на новом суде и все к этому готовился, да только так заготовился, что под этот самый день ночью пьяный упал с моста в ров и едва не умер смертию «царя поэтов». Вследствие этого события Сафроныч еще более раскапустился и опустил голову, а Пекторалис приободрился: он был во всеоружии своей несокрушимой железной воли, которая теперь должна была явить себя не одному какому-нибудь частному человеку или небольшому семейному кружку, а обществу целого города. Стоило взглянуть на Пекторалиса, чтобы оценить, как он серьезно понимает значение этой торжественной минуты, и потому не могло быть никакого сомнения, что он сумеет ею воспользоваться, что он себя покажет,— явит себя своим согражданам человеком стойким и внушающим к себе уважение и, так сказать, отольет свой лик из бронзы, на память временам. Словом, это был, как говорят русские офицеры, «момент», от которого зависело все. Пекторалис знал, что его странный анекдот с свадьбою и женитьбой вызвал на свет множество смешных рассказов, в которых его железная воля делала его притчею во языцех. К истинным событиям, начиная с его двухмесячного путешествия зимою в клеенчатом плаще до русской войны с Офенбергом и легкомысленного предания себя в жертву надувательства пьяного подьячего,— прилагались небылицы в лицах самого невозможного свойства. И впрямь, Пекторалис сам знал, что судьба над ним начала что-то жестоко потешаться и (как это всегда бывает в полосе неудач) она начала отнимать у него даже неотъемлемое: его расчетливость, знание и разум. Еще так недавно он, устраивая свое жилье в городе, хотел всех удивить разумною комфортабельностью дома и устроил отопление гретым воздухом — и в чем-то так грубо ошибся, что подвальная печь дома раскалялась докрасна и грозила рассыпаться, а в доме был невыносимый холод. Пекторалис мерз сам, морозил жену и никого к себе не пускал в дом, чтобы не знали, что там делается, а сам рассказывал, что у него тепло и прекрасно; но в городе ходили слухи, что он сошел с ума и ветром топит, и те, которые это рассказывали, думали, что они невесть как остроумны. Говорили, что будто колесница, на которой Пекторалис продолжал ездить «мордовским богом», удрала с ним насмешку, развалясь, когда он переезжал на ней вброд речку,— что кресло его будто тут соскочило и лошадь с колесами убежала домой, а он остался сидеть в воде на этом кресле, пока мимо ехавший исправник, завидя его, закричал: «Что это за дурак тут не к месту кресло поставил?»

Дурак этот оказался Пекторалис.

И взял будто исправник снял Пекторалиса с этого кресла и привез его сушиться в его холодный дом; а кресло многие люди будто и после еще в реке

[1] Товарищи (*нем.* Kameraden).

видели, а мужики будто и место то прозвали «немцев брод». Что в этом было справедливо, что преувеличено и в чем — добраться было трудно; но кажется, что Гуго Карлыч действительно обломился и сидел на реке и исправник привез его. И сам исправник об этом рассказывал, да и колесницы мордовского бога более не видно было. Все это, как я говорю, по свойству бед ходить толпами, валилось около Пекторалиса, как из короба, и окружало его каким-то шутовским освещением, которое никак не было выгодно для его в одно и то же время возникавшей и падавшей большой репутации, как предприимчивого и твердого человека.

Наша милая Русь, где величия так быстро возрастают и так скоро скатываются, давала себя чувствовать и Пекторалису. Вчера еще его слово в его специальности было для всех закон, а нынче, после того как его Жига надул,—и в том ему веры не стало.

Тот же самый исправник, который свез его с речного сидения, позвал его посоветоваться насчет плана, сочиняемого им для нового дома,— и просит:

«Так,— говорит,— душа моя, сделай, чтобы было по фасаду девять сажен,— как место выходит, и чтобы было шесть окон, а посередине балкон и дверь».

«Да нельзя тут столько окон»,— отвечал Пекторалис.

«Отчего же нельзя?»

«Масштаб не позволит».

«Нет, ты не понимаешь, ведь это я буду в деревне строить».

«Все равно, что в городе, что в деревне,— нельзя, масштаб не позволяет».

«Да какой же у нас в деревне масштаб?»

«Как какой? Везде масштаб».

«Я тебе говорю, нет у нас масштаба. Рисуй смело шесть окон».

«А я говорю, что этого нельзя,— настаивал Пекторалис,— никак нельзя: масштаб не позволяет».

Исправник посмотрел-посмотрел и засвистал.

«Ну, жаль,— говорит,— мне тебя, Гуго Карлыч, а делать нечего,— видно, это правда. Нечего делать,— надо другого попросить нарисовать».

И пошел он всем рассказывать:

«Вообразите, Гуго-то как глуп, я говорю: я в деревне вот столько-то окон хочу прорубить, а он мне: «маштап не позволит».

«Не может быть?»

«Истинна, истинна; ей-богу, правда».

«Вот дурак-то!»

«Да вот и судите! Я говорю: образумься, душенька, ведь я это в своей собственной деревне буду делать; какой же тут карта или маштап мне смеет не позволить? Нет; так-таки его, дурака, и не переспорил».

«Да, он дурак».

«Понятно, дурак: в помещичьем имении маштап нашел. Ясно, что глуп».

«Ясно; а все кто виноват? мы!»

«Разумеется, мы».

«Зачем возвеличали!»

«Ну, конечно».

Одним словом, Пекторалис был к этой поре не в авантаже,— и если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще, а в России в особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворота Сафронычу.

Но Пекторалис в полосы не верил и не терял духа, которого, как ниже увидим, у него было даже гораздо больше, чем позволяет ожидать все его прошлое. Он знал, что самое главное не терять духа, ибо, как говорил Гете, «потерять дух — все потерять», и потому он явился на суд с Сафронычем тем же самым твердым и решительным Пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Василева Майдана. Разумеется, он теперь по-

старел, но это был тот же вид, та же отвага и та же твердая самоуверенность и самоуважение.

«Что вы не взяли адвоката?»— шептали ему знакомые.

«Мой адвокат со мною».

«Кто же это?»

«Моя железная воля»,— отвечал коротко Пекторалис перед самою решительною минутою, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд.

XVI

— Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирательств, что я не стану вам изображать в лицах и подробностях, как и что тут деялось, а расскажу прямо, что содеялось.

Сафроныч пересеменивал, почтительно стоя в своем длиннополом коричневом сюртуке, пострадавшем спереди от путешествия по заборам, и рассказывал свое дело, простодушно покачивая головою и вяло помахивая руками, а Гуго стоял, сложивши на груди руки по-наполеоновски,— и или хранил спокойное молчание, или давал только односложные, твердые и решительные ответы.

Нехитрое дело просто выяснилось сразу: о воротах и проезде через двор в контракте действительно ничего сказано не было — и по тону речей расспрашивавшего об этом судьи ясно было, что он сожалеет Сафроныча, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дело Сафроныча было проиграно; но неожиданно для всех луна оборотилась к нам тем боком, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоверялись убытки Сафроныча от самочинства Пекторалиса. Они не были особенно преувеличены: их было высчитано по прекращении средств его производства по пятнадцати рублей в день.

Расчет этот был точен, ясен и несомненен. Сафроныч мог иметь действительный убыток в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его беспечности и невнимательности.

Но в виду суда было одно: ежедневный убыток в том размере, в каком он представлен возможным и доказан.

«Что вы на это скажете, господин Пекторалис?»— вопросил судья.

Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело.

«Но вы причиняете ему убытки».

«Не мое дело»,— отвечал Пекторалис.

«А вы не хотите ли помириться?»

«О, никогда!»

«Отчего же?»

«Господин судья,— отвечал Пекторалис,— это невозможно: у меня железная воля, и это все знают, что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя. Я не отопру ворота».

«Это ваше последнее слово?»

«О да, совершенно последнее слово».

И Пекторалис стал с своим выпяченным подбородком, а судья начал писать — и писал не то чтобы очень долго, а написал хорошо.

Решение его в одно и то же время доставляло полное торжество железной воле Пекторалиса, и резало его насмерть — Сафронычу же оно, по точному предсказанию Жиги, доставляло одно неожиданнейшее счастье.

Судебный приговор не отворял забитых Пекторалисом ворот,— он оставлял немца в его праве тешить этим свою железную волю, но зато он обязывал Пекторалиса вознаграждать убытки Сафроныча в размере пятнадцати рублей за день.

Сафроныч был доволен этим решением; но, ко всеобщему удивлению, на него выразил удовольствие и Пекторалис.

«Я очень доволен,— сказал он,— я сказал, что ворота будут забиты, и они так останутся».

«Да, но вам это будет стоить пятнадцать рублей в день».

«Совершенно верно; но он ничего не выиграл».

«Выиграл пятнадцать рублей в день».

«А я об этом не говорю».

«Позвольте, что же это составит: двадцать восемь рабочих дней в месяце...»

«Кроме Казанской».

«Да, кроме Казанской,— это двести восемьдесят, да сто сорок,— всего четыреста двадцать рублей в месяц. Около пяти тысяч в год. Батюшка, Гуго Карлыч, ведь это черт возьми совсем такую победу! Ведь он этого никогда бы не заработал: это он просто вас себе в крепость забрал».

Гуго моргал глазами, он чувствовал, что дело дорого обошлось, но волю свою показал — и первое число внес судье сумму за покой Сафроныча и его бедствие.

Так это и пошло далее: как, бывало, приходит первое число месяца, Сафроныч несет в суд пятнадцать рублей своей месячной аренды, следующей от него Пекторалису, а оттуда приносит домой через лестницу четыреста двадцать рублей, уплаченные в его пользу Пекторалисом.

Славное дело; чудная жизнь пошла для Сафроныча! Никогда он так не жил, да и не думал жить так легко, вольготно и прибыльно. Запер он свои доменки и амбары — и ходит себе посвистывает да чаи распивает или водочкой с приказным угощается, а потом перелезет через лесенку и спит покойно и всех уверяет, что «я, говорит, супротив немца никакой досады не чувствую. Это его бог мне за мою простоту ниспослал. Теперь я только одного боюсь, чтобы он прежде меня не помер. Да бог даст не помрет, он ко мне на похороны блины есть обещался, а он свое слово верно держит. Накорми его тогда, жена, хорошенько блинками, а пока пусть его бог на многое лето бережет на меня работать».

И как Сафроныч и впрямь был человек незлобивый, то и действительно он относился к Гуго Карлычу с полным благорасположением — и при встрече, где еще далеко его, бывало, завидит, как уже снимает шапку и кланяется, а сам кричит:

«Здравствуй, батюшка, Гуго Карлыч! Здравствуй, мой кормилец!»

Но Гуго этой сердечной простоты не понимал, он принимал ее за обиду и все за нее сердился.

«Ступай прочь,— говорит,— мужик; полезай через забор, где я тебе дорогу положил».

А добродушный Сафроныч отвечает:

«И чего ты, милота моя, гневаешься, за что сердишься? Через забор лезть, я и через забор полезу,— будь твоя воля, а я ведь к тебе со всем моим уважением и ничем не обижаю».

«Еще бы ты смел меня обидеть!»

«Да и не смею же, государь мой, не смею, да и не за что. Напротив того, за тебя навсегда со всею семьею каждое утро и вечер богу молюсь».

«Не надо мне этого».

«Ах, благодетель, да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше бог сохранил, я в том детям внушаю: не забывайте, говорю, птенцы, чтобы ему, благодетелю нашему, по крайней мере сто лет жить да двадцать на карачках ползать».

«Что это такое! на «карачках ползать»?— соображал Пекторалис.— «Сто жить и двадцать ползать... на карачках». Хорошо это или нехорошо «на карачках ползать»?»

Он решил об этом осведомиться — и узнал, что это более нехорошо, чем

хорошо, и с тех пор это приветствие стало для него новым мучением. А Сафроныч все своего держится, все кричит:

«Живи и здравствуй» и еще на карачках ползай».

Семья проигравшего процесс Сафроныча хотя и сообщалась с миром через забор, но жила благодаря контрибуции, собираемой с Пекторалиса, в таком довольстве, какого она никогда до этих пор не знала, и, по сказанному Жигою, имела покой безмятежный, но зато выигравшему свое дело Пекторалису приходилось жутко: контрибуция, на него положенная, при продолжении ее из месяца в месяц была так для него чувствительна, что не только поглощала все его доходы, но и могла угрожать ему решительным разорением.

Правда, что Пекторалис крепился и никому на свою судьбу не жаловался — и даже казался веселым, как человек, публично отстоявший свое право на всеобщее уважение, но в веселости этой уже начинало обозначаться нечто как будто притворное. Да и в самом деле, ведь не мог же этот упрямец не видать впереди, чем это кончится,— и не мог же он с развеселою душою ожидать этого комичного и отчаянного исхода. Дело было просто и ясно: сколько бы Пекторалис ни работал и как бы много ни заработал, все это у него должно было идти на удовлетворение Сафроныча. Не мог же Пекторалис с первого года заработать более пяти-шести тысяч, а от этого у него ничего не могло оставаться не только на развитие дела, даже на свое житье. Поэтому дело его в самом уже начале стало быстро клониться к упадку — и печальный конец его уже можно было предвидеть. Воля Пекторалиса была велика, но капитал слишком мал для того, чтобы выдерживать такие капризы,—и, нажитый в России, он снова стремился опять сюда же и попасть в свое русло. Пекторалис выдерживал сильное испытание и, очевидно, решился погибнуть, но живой не сдаться,—и история эта бог весть чем бы кончилась, если бы случай не распорядился подготовить ей исход самый непредвиденный.

XVII

— В описанном мною положении прошел целый год и другой, Пекторалис все беднял и платил деньги, а Сафроныч все пьянствовал — и совсем наконец спился с круга и бродяжил по улицам. Таким образом, дело это обоим претендентам было не в пользу, но был некто распоряжавшийся этою операциею умнее. Это была жена Сафроныча, такая же, как и ее муж, простоплетная баба, Марья Матвеевна, у которой было, впрочем, то счастливое перед мужем преимущество, что она сообразила:

«Ну, а как мы все-то у немца переберем, тогда что будет?»

Соображение это имело и свои резонные основания, и свои важные последствия. Марья Матвеевна видела ясно, чего, впрочем, и мудрено было не видеть, что к концу второго года фабрика Пекторалиса уже совсем стояла без работы и Гуго сам ходил в жестокие морозы без шубы, в старой, изношенной куртке, а для форса только pince-nez на шнурочке наружу выпустил. У него уже не оставалось никакого имущества и, что хуже всего, никакой серьезной репутации, кроме той шутовской, которую он приобрел у нас своею железною волею. Но она ему, по правде сказать, ни на что полезное не могла пригодиться.

К тому же над ним в это время стряслась еще беда: его покинула его дражайшая половина — и покинула самым дерзким и предательским образом, увезя с собою все, что могла захватить ценного. К вящему горю Клару Павловну еще все оправдывали, находя, что она должна была сбежать, во-первых, потому, что у Пекторалиса в доме необыкновенные печи, которые в сенях топятся, а в комнатах не греют, а во-вторых, потому, что у него у самого необыкновенный характер — и такой характер аспидский, что с ним решительно жить невозможно: что себе зарядит в голову, непременно чтобы по его и делалось. Дивились даже, что жена от него ранее не сбежала и не

обобрала его в то время, когда он был поисправнее и не все еще перетаскал в штраф Сафронычу.

Таким образом, злополучный Гуго был и кругом обобран, и кругом обвинен во всем, и притом нельзя сказать, чтобы для этого обвинения не существовало совсем основания. Обворовывать его, разумеется, не следовало, но жить с ним действительно, должно быть, было невыносимо, и вот за то он оставался один-одинешенек и, можно было сказать, уже нищ и убог, но все-таки не поддавался и берег свою железную волю. Не в лучшем, однако, положении, как я сказал, был и Сафроныч, который проводил все свое время в трактирах и кабачках и при встречах злил немца желанием ему сто лет здравствовать и двадцать на карачках ползать.

Хотя бы этого, по крайней мере, не было; хотя бы этот позор и поношение от Пекторалиса были отняты — все бы ему было легче.

И вот он, кажется, более для того, чтобы освежить положение, подал на Сафроныча жалобу, чтобы наказать того за эти «карачки», на которых, по мнению Пекторалиса, немцу нет никакого резона ползать.

«Это вот он сам и есть, который сам часто из трактиров на карачках ползает»,— говорил Пекторалис, указывая на Сафроныча; но Сафронычу так же слепо везло, как упрямо не везло Пекторалису,— и судья, во-первых, не разделил взгляда Гуго на самое слово «карачки» и не видал причины, почему бы и немцу не поползти на карачках; а во-вторых, рассматривая это слово по смыслу общей связи речи, в которой оно поставлено, судья нашел, что ползать на карачках, после ста лет жизни, в устах Сафроныча есть выражение высшего благожелания примерного долгоденствия Пекторалису,—тогда как со стороны сего последнего это же самое слово о ползанье Сафроныча из трактиров произносимо *как укоризна*, за которую Гуго и надлежит подвергнуть взысканию.

Гуго своим ушам не верил, он все это считал вопиющею бестолковщиною и возмутительною русскою несправедливостью. Но тем не менее он по просьбе обрадовавшегося Сафроныча был присужден к вознаграждению его десятью рублями и окончательно потерялся. Пекторалис должен был взнести последний грош на удовлетворение Сафронычу за обиду его «карачками» — и, исполнив это, он почувствовал, что ему уже ничего иного не оставалось, как проклясть день своего рождения и умереть вместе со своею железною волею. Он бы, вероятно, так и сделал, если бы не был связан намерением «пережить» своего врага и прийти есть блины к нему на похороны. Должен же был Пекторалис сдержать это слово!

Пекторалис был некоторым образом в гамлетовском положении, в нем теперь боролись два желания и две воли — и, как человек, уже значительно разбитый, он никак не мог решить, «что доблестнее для души» — наложить ли на себя с железною волею руку, или с железною же волею продолжать влачить свое бедственнейшее состояние?

А десять рублей, отнесенные им в удовлетворение Сафроныча за «карачки», были последние его деньги — и контрибуцию на следующий месяц ему вносить было нечем.

«Ну что же,— говорил он себе,— придут в дом и увидят, что у меня ничего нет... *У меня ничего нет*, и я даже сегодня уже не ел, и завтра... завтра я тоже ничего не буду есть, и послезавтра тоже — и тогда я умру... Да, я умру, но моя воля будет железная воля».

Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самые отчаянные минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю как назвать — благополучным или неблагополучным. Дело в том, что в это же время и в судьбе Сафроныча происходило событие величайшей важности — событие, долженствовавшее резко и сильно изменить все положение дел и закончить борьбу этих двух героев самым невероятнейшим финалом.

XVIII

— Надо сказать, что пока Пекторалис с Сафронычем тягались — и первый, разоряясь, сносил определенными кушами все свои достатки в пользу последнего, — этот, сделавшись настоящим пьяницею, все-таки был в лучшем положении. Этим он был обязан своей жене, которая не бросила Сафроныча, как бросила своего мужа Клара; Марья Матвеевна, напротив, взяла распившегося мужа в руки. Она сама носила за него аренду и сама отбирала у Сафроныча получаемую им с Пекторалиса контрибуцию. Чтобы распьянствовавшийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному женою порядку, она его не отягощала без меры и выдавала ему в день по полтине, которую Сафроныч и имел право расходовать по собственному его усмотрению. Расход этот, разумеется, имел одно назначение: Сафроныч в течение дня пропивал свою полтину и к ночи возвращался домой по хорошо известной ему лестнице через забор. Никакая степень опьянения не сбивала его с этой оригинальной дороги. Бог, охраняющий, по народному поверью, младенцев и пьяных, являл над Сафронычем все свое милосердие во тьме, под дождем, снегом и гололедицей; всегда Сафроныч благополучно поднимался по лестнице, достигал вершины забора и благополучно сваливался на другую сторону, где у него на этот случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это так долго, как долги сто двадцать лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису. Сафронычу и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где этому статься, чтобы у немца в России денег недостало? Кому-кому, а на их долю все достанет.

Хозяйка же Сафроныча в бабьей простоте «без направления» думала иначе и, переняв все деньги, мужем с Пекторалиса взысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор, и купила себе домик — хороший домик, чистенький, веселенький, на высоком фундаменте и с мезонинчиком и с остренькою высокою крышею — словом, превосходный домик, и притом рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный Гуго.

Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафроныч судился с Пекторалисом за «карачки», и в тот день, когда бывший чугунщик одержал над немцем неожиданную победу и получил десятирублевый штраф, семья Сафроныча перебиралась в свое новое жилище и располагалась в нем с давно незнакомым ей комфортом.

Сам Сафроныч не принимал в этом никакого участия, и семья, давно считавшая его неблагонадежным, не ожидала его помощи и устраивалась сама, как хотелось и как умела.

Сафроныч же, получив значительную для него сумму в десять рублей, утаил ее от жены, благополучно перебрался с ними в трактир и загулял самым широким загулом. Три дня и три ночи семья его провела уже в своем новом доме, а он все кочевал из трактира в трактир, из кабака в кабачок — и попивал себе с добрыми приятелями, желая немцу сто лет здравствовать и столько же на карачках ползать. В благодушии своем он сделал ему надбавку и вопиял:

«Глупый я человек,— очень глупый: правду мне покойник Жига говорил, что я глуп, а мне неожиданная благодать в сем немце дарована. А за что? «Что есть человек, что ты помниши его, или сын человеч, что ты посещаеши его?» Где это сказано?»

«В Писании».

«То-то и есть, что в Писании, а мы много ли про него помним? Ох, как не помним, совсем не помним!»

«Слабы».

«Разумеется, слабы,— червь, а не человек, поношение человеков. А бог захочет — и червя сохранит, устроит тебя так, что лучше требовать нельзя, сам этак никогда и не выдумаешь. Слаб ты — он тебе немца пошлет и живи за его головою».

«Только вот одно гляди,— предостерегали его,— как бы твой немец не измучился да ворот не отпер».

Но одуревший Сафроныч этого не боялся.

«Куда ему отпереть,— отвечал он,— ни за что он не отопрет. Ему перед своею нациею стыдно. У них ведь это уже такое положение, что сказал, то чтобы непременно и сдействовать».

«Ишь ты какие сволочи!»

«Да уж у них это так, особенно же он на суде прямо объяснил: «у меня, говорит, воля железная»,— где же ему с нею справиться. Ему и так тяжело».

«Тяжело».

«Не дай бог этакой воли человеку, особенно нашему брату русскому,— задавит».

«Задавит».

«Давай лучше выпьем, зачем про такое говорить, теперь дело под вечер. Ну, дай бог, чтобы ему сто лет здравствовать и меня пережить».

«И то, брат, пусть переживет».

«И я говорю, пусть переживет, это ему, по крайности, утешением будет».

«Как же!»

«Пусть придет и блинков съест».

«Вот у тебя душа, Сафроныч!»

«Душа у меня добрая, но только, знаешь, пусть он переживает... но только самую крошечку».

«Да, безделицу».

«Вот так, вот так, этого стаканчика по рубчик».

«И хорошо».

«Да; вот по самый по маленький рубчик».

Отмеря это, приятели выпили и еще потом долго выпивали за всякие здоровья —и, наконец, стали пить за упокой души благодетеля приказного Жиги, который устроил им всю эту благостыню, и затянули нестройно и громко «вечную память», но тут-то и произошло то странное начало конца, которое до сих пор осталось ни для кого не объяснимым.

Только что пьяницы пропели покойнику вечную память, как вдруг с темного надворья в окно кабака раздался сильный удар, глянула чья-то страшная рожа,— и оробевший целовальник в ту же минуту задул огонь и вытолкал своих гостей взашеи на темную улицу. Приятели очутились по колено в грязи и в одно мгновение потеряли друг друга среди густого и скользкого осеннего тумана, в который бедный Сафроныч погрузился, как муха в мыльную пену, и окончательно обезумел.

Едва держась на ногах, долго он старался спрятать в карман захваченный на бегу нераскупоренный штоф водки — и потом хотел было кого-то начать звать, но язык его, после сплошной трехдневной работы, вдруг так сильно устал, что как прилип к гортани, так и не хочет шевелиться. Но и этого мало,— и ноги Сафроныча оказались не исправнее языка, и они так же не хотели идти, как язык отказывался разговаривать, да и весь он стал никуда не годен: и глаза не видят, и уши его не слышат, и только голову ко сну клонит.

«Эге, ну нет, ты, черт тебя возьми, меня этим не обманешь!— подумал Сафроныч,— этак Жига лег спать, да и совсем не встал, а я еще не хочу, чтобы меня немец много пережил. Пусть переживет, да только немножечко».

И он приободрился; сделал еще шагов пять — и, чувствуя, что влез в грязь выше колен, снова остановился.

«Ей-богу, того и гляди, утонешь, не хуже Англии,— повторил он в своих мыслях,— и черт знает, куда это я так глубоко залез, да и где мой дом? А? Где, и исправда, мой дом? Где моя лестница? «Черт с квасом съел?» Кто это там говорит, что мой дом черт с квасом съел? А? Выходи: если ты добрый человек, я тебя водкой попотчую, а не то давай делать русскую войну».

«Давай!»— послышалось из тумана,— и в то же самое время кто-то дал Сафронычу сильную затрещину, от которой тот так и упал в болото.

«Ну, шабаш,— подумал он,— всю память отшибло, и не знаю, что это со мною делается. И куда это к черту все мои приятели делись? Экие пьяницы! Вот уже правда — нехорошо пить с пьяницами, ни за что больше не буду пить с пьяницами. Что? Да кто это со мною все разговаривает? Слышишь, скажи, пожалуйста: чего ты это на мне ищещь? Ничего, братец, не найдешь: а штоф я под себя спрятал. Ага! стой, стой! Зачем же ты меня теперь так больно за вихор? Ведь это беспользительно. А теперь опять за уши — ну, это, разумеется, другое дело, это в память приводит, только опять-таки и это мне больно,— дай я лучше так встану».

И он — сколько волею, столько же неволею и своею охотою — встал и, кажется, пошел. Не то чтобы настояще в этом уверен, а кажется ему, что или идет, или так просто под ним земля убывает, но только что-то делается-делается, кто-то его ведет, поддерживает и ничего не говорит. Только раз сказал: «А вот это кто!»— и повел.

«Что это, кто меня ведет? Ну, если это черт? Да и должно быть что-нибудь непутное. А впрочем, пусть только доведет до лестницы, я свой путь узнаю».

И вот привел Сафроныча его поводырь к лестнице и говорит:

«Полезай, да держись за перила покрепче».

Сафронычу в это время после прогулки возвратился язык, и он отвечает:

«Постой, брат, постой, я свое дело тверже тебя знаю: моя лестница без перил».

Но поводырь не стал долго разговаривать и, схватив, начал опять мять уши Сафроныча, точно бересту.

«Вспомнил?»— говорит.

«Ну,— думает Сафроныч,— лучше скажу, что вспомнил»,— и полез.

И как полез он на эту лестницу, так лезет и лезет — и все ей нет конца.

«Ей-богу же, это не мой дом!»— соображает Сафроныч, который чем выше стал подниматься, тем яснее припоминать, как, бывало, он поднимался по своей лесенке, и все что шаг кверху, то все ему, бывало, становится светлее и светлее — и звезды, и месяц, и лазурь небесная открывается... Правда, что теперь такая непогодь, но а все же это ни на что не похоже: что ни ступень вверх, то темнее и темнее делается. Отчего же это уже совсем ни зги не видно, и что за темнота в воздухе, что со всех сторон сдавливает, и удушливый запах сажи и золы? И нет этому конца, нет заветного верха забора, с которого Сафронычу давно бы пора сделать низовое движение, а вместо того все дорога идет вверх и вверх,— и вдруг страшный оглушающий удар в темя, такой удар, от которого у бедного Сафроныча не искры, а целые снопы света брызнули из глаз и осветили... кого бы вы думали?— осветили приказного Жигу!

Не думайте, пожалуйста, что это, например, снилось во сне Сафронычу или что-нибудь в этом роде. Нет: это было именно так, как я вам рассказываю. Сафроныч шел вверх по бесконечно длинной лестнице и пришел к Жиге, которого узнал при внутреннем освещении, и сказал:

«Ну, будь на то божья воля, здравствуй!»

А Жига сидит на каменном стуле и тоже кивает ему и отвечает:

«Здравствуй, рад, что ты пожаловал: а то у нас здесь давно на тебя провиант отпускается».

«Да, так это я вот где... Темно же у вас тут в аду; ну да делать нечего, стало быть, здесь мой предел».

И Сафроныч сел, достав штоф, выпил сколько вошло и подал Жиге.

XIX

— Меж тем как с заблудившимся пьяным Сафронычем случились такие странные происшествия и он остался проводить время с мертвым Жигою на какой-то необъяснимой чертовской высоте, которую он принимал за кромешную область темного ада,— все его семейные проводили весьма тревожную

ночь в своем новом доме. Несмотря на то, что все они страшно устали с переноскою и устройством хозяйства на новом месте, крепкий сон их был беспрестанно нарушаем самым необъяснимым шумом, который начался раньше полуночи и продолжался почти до самого утра. И хозяйке и всем домашним сначала слышалось, что у них над самыми их головами по чердаку кто-то ходит — сначала тихо, как еж, а потом словно начал сердиться: что-то такое переставлял, что-то швырял и вообще страшно возился и не давал покою. Иным казалось даже, что они как будто слышат какой-то говор, какой-то тихий звон и вообще непонятный гул. Просыпавшиеся ко всему этому тревожно прислушивались, будили друг друга, крестились и без противоречий единогласно решили, что причиняемое им сверху беспокойство есть, конечно, не что иное, как проказы какой-нибудь нечистой силы, которая, как всякому православному человеку известно, всегда забирается в новые дома ранее хозяев и размещается преимущественно на вышках, сеновалах и чердаках, вообще в таких местах, куда не ставят образа.

Очевидно, с доброю семьею Сафроныча стряслось то же самое, то есть черт забежал в их новый дом прежде, чем они туда переехали. Иначе это не могло быть, потому что Марья Матвеевна как только вошла в дом, так сейчас же собственною рукою поделала на всех дверях мелом кресты — и в этой предусмотрительности не позабыла ни бани, ни той двери, которая вела на чердак. Следовательно, ясно, что нечистой силе здесь свободного пути не было, и также ясно, что она забралась сюда ранее.

Но оказалось, что могло быть и иначе: когда после этой тревожной ночи наступило утро и с приближением его успокоился чертовский шум и прошел страх, то вышедшая впереди всех из комнаты Марья Матвеевна увидела, что дверь на чердачную лестницу была открыта настежь, и меловой крест, сделанный рукою этой благочестивой женщины, таким образом скрылся за створом и оставил вход для дьявола ничем не защищенным.

Марья Матвеевна, обнаружив эту оплошность, тотчас же произвела дознание, кто вчера последний лазил на чердак.

После долгих об этом исследований и препирательств среди младших членов семейства подозрения, а потом довольно сильные улики пали на одну из младших дочерей, босоногую Феньку, которая родилась с заячьей губою и за это не пользовалась в семье ничьим расположением. Если еще кто-нибудь оказывал ей какое-нибудь сострадание, то это разве пьяный отец, который в акте рождения дитяти с заячьей губою не видал большой собственной вины ребенка и даже не проклинал и не бил ее. Девочка эта жила, что называется, в полном семейном загоне, она велась впроголодь, употреблялась на самые черные послуги, спала на полу, ходила босиком, без теплого шушуна и в затрапезных лохмотьях. Ясные улики говорили, что она одна последняя ходила вчера поздно вечером с фонарем наверх «кутать трубу» и, всего вероятнее, по своей ребячьей трусливости слетела оттуда сломя голову и забыла запереть за собою дверь, а так и оставила ее, отмахнув к стене тою стороною, где был начертан рукою Сафронихи меловой крест —«орудие на супостата». Затем, разумеется, ясно, как супостат этим воспользовался,— проскочил на чердак и очень рад, что может не давать доброму семейству целую ночь покоя. Конечно, и у него тоже, вероятно, свои хлопоты, потому что и ему тоже надо было устроиться; но Марья Матвеевна была на этот счет эгоистка, она не имела снисхождения к чужой необходимости и взялась поправлять дело с подвержения виновной строгой и беззаконной ответственности. Отыскав за печью трегубую Феньку, она привела ее за вихор к двери и начала ее здесь трясти и приговаривать:

«Вот, чтобы по твоим следам черт не ходил, я эту дверь твоим лбом затворю».

И она, точно, стукнула лбом девочки в дверь и наложила клямку, но едва только это было сделано, нечистая сила снова взбудоражилась и притом с неожиданным и страшным ожесточением. Прежде чем смолк жалостный писк ребенка, над головами всей собравшейся здесь семьи наверху что-то

закрутилось, забегало и с противуположной стороны в дверь сильно ударил брошенный с размаха кирпич.

Это уже была слишком большая наглость. С детства знакомая со всеми достоверными преданиями о чертях и их разнообразных проделках в христианских жилищах, Марья Матвеевна хотя и слыхала, что черти чем попало швыряются, но она, по правде сказать, думала, что это так только говорится, но чтобы черт осмеливался бушевать и швырять в людей каменьями, да еще среди белого дня — этого она не ожидала и потому не удивительно, что у нее опустились руки, а освобожденная из них девочка тотчас же выскочила и, ища спасения, бросилась на двор и стала метаться по закуткам. Но лишь только за этою виновницею всеобщего беспокойства по тому же по двору бросилась погоня, бес ожесточился и опять взялся за свое дело. Руки у него, надо полагать, были отлично материализованы, потому что и целые кирпичи и обломки летели в людей, составлявших погоню, с такою силою и таким ожесточением, что все струсили за свою жизнь, и, восклицая «с нами крестная сила», все, как бы по одному мановению, бросились в открытый курятник, где и спрятались в самом благонадежном месте — под насестью.

Бесспорно, что здесь им было очень хорошо в том отношении, что черт здесь, конечно, уже ничего никому сделать не мог, потому что на насести поет полуночный петух, имеющий на сей предмет особые, таинственные повеления, насчет которых дьяволу известно кое-что такое, чего он имеет основание побаиваться; но все же нельзя же тут и оставаться. В сумерки придут сюда куры — и позиция, занятая под их решеткою, будет небезопасна в другом роде.

XX

— И вот, как только скрывшиеся в курятнике люди мало-помалу оправились от обуявшей их паники, с ними произошло то, что происходит с большинством всех суеверов и трусов на свете: от страха они начали переходить к некоторому скептицизму. Первая зашевелилась батрачка Марфутка, очень живая молодая бабенка, которой совсем не нравилось долго оставаться без всякого движения в курятнике, за ней последовал батрак Егорка, хромой, но очень шустрый рыжий парень, имевший привычку везде, где можно, шептаться с батрачкою Марфуткой. Оба они и на этот раз обратились к своему любимому занятию — и, пошептавшись, пришли, можно сказать, к самым неожиданным результатам: их давно один с другим гармонировавшие умы прозрели в сокровенную глубь вещей и заподозрили, что, может быть, все это дело нечисто совсем с иной стороны.

Им пришло в голову, что вся эта ночная возня и теперешняя канонада производилась совсем не чертом, а каким-нибудь негодным человеком, которым, всего вероятнее и даже непременнее, по их выводам, мог быть немец Пекторалис.

Со злости и с зависти, подлец, залез да и швыряется.

Марья Матвеевна, услыхав это, даже руками всплеснула, так это показалось ей вероятным. И вот сейчас же из курятника была выпущена вылазка, с целью ближайшего дознания и принятия надлежащих мер к пресечению злоумышленнику средств к отступлению.

Батрак Егорка с Марфуткою, схватясь рука за руку, выбежали из курятника, сняли замок с амбара и заперли им чердачную дверь — и, пошептавшись, о чем знали, в сенях, направились в разные стороны. Егорка побежал оповестить соседним людям о происшествии и созвать их на выемку засевшего на чердаке немца, а Марфутка стала у дверей с ёмками, чтобы бить Пекторалиса, если он пойдет сквозь дверь какою-нибудь своею немецкою хитростию. Но немец сидел смирно и Марфутке не показывался. Зато лишь только Егорка выскочил за калитку и бросился во всю прыть к базарному

месту, он на самом повороте за угол столкнулся нос к носу с Гуго Карловичем. Это так поразило бедного парня, что он в первую секунду не знал, что делать, но потом схватил немца за ворот и закричал: «Караул!» Не ожидавший этого Пекторалис треснул Сафронычева батрака по голове сложенным дождевым зонтиком и отшвырнул его в лужу. Странная смесь ощущений от этого мягкого, но трескучего удара зонтиком и быстрого полета в грязь так удивила Егорку, что он только сидел в луже и кричал:

«Чур меня, чур!»

Все внушенные Егорке Марфуткою подозрения рассеялись. Как ни прост был этот бедный парень, он, однако, должен был сообразить, что если немец не пролез сквозь запертую амбарным замком дверь, то надо полагать, что на чердаке шалит не он, а кто-нибудь другой. И тут слабый ум Егорки, не поддерживаемый Марфуткою, опять начал склоняться к обвинению во всем домашнем беспокойстве черта. Так он и представил это дело всей базарной публике, которая очень обрадовалась новости — и в полном сборе, толпою повалила к дому Марьи Матвеевны, где, по докладу Егорки, происходили такие редкостные, хотя, впрочем, конечно, как всякий спирит подтвердить может, — самые вероятные дела, обличающие нынче у некоторых ученых людей близость к нам существ невидимого мира.

XXI

— До вечера у Марьи Матвеевны перебывал весь город, все по нескольку раз переслушали рассказ о сверхъестественном ночном и утреннем происшествии. Являлась даже и какая-то полиция, но от нее это дело скрывали, чтобы, храни бог, не случилось чего худшего. Приходил и учитель математики, состоящий корреспондентом ученого общества. Он требовал, чтобы ему дали кирпичи, которыми швырял черт или дьявол,— и хотел их послать в Петербург.

Марья Матвеевна ему в этом решительно отказывала, боясь, чтобы ей за это чего худого не сделали; но вострая Марфутка сбегала в баню и принесла оттуда кирпич из-под припечки.

Учитель взял вещественное доказательство и понес его к аптекарю, с которым они его долго рассматривали, нюхали, потом оба лизнули, облили какою-то кислотою и оба разом сказали:

«Это кирпич».

«Это смело можно сказать, что кирпич».

«Да»,— отвечал аптекарь.

«Его даже, кажется, можно и не посылать?»

«Да, кажется, можно»,— отвечал аптекарь.

Но люди верующие, которым нет дела ни до каких анализов, проводили свое время гораздо лучше и извлекли из него более для себя интересного: некоторые из них, отличавшиеся особенною чуткостью и терпением, сидели у Сафронихи до тех пор, пока сами сподобились слышать сквозь дверь, как на чердаке кто-то как будто вздыхает и тихо потопывает, точно душа, в аду мучимая. Правда, что и среди них тоже находились дерзкие; так, кто-то и здесь подал было голос в пользу осмотра чердака через слуховое окно, но эта дерзость так всем и показалась дерзостию и сейчас же была единогласно отвергнута. Притом же здесь принято было в расчет и то, что предлагаемый осмотр был далеко не безопасен, так как из этого же самого слухового окна, о котором шла речь, тоже недавно еще летели камни, и канонада эта могла возобновиться. А потому тот, кто посягнул бы на эту обсервацию, легко мог подвергнуться немалой неприятности.

Матвеевна, как женщина, прибегла к патентованному женскому средству — к жалобе.

«Разумеется,— говорила она,— если бы у меня, как у других прочих, был такой муж, как надобно, то есть хозяин, так это его бы дело слазить и

все это высмотреть. Но ведь мой муж в слабости, вот его пятый день и дома нет».

«Правда,— отвечали ей соседки,— хозяина и лукавый не бьет».

«Ну, бить, положим, как не бьет».

«Ну да ежели и бьет, так все же это его дело».

А о Сафроныче все не было ни слуха ни духа, и никто не знал, где его и искать, в каком кабачке. Может быть, он ушел далеко-далеко в какую-нибудь деревеньку и пьянствует.

«О нем нечего думать, матушка Марья Матвеевна,— говорили все в один голос,— а надо скорее думать, что учредить на сатану лучшее».

«Да что же, отцы мои, что лучше? Советуйте».

«Один тебе, родимая, совет: либо чеботаря Фоку кликнуть, чтобы он выманул беса, либо воду освятить».

«Что вы, что вы про Фоку вспоминаете,— и так тут невесть что деется, а Фока совсем сам бесово племя».

«Именно, разве бес беса погонит?»

«Ну, если так судите, то остается воду святить».

«А воду освятить я согласна, и еще к ночи это думала, да повернулась и опять забыла; а теперь как уберусь, так пирогов напеку и подниму икону, и пущай поют водосвятие... Да вот только Сафроныча дома нет».

«Ну, где его теперь ждать!»

«Разумеется, нельзя ждать, а все бы лучше, да он же и службу, голубчик мой, любит, и, бывало, сам чашу перед священником по всем комнатам носит и сам молитвы поет. Как без него это и делать — не знаю, и кого звать— не вздумаю».

«Протопопа позовите, он старший, его бес скорее испугается».

«Ну, легко ли кого звать, табачника. Нет, бог с ним, он папиросы сосет, я лучше отца Флавиана позову».

«И отца Флавиана хорошо».

«Грузен он очень».

«Да; мягенький да пухленький и очень добр, и тоже оп намедни у Ильиных толчею святил, очень хорошо святит. Только чтобы во всех местах хорошенько побрызгал, а то ведь он тучен, в иное место не подлезет — и этак зря, как попало, издаля кропит».

«За этим смотреть будем».

«Да, вот если есть кто опытный смотреть, так ничего».

«Разумеется, надо смотреть, чтобы крест-накрест брызгал и приговаривал. А он ведь, отец-то Флавиан, он по своей полноте в эту дверь на чердак не пройдет».

«Да, он не пройдет».

«Разве расширить, что ли, ее? Это опять убытку много».

«Это убыточно».

«А вы вот что: отец Флавиан-то пусть посвятит, а кропить-то на чердак дьякон Савва полезет. Право, его попросите, он такой подчегаристый — всюду пройдет. Это самое лучшее, а то отец Флавиан с своею утробой на этой лестнице еще, пожалуй, обломится и сам убьется».

«Храни боже такого греха, пусть живет, старец добрый и угодливый! Я раз родами мучилась, послала протопопа просить, чтобы царские двери отворили, ни за что не захотел».

«Видно, мало дали».

«Рубль посылала; а отец Флавиан, голубчик, за полтинник во всю ширь размахнул».

«Да; он старик добродетельный, он пусть тут внизу останется да приговаривает, а наверх пусть с водою и с кропилом один дьякон Савва полезет. Ему ничего, если с ним что такое и случится, у него дьяконица всякий месяц один раз с ума сходит, чай, ему уже давно и жизнь-то надоела».

«Да, он ничего, он пойдет, он дьякон уважительный, куда хочешь полезет

и все как надо выкропит, а вы только за ним присмотрите, чтобы не спешил, не как попало, а крест-накрест брызгал».

«Уже я за ним присмотрю,— отвечала Марья Матвеевна,— я, пожалуй, даже и сама с ним, что бог даст, на отвагу полезу, только чтобы от этого помоглося».

«Ну уже чего еще, если все это как надо сделать, да чтобы не помогло! Надо только чтобы как можно скорее да духовнее».

«Родные мои, да чего же еще духовнее?— отвечала Марья Матвеевна,— сейчас велю Марфутке пироги ставить, а Егорку к отцу Флавиану пошлю, чтобы завтра, как раннюю кончит, ко мне бы и двигал».

«Чудесно, Марья Матвеевна».

«Да чего же откладывать, разве же мне самой хорошо в одном доме с бесом жить и ждать, что он, мерзавец, швырять будет. Будь у меня пироги, я бы даже и до завтра этой мольбы не оставила».

«Нет; без пирогов, Марья Матвеевна, не делайте, без этого духовенству нельзя, отец же Флавиан сам как хлопок и всякое тесто любит»,— подтвердили Марье Матвеевне ее советники и затем положили: еще один день и одну ночь как-нибудь злополучной семье перебедовать, а между тем поставить пироги и послать Егорку к отцу Флавиану, чтобы завтра прямо от ранней обедни пожаловал с дьяконом Саввою к Марье Матвеевне на дому воду посвятить и дьявола выгнать, а потом мягкого пирожка откушать.

Отец Флавиан, грузный-прегрузный и как пуховик мягкий, подагрический старик, в засаленной камилавке, с большою белой бородой и обширным чревом, выслушав от Егорки всю историю о бесе и призыв к его изгнанию, пропищал в ответ тоненьким детским голоском:

«Хорошо, дитя, скажи, пусть готовится, будем и справимся; только пусть мне пирожка два либо три с морковкою защипнут, а то у меня напоследях стало что-то нутро слабо. А сам Василий Сафроныч еще не бывал дома?»

«Не бывал».

«Ну, что делать, без него справимся, пусть пекут пирожки, справимся... Да того... полотенце чтобы большое сготовили, потому что в этом случае я ведь буду самый большой крест макать».

Егорка возвратился домой бегом и с прискоком и, проходя мимо слухового окна, даже дьяволу шиш показал. Да и все приободрились, решив, что одну ночь как-нибудь уже можно прокоротать, а чтобы не было очень страшно, то все легли вместе в одной комнате, и только Егорка поместился на кухне, при Марфутке, чтобы той не страшно было ночью вставать переваливать тесто, которое роскошно грелось и подходило под шубою на краю печки.

Бес между тем совсем присмирел, он точно как будто прознал обо всем, что на его голову затевалось. Целый день он не сделал никому из семейства никакой гадости, только кое-кому слышалось все, что он как будто сопел; а к ночи, когда стал забирать большой мороз, начал будто даже и покряхтывать и зубами щелкать. Это и во всю ночь слышалось и Марье Матвеевне и всем, кто на более или менее короткое время просыпался, но никого сильно это не тревожило; всякий говорил только: «Так ему, врагу христианскому, и надо»,— и, перекрестясь, поворачивался на другой бок и засыпал.

Но, увы, такое пренебрежение, однако, было еще несвоевременно, оно вывело злого духа из терпения, и в тот самый момент, как у церкви отца Флавиана раздался третий удар утреннего колокола, на чердаке у Марьи Матвеевны послышался самый жалостный стон, и в то же самое время в кухне что-то рухнуло и полетело с необъяснимым шумом.

Марья Матвеевна вскочила и, забыв весь страх, выбежала в чем была на этот разгром и остолбенела от новой бесовской каверзы.

Перед нею на полу у самой печи, на краю которой подходило в корчаге пирожное тесто, стоял Егорка, весь с головы до ног обмазанный тестом, а вокруг него валялись черепки разбитой корчаги.

И Марья Матвеевна, и Егор, и спустившая ноги с печи батрачка Марфутка, все втроем так были этим озадачены, что в один голос крикнули:

«А, чтоб тебе пусто было!»

Таким-то недобрым предзнаменованием начался этот новый день, которому суждено было осветить борьбу отца Флавиана и дьякона Саввы с загадочным существом, шумевшим на чердаке и дошедшим до той крайней дерзости, чтобы выбросить из горшка все тесто, назначенное на пироги духовенству.

И когда это, в какое время? Когда уже нельзя было завести новой опары и когда о железное кольцо калитки звякал рукою сухой длинный пономарь, тащивший луженую чашу.

Как теперь все это уладить, чтобы не пострадало дело, которое имело такое дурное начало и могло иметь еще худший конец?

По правде сказать, все это было гораздо интереснее, чем весь Пекторалис, к судьбе которого это, по-видимому, весьма стороннее обстоятельство имело самое близкое и роковое касательство.

XXII

— Марья Матвеевна была в страшном горе по поводу происшествия с тестом; она решительно не знала, как объявить отцу Флавиану, что ему нет пирогов с морковью, и решилась не смущать его этим, по крайней мере, до тех пор, пока он отслужит водосвятие. Как женщина благоразумная и опытная, она держалась выжидательного метода и была уверена, что время — большой фокусник, способный помочь там, где уже, кажется, и нет никакой возможности ждать помощи. Так и вышло, водосвятие было начато тотчас же, как пришло духовенство, а прежде чем служба была окончена, дело приняло такой неожиданный оборот, что о пирогах с морковью некогда стало и думать.

Случилось вот что: едва в конце молебна дьякон Савва начал возглашать многолетие хозяевам, как в чердачную дверь, которая оставалась до сих пор замкнутою, послышался нетерпеливый стук, и чей-то как будто знакомый, но упавший голос заговорил:

«Отоприте мне, отоприте!»

Сначала это, разумеется, произвело общий переполох, и все присутствующие бросились в перепуге к отцу Флавиану...

Зрелище, открытое дверью, действительно было самое неожиданное: на последней ступеньке лестницы в двери стоял сам Сафроныч или бес, принявший его обличье. Последнее, конечно, было вероятнее, тем более что привидение или лукавый дух хоть и хитро подделался, но все-таки не дошел до оригинала; он был тощее Сафроныча, с мертвенною синевою в лице и почти с совершенно угасшими глазами. Но зато как он был смел! Нимало не испугавшись кропила, он тотчас же подошел к отцу Флавиану, подставил горсточку и сам ждал, чтобы тот его покропил, что отец Флавиан и исполнил. Тогда Сафроныч приложился к кресту и, как ни в чем не бывало, пошел здороваться с семейными. Марья Матвеевна волей-неволей должна была признать в этом полумертвеце своего настоящего мужа.

«Где же ты был, мой голубчик?» — спросила она, исполнясь к нему сострадания и жалости.

«Там, куда меня бог привел за наказание, там и сидел».

«Это ты и стучал?»

«Должно быть, я стучал».

«Но зачем же ты швырялся?»

«А вы зачем девчонку обижали?»

«А ты зачем же сам вниз не лез?»

«Как же я мог против определения... Вот когда я многолетний глас услыхал, я сейчас и спустился... Чайку мне, чайку потеплее, да на печку

меня пустите, да покройте тулупчиком», — заговорил он поспешно своим хриплым и слабым голосом и, поддерживаемый под руки батраком и женою, полез на горячую печь, где его и начали укутывать тулупами, меж тем как дьякон Савва этим временем обходил с кропилом весь чердак и не находил там ничего особенного.

Понятно, что после такого открытия о большом угощении уже нечего было думать; появление Сафроныча в этом жалостном виде заставило свертеть все это кое-как, на скорую руку, и Флавиан удовольствовался только горячим чаем, который кушал, сидя в широком кресле, поставленном возле печки, где отогревался Сафроныч и кое-как отвечал на ша́больно предлагаемые ему вопросы.

Все последние события представлялись Сафронычу таким образом, что он был где-то, лез куда-то и очутился в аду, где долго беседовал с Жигою, открывшим ему, что даже самому сатане уже надоела их ссора с Пекторалисом, — и все это дело должно кончиться. Не противясь такому решению, Сафроныч решил там и остаться, куда он за грехи свои был доставлен, и он терпел все, как его мучили холодом и голодом и напускали на него тоску от плача и стонов дочки; но потом услыхал вдруг отрадное церковное пение и особенно многолетие, которое он любил,— и когда дьякон Савва помянул его имя, он вдруг ощутил в себе другие мысли и решился еще раз сойти хоть на малое время на землю, чтобы Савву послушать и с семьею проститься.

Толковее этого бедный человек ничего не мог рассказать, да и отцу Флавиану жаль было его больше неволить. Бедняк был в самом жалком положении, все он грелся и дрожал, не мог согреться. К вечеру, придя немножко в себя он пожелал поисповедаться и приготовиться к смерти, а через день действительно умер.

Все это совершилось так неожиданно и скоро, что Марья Матвеевна не успела прийти в себя, как ей уже надо было хлопотать о похоронах мужа. В этих грустных хлопотах она даже совсем не обратила должного внимания на слова Егорки, который через час после смерти Сафроныча бегал заказывать гроб и принес странное известие, что «немец на старом дворе отбил ворота», из-за которых шла долгая распря, погубившая и Пекторалиса и Сафроныча.

Теперь враг Пекторалиса был мертв, и Гуго мог, не нарушая обетов своей железной воли, открыть эти ворота и перестать платить разорительный штраф, что он и сделал.

Но должен был исполнить еще другое Пекторалис обязательство: переживая Сафроныча, он должен был прийти к нему на похороны есть блины,— он и это выполнил.

XXIII

— Только что духовенство, гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлою землею могилу Сафроныча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за поминальный стол, как дверь неожиданно растворилась, и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса.

Его здесь никто не ждал, и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять: за участие или за насмешку? Но прежде чем она выбрала роль, Гуго Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойному, — есть блины на его похоронном обеде.

«Что же, мы люди крещеные, у нас гостей вон не гонят,— отвечала Марья Матвеевна,— садитесь, блинов у нас много расчинено. На всю нищую братию ставили, кушайте».

Гуго поклонился и сел, даже в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дьяконом Саввою.

Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо: он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли.

Не знаю, как и с чего зашло у них с дьяконом Саввою словопрение об этой воле — и дьякон Савва сказал ему:

«Зачем ты, брат Гуго Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо...»

И отец Флавиан поддержал Савву и сказал:

«Нехорошо, матинька, нехорошо: за это тебя бог накажет. Бог за русских всегда наказывает».

«Однако я вот Сафроныча пережил; сказал — переживу, и пережил».

«А что и проку-то в том, что ты его пережил, надолго ли это? Бог ведь за нас неисповедимо наказывает, на что я стар — и зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживешь».

Пекторалис только улыбнулся.

«Что же ты зубы-то скалишь,— вмешался дьякон,— неужели ты уже и бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался? Нет, брат, отца Флавиана не переживешь — теперь тебе и самому уже капут скоро».

«Ну, это мы еще увидим».

«Да что «увидим»? И видеть-то в тебе стало уже нечего, когда ты весь заживо ссохся; а Сафроныч как жил в простоте, так и кончил во всем своем удовольствии».

«Хорошо удовольствие!»

«Отчего же не хорошо? Как нравилось, так и доживал свою жизнь, все с примочечкой, все за твое здоровье выпивал...»

«Свинья»,— нетерпеливо молвил Пекторалис.

«Ну вот уже и свинья! Зачем же так обижать? Он свинья, да пред смертью на чердаке испостился и, покаясь отцу Флавиану, во всем прощении христианском помер и весь обряд соблюл, а теперь, может быть, уже и с праотцами в лоне Авраамовом сидит да беседует и про тебя им сказывает, а они смеются; а ты вот не свинья, а, за его столом сидя, его же и порочишь. Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-то вышел?»

«Ты, матинька, больше свинья»,— вставил слово отец Флавиан.

«Он о семье не заботился»,— сухо молвил Пекторалис.

«Чего, чего?— заговорил дьякон.— Как не заботился? А ты вот посмотри-ка: он, однако, своей семье и угол и продовольствие оставил, да и ты в его доме сидишь и его блины ешь; а своих у тебя нет,— и умрешь ты — не будет у тебя ни дна, ни покрышки, и нечем тебя будет помянуть. Что же, кто лучше семью-то устроил? Разумей-ка зто... ведь с нами, брат, этак озорничать нельзя, потому с нами бог».

«Не хочу верить», — отвечал Пекторалис.

«Да верь не верь, а уж дело видное, что лучше так сыто умереть, как Сафроныч помер, чем гладом изнывать, как ты изнываешь».

Пекторалис сконфузился; он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда,— и холодный ужас объял его сердце, и вместе с тем вошел в него сатана,— он вошел в него вместе с блином, который подал ему дьякон Савва, сказавши:

«На тебе блин, и ешь да молчи, а то ты, я вижу, и есть против нас не можешь».

«Отчего же это не могу?» — отвечал Пекторалис.

«Да вон видишь, как ты его мнешь, да режешь, да жустеришь».

«Что это значит «жустеришь»?

«А ишь вот жуешь да с боку на бок за щеками переваливаешь».

«Так и жевать нельзя?»

«Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо!

Вот возьми его за краечки, обмокни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место».

«Этак нездорово».

«Еще что соври: разве ты больше всех, что ли, знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца Флавиана блинов не съесть».

«Съем», — резко ответил Пекторалис.

«Ну, пожалуйста, не хвастай».

«Съем!»

«Эй, не хвастай! Одну беду сбыл, не спеши на другую».

«Съем, съем, съем», — затвердил Гуго.

И они заспорили, — и как спор их тут же мог быть и решен, то ко всеобщему удовольствию тут же началось и состязание.

Сам отец Флавиан в этом споре не участвовал: он его просто слушал да кушал; но Пекторалису этот турнир был не под силу. Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; но он, видно, не знал, что «бежка́ не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.

Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад. «Не притворяйся-ка, — говорит, — братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает».

Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:

«Скажите на милость, знал, надо как здоро́во есть, а умер!»

«Неужли помер?» — вскричали все в один голос.

А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков. Итак, самую чуточку пережил Пекторалис Сафроныча и умер бог весть в какой недостойной его ума и характера обстановке.

Схоронили его очень наскоро на церковный счет и, разумеется, без поминок. Из нас, прежних его сослуживцев, никто об этом и не знал. И я-то, слуга ваш покорный, узнал об этом совершенно случайно: въезжаю я в день его похорон в город, в самую первую и зато самую страшную снеговую завируху, — как вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойник, и отец Флавиан ползет в треухе и поет: «святый боже», а у меня в сугробе хлоп, и оборвалась завертка. Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек выскочила в шушуне баба, а насупротив из других таких же ворот другая — и начинают перекрикиваться:

«Кого, мать, это хоронят?»

А другая отвечает:

«И-и, родная, и выходить не стоило: немца поволокли».

«Какого немца?»

«А что блином-то вчера подавился».

«А хоронит-то его отец Флавиан?»

«Он, родная, он, наш голубчик: отец Флавиан».

«Ну, так дай бог ему здоровья!»

И обе бабы повернулись и захлопнули калитки.

Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня, который помнил его в иную пору его больших надежд, было даже грустно.

1876

ЧЕРТОГОН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе как при особом счастии и протекции.

Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе.

Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к «народу»: мать моя из купеческого звания. Она выходила замуж из очень богатого дома, но вышла уходом, по любви к моему родителю. Покойник был молодец по женской части и что намечал, того и достигал. Так ему удалось и с мамашей, но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу, постелей и божьего милосердия, которые были получены вместе с прощением и родительским благословением, навеки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нуждно, но гордо, у богатых материных родных ничего не просили, да и сношений с ними не имели. Однако, когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить:

— Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно,— а он мой брат, и к тому благочестив и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда хлеб-соль подает... всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом... и у генерал-губернатора с митрополитом принят... Он тебя может хорошему наставить.

А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве и до сих пор материной воли не исполнил; пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеичу, повидаюсь — снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит».

По привычке детства я был к старшим почтителен — особенно к таким, которые известны и митрополиту и губернаторам.

Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье Федосеичу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Было так часов около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая — словом, очень хорошо. Дом дяди известен, — один из первых домов в Москве, — все его знают. Только я никогда в нём не был и дядю никогда не видал, даже издали.

Иду, однако, смело, рассуждая: примет — хорошо, а не примет — не надо.

Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть как дорогой атлас лоснится, а заложены в коляску.

Я взошел на крыльцо и говорю: так и так — я племянник, студент, прошу доложить Илье Федосеичу. А люди отвечают:

— Они сами сейчас сходят — едут кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная,— в глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется — солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку подал и говорит:

— Садись, проедемся.

Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.

— В парк!— велел он.

Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали.

Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилиндр краем в самый лоб врезал, и на лице у него этакая что называется плюмса, как бывает от скуки.

Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего проговорил:

— Совсем жисти нет.

Я не знал, что отвечать, и промолчал.

Опять едем, едем; думаю: куда это он меня завозит? и начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью.

А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказания:

— Направо, налево. У «Яра»— стой!

Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядею чуть не в три погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и велел позвать хозяина. Побежали. Является француз — тоже с большим почтением, а дядя не шевелится: костью набалдашника палки о зубы постукивает и говорит:

— Сколько лишних людей есть?

— Человек до тридцати в гостиных,— отвечает француз,— да три кабинета заняты.

— Всех вон!

— Очень хорошо.

— Теперь семь часов, — говорит, посмотрев на часы, дядя,— я в восемь заеду. Будет готово?

— Нет,— отвечает, — в восемь трудно... у многих заказано... а к девяти часам пожалуйте, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет.

— Хорошо.

— А что приготовить?

— Разумеется, эфиопов.

— А еще?

— Оркестр.

— Один?

— Нет, два лучше.

— За Рябыкой послать?

— Разумеется.

— Французских дам?

— Не надо их!

— Погреб?

— Вполне.

— По кухне?

— Карту!

Подали дневное menue [1].

Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть, и не хотел разбирать: пощелкал по бумажке палкою и говорит:

— Вот это все на сто особ.

И с этим свернул карточку и положил в кафтан.

---

[1] Меню (*фр.*).

Француз и рад и жмется:

— Я,— говорит,— не могу все подать на сто особ. Здесь есть вещи очень дорогие, которых во всем ресторане всего только на пять-шесть порций.

— А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто что захочет, всякому чтоб было. Понимаешь?

— Понимаю.

— А то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел!

Оставили ресторанщика с его лакеями у подъезда и покатили.

Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было попроститься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. Едем и только то одного, то другого останавливаем.

— В девять часов к «Яру»!— говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и так же коротко отвечают дяде:

— Твои гости, твои гости, Федосеич.

Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек двадцать, и как раз пришло девять часов, и мы опять подкатили к «Яру». Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфеткою пыль у него с панталон обил.

— Чисто? — спрашивает дядя.

— Один генерал,— говорит,— запоздал, очень просился в кабинете кончить...

— Сейчас вон его!

— Он очень скоро кончит.

— Не хочу,— довольно я ему дал времени — теперь пусть идет на траву доедать.

Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту минуту генерал с двумя дамами вышел, сел в коляску и уехал, а к подъезду один за другим разом начали прибывать гости, приглашенные дядею в парк.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал.

Дядя отдал палку, нимало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне.

Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то «детский учитель», но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыгане, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности.

Ярко освещенный ресторан работал: музыка гремела, а цыгане расхаживали и закусывали у буфета, дядя обозревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, «нет ли непринадлежащих», и рядом с ним безотлучно ходил учитель; но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница: поход на них действовал не одинаково: учитель был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян.

Как это могло столь скоро произойти,— не знаю, но он был в отличном настроении; сел на председательское место, и пошла писать столица.

Двери были заперты, и о всем мире сказано так: «что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя». Нас разлучала пропасть,— пропасть всего — вина, яств, а главное — пропасть разгула, не хочу сказать безобразного,— но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого не надо и требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как

шла эта ночь, потому что *все* это описать дано не моему перу, я помню только два выдающиеся батальные эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным образом *страшное*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось— важнейшем московском фабриканте и коммерсанте.

Это произвело паузу.

— Ведь сказано: никого не пускать,— отвечал дядя.

— Очень просятся.

— А где он прежде был, пусть туда и убирается.

Человек пошел, но робко идет назад.

— Иван Степанович,— говорит,— приказали сказать, что они очень покорно просятся.

— Не надо, я не хочу.

Другие говорят: «Пусть штраф заплатит».

— Нет! гнать прочь, и штрафу не надо.

Но человек является и еще робче заявляет:

— Они,— говорит,— всякий штраф согласны,— только в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень грустно.

Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка: левой рукой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правою посадил на место дядю.

Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить его — взять сто рублей штрафу на музыкантов и пустить.

— Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.

Дядя внял и говорит:

— Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-божью: Ивану Степановичу впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре.

Пошел пересказчик и возвращается:

— Просят, говорят, лучше с них штраф взять.

— К черту! не хочет барабанить — не надо, пусть его куда хочет едет.

Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что *согласен* в литавры бить.

— Пусть придет.

Входит муж нарочито велик и видом почтенен: обликом строг, очи угасли, хребет согбен, а брада комовата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют.

— После, после, это все после,— кричит ему дядя,— теперь бей в барабан.

— Бей в барабан!— подхватывают другие.

— Музыка! подлитаврную.

Оркестр начинает громкую пьесу,— солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам.

Шум и крик адский; все довольны и кричат:

— Громче!

Иван Степанович старается сильнее.

— Громче, громче, еще громче!

Старец колотит во всю мочь, как Черный царь у Фрейлиграта, и, наконец, цель достигнута: литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные литавры штрафом в пятьсот рублей в пользу музыкантов.

Он платит, отирает пот, усаживается, и в то время, как все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя.

Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, дядя; потом как он перед кем-то встает, но тут же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но вот в окно дохнула свежесть московского утра, я снова что-то сознал, но как будто только для того, чтобы усумниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у корней, сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... Просто средневековая картина.

Это «брали в плен» спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать: в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.

Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый — каждой сунул по сторублевой за «корсаж», и дело кончено...

Да; сразу вдруг все стихло... все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого «жисти не было», так зато теперь довольно.

Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему «пора в классы», но, впрочем, все равно: вальпургиева ночь прошла, и «жисть» опять начиналась.

Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла; ни оркестра, ни цыган уж не было. Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счет — короткий: «гуртом писанный».

Рябыка читал счет внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «плати» и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать.

Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже двух слов резонных не сказал, и вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною будет? У меня весь и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного, дикого зверя, с его невероятною фантазиею и ужасным размахом. А между тем мы уже уходили: в передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал: «по пяти» — и Рябыка расплачивался; ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тут еще на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас — ждали батюшку Илью Федосеича, «не понадобится ли зачем послать его милости».

Узнали, сколько их, и выдали всем по три трубля, и мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник.

Илья Федосеич вынул из бумажника сто рублей и подал Рябыке.

Тот повернул билет в руках и грубо сказал:

— Мало.

Дядя накинул еще две четвертки.

— Да и это недостаточно: ведь ни одного скандала не было.

Дядя прибавил третью четвертную, после чего учитель подал ему палку и откланялся.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно: им хотелось еще сорвать отступного, и вот они, под видом оказания особой чести Илье Федосеичу, предавали его почетное высокостепенство всесветному позору.

Москва была перед носом и вся в виду — вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве.

Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой кадке и спросил:

— Мед?

— Мед.

— Что сто́ит кадка?

— На мелочь по фунтам продаем.

— Продай на крупное: смекни, что сто́ит.

Не помню, кажется, семьдесят или восемьдесят рублей он смекнул.

Дядя выбросил деньги.

А кортеж наш надвинулся.

— Любите меня, молодцы, городские извозчики?

— Как же, мы завсегда к вашему степенству...

— Привязанность чувствуете?

— Очень привязаны.

— Снимай колеса.

Те недоумевают.

— Скорей, скорей!— командует дядя.

Кто попрытче, человек двадцать, слазили под козла, достали ключи и стали развертывать гайки.

— Хорошо,— говорит дядя,— теперь мажь медом.

— Батюшка!

— Мажь!

— Этакое добро... в рот любопытнее.

— Мажь!

И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись, а те, сколько их было, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес, верно, не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во всяком случае они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века и ни жив ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев, и на этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку. Это продолжалось с полчаса, и он все одинаково весь трепетал, как желе, на тряском столе, пока, наконец, сразу вспрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Кузнецкий «к французу».

Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили и причесали, и мы пешком перешли в город — в лавку.

Со мной все нет ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал:

— Погоди, не все вдруг; чего не понимаешь,— с лета̀м поймешь.

В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком, и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения.

Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало — я хотел видеть, как он с собою разделается: воздержанием или какой благодатию?

Часов в десять он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить,— троим собирают на целый пятак дешевле. Сосед не вышел: помер скорописною смертью.

Дядя перекрестился и сказал:

— Все помрем.

Это его не смутило, несмотря на то, что они сорок лет вместе ходили в Новотроицкий чай пить.

Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили, того-сего отведали, но все нȁтрезво. Весь день я просидел и проходил с ним, а перед вечером дядя послал взять коляску ко Всепетой.

Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у «Яра».

— Хочу пасть перед Всепетой и о грехах поплакать. А это, рекомендую, мой племяш, сестры сын.

— Пожалуйте,— говорят инокини,— пожалуйте, от кого же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять,— всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое расположение... всенощная.

— Пусть кончится,— я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать.

Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым стаканом перед самою Всепетою.

Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, всхлипнул и точно замер.

Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула:

— Действует... и с оборотом.

— Почему вы замечаете?

Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и сказала:

— Смотри прямо через огонек, где его ножки.

— Вижу.

— Смотрите, какое борение!

Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение: дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а в ногах у него словно два кота дерутся — то один, то другой друг друга борют, и так частенько, так и прыгают.

— Матушка,— говорю,— откуда же эти коты?

— Это,— отвечает,— вам только показываются коты, а это не коты, а искушение: видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.

Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит?

А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:

— Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один свят, а мы все черти окаянные!— и зарыдал.

Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: господи, сотвори ему по его молению.

И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голосом говорит мне:

— Пойдем — справимся.

Монахини спрашивают:

— Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?

— Нет,— отвечает,— отблеска не сподобился, а вот... этак вот было.

Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.

— Подняло?

— Да.

Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя пояснил:

— Теперь мне,— говорит,— прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило...

И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил обитель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал «жисть», и послал моей матери всю ее приданую долю, а меня ввел в добрую веру народную.

С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании... Это вот и называется *чертогон*, «иже беса чужеумия испраздняет». Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастии или при большой протекции от самых степенных старцев.

1879

КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были... Верно, и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности,— сразу о четырех праведных людях так называемой «глухой поры», хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты»,— французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал: «Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых» [1].

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня — засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литера-

[1] Из «Краткой истории Первого кадетского корпуса», составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. (*Примеч. автора.*)

туры: я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь «скалозубами», что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и *как* воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце, потому что — грешный человек — вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

№ 1. *Директор, генерал-майор Перский* (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное «матушкою Екатериною». Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою и подаренное ему «матушкою» имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него «внимания и покровительства».

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

— Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное — вы знайте только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегозчик», и этого преступления кадеты *никогда не прощали*. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре или он считал обязанностию служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу «по форме», держался прямо и молодцевато

и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре,— весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович, прошел по улице!»

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день *непременно* обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский *непременно* побывал *на каждом уроке*. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский *исключительно* занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя, и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

— Ду-ур-рной кадет!..— И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем «утешить Михаила Степановича».

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже *для нас*. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказать, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мере знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

— Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных,— и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания,— он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внима-

тельно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный балл, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

— Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это *только честность*. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали *своею*, то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а *резервная* рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из баталиона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились,— кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего баталиона Московского полка.

Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили

каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу», то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть,— раненым. Пирогов не есть,— раненым...» Эта «передача» [1] была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные «на хлеб и на воду».

Делалось это таким образом: когда мы выстроивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадетгренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, «шло приказание», передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

«Есть арестанты — пироги не есть».

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынесть из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. «Не едят, уносят,— ну и пускай уносят». Худа в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

— Пирогов не есть,— раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова охуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.

---

[1] Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетом-старцем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пятнадцатого декабря в корпус *неожиданно* приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен.

Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и, по обыкновению, отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса.

Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать:

— Здесь дух нехороший!

— Военный, ваше величество,—отвечал полным и спокойным голосом Перский.

— Отсюда Рылеев и Бестужев!— по-прежнему с неудовольствием сказал император.

— Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев — все главнокомандующие, и отсюда Толь,— с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

— Они бунтовщиков кормили!— сказал, показав на нас рукою, государь.

— Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призревать раненых, как своих.

Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.

Перский своими откровенными и благородными верноподданическими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание «подтянуть».

Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, баталионного командира полковника Шмидта (человека превосходной честности) и ротных командиров: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником.

Демидов начал с того, что сказал:

— Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список.

— У нас нет худых кадет,— отвечал Перский.

— Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже.

— Да, это так; но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие.

— Должны быть внесены в список самые худшие, и они в пример прочим будут посланы в полки унтер-офицерами.

Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием:

— Как в унтер-офицеры! За что?

— За дурное поведение.

— Нам вверили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры?

— Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

— А! в таком случае не для чего было собирать совет,— отвечал Перский.— Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено.

Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова Багговут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение.

Вызванным Багговут приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам.

Само собою разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка *сто баллов* и сказано, что если кто будет иметь менее семидесяти пяти баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры.

Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой, стобалльной системе, и мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большею отвагою: скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, как «варвар», и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему «наше презрение к нему и ко всем опасностям».

Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей, и так вот варом и закипит на душе... Как они, сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этою неожиданностью, и где-то и как они стали приходить в себя и проч. и проч. Словом сказать: душевная мука,— и стоим мы все, понурив головочки уныло, и вспоминаем Демидова «варвара», но ни капли его не боимся. Пропадать, так всем заодно пропадать,— знаете, ступень такая... освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит:

— Здравствуйте, деточки!

Все молчали. Ни уговора, ни моментальной «передачи» при его появле-

нии не было, а так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил:

— Здравствуйте, деточки!

Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали:

— Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «*деточки*». Если вы поздороваетесь с ними и скажете: «здравствуйте, *кадеты*», они непременно вам ответят.

Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал: «Здравствуйте, кадеты!», мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!»

Но это не был конец истории.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После того как мы прокричали свое «здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которою начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто, еще более для нас неприятное.

— Вот,— сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным,— вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим.

Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках.

Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал:

— Вот тут целые пять пудов конфект (кажется, пять, а может быть, было и более) — это все для вас, берите и кушайте.

Мы не трогались.

— Берите же,— это для вас.

А мы тоже ни с места; но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам.

Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности, но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфект, он успел шепнуть соседу:

— Конфекты не есть — в яму.

И в одну минуту «передача» эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом, веревочкою, пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано.

Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою: все бросили. Да иначе и нельзя было: дух дружества и товарищества был удивительный, и самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский — главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского

монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев.

Впрочем, он ли их умел подбирать или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии,— этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи; но что знаю о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит *эконому*. Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира — Андрей Петрович *Бобров*.

Я ставлю его *вторым* только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее.

Он, разумеется, был *холост*, как и надо по-монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят,— теоретически, в рассуждениях, что, мол, «это будущность России», или «наша надежда», или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить.

Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-презасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович нимало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалованье, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество.

У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно, а уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире.

Он заведовал всей экономическою частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научною частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично.

В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до шестисот тысяч рублей ежегодно, а за сорок лет его экономского служения у него, значит, обратилось до двадцати четырех миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже три тысячи рублей положенного ему жалованья он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет.

Я скажу в конце, куда он девал свое жалованье, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, «чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты». *Мошенники* это были мы,— так он называл кадет, разумеется употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали.

Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень; после этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил «кормить» и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего «старого Бобра» [1]. Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было — все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо; белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не всё: водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренно ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не «утешить мошенника». Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет:

— Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой, под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносят:

— Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов.

А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном:

— Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело.

Но когда посаженных на хлеб, на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел.

Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит:

— Скорее, мошенник, скорее глотай!

Все при этом часто плакали — и арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира.

Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик:

— Андрей Петрович на плацу!

---

[1] В «⟨Краткой⟩ истории Первого кадетского корпуса» (1832 г.) есть упоминания о том, что государь император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами.

Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать: все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно.

Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик,— ворочается, бывало, у нас на руках, кричит:

— Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это мне нездорово,— но это не помогало.

Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили:

— Следите за газетами: если только наш полк будет в деле,— на приступе первым я.

Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое — серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для «общежития».

— Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое,— так вот, чтобы было чем...

Так это и соразмерялось — накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь, внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами:

О ты, почтенный эконом Бобров!

Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменою положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус «явиться Андрею Петровичу» — «старому Бобру». И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою отстраняет гостя.

— Позвольте, позвольте,— говорит,— позвольте!

И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал:

— У нас был... мошенник... не из наших ли?..

— Ваш, ваш, Андрей Петрович! — отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его «благословение» — серебряную ложечку.

Но тут вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» и с этим сам быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас

ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом:

— Ну... теперь поцелуй, мошенник!

И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял:

— Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил.— И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем.

Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается:

— Андрей Петрович! я,— говорит,— зван и обещался к такому-то или к такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпустит.

— Знать ничего не хочу,— говорит,— важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты *мой*,— и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу.

И не выпустит.

Рацей он никогда не читал, а только *жил* перед нами и оставался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностию на казенный счет похоронили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теперь *третий* постоянный инок нашего монастыря — наш корпусный доктор *Зеленский*. Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга — никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных: он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял — тут и отдыхал возле больного на соседней койке.

Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.

Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну статс-даму, которую застал в страшном горе: у нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ:

— У меня на руках тысяча триста детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказом статс-дама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил *приказать* Зеленскому поехать в дом этой дамы и *вылечить* ее ребенка.

Доктор повиновался — поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за свой труд не взял.

Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зеленский был доктор отличный и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе: он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях; но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал,— это уже чтоб было, да, впрочем, и сопротивления-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего: разумеется, какую порцию ни потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых «мошенников» любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «такой-то номер по прейскуранту Английского магазина».

Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович.

— Батенька,— говорит,— вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит восемнадцать рублей.

А Зеленский ему отвечал:

— Я и знать,— говорит,— этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

— Ну а если нужно, так и толковать не о чем,— отвечал Бобров и сейчас же вынул деньги и послал в Английский магазин за указанным вином.

Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собою согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как *наше* благо.

Имея на руках в числе тысячи трехсот человек двести пятьдесят малолетних от четырех до восьми лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался, и оттого ли или не оттого, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка:

— Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины — то за ноги.

Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова — человека, имевшего феноменальную память, да трех писарей. Только и всего, и всегда все, что нужно, было сделано, но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному приставлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел — поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарство. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти; а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа: зуботычина — и опять сиди на месте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Веруя и постоянно говоря, что «главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней», Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или неточно исполнено его приказание — не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам, и пошел мимо.

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку док-

тора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «вот какой драчун или Держиморда», но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был Держиморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек *своего времени*, а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка: от человека требовали, чтобы «никого не сделать несчастным», и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский.

В видах *недопущения болезней*, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана — сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое.

Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел; он *всегда* обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы.

Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии: вдруг остановит кадета и прикажет раздеться донага; осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит — выстрижены ли.

Редкое и преполезное внимание!

Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что́ у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что, когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах.

Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их «подтянуть», и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял — *остановить образование*. Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали *запереть*, в музеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смирного содержания), то ему давали двадцать пять

ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана: «Для воинов и *для граждан*» — так надписал ее ее искусный составитель,— но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «*для граждан*» было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат,— закрасить... Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что «*никакие* учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом» — они «уединоображиваются» [1].

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Можно представить: как мы при таком учении выходили учены... А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях (потому что это было невозможно), то по крайней мере хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям.

Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он *любил* нас, он желал нам счастия и добра, а какое же счастие при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным!

И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами.

Известно ли об этом было Перскому, я не знаю, но может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.

Зеленский говорил, что в жизнь надо внесть с собою как можно более добрых *чувств*, способных порождать добрые *настроения*, из которых в свою очередь непременно должно вытечь доброе же *поведение*. А потому будут целесообразнее и все *поступки* в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства: приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал и говорил, что у него, в молодой поре, был упрямый главный доктор.

Подходит, говорит, к больному и спрашивает:

— Что у него?

— Так и так,— отвечает Зеленский,— весь аппарат бездействует, что-то вроде miserere [2].

---

[1] См. не действующее более «Наставление к образованию воспитанников военно-учебных заведений», 24 декабря 1848 года, СПб., Типография военно-учебных заведений.

[2] Жалеть, иметь сострадание (*лат.*); здесь: безнадежное состояние больного.

— Oleum ricini[1] давали?
— Давали.
И еще там что-то спросил: давали?
— Давали.
— A oleum crotoni? [2]
— Давали.
— Сколько?
— Две капли.
— Дать двадцать!
Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил:
— Дать двадцать!
— Слушаю-с.
На другой день спрашивает:
— А что больной с miserere: дали ему двадцать капель?
— Дали.
— Ну, и что он?
— Умер.
— Однако проняло?
— Да, проняло.
— То-то и есть.

И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет: лишь бы *проняло*.

Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю.

Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства пятьдесят рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита; но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь с своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частию были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался *последний*, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового возраста, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в который он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна,— я всегда думал: «вздор мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни». А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего кор-

---

[1] Касторовое масло (*лат.*).
[2] Кротоновое масло (*лат.*).

пуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его вволю наслушаться, и он это видел: всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целою толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты; выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.

Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно и что мы должны это помнить и, по выходе, стараться приобретать познания. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа, он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал, кстати и некстати приставая: «молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до бога и чьи не доходят. А потом этих же «ангелов» растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были не подготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции его отличались необыкновенною простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис — наш праздник. Как образец, приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню.

«Подумаем,— так говорил архимандрит,— не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых, служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?»

Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали *его* разъяснения, и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так:

«Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: «Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело». И я думаю, что, если бы господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: «Там тебе

на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы ты промеж нас родился да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело». И это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта».

Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедание и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов с своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Демидов был чрезвычайно суеверен: у него были счастливые и несчастные дни; он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственною детям наблюдательностию очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа; но главнее всего нас выручали кресты... Один раз, заметив, что Демидов, где ни завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы; в те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных — с покрышечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим ни смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся — крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрез которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых.

Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал:

— Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали, а рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь «о предрассудках и пустосвятстве», где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках.

Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю кому приписать победу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитою проповедью «о предрассудках», Демидов не сманкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала; но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительною.

Когда архимандрит, возгласив «благословение господне на вас», закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался.

Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему:

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! — и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит.

— Дети! я *вам* говорю,— воскликнул он скоро, но спокойно,— в храме божием уместны только одни возгласы — возгласы в честь и славу живого бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам *запрещаю* делать возгласы начальству. Аминь.

Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал, а с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди, и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не «уединообразживается». Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены или, как говорят, «не педагогичны» и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, *сильнее других делают историю*. И если их «педагогичность» даже не выдержит критики, то всетаки их память почтенна, и души их во благих водворятся.

1880

ЛЕВША

(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,— и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,— Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,— говорит,— такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки [1], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит,— только из усов кольца вьет.

---

[1] Кизлярки.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот,— говорят,— какая у нас производительность,— и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах,— говорит,— как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкива

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов,— совсем того не понимаю»,— и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. По́ка государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво?*

А англичане и не знают, что это такое *молво*. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот,— говорят,— изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это,— отвечают,— не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет,— отвечают,— не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе [1] танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же,— государь говорит,— я его не вижу?

— Потому,— отвечают,— что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте,— говорят,— взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

---

[1] Танцевать (*фр.* danser).

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами,— хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли; без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр,— говорит,— всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай.— И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же,— говорит,— принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота [1]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете

---

[1] «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея *Федотова*-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества», и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то *Федотов*-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот».

молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты,— говорит,— к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое,— говорит,— теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны,— а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки,— но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать,— никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я,— говорит,— пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это,— говорит,— так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии,— и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это,— говорит,— ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке,— тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали,— не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нацыя тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее,— говорят,— надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать,— остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть,— говорит,— будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего,— я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу,— тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы,— говорят,— мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А *что именно*, этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, и не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит,— не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда,— и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялися.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили,— тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты

были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забъем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Все,— отвечают,— готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех,— видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду,— и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же,— отвечают.— Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил,— никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете,— мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,— мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шиворот косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди,— говорит,— здесь до самого Петербурга вроде пубеля,— ты мне за всех ответишь. А вы,— говорит свистовым,— теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало, и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория,— говорит,— ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех,— а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то,— говорит Платов,—что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать и левше только погрозился.

— Я тебе,— говорит,— такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят,— потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.— И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком,— словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает.— Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить,— пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы,— говорит,— вот как клали.— И положил блоху под мелкоскоп.— Смотри,— говорит,— сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо,— говорит,— всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи,— говорит государь,— это уже очень сильно мелко!

— А что же делать,— отвечает левша,— если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы,— говорит,— был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы,— говорит,— увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет,— отвечает левша,— моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому,— говорит,— что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,— там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит,— это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть,— говорит,— над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще у́же перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: «*Ай люли — се тре жули*» [1].

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет,— англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне,— он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера,— говорят,— мы сейчас хотим видеть.

---

[1] Это очень хорошо (от *фр.* c'est très joli).

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад,— говорят,— камрад — хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает,— может быть, отравить с досады хотите.

— Нет,— говорит,— это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,— сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это,— спрашивают,— за книга в России «Полусонник»?

— Это,— говорит,— книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом,— говорит,— спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня,— говорит,— дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы,— говорит,— к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы,— говорят,— обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого,— ответил левша,— никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому,— отвечает,— что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы,— говорят англичане,— нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие,— отвечает левша,— действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому,— отвечает,— есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие,— говорит,— что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают.— Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить.— И отнекался.— Грандеву,— говорит,— это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если,— говорят,— без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас,— говорит,— когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нацыи не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы,— говорят,— только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия,— отвечает левша,— нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же,— говорят,— ваш фасон лучше?

— Наш фасон,— отвечает,— в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом,— говорят,— мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались — и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики и мыльнопильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет,— засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это,— говорит,— против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли,— говорит,— я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как,— говорит,— они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр,— говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно,— отвечает,— где умереть,— все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет,— отвечает,— мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец,— говорит,— рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так,— отвечал полшкипер,— так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится,— скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо,— говорит,— идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это,— говорит,— не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь,— говорит,— я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать,— а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы,— говорит,— два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него,— говорит,— хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец,— говорит,— очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают,— а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай,— говорит,— свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал,— тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется»,— так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя,— в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

1881

ПЕЧЕРСКИЕ АНТИКИ

(Отрывки из юношеских воспоминаний)

Старинный характер и бибиковские преобразования.— Нечто о Карасивне и Пиднебесной и об акафисте «матери Кукурузе».— Печерский Кесарь и его импровизации.— Стремление войска уйти в поход против Вылезария.—Легенда о бибиковской теще и о всепомогающем докторе.— Способ обращать верхние зубы в нижние.— Квартальный-антикварий.— Наезд Виньёля.— Старец Малафей Пимыч и отрок Гиезий.— Порча отрока человечиной.— Открытие моста.— Аскоченский в поэтическом восторге.— Альфред фон Юнг: его опечатки и его поэзия.— Анекдоты с конным немцем и с отцом Строфокамилом.— Малафеево стояние.— Неисполнившееся откровение.— Старцева смерть — отрокова женитьба. Мир в тропаре.— Два дворянина.— Исключительный священник.— Тайна Троицкой церкви.— Нечто о «Запечатленном ангеле».

Мне убо, возлюбленнии, желательно есть вспомянути доброе житие крепких мужей и предложити вашей любви слово нехитроречивое, но истиною украшенное. Вам же любезно да будет слышати добрые повести о мужах благостных.

Из предисловия к повести «Об отцах и страдальцах»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Расскажу нечто про киевских оригиналов, которых я знал в дни моей ранней юности и которые, мне кажется, стоят внимания, как личности очень характерные и любопытные. Но вначале да позволено мне будет сказать два слова о себе. Они необходимы для того, чтобы показать, где и как я познакомился с «печерским Кесарем», с которого я должен начать мою киевскую галерею антиков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев.

Киев тогда сильно отличался от нынешнего, и разница эта заключалась не в одной внешности города, но и в нравах его обитателей. Внешность изменилась к лучшему, то есть город наполнился хорошими зданиями и, так сказать, *оевропеился*, но мне лично жаль многого из старого, из того, что сглажено и уничтожено, может быть, несколько торопливою и во всяком случае слишком бесцеремонною рукою Бибикова. Мне жаль, например, лишенного жизни Печерска и облегавших его урочищ, которые были застроены как попало, но очень живописно. Из них некоторые имели также замечательно своеобразное и характерное население, жившее неодобрительною и даже буйною жизнью в стародавнем запорожском духе. Таковы были, например, удалые Кресты и Ямки, где «мешкали бессоромние дівчата», составлявшие любопытное соединение городской, культурной проституции с казаческим простоплетством и хлебосольством. К этим дамам, носившим не европейские, а национальные малороссийские уборы, или так называемое «простое платье», добрые люди хаживали в гости с своею «горілкою, с ков-

басами, с салом и рыбицею», и «крестовские дівчатки» из всей этой приносной провизии искусно готовили смачные снеди и проводили с своими посетителями часы удовольствий «по-фамильному».

Были из них даже по-своему благочестивые: эти открывали свои радушные хаты для пиров только до «благодатной», то есть до второго утреннего звона в лавре. А как только раздавался этот звон, казачка крестилась, громко произносила: «радуйся, благодатная, господь с тобою» и сейчас же всех гостей выгоняла, а огни гасила.

Это называлося «досидеть до благодатной».

И гости — трезвые и пьяные — этому подчинялися.

Теперь этого оригинального типа непосредственной старожилой киевской культуры с запорожской заправкой уже нет и следа. Он исчез, как в Париже исчез тип мюзаровской гризеты, с которою у киевских «крестовых дівчат» было нечто сходственное в их простосердечии.

Жаль мне тоже живописных надбережных хаток, которые лепились по обрывам над днепровской кручей: они придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков, которые хотя и получили какое-то вознаграждение за свои «поламанные дома», но не могли за эти деньги построить себе новых домов в городе и слепили себе гнезда над кручею. А между тем эти живописные хаточки никому и ничему не мешали. Их потом опять разметала властная рука Бибикова. Жаль превосходнейшей аллеи рослых и стройных тополей, которая вырублена уже при Анненкове для устройства на ее месте нынешнего увеселительного балагана с его дрянными развлечениями. Но всего более жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы, молодыми ребятами, бывало проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее,— кто обладал бо́льшими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать...

Нравы, собственно говоря, изменились еще более, чем здания, и тоже, может быть, не во всех отношениях к лучшему. Перебирать и критиковать этого не будем, ибо «всякой вещи свое время под солнцем», но пожалеть о том, что было мило нам в нашей юности, надеюсь, простительно, и кто, подобно мне, уже пережил лучшие годы жизни, тот, вероятно, не осудит меня за маленькое пристрастие к тому старенькому, серому Киеву, в котором было еще очень много простоты, ныне совершенно исчезнувшей.

Я зазнал этот милый город в его дореформенном виде, с изобилием деревянных домиков, на углах которых тогда, впрочем, были уже вывешены так называвшиеся «бибиковские доски». На каждой такой доске была суровая надпись: «сломать в таком-то году».

Этих несчастных, обреченных на сломку домиков было чрезвычайно много. Когда я приехал в Киев и пошел его осматривать, то «бибиковские доски» навели на меня неожиданную грусть и уныние. Смотришь — чистенькие окошечки, на них горшочки с красным перцем и бальзаминами, по сторонам пришпилены белые «фиранки», на крышах воркуют голуби, и в глубине двориков хлопотливо кудахчут куры, и вдруг почему-то и зачем-то придут сюда какие-то сторонние люди и всё это разломают... Для чего это? И куда денутся, куда тогда пойдут эти люди, которым, по-видимому, довольно удобно и хорошо живется за их белыми «фиранками»? Может статься, что все это было необходимо, но тем не менее отдавало каким-то неприятно бесцеремонным и грубым самовластием.

Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немнож-

ко побольше сердца,— это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом.

Старый город и Печерск особенно щедро были изукрашены «бибиковскими досками», так как здесь должно было совершиться и в весьма значительной степени и совершилось намеченное Бибиковым капитальное «преобразование». А на Печерске жил самый непосредственнейший из киевлян, про которых я попробую здесь для начала рассказать, что удержала моя память.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я с приезда поселился на Житомирской улице, в доме бывшего секретаря комиссариатской комиссии Запорожского (тоже в своем роде антика), но, совершенно одинокий и предоставленный самому себе, я постоянно тяготел к Печерску, куда меня влекли лавра и пещеры, а также и некоторое еще в Орле образовавшееся знакомство.

Печерские знакомцы мои были молодые родственники некогда чем-то знаменитого в Киеве Николая Семеновича Шиянова.

К тому времени, когда я приехал в Киев, старик Шиянов уже не жил на свете, и даже о былом его значении ничего обстоятельного не говорили; так я, собственно, и до сих пор не знаю, чем и в каком роде был знаменит Шиянов; но что он был все-таки знаменит — этому я всегда верил так же православно, как приял это в Орле от его родственников, увлекших меня обольстительными рассказами о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни.

Я остаюсь им за это всегда благодарным [1].

Наследники Шиянова были тогда уже в разброде и в захудалости. Когда-то значительные капиталы старика были ими торопливо прожиты или расхищены, о чем ходили интересные сказания в духе французской истории наследства Ренюпонов. От всего богатства остались только дома.

Это были престранные дома — большие и малые, все деревянные; они были настроены тут в таком множестве, что образовали собою две улицы: Большую Шияновскую и Малую Шияновскую.

Обе Шияновские улицы находились там же, где, вероятно, находятся и теперь, то есть за печерским базаром, и по всей справедливости имели право считаться самыми скверными улицами в городе. Обе они были немощеные — каковыми, кажется, остаются и до настоящего времени, но, вероятно, теперь они немножко выровнены и поправлены. В то же время, к которому относятся мои воспоминания, они находились в привилегированном положении, которое делало их во все влажное время года непроезжими. По каким-то геологическим причинам они были низменнее уровня базарной площади и служили просторным вместилищем для стока жидкой черноземной грязи, которая образовала здесь сплошное болото с вонючими озерами. В этих озерах плавали «шияновские» гуси и утки, которым было здесь очень привольно, хотя, впрочем, они часто сильно страдали от вползавших им в нос

[1] Со временем потомство, может статься, не в силах будет составить себе ясное понятие даже и о таких достопримечательных личностях Киева, как, например, Карасивна и Пиднебесная, за знаменитыми булками которых бегал на Подол весь город. Все это происходит от аристократизма наших хроникеров и летописцев. Впрочем, эти полезные деятельницы, помнится, названы в одном из вариантов «акафиста матери Кукурузе», который был сложен студентами Киевской духовной академии, как протест против дурного стола и ежедневного почти появления на нем кукурузы в пору ее созревания. «Акафист Кукурузе» начинался так: «Бысть послан комиссар (помощник эконома) на базар рыбы купити, узрев же тя кукурузу сущу, возопи гласом велиим и рече: «Радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая, радуйся, кукурузо, пище ядомая и николи же изъядаемая, радуйся, кукурузо, отцом ректором николи же зримая, радуйся, к инспектором николи же ядомая» и т. д. Там где-то было и о Карасивне с Пиднебесною, после которых уже нет таких пекарок в Киеве. *(Примеч. автора.)*

дрянных зеленоватых пиявок. Чтобы защитить птиц от этого бедствия, им смазывали клювы «свяченой оливой», но и это верное средство не всегда и не всем помогало. Утята и гусята от пиявок дохли.

По вечерам здесь, выставив наружу голову, пели свои антифоны очень крупные и замечательно басистые лягушки, а звонкоголосые молодячки канонархали. Иногда они все — молодые и старые, всем собором выходили на бережки и прыгали по бугорочкам. Это заменяло барометрическое указание, ибо предвещало ясную погоду.

Словом, картина была самая буколическая, а между тем в двух шагах отсюда был базар, и притом базар очень завозный и дешевый. Благодаря этому последнему обстоятельству здешняя местность представляла своего рода удобства, особенно для людей небогатых и неприхотливых.

Впрочем, она также имела свои особенные удобства для домохозяев еще в отношении полицейском, которое в Киеве тогда смешивали с политическим.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Большие и малые дома Шиянова, со множеством надворных флигельков и хаточек, приспособленных кое-как к житью из старинных служебных построек, давно уже сдавались внаймы и, несмотря на свою ветхость, все были обитаемы.

Постройки все подряд были очень ветхи и стояли, по-видимому, аридовы веки. Доски с надписями, которыми «строго воспрещалось» чинить эти дома и были указаны сроки их сломке, красовались па их углах, но дома упорно избегали определенной им злой участи, и некоторые из них едва ли не уцелели до настоящего времени.

Во мнении жителей шияновские дома охраняла от «бибиковского разорения» одна необычайная личность, создавшая себе в то время героическую репутацию, которая, казалось бы, непременно должна перейти в легенду. Быстрое забвение подобных вещей заставляет только поникнуть головою перед непрочностию всякого земного величия.

Легендарная личность был артиллерии полковник Кесарь Степанович Берлинский, на сестре которого, кажется Клавдии Степановне, был женат покойный Шиянов.

Таких людей, как Кесарь Степанович, нет уже более не только в Киеве, но, может быть, и во всей России. Пусть в ней никогда не переводятся и, вероятно, вперед не переведутся антики, но «печерский Кесарь» дважды повторен быть не может.

Сказать, что Берлинский «управлял» домами Шиянова, было бы, кажется, не точно, потому что управлял ими, по выражению Берлинского, «сам господь бог и Николай угодник», а деньги с квартирантов собирала какая-то дама, в конторскую часть которой не вмешивались ни господь бог, ни его угодник и даже ни сам Кесарь Степанович. Этот герой Печерска, как настоящий «Кесарь», только господствовал над местностью и над всеми, кто, живучи здесь, обязан был его знать. Кесарь Степанович нравственно командовал жильцами обеих Шияновских улиц и вообще всею прилегающею областию за базаром. Всех он содержал в решпекте и всем умел давать чувствовать свое авторитетное военное значение. Слово «*момент*», впоследствии основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервые было пущено Берлинским и с его легкой руки сделалось необходимым подспорьем русского военного красноречия.

При случае Берлинский готов был оказать и иногда действительно оказывал нуждающимся свое милостивое отеческое заступление. Если за кого нужно было идти попросить какое-либо начальство, печерский Кесарь надевал свой военный сюртук без эполет, брал в руки толстую трость, которую носил на правах раненого, и шел «хлопотать». Нередко он что-нибудь

и выпрашивал для своих protégé, действуя в сих случаях на одних лаской, а на других угрозою. Существовало убеждение, что он может всегда «писать к государю», и этого многие очень боялись. Младших же «чиновалов», говорили, будто он иногда убеждал даже при содействии своей трости, per argumentum baculinum [1]. Последнее он допускал, впрочем, не по свирепости нрава, а «по долгу верноподданничества», единственно для того, чтобы не часто беспокоить государя письмами.

На базаре Берлинского все знали и все ему повиновались, не только за страх, но и за совесть, потому что молва громко прославляла «печерского Кесаря», и притом рисовала его в весьма привлекательном народно-героическом жанре.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Берлинский смолоду был молодец и писаный красавец в тогдашнем гвардейском роде; таким же он оставался до старости, а может быть и до самой кончины, которая последовала, если не ошибаюсь, в 1864 или 1865 году. В жизнь свою он видел не одни красные дни, а перенес немало нужды, горя и несправедливостей, но, обладая удивительною упругостью души, никогда не унывал и выворачивался из положений самых трудных средствами самыми смелыми и подчас даже невероятными и отчаянными.

Сердца Кесарь Степанович был, кажется, доброго и в свою меру благородного, а также он был несомненно чувствителен к чужому горю и даже нежен к несчастным. Он не мог видеть равнодушно ничьего страдания, чтоб тотчас же не возмущаться духом и не обнаруживать самых горячих и искренних порывов помочь страдающему. По мере своих сил и разумения он это и делал. Характер Берлинский имел очень смелый, решительный и откровенный, но несколько с хитринкой. Знавшие его смолоду уверяли, что ранее хитрости в нем будто не было, но потом, впоследствии, несправедливость и разные суровые обстоятельства заставили его понемножечку лукавить. Впрочем, в его устах и во лбу светило некоторое природное лукавство. Берлинский был самый большой фантазер, какого мне удавалось видеть, но фантазировал он тоже не без расчета, иногда очень наивного и почти всегда безвредного для других. Соображал он быстро и сочинял такие пестрые фабулы, что если бы он захотел заняться сочинительством литературным, то из него, конечно, вышел бы любопытный сочинитель. Вдобавок к этому все, что Кесарь раз о себе сочинил, это становилось для самого его истиною, в которую он глубоко и убежденно верил. Вероятно, оттого анекдотические импровизации «печерского Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатление, под влиянием которого те досочиняли еще большее. Кесарь Степанович умел вдохновлять и умел поставить себя так, что во всех отношениях — и чином и значением — стоял во мнении Печерска несравненно выше настоящего.

По моему мнению, он был только храбрый и, вероятно, в свое время очень способный артиллерии полковник в отставке. По крайней мере таким я его зазнал в Орле, через который он «вез к государю» зараз восемь или десять (а может быть, и более) сыновей. Тогда он был во всей красе мужественного воина, с георгиевским крестом, и поразил меня смелостию своих намерений. Он ехал с тем, чтобы «выставить» где-то всех своих ребят государю и сказать:

— Если хочешь, чтобы из них тебе верные слуги вышли, то бери их и воспитай, а мне их кормить нечем.

Мы все, то есть я и его орловские племянники (сыновья его сестры Юлии Степановны), недоуменно спрашивали:

— Неужели вы так и скажете: *ты, государь?*

---

[1] Палочным аргументом (*лат.*).

А он отвечал:

— Разумеется, так и скажу,— и потом прибавил, будто это непременно так даже и следует говорить и будто государь Николай Павлович «так любит».

Нас это просто поражало.

Кормить детей Берлинскому действительно было нечем. Он очень нуждался, как говорили, будто бы по причине его какой-то отменной честности, за которую он, по его собственным рассказам, имел «кучу врагов около государя». Но он не унывал, ибо он очень уж смело рассчитывал на самого императора Николая Павловича. Смелость эта его и не постыдила: с небольшим через месяц Кесарь Степанович опять проследовал из Петербурга в Киев через Орел уже совсем один. Государь велел принять в учебные заведения на казенный счет «всю шеренгу» и увеличил будто бы пенсию самого Берлинского, а также велел дать ему не в зачет какое-то очень значительное пособие. Кроме принятия детей, все остальное было как-то в тумане.

В рассказе об упомянутом сейчас событии я и познакомился впервые с импровизаторством этого необыкновенного человека, которое потом мне доставляло много интересных минут в Киеве.

Многое множество из его грандиозных рассказов я позабыл, но кое-что помню, хотя теперь, к сожалению, никак не могу рассортировать, что слышал непосредственно от него самого и что от людей ему близких и им вдохновенных.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По словам Кесаря Степановича, которым я, впрочем, не смею никого обязывать верить без критики, он встретил государя где-то на почтовой станции.

— Сейчас же,— говорит,— я упросил графа Орлова дозволить мне стоять с детьми на крылечке, и стал. Ребят построил в шеренгу мал мала меньше, а сам стал на конце в правом фланге.

Государь как вышел из коляски на крыльцо, заметил мой взвод и говорит:

— Это что за ребята?

А я ему отвечаю:

— Это мои дети, а твои будущие слуги, государь.

Тогда Николай Павлович взглянул, будто, на Берлинского и сейчас же его узнал.

— А-а! — говорит,— Берлинский! Это ты, братец?

— Точно так,— говорю,— ваше величество, это я.

— Очень рад тебя видеть. Как поживаешь?

— Благословляю провидение, что имею счастие видеть ваше величество, а поживание мое очень плохо, если не будет ко мне твоей милости.

Государь спросил:

— Отчего тебе плохо? Ты мне хорошо служил.

— Овдовел,— отвечал Берлинский,— и вот детей у меня целая куча; прикажи, государь, их вскормить и выучить, а то мне нечем, я беден, в чужом доме живу, и из того Бибиков выгоняет.

Государь, говорит, сверкнул глазами и крикнул:

— Орлов! определить всех детей Берлинского на мой счет. Я его знаю: он храбрый офицер и честный.

А потом, будто, опять оборотился к Кесарю Степановичу и добавил:

— За что тебя Бибиков выгоняет?

— Дом,— говорю,— где я живу, под крепость разломать хочет.

Государь, будто, ответил:

— Вздор; дом, где живет такой мой слуга, как ты, должен быть сохранен в крепости, а не разломан. Я тебя хорошо знаю, и у меня, кроме тебя и Орлова, нет верных людей. А Бибикову скажи от моего имени, чтобы он тебя

ничем не смел беспокоить. Если же он тебя не послушается, то напиши мне страховое письмо,— я за тебя заступлюсь, потому что я тебя с детства знаю.

Почему государь Николай Павлович мог знать Берлинского «с детства» — этого я никогда не мог дознаться; но выходило это у Кесаря Степановича как-то складно и статочно, а притом и имело любопытное продолжение.

Когда государь сам, будто, напомнил о столь давнем знакомстве «с детства», то Берлинский этим сейчас же воспользовался и сказал:

— Да, ваше величество, это справедливо: вместе с вами играли, а с тех пор какая разница: вы вот какую отменную карьеру изволили совершить, что теперь всем миром повелеваёте и все вас трепещат, а я во всем нуждаюсь.

А государь ему на это, будто, ответил:

— Всякому, братец, свое назначение: мой перелет соколиный, а ты, воробей, не робей — приди ко мне в Петербург во дворец, я тебя хорошим пайком устрою.

Берлинский будто бы ходил во дворец, и результатом этого был тот паек или «прибавок» к пенсии, которым «печерский Кесарь» всех соседей обрадовал и сам очень гордился. Однако и с прибавкою Берлинский часто не мог покрывать многих, самых вопиющих нужд своей крайне скромной жизни на Печерске. Но так как все знали, что он «имеет пенсию с прибавком», то «Кесарь» не только никогда не жаловался на свои недостатки, а, напротив, скрывал их с большою трогательностию.

Порою, сказывали, дело доходило до того, что у него не бывало зимою дров и он буквально стыл в своей холодной квартире, но уверял, что это он «так любит для свежести головы».

Цифры своей пенсии Берлинский как-то ни за что не объявлял, а говорил, что получает «много», но может получать и еще больше.

— Стоит мне написать страховое письмо государю,— говорил он,— и государь сейчас же прикажет давать мне, сколько я захочу, но я не прошу более того, что пожаловано, потому что у государя другие серьезные надобности есть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Если верить сказаниям, то государь Николай Павлович, будто, очень грустил по разлуке с Берлинским и даже неутешно жалел, что не может оставить его при себе в Петербурге. Но, по рассказам судя, пребывание Берлинского в столице и действительно было совершенно неудобно: этому мешала слишком большая и страстная привязанность, которую питали к печерскому Кесарю «все солдаты».

Они так его любили, что ему нигде, будто, нельзя было показаться: как солдаты его увидят, сейчас перестают слушать команду и бегут за ним и кричат:

— Пусть нас ведет отец наш полковник Берлинский,— мы с ним и Константинополь возьмем, и самого победоносного полководца Вылезария на царский смотр в цепях приведем.

Доходило это, по рассказам, до таких ужасных беспорядков, что несколько человек эа это были даже, будто, расстреляны, как нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотелось в Петербурге оставаться, да и граф Чернышев прямо, будто, сказал государю:

— Как вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинский в Петербурге не живет, или надо отсюда все войска вывесть.

Государь, будто, призвал Кесаря Степановича и сказал:

— Так и так, братец, мне с тобою очень жаль расстаться, но ты сам видишь, что́ в таком случае можно сделать. Я тобою очень дорожу, но без войск столицу тоже оставить нельзя, а потому тебе жить здесь невозможно. Ступай в Киев и сиди там до военных обстоятельств. В то время я про тебя непременно вспомню и пошлю за тобой.

А «лысый Чернышев» так его торопил выездом, что только несколько дней дозволил ему пробыть в Петербурге, но и тут не обошлось без больших затруднений, имевших притом роковые последствия.

Это, по рассказам, было, будто, именно в тот год, когда в Петербурге, на Адмиралтейской площади, сгорел с народом известный балаган Лемана.

Балаган сгорел с народом, стало быть, во время представления, но, по вине самого импровизатора или благовестников его славы, на сей раз выходило что-то немножко нескладно: дело, будто, происходило *ночью*.

Берлинский, будто, тогда стоял на квартире в Гороховой улице, у одной немочки, и дожидался бритвенного прибора, который заказал по своему рисунку одному англичанину. У них в родстве было много лиц, отличавшихся необыкновенным умом и изобретательностью, и один племянник Берлинского, будто, такие бритвы выдумал, что они могли брить превосходно, а обрезаться ими никак нельзя.

Англичанин взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по рисунку сделал и опять стал переделывать. А лысый граф Чернышев, которому неприятно было, что Берлинский все еще в Петербурге живет, ничего этого в расчет взять не хотел. Он уже несколько раз присылал дежурного офицера узнать, скоро ли он выедет.

Берлинский, разумеется, дежурного не боялся и отвечал: «Пусть ваш лысый граф не беспокоится и пусть, если умеет, сам Вылезария в плен берет, а я только моего особенного прибора дожидаюсь, и как англичанин мне прибор сделает, так я сейчас же выеду и буду, где государю угодно, век доживать да печерских чудотворцев за него молить, чтобы ему ничего неприятного не было. А пока мои бритвы не готовы, я не поеду. Так лысому от меня и скажите».

Чернышев не смел его насильно выслать, но опять прислал дежурного сказать, чтобы Берлинский днем не мог на улице показываться, чтобы солдат не будоражить, а выходил бы для прогулки на свежем воздухе только после зари, когда из пушки выпалят и всех солдат в казармах запрут.

Берлинский отвечал:

— Я службу так уважаю, что и лысому повинуюсь.

После этого он, будто, жил еще в Петербурге несколько дней, выходя подышать воздухом только ночью, когда войска были в казармах, и ни один солдат не мог его увидеть и за ним бегать. Все шло прекрасно, но тут вдруг неожиданно и подвернулся роковой случай, после которого дальнейшее пребывание Кесаря в столице сделалось уже решительно невозможным.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Идет один раз Кесарь Степанович, закрыв лицо шинелью, от Красного моста к Адмиралтейству, как вдруг видит впереди себя на Адмиралтейской площади «огненное пламя». Берлинский подумал: не Зимний ли дворец это горит и не угрожает ли государю какая опасность... И тут, по весьма понятному чувству, забыв все на свете, Берлинский бросился к пожару.

Прибегает он и видит, что до дворца, слава богу, далеко, а горит Леманов балаган, и внутри его страшный вопль, а снаружи никого нет. Не было, будто, ни пожарных, ни полиции и ни одного человека. Словом, снаружи пустота, а внутри стоны и гибель, и только от дворца кто-то один, видный, рослый человек, бежит и с одышкою спотыкается.

Берлинский воззрился в бегущего и узнал, что это не кто иной, как сам государь Николай Павлович.

Скрываться было некогда, и Кесарь Степанович стал ему во фронт как следует.

Государь ему, будто, закричал:

— Ах, Берлинский! тебя-то мне и надобно. Полно вытягиваться, видишь, никого нет, беги за пожарными.

А Кесарь Степанович, будто, ответил:

— Пожарные тут, ваше императорское величество, никуда не годятся, а дозвольте скорее призвать артиллерию.

Государь изволил его спросить:

— Зачем артиллерию?

А он, будто, ответил:

— Затем, что тут *надо схватить момент*. Деревянного балагана залить трубами нельзя, а надо артиллерией *в один момент* стену развалить, и тогда сто или двести человек убьем, а зато остальной весь народ сразу высыпется (вот еще когда и при каком случае, значит, говорено военным человеком о значении *момента*).

Но государь его не послушался — ужасно ему показалось сто человек убить; а потом, когда балаган сгорел, тогда изволил, будто, с сожалением сказать:

— А Берлинский мне, однако, правду говорил: все дело было в моменте, и надо было его послушаться и артиллерию пустить. Но только все-таки лучше велеть ему сейчас же выехать, а его бритвенный прибор послать ему в Киев по почте на казенный счет.

Сделано это последнее распоряжение было в таком расчете, что если бы при Берлинском случился в Петербурге другой подобный острый момент, то все равно нельзя было бы артиллерию вывесть потому, что все солдаты и с пушками за ним бы бросились, чтобы он вел их пленять Вылезария.

Так этим и заключилась блестящая пора служебной карьеры Кесаря Степановича в столице, и он не видел государя до той поры, когда после выставил перед его величеством «свою шеренгу», а потом вернулся в Киев с пособием и усиленною пенсиею, настоящую цифру которой, как выше сказано, он постоянно скрывал от непосвященных и говорил коротко, что «берет много», а может взять еще больше.

— Стоит только государю страховое письмо написать.

Мне кажется, что он искренно верил, что имеет дозволение вести с государем переписку, и, бог его знает, может быть и в самом деле ему что-нибудь в этом роде было сказано, если не лично государем, то кем-нибудь из лиц, через которых Кесарь Степанович устроил детей и получил свою прибавку.

Во всяком случае это куражило старика и давало ему силу переносить весьма тяжелые лишения с непоколебимым мужеством и внушающим достоинством.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Так Берлинский и старелся, отменно преданный государю и верный самому себе во всем и особенно в импровизаторстве. А когда он стал очень стар и во всех отношениях так поотстал от современности, что ему нечего было сочинять о себе, то он перенес задачи своей импровизации на своего племянника (моего школьного товарища) доктора, имя которого было Николай, но так как он был очень знаменит, то этого имени ему было мало, и он назывался «*Николавра*». Здесь значение усиливалось звуком *лавра*. Николай это было простое имя, как бывает простой монастырь, а Ник*олавра* — это то же самое, что лавра среди простых монастырей.

Кесарь Степанович рассказывал удивительнейшие вещи о необычайных медицинских знаниях и талантах этого очень много учившегося, но замечательно несчастливого врача и человека с отменно добрым и благородным сердцем, но большого неудачника.

Опять и тут я не помню многого и, может быть, самого замечательного, но, однако, могу записать один анекдот, который объясняет, в каком духе и роде были другие, пущенные в обращение для прославления Николавры.

Шел один раз разговор о зубных болях — об их жестокой неутолимости и о неизвестности таких медицинских средств, которые действовали бы

в этих болях так же верно, как, например, хинин в лихорадках или касторовое масло в засорениях желудка и кишок.

В обществе было несколько молодых в тогдашнее время врачей, и все согласно утверждали, что таких универсальных средств действительно нет,— что на одного больного действует одно лекарство, на другого — другое, а есть такие несчастные, на которых ничто не действует, «пока само пройдет».

Вопрос очень специальный и неинтересный для беседы людей непосвященных, но чуть к нему коснулся художественный гений Берлинского,— произошло чудо, напоминающее вмале источение воды из камня в пустыне. Крылатый Пегас-импровизатор ударил звонким копытом, и из сухой скучной материи полилась сага — живая, сочная и полная преинтересных положений, над которыми люди в свое время задумывались, улыбались и даже, может быть, плакали, а во всяком случае тех, кого это сказание касается, прославили.

Кесарь Степанович опротестовал медицинское мнение и сказал будто, что универсальное средство против зубной боли есть и что оно изобретено именно его племянником, доктором Николаврою, и одному ему, Николавре, только и известно. Но средство это было такое капризное, что, несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не всяким и не во всех случаях. Медикамент этот, утолявший, будто, всякую боль, можно было употреблять только в размере одной капли, которую нужно было очень осторожно капнуть на больной зуб. Если же эта капля хоть крошечку стечет с зуба и коснется щеки или десен, то в то же самое время человек мгновенно умирает. Словом, опасность страшная! И выходило так, что нижние зубы этим лекарством можно было лечить, потому что на нижние можно осторожно капнуть, но если заболели верхние, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это лекарство бесполезно.

Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобретение и оно в значительной доле случаев должно оставаться неприложимым. Но Кесарь Степанович, владея острым умом и решительностью, нашел, однако, средство, как преодолеть это затруднение, и усвоил для медицинской науки «перевертошный способ», которым до тех пор зубоврачебная практика не пользовалась. Этот этюд был известен между нами под названием «Берлинского анекдота о бибиковской теще».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Жила-была, будто, «бибиковская теща», дама «полнищая и преогромная», и приехала она, будто, на лето к себе в деревню, где-то неподалеку от Киева. В Киев ей Бибиков въезжать не позволял «по своему характеру», потому что он «насчет женского сословия заблуждался и с тещею не хотел об этом разговаривать, чтобы она его не стала стыдить летами, чином и убожеством» (так как у него одна рука была отнята).

Несчастная «полная дама» так и жила, будто, в деревне, и пошла, будто, она один раз с внучками в лес гулять, и нашла на кусте орешника орехдвойчатку, и обрадовалась, что счастье удвоится, и захотела раскусить. Внучки говорят ей:

— Не кусай, бабушка, двойчатку — у тебя зубки стары.

А бибиковская теща отвечает:

— Нет, раскушу,— мне счастья удвоится.

Орехи она разгрызла, но только после этого у нее сейчас же зубы заныли и до того ее доняли, что она стала кричать: «Лучше убейте меня, потому что это все удвоивается и стало совсем невозможно вытерпеть». А у нее был управитель очень лукавый, и он ей говорит: «Чем если убивать — за что отвечать придется, то лучше дозвольте я вам из Киева всепомогающего лекаря привезу: он из известной шияновской родни — и всякую зубную боль в одну минуту унять может».

Бибиковская теща про Шияновых много хорошего слыхала и отвечает: «Привези, но только как возможно скорей».

Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, сейчас же собрался и, даже не евши, уехал.

Вечером он из имения выехал, а рано на заре стал уже в Киеве на дымящихся и вспененных конях посреди печерского базара, а дальше тут уже не знал куда ехать: по Большой или по Малой Шияновской, закричал во все горло:

— Где тут всепомогающий лекарь Николавра, который во всякой зубной боли вылечивает?

(По причине большой известности этого доктора, фамилия его никогда не произносилась, а довольно было одного его имени «Николавра», которое было так же славно, как, например, имя Абеляр.)

Чумаки, которые стали тут с вечера и спали на своих возах с пшеном и салом и с сухою таранью, сейчас от этого крика проснулись и показали управителю:

— Годи тебе кричать,— говорят,— вот туточка сей лекарь живет, тільки що він теперь, як усе християнство, спочивае.

Управитель побежал по указанию и заколотил о запертые ставни. Оттуда ему кричат:

— Кто се такій, и чого вам треба?

А он отвечает:

— Отчиняйте скорей, або я все окна побью,— мне надо всепомогающего лекаря Николавру, который всякую боль излечивает. Здесь он или нет, а то я должен дальше скакать его разыскивать.

Управителю говорят:

— Никуда вам скакать дальше не треба, потому что всепомогающий доктор Николавра здесь живет, но он теперь, як и усе християнство, спит. А вы майте собі трохи совісти, и если в господа бога веруете, то не колотайте так крепко, бо наш дом старенький, еще не за сих времен, и шибки из окон повыскакуютъ, а тут близко ни якого стекольщика нет, а теперь зима лютая, и с малыми детьми смерзти можно.

Рассказывалось именно так, что при этом переговоре было упоминаемо про «зиму» и про «холод», и читатель не должен смущаться, что дело происходило во время летнего наезда бибиковской тещи в свое имение. Вскоре мы опять увидим, вместо скучной и лютой зимы, веселое знойное лето.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Управитель бибиковской тещи был человек горделивый, потому что, по необразованности своей, считал, как и другие многие, будто государь Бибикову Киев все равно как в подарок подарил и что потому все, кто тут живет, ему, будто, принадлежат вроде крепостных и должны всё делать.

— Велика важность,— говорит,— ваши окна! Я от бибиковской тещи приехал за лекарем, и подавай мне лекаря.

Ему отворили двери и привели его к самому Николавре.

Тот — лихой молодчина был и хотя такой ученый, что страшно все понимал, но церемониться ни с кем не любил.

Как ему сказали, что от бибиковской тещи управитель пришел, он говорит:

— Приведите его ко мне в спальню. Если он во мне надобность имеет, то может меня и без панталон во всяком виде рассматривать.

Управитель пришел и рассказывает, а лекарь Николавра на него и внимания не обращает: лежит под одеялом да коленки себе чешет. А когда тот кончил, лекарь только спросил:

— А в каком строю у нее зуб болит, в верхнем или в нижнем?

Управитель отвечает:

— Я ей в зубы не глядел, а полагаю, что, должно быть, болит в строю *в верхнем*, потому что у нее опухоль под самым глазом.

Тогда Николавра завернулся к стене и говорит:

— Прощай и ступай вон.

— Что это значит?

— То значит, что если боль в верхнем строю, то мне там делать нечего: я верхних зубов лечить не могу.

Управитель говорит:

— Да вам-то не все ли равно лечить, что верхний зуб, что нижний? Все равно,— говорит,— кость окостенелая, что тот, что этот, одно в них естество, одно повреждение и одно лекарство.

Но лекарь на него посмотрел и говорить не стал.

Тот спрашивает:

— Что же, отвечайте что-нибудь.

Тогда лекарь дал ему такой ответ:

— Я,— говорит,— могу разговаривать с равным себе по науке, а это не твоего дело ума, чтобы я с тобою стал разговаривать. Ты управитель, и довольно с тебя — имением и управляй, а не в свое дело не суйся. Людей лечить это не то что навоз запахивать. Медицине учатся. А тебе сказано, что я в нижнем строю все могу вылечить, а до верха моим спасительным лекарством дотронуться нельзя.

— Но через что же такое? — вопит управитель.

— А через то, что она в ту же минуту «окочурится» и мне за нее отвечать придется; а я моей репутацией дорожу, потому что я очень много учился.

Управитель как услыхал, что она может «окочуриться», еще больше стал просить лекаря, чтоб непременно ехал, а тот рассердился, вскочил, вытолкал его в шею и опять лег ночь досыпать.

Тут в это дело и вступился везде находчивый Кесарь Степанович.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Увидал он, что племянник, хотя, по его словам, и умен и в своем медицинском деле очень сведущ, а недостает ему еще настоящей тактики и практики, и молодой его рассудок еще не очень находчив, как себе большую славу сделать.

Кесарь Степанович, прослушав весь их разговор из своей комнаты, сейчас встал с постели, надел туфли и тулупчик и с трубкой вышел в залу, по которой проходил изгнанный лекарем управитель. Увидал он его и остановил,— говорит:

— Остановись, прохожий, никуда не гожий, и объясни мне своей рожей, не выходивши из прихожей: на чем ты сюда приехал, и есть ли там третье сидение, чтобы еще одного человека посадить.

Управляющий очень рад, что с ним такой известный человек заговорил, и отвечает, что у него есть четвероместная коляска, и он может не одного, а даже двух людей поместить.

Кесарь Степанович дал ему щелчка в лоб и говорит:

— Ты спасен, и твое дело сделано: я сейчас к племяннику взойду и совет ему дам. Николавра меня послушается, и мы переговорим и, может быть, все вместе поедем. Я ему один способ покажу, как можно верхние зубы в нижний ряд поставить, и тогда на них черт знает чем можно накапать.

— А ты,— прибавляет,— только скажи мне: очень ли она мучится?

Управитель отвечает:

— Уж совсем замучилась и на весь дом визжит.

— То-то,— говорит Кесарь Степанович,— мне это знать надо, потому что моим способом с ней круто придется обращаться — по-военному.

Управитель отвечает:

— Она военных даже очень уважает и на все согласится, потому что у нее очень болит.

— Хорошо,— сказал Кесарь Степанович и пошел к племяннику. Там у них вышел спор, но Кесарь Степанович все кричал: «не твое дело, за всю опасность я отвечаю», и переспорил.

— Ты,— говорит,— бери только свое спасительное лекарство и употребляй его по своей науке, как следует, а остальное, чтобы верхние зубы снизу стали — это мое дело.

Лекарь говорит:

— Вы забываете, какого она звания,— она обидится.

А Кесарь Степанович отвечает:

— Ты молод, а я знаю, как с дамами по-военному обращаться. Верь мне, мы ей на верхний зуб капнем, и она нам еще книксен присядет. Едем скорее — она мучится.

Лекарь было стал еще представлять, что капнуть на верхний зуб нельзя, а она может после Бибикову жаловаться, но тут Кесарь Степанович его даже постыдил.

— Ты ведь,— говорит,— кажется, не простой доктор, а учил две науки по физике, и понять не можешь, что тут надо только *схватить момент*, и тогда все можно. Не беспокойся. Это не твое дело: ты до нее не будешь притрогиваться, а мне Бибиков ничего сделать не смеет. Ты, кажется, мне можешь верить.

Племянник поверил дяде и говорит:

— В самом деле, при вас я не боюсь, а между прочим мне это вперед для таковых же случаев может пригодиться.

Оделся, положил пузыречек со своим лекарством в жилетный карман, и без дальних рассуждений все они втроем покатили на верхний зуб капать.

Управитель все ехал и думал: непременно она у них окочурится!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Скакали путники без отдыха целый день, и зато вечером, в самое то время, когда стадо гонят, приехали на господский двор, а зубы если когда разболятся, то к вечеру еще хуже болят.

Бибиковская теща ходит по комнатам, и сама преогромная, а плачет как маленькая.

— Мне очень стыдно,— говорит,— этак плакать, но не могу удержаться, потому что очень через силу болит.

Кесарь Степанович сейчас же с ней заговорил по-военному, но ласково.

— Это,— говорит,— даже к лучшему, что вам так больно болит, потому что вы должны скорее на все решиться.

А она отвечает:

— Ах, боже мой, я уже и решилась. Что вы хотите, то и делайте, только бы мне выздороветь и в Париж для развлечения уехать.

— В таком разе,— говорит Берлинский,— мы должны кое-что сделать... По-французски это называется «повертон». После через пять минут можете в Париж ехать.

Она удивилась и вскричала:

— Неужели через пять минут?!

Берлинский говорит:

— Что мною сказано, то верно.

— В таком разе, хоть не знаю, что такое «повертон», но я на все согласна.

— Хорошо,— говорит Берлинский,— велите же мне поскорее подать два чистые носовые платка и хорошую крепкую пробку из сотерной бутылки.

Та приказала.

— И еще,— говорит Кесарь Степанович,— одно условие: прикажите сейчас, чтобы все, кто тут есть, ваши родные и слуги ваши ни во что не смели вступаться, пока мы свое дело кончим.

— Все,— говорит,— приказываю: мне лучше умереть, чем так мучиться.

Словом, больная безусловно предалась в их энергические руки, а тем временем Кесарю и Николавре подали потребованные платки и пробку из сотерной бутылки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Кесарь Степанович пробку осмотрел, погнул, подавил и сказал: «Пробка хороша, а платки надо переменить: батистовые,— говорит,— не годятся, а надо самые плотные полотняные».

Ему такие и подали. Он сложил их оба с угла на угол, как складывают, чтобы зубы подвязывать, и положил на столик; а бибиковской теще говорит:

— Нуте-ка, что-нибудь заговорите.

Она спрашивает:

— Для чего это нужно?

А Берлинский ей отвечает:

— Для того, чтобы *схватить первый момент.*

А сам ей в эту самую секунду сотерную пробку в рот и вставил. Так ловко вставил ее между зубами, что бибиковской теще ни кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распорке.

Удивилась она, и испугалась, и глазами хлопает, а чем больше старается что-то спросить, тем только крепче зубами пробку напирает. А Кесарь Степанович в это же острое мгновение улыбнулся и говорит ей: «Вот только всего и нужно»,— а сам ей одним платком руки назади связал, а другим внизу платье вокруг ног обвязал, как делают простонародные девушки, когда садятся на качели качаться. А потом крикнул племяннику:

— Теперь лови второй момент!

И сейчас же ловко, по-военному, перевернул даму вниз головою и поставил ее в угол на подушку теменем. От этого находчивого оборота, разумеется, вышло так, что у нее верхние зубы стали нижними, а нижние — верхними. Неприятно, конечно, было, но ненадолго — всего на одну секунду, потому что лекарь, как человек одной породы с дядею — такой же, как дядя, ловкий и понятливый, сейчас же «схватил момент»— капнул каплю даме на верхний зуб и сейчас же опять ее перевернул, и она стала на ногах такая здоровая, что сотерную пробку перекусила и говорит:

— Ах, мерси,— мне все прошло; теперь блаженство! чем я могу вас отблагодарить?

Кесарь Степанович отвечал:

— Я не врач, а военный, а военные во всех несчастиях дамам так помогают, а денег не берут.

Бибиковская теща расспросила о Кесаре Степановиче: кто он такой и на каком положении у государя, и когда узнала, что он отставной, но при военных делах будет опять призван, подарила ему необыкновенного верхового коня. Конь был что-то вроде Сампсона: необычайная сила и удаль заключались у него в необычайных волосах, и для того он был с удивительным хвостом. Такой был огромный хвост, что если конь скакал, то он сзади расстилался как облако, а если шагом пойдет, то концы его на двух маленьких колесцах укладывали, и они ехали за конем, как шлейф за дамой.

Только удивительного коня этого нельзя было ввести в Киев, а надо было его где-то скрывать, потому что он был самый лучший на всем Орловском заводе и Бибикову хотелось его иметь, но благодарная теща сказала: «На что он ему? Какой он воин!»— и подарила коня Берлинскому, с одним честным словом, чтобы его в «бибиковское царство» не вводить, а содержать «на чужой стороне».

Кесарь Степанович ногою шаркнул, «в ручку поцеловал», и коня принял, и честное слово свое сдержал.

Об этом коне в свое время было много протолковано на печерском базаре. Собственными глазами никто это прекрасное животное никогда не видал,

но все знали, что он вороной без отметин, а ноздри огненные, и может скакать через самые широкие реки.

Теперь, когда пересказываешь это, так все кажется таким вздором, как сказка, которой ни минуты нельзя верить, а тогда как-то одни смеялись, другие верили, и все было складно.

Печерские перекупки готовы были клясться, что этот конь жил в таинственной глубокой пещере в Броварском бору, который тогда был до того густ, что в нем еще водились дикие кабаны. А стерег коня там старый москаль, «хромой на одно око». В этом не могло быть ни малейшего сомнения, потому что москаль приходил иногда на базар и продавал в горшке табак «прочухрай», от которого как понюхаешь, так и зачихаешь. Ввести же коня в Киев нельзя было «по причине Бибика».

Исцеление тещи имело, однако, и свои невыгодные последствия, если не для Кесаря Степановича, то для всепомогающего врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали об этом исцелении способом «повертона», так начали притворяться, что у них верхний зуб болит, и стали осаждать доктора, чтобы и над ними был сделан «повертон». Они готовы были злоупотреблять этим до чрезвычайности. Николавра им внушал, что это дело серьезное и научное, а не шутка, но они всё не отставали от него с просьбами «перевернуть их и вылечить». Происходило это более оттого, что Николавра дам очень смешил и они в него влюблялись в это время без памяти. А он, будучи очень честен, не хотел расстраивать семейную жизнь во всем городе и предпочел совсем оставить и Киев и медицинскую практику.

Так он и сделал.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Разумеется, вся «причина Бибика», о которой выше сказано, была чистейший плод быстрой и сложной фантазии самого печерского импровизатора или его восторженных почитателей. На самом же деле Бибиков не только не гнал и ни за что не преследовал занимательного полковника, но даже едва ли не благодетельствовал ему, насколько к тому была склонна его жесткая и мало податливая на добро натура. Кажется, Бибиков был даже чем-то полезен Берлинскому в устройстве его детей и вообще никогда на него не нападал, хотя, по весьма странной любви к сплетням и наушничеству, он знал очень многое о том, что Берлинский на его счет импровизировал. Вполне возможно, что иногда скучавший Бибиков им даже немножко интересовался, конечно, только ради смеха и потехи.

В Киеве в то время проживал академик С.-Петербургской академии художеств, акварелист Михаил Макарович Сажин. Он составлял для Дмитрия Гавриловича акварельный альбом открытых при нем киевских древностей и не раз, бывало, сказывал, что Бибиков шутил над своею зависимостью от Берлинского. Особенно его забавляло, как Берлинский уверял, что «безрукий» мимо его домов даже *ездить боится.*

Бибиков и в самом деле, говорят, никогда не проезжал по Шияновским улицам, но, разумеется, не потому, чтобы ему был страшен Берлинский, а потому, что тут невозможно было проехать, не затонув или по крайней мере не измаравшись. Кесарь Степанович или вдохновенные им почитатели давали этому свое толкование, которое им гораздо более нравилось, а для Кесаря имело притом свои выгоды. Все эти легенды и басни значительно возвышали авторитет «галицкого воина», который никого не боится, между тем как его все боятся, и «даже сам Бибик».

Так как независимые люди всегда редки и всякому интересны, то Кесарь Степанович пользовался у многих особенною любовью, и это выражалось своеобразным к нему поклонением. Думали, что он очень много может защитить; а это, в свою очередь, благоприятно отражалось на делах шияновских

развалин, которые Бибиков, по словам Сажина, называл «шияновскими нужниками», но зато их не трогал — может, в самом деле из какого-нибудь доброго чувства к Берлинскому. Людям робким, равно как и людям оппозиционного образа мыслей, было лестно жить в этих «нужниках» вместе или «в одном кольце» с таким вдохновительным героем, как Кесарь Степанович. А как притом к чистоте и благоустройству обиталищ у нас относятся еще довольно нетребовательно, то эти дрянные развалины были постоянно обитаемы. Между невзыскательными жильцами здешних мест встречалось немало тогдашних «нелегальных», то есть таких, у которых были плохи пашпортишки. Они были уверены, что, будто, имеют в лице Кесаря Степановича могущественного защитника. Думали, чуть, храни бог, встретится какое-нибудь несчастие или притеснение от полиции, то Кесарь Степанович заступится. А главное, что полиция сюда почему-то и действительно с полицейскими целями не ходила. Вероятно, не хотела, чтобы про нее было что-нибудь написано государю. Это обыкновенно имелось в виду при найме квартир, и нетребовательный жилец переезжал в шияновские развалины с приятным убеждением, что здесь хоть и «худовато, да спокойно».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дорожа «спокойностью», в шияновские закутки набиралась всякая пищета и мелкота, иногда очень характерная и интересная.

Аристократию составляли захудалое армейское офицерство и студенты-медики пятого курса, которым надо было ходить в клиники военного госпиталя. Эти были менее всех искательны насчет покровительства и протекции, но Кесарь Степанович, впрочем, и им иногда сулил свои услуги.

— Люблю молодежь,— говорил он и сейчас же, вздохнув, прибавлял: — но зато, спасибо им, и они меня любят. Бедные ребятки, понимают, что безрукий совсем готов бы их затеснить, да не смеет — боится...

Боялся он, разумеется, страхового письма.

Студенты, впрочем, к полковнику за содействием не обращались и даже слегка над ним подтрунивали или просто его избегали.

Иногда встречались такие, которым и сам Кесарь Степанович и его защитительная предупредительность казались очень подозрительными. Думали, будто он может служить богови и мамону... Но «серый жилец», то есть публика из простолюдинов, и особенно староверы, которым в тогдашнее сердитое время приходилось очень жутко, питали к нему безграничное доверие.

Эти отношения мне представлялись тогда очень странными, и я никак не мог понять, происходило ли это доверие к Кесарю от большого практического ума или от неразумения. Но так или иначе, а репутация дома все-таки на этом выигрывала, и теперь это воспоминается мило и живо, как веселая старая сказка, под которую сквозь какую-то теплую дрему свежо и ласково улыбается сердце...

Люди нынешнего банкового периода должны нам простить романтическую чепуху нашего молодого времени.

Явным противоречием между словом и поступками Берлинского было то, что беспредельно храбрый в своих импровизациях, он в практических делах с властями был очень предусмотрителен и, может быть, даже искателен. Так, например, считая Бибикова не только не выше себя, но даже несколько ниже, по крайней мере в том отношении, что он мог писать о нем что угодно государю, Кесарь Степанович иногда надевал мундир и являлся «в Липки» к Бибикову. Политиканы, склонные к обобщениям, придавали этому большое значение и подозрительно истолковывали такие визиты в неблагоприятном смысле; но всего вероятнее полковника заводила к генерал-губернатору просто нужда, в которой Бибиков ему, может быть, помогал из обширных средств, находившихся в его безотчетном распоряжении. Простолюдины

же толковали это совсем иначе и получали выводы прекрасные; они говорили:

— Наш-то, батюшка, воин-то наш галицкий, Кесарий Степанович, опять пополоз ругать Бибика. Пущай его проберет, недоброго.

Сажин сказывал, что Бибиков даже и это знал и очень над этим смеялся, а отношений своих к Берлинскому все-таки нимало не изменял и не отказывался быть ему полезным.

Таким образом, Берлинский, позабытый или не замечаемый в высших сферах киевского общества, в котором не было и нет дворянской знати, в среднем слое слыл чудаком, которого потихоньку вышучивали, но зато в низших слоях был героем, с феноменальною и грандиозною репутациею, которая держалась чрезвычайно крепко и привлекла под шияновские текучие крыши два бесподобнейшие экземпляра самого заматорелого во тьме «древлего благочестия», из разряда «опасных немоляков».

Впрочем, пока до них, посмотрим еще одно вводное лицо: это квартальный — классик.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Была одна статья, которая, кажется, непременно должна бы бросить тень на независимость и отвагу Кесаря,— это операции, имевшие целию поддержание «шияновских нужников».

Все набитые сбродом домы и домишки, хлевушки и закуточки шияновских улиц давно валились, а починять их строго запрещалось суровым бибиковским эдиктом о «преобразовании». Но о Берлинском говорили так, что он этих эдиктов не признает и что Бибиков не смеет ему воспретить делать необходимые починки, ибо сам государь желал, чтобы дом, где живет Кесарь Степанович. был сохранен в крепости. Между тем, как думал об этом Бибиков, было неизвестно, а починки были крайне нужны, особенно в крышах, которые прогнили, проросли и текли по всем швам. И что же? наперекор всем бибиковским запрещениям, крыши эти чинились; но как? Этот способ достоин занесения его в киевскую хронику.

К Кесарю Степановичу был вхож и почему-то пользовался его расположением местный квартальный, которого, помнится, как будто звали Дионисий Иванович или Иван Дионисович. Он был полухохол-полуполяк, а по религии «из тунеядского исповедания». Это был человек пожилой и очень неопрятный, а подчас и зашибавшийся хмелем, но службист, законовед и разного мастерства художник. Притом, как человек, получивший воспитание в каких-то иезуитских школах, он знал отлично по-латыни и говорил на этом языке с каким-то престарелым униатским попом, который проживал где-то на Рыбальской улице за лужею. Латынь служила им для объяснений на базаре по преимуществу о дороговизне продуктов и о других предметах. о которых они, как чистые аристократы ума, не хотели разговаривать на низком наречии плебеев.

В служебном отношении, по части самовознаграждения, классик придерживался старой доброй системы — натуральной повинности. Денежных взяток классик не вымогал, а взимал с прибывающих на печерский базар возов «что кто привез, с того и по штучке,— щоб никому не було обиды». Если на возу дрова, то дров по полену, капуста — то по кочану капусты, зерна по пригоршне и так все до мелочи, со всех поровну, «як от бога показано».

Где именно было такое показание от бога — это знал один классик, в памяти которого жила огромная, но престранная текстуализация из «божого писания» и особенно из апостола Павла.

— Ось у писании правда сказано, що «хлоп як був собі дурень, так він дурнем и подохне».

Мужик слушал и, может быть, верил, что это о нем писано. А в другой раз классик приводил уже другой текст:

— Тоже, видать, правда, що каже апостол Павел: «бій хлопа по потылице», и так как за этим следовала сама потылица, то веры тому было еще более.

Натуральную подать принимал ходивший за классиком нарочито учрежденный custos [1]. Он все брал и сносил на шияновский двор, где у квартального в каком-то закоулочке была ветхая, но поместительная амбарушка. Тут всё получаемое складывали и отходили за дальнейшим сбором, а потом в свободное время всё это сортировали и нечто пригодное для домашнего обихода брали домой, а другое приуготовляли к промену на вещи более подходящие. Словом, тут был свой маленький меновой двор или караван-сарай взяточных продуктов, полученных от хлопов, которых апостол Павел «казав бить по потылице».

Платил ли что Иван Дионисович за этот караван-сарай — не знаю, но зато он делал дому всякие льготы, значительно возвышавшие репутацию «покойности» здешних, крайне плохих на взгляд, но весьма богохранимых жилищ.

Тут не бывало никаких обысков, тут, по рассказам, жило немало людей с плохими паспортами кромского, нежинского и местного киевского приготовления. Обыкновенные сорта фальшивых паспортов приготовлялись тогда по всему главному пути от Орла до Киева, но самыми лучшими слыли те, которые делали в Кромах и в Дмитриеве на Свапе. В шияновских домах, впрочем, можно было обходиться и вовсе без всяких паспортов, но главное, что тут можно было делать на полной свободе,— это *молиться богу, как хочешь*, то есть каким хочешь обычаем.

Последнее обстоятельство и было причиною, что на этот двор, под команду полковника Берлинского, приснастился оригинальнейший богомолец. Сей бе именем Малахия, старец, прибывший в Киев для совершения тайных треб у староверов, которые пришли строить каменный мост с англичанином Виньёлем. Старец Малахия, в просторечии Малафей Пимыч, был привезен своими единоверцами «из неведомого ключа» и «сокрыт» в шияновских закоулках «под тайностию». Все это в надежде на Кесаря — ибо имя его громко звучало по простолюдью дальше Орла и Калуги.

При старце был отрок лет двадцати трех, которого звали Гиезий.

Было ли это его настоящее имя или только шуточная кличка — теперь не знаю, а тогда не интересовался это расследовать.

Имени Гиезий в православных месяцесловах нет, а был такой отрок при пророке Елисее. Может быть, это оттуда и взято.

Как старец Малафей, так и его отрок были чудаки первой степени, и поселены они были в шияновской слободе в расчетах на защиту «печерского Кесаря». Но прежде, чем говорить о старце и его мужественном отроке, окончу об Иване Дионисовиче и о его художествах.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

У латыниста квартального было два искусства, из коих одним он хвастался, а о другом умалчивал, хотя, собственно, второе в общественном смысле имело гораздо большее значение.

Иван Дионисович хвалился тем, что он «сам себя стриг». Это, может быть, покажется кому-нибудь пустяками, но пусть кто угодно на себе это попробует, и тогда всяк легко убедится, что остричь самому себя очень трудно и требует большой ловкости и таланта. Второе же дело, которое еще более артистически исполнял, но о котором умалчивал квартальный, относилось к антикварному роду: он знал секрет, как «старить» новые доски для того, чтобы ими «подшивать» ночью прогнившие крыши. И делал он это

---

[1] Страж (*лат.*).

так, что никакой глаз не мог отличить от старого новых заплат его мастерского приготовления.

В том самом караван-сарае, где складывались натуральные подати с базарных торговцев и производилась меновая торговля, тут же у Ивана Дионисовича была и антикварная мастерская. Здесь находились драпь, лубья и деготь или колесная смола, по-малороссийски «коломазь». Все это было набрано на базаре с торговцев безданно-беспошлинно и назначалось в дело, которое, при тогдашних строгостях, заключало в себе много тайности и немало выгод. Химия производилась в огромном старом корыте с разведенным в нем коровьим пометом и другими элементами, образовывавшими новые соединения. Элементы всё были простые: навоз, песок, смола и зерна овса «для проросли». В этом корыте лежали приуготовляемые для антикварных работ лубы и драницы. Они подвергались довольно сложному процессу, за которым классик наблюдал не хуже любого техника, и новому материалу придавался вид древности изумительно хорошо и скоро. Квартальный сам дошел до того, как составлять этот античный колорит и пускать по нему эту веселую зелененькую проросль от разнеженных овсяных зерен. Стоило приготовленную таким способом доску приколотить на место, и, как «Бибик» около нее ни разъезжай, ничего он не отличит.

Дошел до этого производства Иван Дионисович, вероятно, из тех побуждений, чтобы у него не пропадали такие продукты, как лубья и коломазь, для которых нельзя было найти особенно хорошего сбыта в их простом виде.

Кажется, квартальный иногда сам и приколачивал приготовленные им заплатки, а впрочем, я достоверно этого не знаю. Знаю только, что он их приготовлял, и притом приготовлял в совершенстве.

Способ нанесения этого материала на ветхие постройки был прост: избиралась ночь потемнее, и к утру дело было готово. На следующий день Кесарь Степанович ходил, гулял, поглядывал и говорил, улыбаясь:

— Что? много взял, безрукий!

А ему отвечали:

— Что он против тебя может!

Так и это все шло в подтверждение, что Бибиков ничего, будто, против «Кесаря» сделать не может, а тем временем пришла постройка моста, и к Виньёлю притекла масса людей, из которых много было раскольников. Эти привезли с собою образа и своих «молитвенников», между которыми всех большей тайности и охране подлежал уже раз упомянутый старец Малафей. Он был «пилипон» (то есть филипповец) и «немоляк», то есть такой сектант, который ни в домашней, ни за общественной молитвой о царе не молился. Такие сектанты, при тогдашнем малом знании и понимании духа русского раскола, почитались «опасными и особенно вредными».

Большинство людей, даже очень умных, смотрели на этих наивных буквоедов как на политических злоумышленников и во всяком случае «недругов царских».

Этого не избегали наши старинные законоведы и новейшие тенденциозные фантазеры вроде Щапова, который принес своими мечтательными изъяснениями староверчества существенный вред нежно любимому им расколу.

Куда было деть в Киеве такого опасного старца, как Малахия? где его поместить так удобно, чтобы он сам был цел и чтобы можно было у него «поначалиться» и вкусить с ним сладость молитвенного общения? Христолюбцам предлежала серьезная забота, «где сохранить старичка от Бибика».

Но где же лучше можно было устроить такого особливого богослова, как не в «шияновских нужниках». Сюда его и привела под крыло печерского «Кесаря» громкая слава дел этого независимого и бесстрашного человека.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Старца Малафея с его губатым отроком в шияновских палестинах водворили два какие-то каменщика. Эти люди приходили осматривать помещение с большими предосторожностями. О цене помещения для старца они говорили с барышней, которая ведала домовые счеты, а потом беседовала с Кесарем Степановичем о чем-то гораздо более важном.

Это тогда заинтересовало всех близких людей.

Каменщики были люди вида очень степенного и внушительного, притом со всеми признаками самого высокопробного русского благочестия: челочки на лобиках у них были подстрижены, а на маковках в честь господню гуменца пробриты; говор тихий, а взгляд умеренный и «поникновенный».

О деньгах за квартиру для старца и его отрока раскольники не спорили. Очевидно, это было для них последним делом, а главное было то, о чем говорено с Кесарем Степановичем.

Он их «исповедовал во всех догматах» их веры и — надо ему отдать честь — пришел к заключениям весьма правильным и для этих добрых людей благоприятным.

На наши расспросы: что это за необыкновенные люди, он нам с чисто военною краткостию отвечал:

— Люди прекрасные и дураки.

Результатом такого быстрого, но правильного определения было то, что злосчастные раскольники получили разрешение устраиваться в подлежащем отделении «шияновских нужников», а квартальный-классик в следующую же ночь произвел над крышею отданного им помещения надлежащие антикварные поправки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Под старца была занята довольно обширная, но весьма убогая хоромина — впрочем, в самом излюбленном раскольничьем вкусе. Это была низенькая полудеревянная-полумазанная, совершенно отдельная хибара. Она стояла где-то на задворке и была ниоткуда не видима. Точно она здесь нарочно построена в таком сокрытии, чтобы править в ней нелегальные богомольства.

Чтобы добраться до этого, буквально сказать, молитвенного хлева, надо было пройти один двор, потом другой, потом завернуть еще во дворик, потом пролезть в закоулочек и оттуда пройти через дверь с блочком в дровяную закуточку. В этой закуточке был сквозной ход еще на особый маленький дворишко, весь закрытый пупом поднявшеюся высокою навозною кучею, за которою по сторонам ничего не видно. Куча была так высока, что закрывала торчавшую из ее средины высокую шелковицу или рябину почти по самые ветви.

Хатина имела три окна, и все они в ряд выходили на упомянутую навозную кучу, или, лучше сказать, навозный холм. При хате имелись дощатые сени, над дверями которых новые наемщики тотчас же по водворении водрузили небольшой медный литой крест из тех, что называют «корсунчиками».

С другой стороны на кучу выходило еще одно маленькое окно. Это принадлежало другому, тоже секретному помещению, в которое входили со второго двора. Тут жили две или три «старицы», к которым ходили молиться раскольники иного согласия — «тропарники», то есть певшие тропарь: «Спаси, господи, люди твоя». Я в тогдашнее время плохо понимал о расколе и не интересовался им, но как теперь соображаю, то это, должно быть, были поморцы, которые издавна уже «к тропарю склонялись».

Молитвенная хата, занятая под старца Малафея, до настоящего найма имела другие назначения: она была когда-то банею, потом птичною, «индеечной разводкою», то есть в ней сиживали на гнездах индейки-наседки, а теперь,

наконец, в ней поселился святой муж и учредилась «моленна», в знак чего над притолками ее дощатых сеней и утвержден был медный «корсунчик».

В противоположность большинству всех помещений шияновского подворья, эта хата была необыкновенно теплая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Старца Малахию каменщики привезли поздним вечером на парных деревенских санях и прямо привели его во храмину и заключили там на безысходное житье.

Убранства хате никакого не полагалось, а что было необходимо, то сами же прихожане устроили без всякой посторонней помощи.

Мы ее однажды осматривали через окно, при посредстве отрока Гиезия, в те часы, когда Малафей Пимыч, утомясь в жаркий день, «держал опочив» в сеничках. По одной стене горенки тянулись в два тябла старинные иконы, перед которыми стоял аналой с поклонною «рогозинкою», в угле простой деревянный стол и пред ним скамья, а в другом угле две скамьи, поставленные рядом. В одном конце этих скамеек был положен толстый березовый обрубок, покрытый обрывками старой крестьянской свиты.

Это была постель старца, который почивал по правилам доблего жития, «не имея возглавицы мягкия».

Для отрока Гиезия совсем не полагалось никакой ни утвари, ни омеблировки. Он вел житие не только иноческое, но прямо спартанское: пил он из берестяного сверточка, а спал лето и зиму на печке.

Старец «по́пил», то есть полагал «начал» чтению и пению, исповедал и крестил у своих раскольников, а Гиезий состоял при нем частию в качестве дьячка, то есть «аминил» и читал, а частию вроде слуги и послушника. Послушание его было самое тяжкое, но он нес его безропотно и с терпением неимоверным. Старец его никуда почти не выпускал, «кроме торговой нужды», то есть хождения за покупками; томил его самым суровым постом и притом еще часто «началил». За малые прегрешения «началенье» производилось ременною лестовицею, а за более крупные грехи — концом веревки, на которой бедный Гиезий сам же таскал для старца воду из колодца. Если же вина была «особливая», тогда веревка еще нарочно смачивалась и оттого удары, ею наносимые спине отрока, были больнее.

Старца Малахию мы никогда вблизи не видали, кроме того единственного случая, о котором наступит рассказ. Известно было только одно общее очертание его облика, схваченное при одном редком случае, когда он появился какой-то нужды ради перед окном. Он был роста огромного, сед и белобород и даже с празеленью: очи имел понурые и почти совсем не видные за густыми, длинными и тяжело нависшими бровями. Лет старцу, по наружности судя, было близко к восьмидесяти; он был сильно сутул и даже согбен, но плотен и несомненно еще очень силен. Волосы на его голове были острижены не в русский кружок, а какими-то клоками; может быть, «постризало» на них уже и «не восходило», а они сами не росли от старости. Одет он был всегда в черный мухояр, и через плечи его на грудь висела длинная связка каких-то шаров, похожих на толстые баранки. Связка эта спускалась до самого пупа, и на пупе приходился крест, вершка в три величиною. Это были четки.

Голос старца был яко кимвал брящаяй, хотя мы сподоблены были слышать в его произношении только одно слово: «парень». Это случалось, когда старец кликал из двери Гиезия, выходившего иногда посидеть на гноище у шелковицы или рябины.

Более старец был не видим и не слышан, и судить о нем было чрезвычайно трудно; но Кесарь Степанович и его характеризовал кратким определением:

— Дурак присноблаженный.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Гиезия мы знали несравненно ближе, потому что этот, по молодости своей, сам к нам бился, и, несмотря на то, что «дедушка» содержал его в безмерной строгости и часто «началил» то лестовицей, то мокрой веревкой, отрок все-таки находил возможность убегать к нам и вел себя в нашем растленном круге не совсем одобрительно. Зато, как ниже увидит читатель, с ним однажды и воспоследовало такое бедствие, какое, наверное, ни с кем другим не случалось: он был окормлен *человечьим мясом*... Или, точнее сказать, он имел несчастие думать, будто над ним было совершено такое коварство «учеными», в которых он видел прирожденных врагов душевного спасения.

Вперед об этом ужасном случае будет рассказано обстоятельно.

Отроку, как я выше сказал, было двадцать два года. «Отрок», по применению к нему, не выражало поры его возраста, а это было его звание, или, лучше сказать, его сан духовный. Он был широкорожего великорусского обличья, мордат и губаст, с русыми волосами и голубыми глазами, имевшими странное пытливое и в то же время совершенно глупое выражение. Румянец пробивался на его лице где только мог, но нигде просторно не распространялся, а проступал пятнами, и оттого молодое, едва опушавшееся мягкою бородкою лицо отрока имело вид и здоровый и в то же время нездоровый. Бывают такие собаки, которые «в щенках заморены». Видно, что породиста, да от заморы во всю свою природу не достигает.

По уму и многим свойствам своего характера Гиезий был наисовершеннейшим выразителем того русского типа, который метко и сильно рисует в своей превосходнейшей книге профессор Ключевский, то есть «заматорелость в преданиях, и никакой идеи». Сделать что-нибудь иначе, как это заведено и как делается, Гиезию никогда не приходило в голову: это помогало ему и в его отроческом служении, в которое он, по его собственным словам, «вдан был родительницею до рождения по оброку».

Это разъяснялось так, что у его матери была несносная болезнь, которую она, со слов каких-то врачей, называла «азиятик»; болезнь эта происходила от каких-то происков злого духа. Бедная женщина долго мучилась и долго лечилась, но «азиятик» не проходил. Тогда она дала обет балыкинской божией матери (в Орле), что если только «азиятик» пройдет и после исцеления родится дитя мужеского пола, то «вдаст его в услужение святому мужу, в меру возраста Христова», то есть до тридцати трех лет.

После такого обета больная, заступлением балыкинской божией матери, выздоровела и имела вторую радость — родила Гиезия, который с восьми лет и начал исполнять материн обет, проходя «отроческое послушание». А до тридцати трех лет ему еще было далеко.

Старец на долю отрока Гиезия выпал, может быть, и весьма святой и благочестивый, но очень суровый и, по словам Гиезия, «столько об него мокрых веревок обначалил, что можно бы по ним уже десяти человекам до неба взойти».

Но учение правилам благочестия Гиезию давалось плохо и не памятливо. Несмотря на свое рождение по священному обету, он, по собственному сознанию, был «от природы блудлив». То он сны нехорошие видел, то кошкам хвосты щемил, то мирщил с никонианами или «со иноверными спорился». А бес, всегда неравнодушный ко спасению людей, стремительно восходящих на небо, беспрестанно подставлял Гиезию искушения и тем опять подводил его под мокрую веревку.

На шияновском дворе, который был удален от всякого шума, Гиезий прежде всего впал в распри с теми поморами, окно которых выходило на их совместную навозную кучу, разделявшую «их согласия».

Как поморы, бывало, начнут петь и молиться, Гиезий залезает на рябину и дразнит их оттуда, крича:

— Тропарѝ-мытарѝ.

А те не выдержат и отвечают:

— Немоляки-раскоряки.

Так обе веры были взаимно порицаемы, а последствием этого выходили стычки и «камнеметание», заканчивавшиеся иногда разбитием окон с обеих сторон. В заключение же всей этой духовной распри Гиезий, как непосредственный виновник столкновений, был «начален» веревкою и иногда ходил дня по три согнувшись.

Затем, разумеется, и бог и старец его прощали, но он скоро впадал еще в бóльшие искушения. Одно из таковых ему едва не стоило потери рассудка и даже самой жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

При полном типическом отсутствии идей у Гиезия была пытливость, и притом самая странная. Он любил задавать такие неожиданные вопросы, которые в общем напоминали вопросы детей.

Прибежит, бывало, под окно и спрашивает:

— Отчего у льва грива растет?

Ему отвечают:

— Пошел ты прочь — почему я знаю, отчего у льва грива растет?

— А как же,— говорит,— в чем составляется наука светская?

Его прогонят, а он при случае опять пристает с чем-нибудь подобным, и это без всякой задней мысли или иронии,— а так, какой-то рефлекс его толкнет, он и спрашивает:

— Отчего рябина супротив крыжовника горче?

Но больше всего его занимали вещи таинственные, для которых он искал разъяснения в природе. Например, ему хотелось знать: «какое бывает сердце у грешника», и вот это-то любопытство его чуть не погубило.

Так как в доме жило несколько медицинских студентов, между которыми бывали ребята веселые и шаловливые, то один из них пообещал раз Гиезию «показать сердце грешника».

Для этого требовалось прийти в анатомический театр, который тогда был во временном помещении, на нынешней Владимирской улице, в доме Беретти.

Гиезий долго не решался на такой рискованный шаг, но страстное желание посмотреть сердце грешника его преодолело, он пришел раз к студентам и говорит:

— Есть теперь у вас мертвый грешник?

— Есть,— говорят,— да еще самый залихватский.

— А что он сделал?

— Отца продал, мать заложил и в том руку приложил, а потом галку съел и зарезался.

Гиезий заинтересовался.

— Меня завтра дедушка к Батухину в лавку за оливой к лампадам пошлет, а я к вам в анатомию прибегу, покажите мне сердце грешниче.

— Приходи,— отвечают,— покажем.

Он сдержал свое слово и явился бледный и смущенный, весь дрожа в страхе несказанном.

Ему дали выпить мензулку препаровочного спирта для храбрости, под видом «осмелительных капель», сказав притом, что без этого нельзя увидать сердце.

Он выпил и ошалел, сердце он нашел совсем неудовлетворительным и вовсе не похожим на то, как его себе представлял, судя по известному лубочному листу: «сердце грешника — жилище сатаны». Чтобы увидеть сатану в сердце, его уговорили выпить еще вторую мензулку, и он выпил и потом что-то ел. А когда съел, то студенты ему сказали:

— Знаешь ли, что ты съел?

Он отвечал:

— Не знаю.

— А это ты, братец, съел котлету из человеческого мяса.

Гиезий побледнел и зашатался: с ним совершенно неожиданно сделался настоящий обморок.

Его насилу привели в себя и ободрили, уверяя, что котлета сжарена из мяса человека зарезавшегося, но от этого с Гиезием чуть не сделался второй обморок, и начались рвоты, так что его насилу привели в порядок и на этот раз уже стали разуверять, что это было сказано в шутку и что он ел мясо говяжье; но никакие слова на него уже не действовали. Он бегом побежал на Печерск к своему старцу и сам просил «сильно его поначалить», как следует от страшного прегрешения.

Старец исполнил просьбу отрока.

И дорого это обошлось здоровью бедного парня: дней десять после этого происшествия мы его вовсе не видали, а потом, когда он показался с ведром за плечами, то имел вид человека, перенесшего страшные муки. Он был худ, бледен и сам на себя не похож, а вдобавок долго ни за что ни с кем не хотел говорить и не отвечал ни на один вопрос.

После, по особому к одному из нас доверию, он открыл, что дедушка его «вдвойне началил», то есть призвал к сему деланию еще другого, случившегося тут благоверного христианина, и оба имели в руках концы веревки, «свитые во двое», и держали их «оборучь». И началили Гиезия в угле в сенях, уложив «мордою в войлок, даже до той совершенной степени, что у него от визгу рот трубкой закостенел и он всей памяти лишился».

Но на дедушку отрок все-таки нимало не роптал, ибо сознавал, что «бит был во славу божию», и надеялся через это более «с мирскими не суетить и исправиться».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Кажется, это и в самом деле произвело в нем такой сильный перелом, к какому только была способна его живая и увлекающаяся натура. Он реже показывался и вообще уже не заводил ни разговоров с нами, ни пререканий с благоневерными поморами, которые «на тропаре повисли».

К тому же обстоятельства поизменились и поразмели нашу компанию в разные стороны, и старец с отроком на время вышли из вида.

Между тем мост был окончен, и к открытию его в Киев ожидали государя Николая Павловича. Наконец и государь прибыл, и на другой день было назначено открытие моста.

Теперь ничего так не торжествуют, как тогда торжествовали. Вечер накануне был оживленный и веселый: все ходили, гуляли, толковали, но были люди, которые проводили эти часы и иначе.

На темном задворке шияновских закуток и поморы и филипоны молились, одни с тропарем, другие без тропаря. Те и другие ждали необычайной для себя радости, которая их благочестию была «возвещена во псалтыре».

Около полуночи мне довелось проводить одну девицу, которая жила далеко за шияновским домом, а на возвратном пути у калитки я увидел темную фигуру, в которой узнал антропофага Гиезия.

— Что это,— говорю,— вы в такую позднюю пору на улице?

— Так,— отвечает,— все равно нонче надо не спать.

— Отчего надо не спать?

Гиезий промолчал.

— А как это вас дедушка так поздно отпустил на улицу?

— Дедушка сам выслал. Мы ведь до самого сего часа молитвовали,— почитай сию минуту только зааминили. Дедушка говорит: «Повыдь посмотри, что деется».

— Чего же смотреть?

— Како,— говорит,— «суетят никонианы и чего для себя ожидают».

— Да что такое,— спрашиваю,— случилось, и чего особенного ожидаете?

Гиезий опять замялся, а я снова повторил мой вопрос.

— Дедушка,— говорит,— много ждут. Им, дедушке, ведь все из псалтыри открыто.

— Что ему открыто?

— С завтрашнего числа одна вера будет.

— Ну-у!

— Увидите сами,— до завтра это в тайне, а завтра всем царь объявит. И упротивные (то есть поморы) тоже ждут.

— Тоже объединения веры?

— Да-с; должно быть, того же самого. У нас с ними нынче, когда наши на седальнях на дворик вышли, меж окно опять легкая война произошла.

— Из-за чего?

— Опять о тропаре заспорили. Наши им правильно говорили: «подождать бы вам тропарь-то голосить в особину; завтра разом все вообче запоем; столпом воздымем до самого до неба». А те несогласны и отвечают: «мы давно на тропаре основались и с своего не снидем». Слово по слову, и в окно плеваться стали.

Я полюбопытствовал, как именно это было.

— Очень просто,— говорит Гиезий,— наши им в окно кукиши казать стали, а те оттуда плюнули, и наши не уступили,— им то самое, наоборот. Хотели войну сделать, да полковник увидел и закричал: «Цыть! всех изрублю». Перестали плеваться и опять запели, и всю службу до конца доправили и разошлись. А теперь дедушка один остался, и страсть как вне себя ходит. Он ведь завтра выход сделает.

— Неужели,— говорю,— дед наружу вылезет?

— Как же-с — дедушка завтра на улицу пойдет, чтоб на государя смотреть. Скоро сорок лет, говорят, будет, как он по улицам не ходил, а завтра пойдет. Ему уж наши и шляпу принесли, он в шляпе и с костылем идти будет. Я его поведу.

— Вот как! — воскликнул я и простился с Гиезием, совсем не поняв тех многозначительнейших намеков, которые заключались в его малосвязном, но таинственном рассказе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

День открытия «нового моста», который нынче в Киеве называют уже «старым», был ясный, погожий и превосходный по впечатлениям.

Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, бог весть отчего и почему. Никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе родины, исторический горизонт которой казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали:

— Мы еще повоюем, черт возьми!

Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотическою гордостью повторяли фразу, что «Россия — *государство военное*, и военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно. Но главное — тогда мы были очень молоды, и каждый из нас провожал кого-нибудь из существ, заставлявших скорее биться его сердце. Волокитство и ухаживанья тогда входили в «росписание часов дня» благопристойного россиянина, чему и может служить наилучшим выражением «дневник Виктора Аскоченского», напечатанный в 1882 году в «Историческом вестнике». И сам автор этого «дневника», тогда еще молодцеватый и задорный, был среди

нас и даже, может быть, служил для многих образцом в тонкой науке волокитства, которую он практиковал, впрочем, преимущественно «по купечеству». У женщин настоящего светского воспитания он никакого успеха не имел и даже не получал к ним доступа. Аскоченский одевался щеголем, но без вкуса, и не имел ни мягкости, ни воспитанности: он был дерзок и груб в разговоре, очень неприятен в манерах.

По словам одного из его киевских современников, впоследствии профессора Казанского университета, А. О. Яновича, он всегда напоминал «переодевшегося архиерея». В сияющий день открытия моста Аскоченский ходил в панталонах рококо и в светлой шляпе на своей крутой голове, а на каждой из его двух рук висело по одной подольской барышне. Он вел девиц и метал встречным знакомым свои тупые семинарские остроты. В этот же день он, останавливаясь над кручею, декламировал:

...Вот он Днепр —
Тот самый Днепр, где вся Русь крестилась
И, по милости судеб, где она омылась.

За этими стихами следовало его командирское слово:

На молитву же, друзья:
Киев перед вами!

После все это вошло в какое-то большое его призывное стихотворение, по обыкновению, с тяжелою версификациею и с массою наглагольных рифм. Его муза, под пару ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.

О нем хочется сказать еще два слова: «*дневник*» этого довольно любопытного человека напечатан, но, по-моему, он не только не выяснил, но даже точно закутал эту личность. По-моему, дневник этот, который я прочел *весь* в подлиннике, имеет характер сочиненности. Там даже есть *пятна слез*, оросившие страницы, где говорится о подольских купеческих барышнях. Или есть такие заметки: «я пьян и не могу держать пера в руках», а между тем это написано совершенно трезвою и твердою рукою...

Вообще надо жалеть, что никто из знавших Аскоченского киевлян не напишет хорошей беспристрастной заметки о треволненной жизни и трудах этого человека с замечательными способностями, из которых он сделал едва ли не самое худшее употребление, какое только мог бы ему выбрать его злейший враг. Праху его мир и покой, но его жизненные невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны. Кроме Виктора Ипатьича, тогда в Киеве водились еще и другие поэты, в плоской части доживал свой маститый век Подолинский, а по городу ходили одна молодая девица и один молодой кавалер. Девица, подражая польской импровизаторше Деотыме, написала много маленьких и очень плохих стихотворений, которые были ею изданы в одной книжечке под заглавием: «Чувства патриотки». Склад издания находился в «аптеке для души», то есть в подольской библиотеке Павла Петровича Должикова. Стихотворения совсем не шли, и Должиков иногда очень грубо издевался над этою книгою, предлагая всем «вместо хлеба и водки — чувства патриотки». В день открытия моста стихотворения эти раздавались безденежно. На чей счет было такое угощение — не знаю. Подолинский, кажется, еще жил, но не написал ничего, да про него тогда и позабыли, а Альфред фон Юнг что-то пустил с своего Олимпа, но что именно такое — не помню. Невозможно тоже не вспомнить об этом добрейшем парне, совершенно безграмотном и лишенном малейшей тени дарования, но имевшем неодолимую и весьма разорительную страсть к литературе. И он, мне кажется, достоин благодарного воспоминания от киевлян, если не как поэт, то как самоотверженнейший пионер — периодического издательства в Киеве. До Юнга в Киеве не было газеты, и предпринять ее тогда значило наверное разориться. Юнга это не остановило: он завел газету и вместо благодарности встречал отовсюду страшные насмешки. По правде сказать, «Телеграф» юнговского издания представлял собою немало смешного, но все-таки он есть *дедушка* киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и, чтобы начать газету, он прежде

пошел (во время Крымской войны) «командовать волами», то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения и потом все это самоотверженно поверг и сожег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он все издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с «Телеграфом» на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить «за невозможные опечатки». Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: «во вчерашнем №, на столбце таком-то, у нас напечатано: *пуговица*, читай: *богородица*». Юнг был в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал: «зачем-де поправлялся!».

— Как же не поправиться? — вопрошал Юнг, и в самом деле надо было поправиться.

Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил:

— Посмотрите, пожалуйста,— хорош цензор! Что он со мною делает!— он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты,— читай оптимисты».

— Каково положение! — восклицал Юнг.

Через некоторое время Алексей Алексеевич Лазов, однако, кажется, разрешил эту, в самом деле необходимую поправку. Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: «не удивительно, что при таком воспитании вырастают *недоблуды*». Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать «лизоблюды»; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: «по ошибке напечатано: *недоблуды*,— должно читать: *переблуды*». Цензор пришел в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего еще худшего.

Пора, однако, возвратиться от литераторов к старцу Малахии, который украсил этот торжественный день своим появлением в поднесенной ему необыкновенной шляпе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Густые толпы людей покрывали все огромное пространство городского берега, откуда был виден мост, соединивший Киев с черниговскою стороною Днепра. Только более страстные до зрелищ или особенно патронируемые кем-нибудь из властных нашли возможность протесниться «за войска», расположенные внизу у въезда на мост, и, наконец, шпалерами вдоль самого моста. Но таких счастливцев было немного, сравнительно с огромными массами, покрывшими надбережные холмы, начиная от Выдубицкого монастыря и Аскольдовой могилы до террас, прилегающих к монастырю Михайловскому. Кажется, без ошибки можно сказать, что в этот день вышло из домов все киевское население, чем тогда и объясняли множество благоуспешно сделанных в этот день краж. И, несмотря на всю длину этой страшно растянутой береговой линии, трудно было найти удобное место. Были люди, которые пришли сюда спозаранка с провизией в карманах и крепко заняли все наилучшие позиции. Оттого зрителям, которые пришли позже, нужно было переменять множество мест, пока удавалось стать так, что была видна «церемония».

Были люди, которые взлезли на деревья, были и такие смельчаки, которые прилепились к песчаным выступцам обрывов и иногда скатывались вниз вместе с своим утлым подножьем. Случайности в подобном роде вызывали

веселый хохот и шутливые замечания. Было довольно неудовольствий по поводу обидного обращения господ военных с цивическим элементом, но все это до судов не доходило, военные люди тогда свободно угнетали «аршинников, хамов и штафирок». Духовенство тоже претерпевало от этого зауряд с мирянами и тоже не жаловалось. Это было в порядке вещей. Военные, повторяю, чувствовали себя тогда в большом авантаже и, по современному выражению, «сильно форсили». Они имели странный успех в киевском обществе и часто позволяли себе много совершенно неприличного. Особенно одно время (именно то, которого я касаюсь) среди офицеров ожесточенно свирепствовало поголовное притворство в остроумии. Они осчастливили своим знакомством и купеческие дома и здесь вели себя так развязно, что перед ними спасовал даже сам Аскоченский.

Из военных шуток при открытии моста я помню две: у самой ограды бывшего здания минеральных вод появился какой-то немец верхом на рыжей лошади, которая беспрестанно махала хвостом. Его просили отъехать, но он не соглашался и отвечал: «не понимаю». Тогда какой-то рослый офицер сдернул его за ногу на землю, а лошадь его убежала. Немец был в отчаянии и побежал за конем, а публика смеялась и кричала вслед:

— Что, брат, понял, как по-военному!

Офицер прослушал это несколько раз и потом крикнул:

— Перестать, дураки!

Они и перестали.

Должно быть, не любил лести.

Это, впрочем, была более отвага, чем остроумие; настоящее же остроумие случилось на месте более скрытом и тихом, именно за оградою монастыря Малого Николая.

На неширокой, но сорной и сильно вытоптанной площадке здесь местилось всякое печерское разночинство и несколько человек монашествующей братии.

Были маститые иноки с внушительными сединами и легкомысленные слимаки с их девственными гривами вразмет на какую угодно сторону.

Один из иноков, по-видимому из почетных, сидел в кресле, обитом просаленною черною кожею и похожем по фасону своему не на обыкновенное кресло, а на госпитальное судно.

К этому иноку подходили простолюдины: он всех их благословлял и каждого спрашивал буквально одно и то же:

— Чьи вы и из какой губернии?

Получив ответ, инок поднимал руку и говорил: «богу в прием», а потом, как бы чувствуя некую силу, из себя исшедшую, зевал, жмурил глаза и преклонял главу. Заметно было, что общее оживление его как будто совсем не захватывало, и ему, может быть, лучше было бы идти спать.

На него долго любовалися и пересмеивались два молодых офицера, а потом они оба вдруг снялись с места, подошли к иноку и довольно низко ему поклонились.

Он поднял голову и сейчас же спросил их:

— Чьи вы и какой губернии?

— Из Чревоматернего,— отвечали офицеры.

— Богу в прием,— произнес инок и, преподав благословение, снова зажмурился. Но офицеры его не хотели так скоро оставить.

— Позвольте, батюшка, побеспокоить вас одним вопросом,— заговорили они.

— А что такое? какой будет ваш вопрос?

— Нам очень хотелось бы отыскать здесь одного нашего земляка иеромонаха.

— А какой он такой и как его звать?

— Отец Строфокамил.

— Строфокамил? не знаю. У нас, кажется, такого нет. А впрочем, спросите братию.

Несколько человек подвинулись к офицерам, которые, не теряя ни малейшей тени серьезности, повторили свой вопрос братии, но никто из иноков тоже не знал «отца Строфокамила». Один только сообразил, что он, верно, грек, и посоветовал разыскивать его в греческом монастыре на Подоле.

Кадетские корпуса тогда в изобилии пекли и выпускали в свет таких и сим подобных остроумцев, из которых потом, однако, выходили «севастопольские герои» и не менее знаменитые и воспрославленные «крымские воры» и «полковые морельщики».

До чего заносчиво тогда, перед Крымскою войною, было офицерство и какие они себе позволяли иногда выходки, достойно вспомнить. Вскоре этому, вероятно, уже не будут верить.

Раз приехал, например, в Киев офицер Р. (впоследствии весьма известный человек) и вдруг сделал себе блестящую репутацию тем, что «умел говорить дерзости». Это многих очень интересовало, и офицера нарасхват зазывали на все балики и вечеринки. Он ошалел от успехов и дошел до наглости невероятной. Один раз в доме некоего г. Г—ва он самым бесцеремонным образом обругал целое сборище. Г. собрал к себе на вечеринку друзей и пригласил Ра—цкого. Тот осчастливил, приехал, но поздно и, не входя в гостиную, остановился в дверях, оглянул всех в лорнет, произнес: «какая, однако, сволочь!» и уехал... никем не побитый! Последним финалом его пошлых наглостей было то, что однажды в Кинь-Грусти, стоя в паре в горелках с известною в свое время г-жою П—саревою, он не тронулся с места, когда его дама побежала; ту это смутило, и она спросила его: «Почему же вы не бежите?» Ра—цкий отвечал: «Потому, что я боюсь упасть, как вы». Тогда его выпроводили, но только по особому вниманию Бибикова, который был особенно предупредителен к этой даме. Другой бедовый воитель был артиллерист Кле—аль. Этот больше всего поражал тем, что весьма простодушно являлся в «лучшие дома» на балы совершенно пьяный, хотя, впрочем, он и трезвый стоил пьяного. До чего он мог довести свою бесцеремонность свидетельствует следующий случай: раз, танцуя в доме Я. И. Пе—на, Кле—аль полетел вместе с своею дамою под стол. Его оттуда достали и начали оправлять. Хозяин был смущен и заметил офицеру, что он уже слишком весел, но тот не сконфузился.

— Да,— отвечал Кле—аль,— я весел. Это моя сфера. Впрочем, здесь так и следует,— и сию же минуту, не ожидая возражения, он добавил:— Скажите, пожалуйста, мне говорили, будто тут есть какой-то господин Бе—ти — все говорят, что он, будто, ужасный дурак, но отлично, каналья, кормит. Вот я очень хотел бы сделать ему честь у него поужинать.

Хозяин смешался, потому что Бе—ти стоял тут же возле, но сам Бе—ти сейчас же пригласил этого шалуна на свои вечера, и это служило к их оживлению.— Третий припоминается мне офицер расформированного нынче жандармского полка, К—ий, которого одна, очень юная и милая, подольская барышня имела неосторожность полюбить, а полюбя, поцеловала и при каком-то случае подарила ему свой белокурый локон. Офицер сохранил эту галантерейщину и не отказывался от поцелуев, но с предложением женитьбы медлил. Родители же девушки находили это несоответственным, и девушка была помолвлена за другого. Ни барышня, ни жених ни в чем не были виноваты, но г. К—ий пришел к ним в дом на именинное собрание и с грубым ругательством бросил *невесте в лицо* ее локон, а жениха ударил. Многим и этот наделавший шуму поступок казался своего рода развеселым, но довольно позволительным фарсом, и когда покойный чиновник генерал-губернатора Друкарт, производя об этом следствие, не поблажал К—му, то Друкарта осуждали за «грубость» к интересному герою.

Впрочем, подобное ожесточенное свирепство милитеров тогда было повсеместно в России, а не в одном Киеве. В Орле бывший елисаветградский гусарский полк развешивал на окнах вместо штор похабные картины; в Пензе, в городском сквере, взрослым барышням завязывали над головами низы платьев, а в самом Петербурге рвали снизу до верха шинели несчастных

«штафирок». Успокоила этих сорванцов одна изнанка Крымской войны. Но оставим их будущему историку культуры русского общества и поспешим к тем, непосредственность которых гораздо интереснее.

В ту же минуту, как из глаз моих скрылись офицеры, расспрашивавшие монахов об отце Строфокамиле, я заметил невдалеке одного моего товарища, который так же, как я, знал Берлинского, Малахию и Гиезия.

Приятель меня спрашивает:

— Видел ли ты морское чучело?

— Какое? — говорю.

— А старца Малахая. (Он имел привычку звать его Малахаем.)

— А где он?

— Да вот сейчас,— говорит,— недалеко здесь, налево, за инженерским домом на кирпичах стоит. Иди, смотри его — он восхитителен!

— Неужели,— говорю,— в самом деле хорош?

— Описать нельзя: и сам хорош, и притом обставлен удивительно! Вокруг него все столпы древнего благочестия «вообче» и наш губошлепый Гиезька, весь, подлец, деревянным маслом промаслен... А на самого Малахая, увидишь, какую шляпу наложили.

— А что в ней такого замечательного?

— Антик — другой такой нет. Говорят, из Москвы, из Грановитой палаты выписали на подержание — еще сам царь Горох носил.

Я не заставлял себя более убеждать и поспешил разыскивать старца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Надо вспомнить, что между монастырем Малого Николая и крепостною башнею, под которой ныне проходят Никольские ворота, был только один старый, но преудобный дом с двором, окруженным тополями. В этом доме с некоторых пор жили кто-то из начальствующих инженеров. За это его, кажется, и не разломали. Стоило обойти усадьбу этого очень просторно расположившегося дома, и сейчас же надо было упереться в отгороженный временным заборчиком задворочек, который приютился между башнею и садом инженерного дома. На этом задворочке были свалены разные строительные остатки — доски, бревна, несколько кулей с известкой и несколько кладок белого киевского кирпича. Тут же стояла и маленькая, тоже временная, хатка, в которой жил сторож. У ворот этого заграждения была и надпись, объявлявшая, что «посторонним лицам сюда входить строго воспрещается». В день открытия моста запрещение слабо действовало и дало сторожу возможность открыть сюда вход за деньги. Сторож, рыжий унтер с серьгою в ухе и вишневым пятном на щеке, стоял у этой двери и сам приглашал благонадежных лиц из публики вступить в запрещенное место. По его словам, оттуда было «все видно», а плату за вход он брал умеренную, по «злотувке», то есть по пятнадцати копеек с персоны.

Взнеся входную цену и переступив за дощатую фортку, я увидал перед собою такой «пейзаж природы», который нельзя было принять иначе, как за символическое видение.

Мусор всех сортов и названий, обломки всего, что может значиться в смете материалов, нужных для возведения здания с подземного бута до кровли: доски, бревна, известковые носилки и тачки, согнутые и проржавленные листы старого кровельного железа, целый ворох обломков водосточных труб, а посреди всего этого хлама, над самым берегом, шесть или семь штабелей запасного кирпича. Сложены они были столбиками неравной высоты, одни — пониже, другие немного повыше, и, наконец, на самом высоком месте зрелося человечище прекрупное, вельми древнее и дебелое. Это стоял Малахия. Одеян он был благочестивым предковским обычаем, в синей широкой суконной чуйке, сшитой совсем как старинный охабень и отороченной по рукавам, по вороту и по правой поле каким-то дрянным подлезлым мехом.

Одежде отвечала и обувь: на ногах у старца были сапоги рыжие с мягкою козловою холявою, а в руках долгий крашеный костыль; но что у него было на голове посажено, тому действительно и описания не сделаешь. Это была шляпа, но кто ее делал и откуда она могла быть в наш век добыта, того никакой многобывалый человек определить бы не мог. Историческая полнота сведений требует, однако, сказать, что штука эта была добыта почитателями старца Малахии в Киеве, а до того содержалась в тайниках магазина Козловского, где и обретена была случайно приказчиком его Скрипченком при перевозе редкостей моды с Печерска на Крещатик.

Шляпа представляла собою превысокий плюшевый цилиндр, с самым смелым перехватом на середине и с широкими, совершенно ровными полями, без малейшего загиба ни на боках, ни сзади, ни спереди. Сидела она на голове словно рожон, точно как будто она не хотела иметь ни с чем ничего общего.

Величественная фигура Малафея Пимыча утвердилась здесь, вероятно, раньше всех, потому что позиция его была всех выгоднее: занимая самую высокую кладку кирпича, старец мог видеть дальше всех, и сам был всем виден.

Рядом с Пимычем, на кладке, которая была немножко пониже, помещался Гиезий. Он был в бутылочном азямчике с тремя христианскими сборами на кострецах и в суконном шлычке без козырька. Он беспрестанно переменял ноги, и в его покосившейся на одно плечо фигуре чуялась несносная скука, лень и томительное желание шевельнуть затекшими ногами и брызнуть в ход.

Вокруг них было еще немало людей, пропущенных крепостным заказником, но эти, по своей бесцветности, не останавливали на себе особенного внимания.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Часто вращавшийся по сторонам Гиезий заметил мое желание поближе полюбоваться его дедушкой и показал глазами, что может потесниться и дать мне место возле себя.

У штабеля стоял опрокинутый известковый ящик, по которому я мог подняться на такую высоту, что Гиезий подал мне свою руку и поставил меня с собою рядом.

Малафей Пимыч не обратил на наше размещение никакого внимания: он был похож на матерого волка, который на утре вышел походить по насту; серые глаза его горели диким, фанатическим огнем, но сам он не шевелился. Он устремил взоры на мост, который отсюда виден был как на ладони, и не смаргивал оттуда ни на мгновение. Но я забыл и мост, и Днепр, «где *вся Русь* крестилась», и даже всю церемонию, которая должна сейчас начаться: всем моим чувством овладел один Пимыч. Несмотря на свой чудной убор, он был не только поразительно и вдохновительно красив, но, если только простительно немного святотатственное слово, он был в своем роде божествен, и притом характерно божествен. Это не Юпитер и не Лаокоон, не Улисс и не Вейнемейнен, вообще не герой какой бы то ни было саги, а это стоял олицетворенный *символ древлего благочестия*.

Если я должен его с кем-нибудь сравнить, что всегда имеет своего рода удобство для читателя, то я предпочел бы всему другому указать на известную картину, изображающую урок стрельбы из орудия, даваемый Петру Лефортом. Отрок Петр, горя восторгом, наводит пушечный прицел... Вся его огневая фигура выражает страстное, уносящее стремление. Лефорт в своем огромном парике тихо любуется царственным учеником. Несколько молодых русских лиц смотрят с сочувствием, но вместе и с недоумением. На них, однако, видно, что они желают царю «попасть в цель». Но тут есть фигура, которая в своем роде не менее образна, типична и характерна. Это седой

старик в старорусском охабне с высоким воротом и в высокой собольей шапке. Он один из всех не на ногах, а *сидит* — и сидит крепко; в правой руке он держит костыль, а левою оперся в ногу и смотрит на упражнения царя вкось, через свой локоть. В его глазах нет ненависти к Петру, но чем удачнее делает юноша то, за что взялся, тем решительнее символический старец не встанет с места. Зато, если Петр не попадет и отвернется от Лефорта, тогда... старичок встанет, скажет: «плюнь на них, батюшка: они все дураки», и, опираясь на свой старый костыль, уведет его, «своего прирожонного», *домой* — мыться в бане и молиться московским угодникам, «одолевшим и новгородских и владимирских».

Этот старик, по мысли художника, представляет собою на картине *старую Русь*, и Малафей Пимыч теперь на живой картине киевского торжества изображал то же самое. Момент, когда перед нами является Пимыч, в его сознании имел то же историческое значение. Старик, бог весть почему, ждал в этот день какого-то великого события, которое сделает поворот во всем.

Такие торжественные настроения без удобопонятных причин нередко являются у аскетов, подобных Пимычу, когда они, сидя в спертой задухе своих промозглых закут, начинают считать себя центром внимания творца вселенной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Могучая мысль, вызвавшая Малахию, побудила его явиться суетному миру во всеоружии всей его изуверной святости и глупости. Сообразно обстоятельствам он так приубрался, что от него даже на всем просторе открытого нагорного воздуха струился запах ладана и кипариса, а когда ветерок раскрывал его законный охабень с звериной опушью, то внизу виден был новый мухояровый «рабский азямчик» и во всю грудь через шею висевшая нить крупных деревянных шаров. Связка, по обыкновению, кончалась у пупа большим восьмиконечным крестом из красноватого рога.

Стоял он, как сказано, точно изваяние — совершенно неподвижно, и так же неподвижен был его взгляд, устремленный на мост, только желтобелые усы его изредка шевелились; очевидно, от истомы и жажды он овлажал свои засохшие уста.

— С шестого часа тут стоим,— шепнул мне Гиезий.

— Зачем так рано?

— Дедушка еще раньше хотел, никак стерпети не могли до утра. Все говорил: опоздаем, пропустим — царь раньше выедет на мост, потому этакое дело надо на тщо сделать.

— Да какое такое дело? О чем вы это толкуете?

Гиезий промолчал и покосил в сторону дедушки глазами: дескать, нельзя говорить.

Вместо ответа он, вздохнув, молвил:

— Булычку бы надо сбегать купить.

— За чем же дело стало? сбегайте.

— Рассердится. Три дня уже так говейно живем. Сам-то даже и капли все дни не принимал. Тоже ведь и государю это нелегко будет. Зато как ноне при всех едиными устнами тропарь за царя запоем, тогда и есть будем.

— Отчего же ныне едиными «устнами» запоете?

Гиезий скосил глаза на старца и, закрыв ладонью рот, стал шептать мне на ухо:

— Государь через мост пешó пойдет...

— Ну!

— Только ведь до середины реки идти будет прямо.

— Ну и что же такое? Что же дальше?

— А тут, где крещебная струя от Владимира-князя пошла, он тут станет.

— Так что же из этого?
— Тут он свое исповедание объявит.
— Какое исповедание? Разве неизвестно его исповедание?
— Да, то известное-то известно, а нам он покажет истинное.

Я и теперь еще ничего въявь не понял, но чувствовал уже, что в них дедушкою внушены какие-то чрезвычайные надежды, которым, очевидно, никак невозможно сбыться. И все это сейчас же или даже сию минуту придет к концу, потому что в это самое мгновение открытие началось.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

По мосту между шпалерами пехоты тронулась артиллерия. Пушки, отчищенные с неумолимою тщательностию, которою отличалось тогдашнее время, так ярко блестели на солнце, что надо было зажмуриться; потом двигалось еще что-то (теперь хорошенько не помню), и, наконец, вдруг выдался просторный интервал, и в нем на свободном просвете показалась довольно большая и блестящая группа. Здесь всё были лица, в изобилии украшенные крестами и лентами, и впереди всех их шел сам император Николай. По его специально военной походке его можно было узнать очень издали: голова прямо, грудь вперед, шаг маршевой, крупный и с наддачею, левая рука пригнута и держит пальцем за пуговицей мундира, а правая или указывает что-нибудь повелительным жестом, или тихо, мерным движением обозначает такт, соответственно шагу ноги.

И теперь государь шел этою же самою своею отчетистою военною походкою, мерно, но так скоро подаваясь вперед, что многие из следовавших за ним в свите едва поспевали за ним впритруску. Когда старенький генерал с оперением на голове бежит и оперение это прыгает, выходит забавно: точно как будто его кто встряхивает и из него что-то сыпется.

Шествие направлялось от городского гористого берега киевского к пологому черниговскому, где тогда тотчас же у окончания моста были «виньёлевские постройки»: дома, службы и прочее. Гораздо далее была слободка, а потом известный «броварской лес», который тогда еще не был вырублен и разворован, а в нем еще охотились на кабанов и на коз.

В свите государя издали можно было узнать только старика Виньёля и одного его, необыкновенно красивого, сына, и то потому, что оба они были в своих ярких английских мундирах.

Разумеется, взоры всех устремились на эту группу: все следили за государем, как он перейдет мо́ст и куда потом направится. Думали: «не зайдет ли к англичанам *спасибо* сказать», но вышло не так, как думали и гадали все, а так, как открыто было благочестивому старцу Малахии.

Да, как раз на самой середине моста государь вдруг остановился, и это моментально отозвалось в нашем пункте разнообразными, но сильными отражениями: во-первых, Гиезий, совсем позабыв себя, громко воскликнул: «Сбывается!», а во-вторых, всех нас всколебало чем-то вроде землетрясения; так сильно встряхнуло кирпичи, на которых мы стояли, что мы поневоле схватились друг за друга. Пожелав найти этому объяснение, я оглянулся и увидал, что это пал на колени старец Малафей Пимыч...

С этой поры я уже не знал, куда глядеть, где ловить более замечательное: там ли, на обширном мосту, или тут у нас, на сорном задворке. Взор и внимание поневоле двоились и рвались то туда, то сюда.

Между тем государь, остановясь «против крещебной струи», которую старец проводил по самой середине Днепра, повернулся на минуту лицом к городу, а потом взял правое плечо вперед и пошел с средины моста к перилам верхней стороны. Тут у нас опять произошло свое действо; Малахия крикнул:

— Гляди!

А Гиезий подхватил:

— Видим, дедушка, видим!

Государь пошел с середины влево, то есть к той стороне, откуда идет Днепр и где волны его встречают упор ледорезов, то есть со стороны Подола. Вероятно, он захотел здесь взглянуть на то, как выведены эти ледорезы и в каком отношении находятся они к главному течению воды.

Государя в этом отклонении от прямого хода к перилам моста сопровождал Виньёль и еще кто-то, один или два человека из свиты. Теперь я этого в точности вспомнить не могу и о сю пору изумляюсь, как я еще мог тогда наблюдать, что происходило и тут и там. Впрочем, с того мгновения, как государь остановился на середине моста, «против крещебной струи»,— там я видел очень мало. Помню только один момент, как публика, стоявшая за войсками у перил, увидя подходившего государя, смешалась и жалась вместо того, чтобы расступиться и открыть вид на воду. Государь подошел и сам собственною рукою раздвинул двух человек, как бы приклеившихся к перилам.

Эти два человека оба были мои знакомые, очень скромные дворяне, но с этого события они вдруг получили всеобщий интерес, так как по городу пролетела весть, что государь их не только тронул рукою, но и что-то сказал им. Об этом будет ниже. С того мгновения, как государь отстранил двух оторопевших дворян и стал лицом к открытой реке, внимание мое уже не разрывалось надвое, а все было охвачено Пимычем.

Первое, что отвлекло меня от торжественной сцены на мосту,— было падение вниз какого-то черного предмета. Точно будто черный Фаустов пудель вырвался из-под кирпичей, на которых мы стояли, и быстро запрыгал огромными скачками книзу.

Если это был зверь, то он, очевидно, кого-то преследовал или от кого-то удирал. Разобрать этого я не мог, как черный предмет скатился вниз и совершенно неожиданно нырнул и исчез где-то под берегом. Но отрок Гиезий был глазастее меня и воскликнул:

— Ай, пропала дедушкина шляпа!

Я посмотрел на Пимыча и увидел, что он стоит на коленях и с непокрытою головою. Он буквально был вне себя: «огонь горел в его очах, и шерсть на нем щетиной зрилась». Правая рука его с крепко стиснутым двуперстным крестом была прямо поднята вверх над головою, и он кричал (да, не говорил, а во всю мочь, громко *кричал*):

— Так, батюшка, так! Вот этак вот, родненький, совершай! Сложи, как надо, два пальчика! Дай всей земле одно небесное исповедание.

И в это время, как он кричал, горячие слезы обильными ручьями лились по его покрытым седым мохом щекам и прятались в бороду... Волнение старца было так сильно, что он не выстоял на ногах, голос его оборвался, он зашатался и рухнул на лицо свое и замер... Можно бы подумать, что он даже умер, но тому мешала его правая рука, которую он все-таки выправил, поднял кверху и все махал ею государю двуперстным сложением... Бедняк, очевидно, опасался, чтобы государь не ошибся, как надо показать «небесное исповедание».

Я не могу передать, как это выходило трогательно!.. Во всю мою жизнь после этого я не видал серьезного и сильного духом человека в положении более трагическом, восторженном и в то же время жалком.

Я был до глубины души потрясен душевным напряжением этого алкателя единыя веры и не мог себе представить, как он выйдет из своего затруднения. Одно спасение, думалось: государь от нас так далеко, что нет возможности увидеть, двумя или тремя перстами он перекрестится, и, стало быть, дедушку Пимыча можно будет обмануть, можно будет пустить ему «ложь во спасение». Но я мелко и недостойно понимал о высоком старце: он так окинул прозорливым оком ума своего всю вселенную, что не могло быть никого, кто бы мог обмануть его в деле веры.

И вот наступил, наконец, миг, решительный и жесточайший миг.

Шествие на мосту, вероятно, кончилось, вокруг нас почувствовалось

какое-то нервное движение, люди как бы хотели переменять места и, наконец, зашумели: значит, кончено. Стали расходиться.

Гиезий позвал два раза: «Дедушка! дедушка!»

У Пимыча шевельнулась спина, и он стал приподниматься. Гиезий подхватил его под руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Старец поднимался медленно и тяжело, как поднимается осенью коченеющий шмель, с тем чтобы переползти немножко и околеть.

Гиезий изнемогал, вспирая старика вверх за оба локтя.

Я захотел ему помочь, и мы взялись один за одну руку, а другой за другую и поставили старца на колеблющиеся ноги.

Он дрожал и имел вид человека смертельно раненного в самое сердце. Рот у него был широко открыт, глаза в остолбенении и с тусклым остеклением.

Столь недавний живой фанатический блеск их исчез без следа.

Гиезий если не понял, то почувствовал положение старца и с робким участием сказал:

— Пойдем домой, дедушка!

Малахия не отвечал. Медленно, тяжелым, сердитым взглядом повел он по небу, вздохнул, словно после сна, и остановил взор на Гиезии.

Тот еще с бóльшим участием произнес:

— Довольно, дедушка; нечего ждать, пойдем: государь уже познаменовался.

Но при этом слове старика всего словно прожгло, и он вдруг отвердел и закричал:

— Врешь, анафема! Врешь, не знаменовался государь двумя персты. Вижу я, еще не в постыжении остаются отступники никонианы. И за то, что ты солгал, господь будет бить тебя по устам.

С этим он замахнулся и наотмашь так сильно ударил Гиезия по лицу, что уста отрока в то же мгновение оросились кровью.

Кто-то вздумал было за него заступиться и заговорил: «как это можно?» — но Гиезий попросил участливого человека их оставить.

— Мы свои,— сказал он,— это мой дедушка,— и начал бережно сводить перестоявшегося старца с кирпича под руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Малахии было видение, мечта, фантазия, назовите как хотите, что государь станет среди моста «лицом против крещебной струи» и перед всеми людьми перекрестится древлим двуперстием.

А тогда, разумеется, настанет для Малахии и иже с ним торжество, а митрополитам, и епископам, и всему чину церковному со всеми нечестивыми никонианами — посрамление до черноты лиц их. А тех, кои не покорятся, «господь рукою верных своих будет бить по устам», и все они окровянятся, как Гиезий. «Старая вера побьет новую». Вот чего желал и о чем, может быть, всю жизнь свою молился опасный немоляк за власти.

Но не сбылося по его вере и упованию, и погибли вмиг все его радости. Старец был посрамлен.

Я помню и никогда не забуду, как он шел. Это была грустная картина: тяжело и медленно передвигал он как будто не свои остарелые ноги по мягкой пыли Никольской улицы. Руки его были опущены и растопырены; смотрел он беспомощно и даже повиновался Гиезию, который одною рукою обтирал кровь на своем лице, а другою подвигал старца ладонью в спину и, плача о нем, умолял:

— Иди же, мой дедушка, Христа ради, иди... Ты без шляпы... на тебя все смеяться будут.

Старец понял это слово и прохрипел:

— Пусть смеются.

Это было последний раз, что я видел Малахию, но зато он удостоил меня вспомнить. На другой день по отъезде государя из Киева старец присылал ко мне своего отрока с просьбою сходить «к боярам» и узнать: «что царь двум господиям на мосту молвил, коих своими руками развел».

— Дедушка,— говорил Гиезий,— сомневаются насчет того: кия словеса рек государь. Нет ли чего от нас утаенного?

Я мог послать старцу ответ самый полный, без всякого утаения. Два господина, остолбеневшие у перил на том месте, где захотел взглянуть на Днепр император Николай Павлович, как я сказал, были мне известны. Это были звенигородские помещики, братья Протопоповы. Они мне даже приходились в отдаленном свойстве по тетке Наталье Ивановне Алферьевой, которая была замужем за Михаилом Протопоповым. А потому мы в тот же день узнали, что такое сказал им государь. Он отстранил их рукою и проговорил только два слова:

— Пошли прочь!

Впрочем, и в кружке знакомых все интересовались, что было сказано, и вечером в этот день в квартире Протопоповых на Бульваре перебывало множество знакомых, и все приступали к виновнику события с расспросами.

— Правда ли, что с вами государь разговаривал?

— Да-с, разговаривал,— отвечал Протопопов.

— А о чем разговор был?

Протопопов с удивительною терпеливостию и точностию начинал излагать все по порядку: где они стояли, и как государь к ним подошел, «раздвинул» их и сказал: «Пошли прочь».

— Ну, и вы отошли?

— Как же — сию минуту отошли.

Все находили, что братья поступили именно так, как следовало, и с этим, конечно, всякий должен согласиться, но ни к старой, ни к новой вере это нимало не относилось, и чтобы не дать повода к каким-нибудь толкованиям, я просто сказал Гиезию, что государь с «господиями» ничего не говорил.

Гиезий вздохнул и молвил:

— Плохо наше дело.

— Чем и отчего плохо? — полюбопытствовал я.

— Да, видите... дедушке и всем нам уж очень хочется тропарь петь, а невозможно!..

Среди бесчисленных и пошлых клевет, которым я долговременно подвергался в литературе за мою неспособность и нехотение рабствовать презренному и отвратительному деспотизму партий, меня сурово укоряли также за то, что я не разделял неосновательных мнений Афанасья Прокофьевича Щапова, который о ту пору прослыл в Петербурге историком и, вращаясь среди неповинных в знаниях церковной истории литераторов, вещал о *политических* задачах, которые скрытно содержит будто наш русский раскол. Щапов стоял горой за то, что раскол имеет политические задачи, и благоуспешно уверил в этом Герцена, который потом уже не умел разобрать представившихся ему Ив. Ив. Шебаева и бывшего староверского архиерея, умного и очень ловкого человека Пафнутия. Я тогда напечатал письмо о «людях древнего благочестия», где старался снять с несчастных староверов вредный и глупый поклеп на них в революционерстве. Меня за это ужасно порицали. Писали, что я дела не знаю и умышленно его извращаю, что меня растлило в этом отношении вредное влияние Павла Ив. Мельникова (Печерского), что я даже просто «подкуплен правительством». Дошло до того, что петербургскому профессору Ив. Ф. Нильскому печатно поставили в непростительную вину: как он смел где-то ссылаться на мои наблюдения над нравами

раскола и давать словам моим веру... А,— увы и ах! — вышло, что я правду говорил: раскольникам до политики дела нет, и «тропарь» они не поют не за политику, которую хотели навязать им представители «крайней левой фракции». Г-н Нильский давал писателям «левой фракции» отповедь, где говорил что-то в пользу моих наблюдений. В самом же деле, хороши они или дурны, но они есть *наблюдения* того, что существовало и было, а не выдумка, не тенденциозное фантазерство фракционистов, которым чуть не удалось оклеветать добрых и спокойных людей. Твердое и неизменное убеждение, что русский раскол не имеет противоправительственных «политических» идей, получено мною не из книг и даже не от Павла Ив. Мельникова (знания которого я, конечно, высоко ценю), а я пришел к этому убеждению прямо путем личных наблюдений, которым верю более, чем тенденциозным натяжкам Щапова и всяким иным ухищрениям теоретиков «крайней левой фракции», которые ныне «преложились в сердцах своих» и заскакали на правый фланг крайнее самого правофлангового...

Верю им нынче столько же, сколько верил тогда...

Во всяком случае то, что я рассказал здесь о старце Малахии, было для меня едва ли не первым уроком в изучении характера не сочиненного, а живого раскольника. Я не могу, да и не обязан забыть, как этому суровому «немоляку за имя царево» хотелось «попеть тропаря», и вся остановка была только за тем, чтобы император «двумя персты» перекрестился. А тогда бы они позапечатлели всех *не*-раскольников в том самом роде, как старец запечатлел Гиезьку, и горячее всех, пожалуй, приложили бы свои благочестивые руки к «крайней левой фракции».

Вот и вся раскольничья политика. А между тем было время, когда требовалось иметь немалую отвагу, чтобы решиться дать приют в доме такому опасному сектанту, как старец Малахия... И это смешное и слепое время было не очень давно, а между тем оно уже так хорошо позабыто, что теперь «крайняя правая фракция» пружится, чтобы Волга-матушка вспять побежала, а они бы могли начать лгать сначала. Раки, которые «перешепчутся», приходят в «пустотел», а люди, которые хотят пятиться, как раки, придут к пустомыслию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Отрока Гиезия я видел еще один раз в жизни. Это было много лет спустя в Курске, вскоре после постройки киевской железной дороги.

Я ехал в Киев повидаться с родными. Поезда ходили тогда еще не совсем аккуратно, и в Курске приходилась довольно долгая остановка. Я когда-то езжал из Орла в Курск, и теперь мне хотелось посмотреть на этот город, где сидят «мои-то-те куряне, ведомые кмети», которые до того доцивилизовались, что потеряли целую рощу.

Я прошел через вокзал, чтобы с заднего крыльца посмотреть на собор и на прочее, что можно разглядеть отсюда.

Дело было утром, погода прекрасная. Курск в таком раннем освещении очень весело смотрит с своих горок, из-за своей сонной Тускари. Он напоминает собою Киев, разумеется, в миниатюре и en laid [1]. Но только теперь, в ту минуту, когда я хотел любоваться, весь вид, или, лучше сказать, все поле зрения застилалось какими-то во множестве летающими и без толку мечущимися в воздухе безголовыми птичками... Престранное видение в иезекиилевском жанре: на одной какой-то точке бьют фонтаном и носятся какими-то незаконченными, трепетными взмахами в воздухе одни крылья; они описывают какие-то незаконченные круги и зигзаги, и вдруг падают, упадут, встрепенутся, и опять взлетят снова, и опять посередине подъема ослабеют, и снова упадут в пыль...

---

[1] В ухудшенном виде (*фр.*).

Это что-то как будто апокалипсическое.

В довершение сходства характера, тут были и «жены»; они подбирают обезглавленных пташек и суют их себе куда-то в недра, или, попросту говоря, за пазухи. Там тепло.

Заинтересовало меня: что это такое!

Вот с одной, пронесшейся над моею головою, безголовой пташки что-то капнуло... Тяжелое... точно она на меня зерно гороху уронила, и притом попало это мне прямо на руку...

Это была кровь, и притом совершенно свежая, даже теплая.

Что за странность?

Оглядываюсь — на противоположной стороне площадки, так же как и я, глазеют на безголовых летунов человек шесть городских извозчиков и несколько ребятишек...

Вот одна безголовая пташка со всего размаха шлепнулась о железную крышу какой-то надворной постройки.

Летела — казалось, птичка, а упала — словно стаяла.

Осталось только самое маленькое пятнышко, которое надо было с усилием не потерять из глаз — до того стало оно ничтожно.

Зато теперь можно было рассмотреть, что это такое.

Я опустил руку в дорожную сумку, где у меня был маленький бинокль, и только что стал наводить его на крышу, как кто-то серым рукавом закрыл мне «поле зрения».

У меня в Курске не могло быть знакомых, которые бы имели право допустить такую короткую фамильярность, но прежде чем я успел отнять от глаз бинокль, серая завеса уже снялась, и я увидал ворону, которая уносила в клюве обезглавленную пташку.

Послышался хохот, свист; в ворону с добычею, без вреда для них, полетели щепы и палки, и потом опять пошел фонтаном взлет обезглавленных пташек.

Я захотел видеть источник этого необычайного явления, и оно объяснилось: тут же за углом стояла низкая крестьянская телега, запряженная заморенною лохматою лошаденкою. Лошадь ела сенцо, которое было привязано к запрягу ее оглобли; а на телеге стоял большой лубочный короб, по верху которого затянута нитяная сетка. Над коробом, окорячив его ногами, упертыми в тележные грядки, сидел рослый повар в белых панталонах, в белой куртке и в белом колпаке, а перед ним на земле стоял средних лет торговый крестьянин и держал в руках большое решето, в которое повар что-то сбрасывал точно как будто орешки.

Прежде опустит руку в короб, потом вынет ее точно чем-то обросшую, встряхнет ею, и сей же момент всюду по воздуху полетят безголовые птички; а он сбросит в решето горсточку орешков. И все так далее.

Спросил,— что́ это делают? — и получил короткое объяснение:

— Перепелок рвут.

— Как,— говорю, — странно?

— Отчего странно? — отвечает продавец,— это у нас завсегда так. Они теперь жирные; как заберешь их в руку, между пальчиками по головёшке, и встряхнешь, у них сейчас все шейки милым делом и оборвутся. Полетает без головки — из нее кровочка скапит, и скус тоньше. А по головёшкам, кои в решете сбросаны, считать очень способно. Сколько головёшек, за столько штук и плата.

«Ах, вы,— думаю,— «ведомые кмети»! С этаким ли способным народом не спрятать без следов монастырскую рощу!»

Но мне интереснее всего был сам продавец, ибо — коротко сказать — это был не кто иной, как оный давний отрок Гиезий. Он обородател и постарел, но вид имел очень болезненный.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как только я назвал себя, Гиезий узнал меня сразу и подал свою уваленную птичьим пухом руку. А между тем и перепелиная казнь была кончена; повар соскочил на землю и пошел к бочке с водою мыть руки, а мы с старым знакомцем отправились пить чай. Сели уютненько, решето с птичьими головками под стол спрятали и разговорились.

Гиезий сообщил мне, что он давно отбыл годы обетованного отрочества и уже «живет со второю хозяйкою», то есть женат на второй жене, имеет детей, а живет промыслом — торгует то косами и серпами, то пенькою и пшеном, иногда же, между делом, и живностию.

Спрашиваю:

— Счастливо ли живете?

— Ничего бы,— отвечает,— если бы не рак.

— Какой рак?

— А как же,— говорит,— ведь у меня рак в желудке; я скоро умру.

— Да почему вы знаете, что у вас рак?

— Много докторов видели, все одно сказали: рак. Да я и сам вижу. Почти никакой пищи принять не могу, от всего извергает.

— Чем же вы лечитесь?

— Прежде лечился, а ныне бросил, один морковный сок натощак пью. Все равно пользы никакой быть не может.

— Отчего вы так печально думаете?

— Помилуйте, разве я дитя, что не понимаю. Тридцать ведь, сударь, лет и три года этакое тиранство я соблюдал при дедушке Малахии! Ведь это вспомянуть страшно становится. Он говел в летех своих заматорелых, а я одно и такое же мучение с ним претерпевал в цветущей моей младости.

— И кроме того он вас, помнится, очень бил.

— Да, разумеется, «началил», да это ничего, без того и невозможно. А вот голод — это ужасно. Бывало, в госпожин пост и оскребки из деревянной чашки все со щепой переешь и, что в земле случаем ногами втоптано, везде выковыряешь да проглотишь, а теперь вот через это староверское злое безумие и умирай без времени, а детей пусти по миру.

— Вы,— говорю,— пост называете безумием?

— Да-с. А что такое? Впрочем, не осудите, с досады иной раз, как о ребятишках вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. Детей жалко.

— А как теперь ваши религиозные убеждения?

Он махнул рукою.

— Тропарь по-старому не поете?

Гиезий улыбнулся и отвечал:

— Что вспомнили! — пел, да уже и позабыл.

— Как позабыли?

— Ну, господи мой, ведь я же вам говорю, какая у меня страшная боль в животе. Рак! Я теперь даже не токмо что среду или пяток, а даже и великий пост не могу никакой говейности соблюдать, потому меня от всего постного сейчас вытошнит. Сплошь теперь, как молокан, мясное и зачищаю, точно барин. При верной церкви уже это нельзя, я и примазался...

— К единоверческой?

— Нет, чего! Там тоже еще есть жизни правила, я к простой, к греко-российской.

— Значит, даже тремя перстами креститесь?

— Все равно. Да и какое уже больному человеку крещение. Почитай и о молитве забыл. Только бы пожить для ребят хочется. Для того и пристал к церковной вере, что можно жить слабже.

— А прочие ваши собратия?

— Они тогда, как в Киеве дедушку схоронили, сейчас с соседями тропарь петь замоталися, да так на тропаре и повисли. Нравится им, чтоб «победы и одоления», да и отчего не петь? — заключил он,— если у кого си-

лы живота постоянные, то ведь можно как угодно верить; но с таким желудком, как мой, какая уж тут вера! Тут одно искушение!

С тем мы и расстались.

Обетованный отрок, не читая энциклопедистов и других проклятых писателей, своим умом дошел до теории Дидро и поставил веру в зависимость от физиологии.

Епископ Амвросий Ключарев в своих публичных лекциях, читанных в Москве, напрасно порешил, что писателям «лучше бы не родиться». Тот, кто призвал всякую тварь к жизни, конечно, лучше почтенного архипастыря знал, кому лучше родиться, а кому не родиться, но случай с Гиезием не показывает ли, что простого человека иногда удаляют от веры не писатели, которых простой народ еще не знает и не читает, а те, кто «возлагает на человеки бремена тяжкие и неудобоносимые». Но мы смиренно верим, что в большом хозяйстве владыки вселенной даже и этот ассортимент людей пока еще на что-то нужен.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Теперь еще хочется упомянуть об одном киевском событии, которое прекрасно и трогательно само по себе и в котором вырисовалась одна странная личность с очень сложным характером. Я хочу сказать о священнике Евфимии Ботвиновском, которого все в Киеве знали просто под именем «попа Ефима», или даже «Юхвима».

Усопший епископ рижский Филарет Филаретов, в бытность его ректором духовной академии в Киеве, 28 декабря 1873 года писал мне: «спрашиваете о Евфиме,— Евфим, друг наш, умре 19 сентября. Оставил семейство из шести душ, трех женских и трех мужеских. Но, видно, Евфим при слабостях своих имел в себе много доброго. При его погребении было большое стечение народа, провожавшего его *с большим плачем*. Дети остались на чужом дворе, без гроша и без куска хлеба; но добрыми людьми они обеспечены теперь так, что едва ли бы и при отце могли иметь то, что устроила для них попечительность людская».

С тех пор, когда мне случалось быть в Киеве, я никогда и ни от кого не мог получить никаких известий о детях отца Евфима; но что всего страннее, и о нем самом память как будто совершенно исчезла, а если начнешь усиленно будить ее, то услышишь разве только что-то о его «слабостях». В письме своем преосвященный Филарет говорит: «не дивитеся сему — банковое направление все заело. В Киеве ничем не интересуются, кроме *карт* и *денег*».

Не знаю, совершенно ли это так, но думается, что довольно близко к истине.

Чтобы не вызывать недомолвками ложных толкований, лучше сказать, что «слабости» о. Ефима составляли просто *кутежи*, которые тогда были в большой моде в Киеве. Отец Евфим оказался большим консерватором и переносил эту моду немножко дольше, чем было можно. Отец Евфим любил хорошее винцо, компанию и охоту. Он был лучший биллиардный игрок *после Курдюмова* и отлично стрелял; притом он, по слабости своего характера, не мог воздержаться от удовольствия поохотиться, когда попадал в круг друзей из дворян. Тут о. Евфим переодевался в егерский костюм, хорошо приспособленный к тому, чтобы спрятать его «гриву», и «полевал», по преимуществу с гончими. Нрава Юхвим был веселого, даже детски шаловливого и увлекающегося до крайностей, иногда непозволительных; но это был такой человек, каких родится немного и которых грешно и стыдно забывать в одно десятилетие.

Каков Юхвим был как священник — этого я разбирать не стану, да и думаю, что это известно одному богу, которому служил он, как мог и как умел. Внешним образом священнодействовать Юхвим был большой мастер, но «леноват», и потому служил редко — больше содержал у себя для служения

каких-то «приблудных батюшек», которые всегда проживали у него же в доме. Отец Юхвим прекрасно читал и иногда, читая великопостные каноны, неудержимо плакал, а потом сам над собою шутил, говоря:

— Стілько я, ледачий піп, нагрішив, що бог вже змиловався надо мною и дав мені слезы, щоб плакати діл моих горько. Не можу служить не плачучи.

Разберите и рассудите хоть по этому, что́ это был за человек *по отношению к вере?* По моему мнению, он был человек богопочтительный, но его кипучая, художественная и сообщительная натура, при уме живом, но крайне легком и несерьезном, постоянно увлекала его то туда, то сюда, так что он мог бы и совершенно извертеться, если бы не было одного магнита, который направлял его блуждания к определенной точке. Магнитом этим, действовавшим на Юхвима с страшною, всеодолевающею *органическою* силою, была его громадная, прирожденная *любовь к добру и сострадание.*

Когда я зазнал отца Евфима, он был очень юным священником маленькой деревянной церковки Иоанна Златоуста против нынешней старокиевской части. Приход у него был самый беднейший, и отцу Евфиму совершенно нечем было бы питаться, если бы семье его господь не послал «врана».

Этот «питающий вран» был *разучившийся грамоте* дьячок Константин, или Котин, длинный, худой, с сломанным и согнутым на сторону носом, за что и прозывался «Ломоносовым».

Он сам себе говаривал:

— Я вже часто не здужаю, бо став старый; але що маю подіяти, як робити треба.

«Треба» была именно потому, что Ломоносов имел «на своем воспитании» молодую, но быстро нараставшую семью своего молодого и совершенно беззаботного священника.

Дьячок Котин служил при его отце, Егоре Ботвиновском, знал Евфима дитятею, а потом студентом академии, и теперь, видя его крайнюю беспечность обо всех домашних нуждах, принял дом священника «на свое воспитание».

Труд Ломоносова состоял в том, что все летнее время, пока Киев посещается богомольцами, или, по произношению Котина, «богомулами», он вставал до зари, садился у церковной оградочки с деревянным ящичком с прорезкою в крышке и «стерег богомулов».

Дело это очень заботное и требовало немалой сообразительности и остроты разума, а также смелости и такта, ибо, собственно говоря, Ломоносов «воспитывал семейство» на счет других приходов, и преимущественно на счет духовенства церквей Десятинной, Андреевской и всех вкупе святынь Подола.

Константин отпирал церковь, зажигал лампадочку и садился у дверей на маленькой скамеечке; перед собою он ставил медную чашку с водою и кропило, рядом ящичек, или «карнавку», а в руки брал шерстяной пагленок. Он занимался надвязыванием чулок.

— Бо духовному лицу треба бути в трудех бденных.

Как большинство обстоятельных и сильно озабоченных людей, Котин был порядочный резонер и уважал декорум и благопристойность.

«Богомул» (в собирательном смысле) идет по Киеву определенным путем, как сельдь у берегов Шотландии, так что прежде «напоклоняется усім святым печерским, потім того до Варвары, а потім Макарию софийскому, а потім вже геть просто *мимо Ивана* до Андрея и Десятинного и на Подол».

Маршрут этот освящен веками и до такой степени традиционен, что его никто и не думал бы изменять. Церковь Иоанна Златоуста, или, в просторечии, кратко «*Иван*», была все равно что пункт водораздела, откуда «богомул» принимает наклонное направление «*мимо Ивана*».

К «Ивану» заходить было не принято, потому что Иван сам по себе ничем не блестел, хотя и отворял радушно свои двери с самых спозаранок. Но нужда, изощряющая таланты, сделала ум Котина столь острым, что он из

этого мимоходного положения своего храма извлекал сугубую выгоду. Он сидел здесь на водоразделе течения и «перелавливал богомулов», так что они не могли попадать к святыням Десятинной и Подола, пока Котин их «трохи не вытрусит». Делал он это с превеликою простотою, тактом и с такою отвагою, которою даже сам хвалился.

— Тиі богомулы, що у лавру до святых поприходили,— говорил он,— тих я до себе затягти не можу, не про те, що мій храм такій малесенькій, а про те, що лавра на такім пути, що іі скрізь видно. Од них вже нехай лаврикові торгуют. А що до подольських, або до Десятинного, то сіи вже нехай собі пальци поссуть, як я им дам що уторгувати и необібраних богомулів спущу им.

Он «обирал» богомулов вот каким образом: имея подле себя «карнавку», Котин, чуть завидит или заслышит двигающихся тяжелыми ногами «богомулов», начинал «трясти грош» в ящичке и приговаривать:

— Богомули! богомули! Куды це вы? Жертвуйте, жертвуйте до церковці Ивана Золотоустого!

И чуть мужички приостанавливались, чтобы достать и положить по грошу, Котин вдруг опутывал их ласкою. То он спрашивал: «звіткиля се вы?», то «як у вас сей год житечко зародило?», то предложит иному «ужить таба́ки», то есть понюхать из его тавлинки, а затем и прямо звал в церковь.

— Идить же, идить до храму святого... усходьте... я вам одну таку святыньку покажу, що ніде іі не побачите.

Мужички просились:

— Мы, выбачайте, на Подол йдемо, та до князя Владимпра.

Но Котин уже не выпускал «богомула».

— Ну та що там таке у святого Владимира? — начинал он с неодолимою смелостию ученого критика.— Бог зна, чи що там есть, чи чого нема. Він собі був ничого, добрый князь; але, як усі чоловіки, мав жінку, да ще не едину. Заходьте до мене, я вам свячену штучку покажу, що святив той митрополит Евгений, що під софийским під полом лежить... Евгений, то бачите, був, ений (Котин почему-то не говорил *гений*).

А во время такого убедительного разговора он уже волок мужика или бабу, которая ему казалась влиятельнее прочих в группе, за руку и вводил всех в церковь и подводил их к столу, где опять была другая чаша с водой, крест, кропило и блюдо, а сам шел в алтарь и выносил оттуда старенький парчовый воздух и начинал всех обильно кропить водою и отирать этим перепачканным воздухом, приговаривая:

— Боже благослови, боже благослови!.. Умыхся еси, отерся еси... Вот так: умыхся и отерся... И сей умыхся... Як тебя звать?

«Богомул» отвечает: «Петро» или «Михал».

— Ну вот и добре — и Петро умыхся, отерся... То наш ений Евгений сей воздух святив... цілуйте его, християне, собі на здоровье... души во спасение... во очищение очес... костей укріпление...

И потом вдруг приглашал прилечь отдохнуть на травке около церкви или же идти «впрост — до батюшки, до господы», то есть на двор к отцу Евфиму, который был тут же рядом.

Котину почти ежедневно удавалось заманить нескольких «богомулов» на батюшкин двор, где им давали огурцов, квасу и хлеба и место под сараем, а они «жертвовали» кто что может.

Выходило это так, что и «богомулам» было безобидно и «дома» хозяину выгодно. Каждый день был «свежий грош», а на другое утро «богомулы шли опустошени», и Котин их сам напутствовал:

— Ідіть теперички, християне, куди собі хочете,— хоть и до святого Владимира.

Перехожая пошлина с них у Ивана была уже взята.

Таков был простодушный, но усердный печальник о семье беспечального отца Евфима в первое время; но потом, когда Евфима перевели на место усопшего брата его Петра в Троицкую церковь, его начали знать более вид-

ные люди и стали доброхотствовать его семье, о которой сам Евфим всегда заботился мало.

— Наш батюшка,— говорил Котин,— завжди в росході, бо ёго люди дуже люблять.

Это была и правда. Ни семейная радость, ни горе не обходилось без «Юхвима». Ему давали «за руки» спорные деньги, его выбирали душеприказчиком, и он все *чужие дела* исполнял превосходно. Но о своих не заботился нимало и довел это до того, что «сам себя изнищил».

Вот событие, которым он одно время удивил Киев и дал многим хороший повод оклеветать его за добро самыми черными клеветами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Был в Киеве уездный казначей Осип Семенович Ту — ский, которого привез с собой из Житомира председатель казенной палаты Ключарев. Мы этого чиновника знали мало, а отец Евфим *нисколько*. Вдруг при одной поверке казначейства новым председателем Кобылиным оказался прочет в казенных суммах, кажется, около двадцати тысяч рублей, а может быть и несколько меньше. Казначей был известен своею честностью и аккуратностию. Как образовался этот прочет — я думаю, никто наверно не знает, потому что дело было замято; но ранее того семье казначея угрожала погибель. Об этом много говорили и очень сожалели маленьких детей казначея.

Дошло это дело до Евфима и ужасно его тронуло. Он задумался, потом вдруг заплакал и воскликнул:

— Тут надо помочь!

— Как же помочь? надо заплатить деньги.

— Да, конечно, надо заплатить.

— А кто их заплатит?

— А вот попробуем.

Отец Евфим велел «запречь игумена» (так называл он своего карого коня, купленного у какого-то игумена) и поехал к Кобылину с просьбою подержать дело в секрете два-три дня, пока он «попробует».

Председателю такое предложение, разумеется, было во всех отношениях выгодно, и он согласился ожидать, а Евфим пошел гонять своего «игумена». Объездил он всех друзей и приятелей и у всех, у кого только мог, просил пособить — «спасти семейство». Собрал он немало, помнится, будто тысяч около четырех, что-то дал и Кобылин; но недоставало все-таки много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется тысяч двенадцать или даже более.

У нас были советы, и решено было «собранное сберечь для семьи», а казначея предоставить его участи. Но предобрейшему Евфиму это не нравилось.

— Что там за участь детям без отца! — проговорил он, и на другой же день *взнес все деньги*, сколько их следовало.

Откуда же он их взял?

Он *разорил свое собственное семейство*: он заложил дом свой и дом тещи своей, вдовы протоиерея Лободовского, надавал векселей и сколотил сумму, чтобы выручить человека, которого, опять повторяю, *он не знал*, а узнал только о постигшем его бедствии...

Рассудительным или безрассудным кому покажется этот поступок, но во всяком случае он столь великодушен, что о нем стоит вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дети Ботвиновского призрены, то поневоле приходится повторить с псалмопевцем: «Не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлеба».

Другого такого поступка, совершенного с полнейшею простотою сверх сил и по одному порыву великодушия, я не видал ни от кого, и когда при мне говорят о пресловутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что

самый, до безрассудности, бескорыстный человек, какого я видел,— это *был поп*.

Поступок Евфима не только не был оценен, но даже был осмеян и послужил поводом к разнообразным клеветам, имевшим дурное влияние на его расположение и положение.

С этих пор он начал снова захудевать, и все в его делах пошло в расстройство: дом его был продан, долг теще его тяготил и мучил; он переехал к своей, перенесенной на Новое Строение, Троицкой церкви и вдобавок овдовел, а во вдовстве такой человек, как Евфим, был совершенно невозможен.

Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, веселого и доброго нрава, терпеливая, прощающая и тоже беззаботная. Лучшей пары о. Евфиму и на заказ нельзя было подобрать, но когда в делах их пошел упадок и она стала прихварывать, ей стало скучно, что мужа никогда почти не было дома. Она умерла как-то особенно тихо и грустно, и это обстоятельство вызвало в о. Евфиме еще один необыкновенный порыв в свойственном ему малорассудительном, но весьма оригинальном роде. Мало удосуживаясь видеть жену свою при ее жизни, он *не мог* расстаться с нею с мертвою, и это побудило его решиться на один крайне рискованный поступок, еще раз говорящий о его причудливой натуре.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Троицкая церковь, к которой перешел о. Евфим после смерти своего брата, находилась в Старом Киеве, против здания присутственных мест, где ныне начинается сквер со стороны Софийского собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и вдобавок ветхая, как и церковь Иоанна Златоуста, находившаяся по другую сторону присутственных мест, и с постройкою этих последних ее решено было перенести на Новое Строение, где, конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши название прежней. О. Евфим сам распоряжался постройкою церкви и осуществил при этом некоторые свои фантазии. Так, например, в бытность его в Петербурге он мне рассказывал, что устроил где-то в боковой части алтаря маленькую «комору под землею»,— чтобы там летом, в жары, хорошо было от мух отдыхать.

Я не видел этой «коморы» и не знаю, как она была устроена, но знаю несомненно, что она есть и что в ней скрывается теперь ни для кого уже не проницаемая тайна.

— Где схоронена покойная Елена Семеновна? — спросил я о. Евфима, рассказывавшего мне тяжесть своего вдового положения.

— А у меня под церковью,— отвечал он.

Я удивился.

— Как,— говорю,— под церковью? Как же вы это могли выхлопотать? Кто вам разрешил?

— Ну вот,— говорит,— «разрешил»! Что я за дурак, чтобы стал об этом кого-нибудь спрашивать? Разумеется, никто бы мне этого не разрешил. А я так, чтобы она, моя голубонька, со мною не расставалась,— я *сам ее закопал под полом в коморе* и хожу туда и плачу над нею.

Это мне казалось невероятным, и я без стеснения сказал о. Евфиму, что ему не верю, но он забожился и рассказал историю погребения покойницы под церковью в подробностях и с такою обстоятельностью, что основание к недоверию исчезло.

По словам о. Евфима, как только Елена Семеновна скончалась, он и два преданные ему друга (а у него их было много) разобрали в нижней «коморе» пол и сейчас же стали *своими руками* копать могилу. К отпеванию покойной в церкви — могила была готова. Приготовлялась ли тоже, как следовало, могила на кладбище,— я не спросил. Затем покойную отпели в большом собрании духовенства и, кажется, в предстоянии покойного Филарета Филаретова, который тогда был еще архимандритом и ректором Киевской академии.

По отпевании и запечатлении гроба *вынос был отложен* до завтра, будто за неготовностью могильного склепа. Затем, когда отпевавшее духовенство удалилось, о. Евфим с преданными ему двумя друзьями (которых он называл) пришли ночью в церковь и *похоронили покойницу в могиле, выкопанной в коморе под алтарем.* (Один из друзей-гробокопателей был знаменитый в свое время в Киеве уголовный следователь, чиновник особых поручений генерал-губернатора, Андрей Иванович Друкарт, впоследствии вице-губернатор в Седлеце, где и скончался.) Потом пол опять застлали, и след погребения исчез навсегда, «до радостного утра» [1].

Покойный епископ Филарет Филаретов, кажется, знал об этом. По крайней мере, когда я его спрашивал, *где* погребена Елена Семеновна,— он, улыбаясь, махал рукою и отвечал:

— Бог его знает, где он ее похоронил.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Как же относились к такому священнику люди?

Моралисты и фарисеи его порицали, но простецы и «мытари» любили «предоброго Евфима» и, как писал мне преосвященный Филарет, «провожали его с большим плачем».

Не каждого так проводят даже и из тех, кои «посягли все книги кожаны» и соблюли все посты и «субботы».

И как было не плакать о таком простяке, который являл собою живое воплощение добра! Конечно, он не то, что пастор Оберлин; но он наш, простой русский поп, человек, может быть, и безалаберный, и грешный, но всепрощающий и бескорыстнейший. А много ли таких добрых людей на свете?

А что думало о нем начальство?

Кажется, неодинаково. О. Евфим служил при трех митрополитах. Митрополит Исидор Никольский был мало в Киеве и едва ли успел кого узнать. Преемник его Арсений Москвин *не* благоволил к Ботвиновскому, но покойный добрейший старик Филарет Амфитеатров его очень любил и жалел и на все наветы о Ботвиновском говорил:

— Все, чай, пустяки... Он добрый.

Раз, однако, и он призывал Евфима по какой-то жалобе или какому-то слуху, о существе коего, впрочем, на митрополичьем разбирательстве ничего обстоятельно не выяснилось.

О разбирательстве этом рассказывали следующее: когда Филарету наговорили что-то особенное об излишней «светскости» Ботвиновского, митрополит произвел такой суд:

— Ты Б*а*твин*е*вск*о*й? — спросил он обвиняемого.

— Б*о*твин*о*вск*ий*,— отвечал о. Евфим.

— Что-о-о?

— Я Б*о*твин*о*вск*ий*.

Владыка сердито стукнул по столу ладонью и крикнул:

— Врешь!.. Б*а*твин*е*вск*о*й!

Евфим молчал.

— Что-о-о? — спросил владыка.— Чего молчишь? повинись!

Тот подумал,— в чем ему повиниться? и благопокорно произнес:

— Я Б*а*твин*е*вск*о*й.

Митрополит успокоился, с доброго лица его радостно исчезла непривычная тень напускной строгости, и он протянул своим беззвучным баском:

---

[1] Собранные мною по поводу предложенного рассказа сведения подтвердили вполне его достоверность: никто из людей, знавших супругов Ботвиновских, не помнит факта провода на кладбище тела умершей жены о. Евфима, а помнят только факт совершенного над нею торжественного отпевания и предложенной затем изобильной поминальной трапезы. (*Примеч. автора.*)

— То-то и есть... Б*а*твин*е*вск*ой*!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди к своему месту.

А «прогнав» таким образом «Б*а*твин*е*вск*ого*», он говорил наместнику лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:

— Добрый мужичонко этот Батвиневской,— очень добрый... И повинился... Скверно только, зачем он трубку из длинного чубука палит?

Инок отвечал, что он этого не знает, а добрый владыка разворковался:

— Это, смотри, его протопоп Крамарев обучил... Университетский! Скажи ему, чтобы он университетского наученья не смущал, чтобы из длинного чубука не курил.

Очевидно, что в доносе было что-то о курении. Отец Евфим и в этом *исправился*,— он стал курить папиросы.

К сему разве остается добавить, что Ботвиновский был очень видный собою мужчина и, по мнению знатоков, в молодости превосходно танцевал мазурку, и... искусства этого никогда не оставлял, но после некоторых случайностей танцевал «только на именинах» у прихожан, особенно его уважавших.

Мне думается, что такой непосредственный человек непременно должен иметь место среди киевских *антиков*, и даже, может быть, воспоминание о нем окажется самым симпатичным для киевлян, между коими, вероятно, еще немало тех, что «шли, плача, за его гробом».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

О *киевских богатырях* я знаю мало. Видоизменяясь от облика Ильи и Чурилы до фигуры Остапа Бульбы, к моему времени в Киеве они являлись в лицах того же приснопамятного Аскоченского, студента Кол—ова и торгового человека (приказчика купца Козловского) Ивана Филипповича Касселя (чистого, беспримесного хохла, наказанного за какой-то родительский грех иноземною кличкою).

О силе Аскоченского говорили много, приводя примеры, что будто ее иногда поневоле принимали в соображение бывший в его время ректором «русский Златоуст» Иннокентий Борисов и инспектор Иеремия. Достоверного в этом кажется то, что когда инспектор отобрал раз у студентов чубуки и снес их к Иннокентию, то Аскоченский, с его «непобедимою дерзостию», явился к Иннокентию «требовать *свою собственность*». А когда Иннокентий назвал это нахальством и приказал наглецу «выйти вон», то Аскоченский взял «весь пук чубуков» и сразу все их переломил на колене.

Все остальное, что касается его легендарной силы, выражалось в таком роде: он все «ломал». Более всего он ломал, или, лучше сказать, гнул, за столами металлические ножи, ложки, вилки, а иногда подсвечники. Делал он это всегда сюрпризом для хозяев, но не всегда к их большому удовольствию.

О «непобедимых его дерзостях» рассказывалось тоже много, но над всем предоминировало сообщение о «стычке его с профессором Серафимом» на лекции церковной истории.

Дело было так, что профессор после беспристрастного изложения фактов пришел научным путем к достоверному выводу, который изложил в следующих словах:

— Итак, мы ясно видели, что мать наша, святая православная церковь в России, приняв богоучрежденные постановления от апостолов, ныне управляется *самим духом святым*.

— В генеральском мундире!— отозвался с своей парты Аскоченский.

Профессор смутился и, как бы желая затушевать неуместное вмешательство студента, повторил:

— Самим духом святым.

Но Аскоченский снова не выдержал и еще громче произнес:

— Да, в генеральском мундире!

— Что ты под сим разумеешь?— спросил его Серафим.

— Не *что*, а *нечто*,— отвечал Аскоченский и пояснил, что он разумеет военного обер-прокурора синода Н. Ал. Протасова.

Серафим пошел жаловаться к Иннокентию, но тот как-то спустил это мягко.

Последний факт «непобедимой дерзости» Аскоченского был не в его пользу. Это случилось тогда, когда в одно время сошлись на службе в Каменце Аскоченский, занимавший там место совестного судьи, и бывший его начальник по Воронежской семинарии Елпидифор, на эту пору архиепископ подольский.

Архиепископ Елпидифор был изрядно нетерпелив и вспыльчив, но в свою очередь он знал предерзостную натуру Аскоченского, когда тот учился в Воронежской семинарии. Однажды Елпидифор служил обедню в соборе, а Аскоченский стоял в алтаре (любимое дело ханжей, позволяющих себе нарушать церковное правило и стеснять собою служащее духовенство).

Во время литургии какой-то диакон или иподиакон что-то напутал, и вспыльчивый владыка сказал ему за это «дурака».

Тем дело и кончилось бы, но после обедни у епископа был пирог, и к пирогу явился Аскоченский, а во время одной паузы он ядовито предложил такой вопрос:

— Владыка святый! что должен петь клир, когда архиерей возглашает «дурак»?

— «Совестный судья»,— отвечал спокойно епископ.

— А я думал: «и духови твоему»,— отвечал «непобедимый в дерзости» Аскоченский, но вскоре потерял место совестного судьи и навсегда лишился службы.

Другой *богатырь*, Кол—ов, действительно обладал силою феноменальною и ночами ходил «переворачивать камни у Владимира». Идеал его был «снять крепостные вороты и отнести их на себе на Лысую гору», которой тогда еще не угрожал переход в собственность известного в России рода бояр Анненковых. Тогда там слетались простые киевские ведьмы. Но ворот Кол—ов не снял, а погиб иным образом.

Третий, самый веселый богатырь моего времени был Иван Филиппович Кассель, имеющий даже двойную известность в русской армии. Во-первых, торгуя военными вещами, он обмундировал чуть ли не всех офицеров, переходивших в Крым через Киев, а во-вторых, он положил конец большой войне, не значащейся ни в каких хрониках, но тем не менее продолжительной и упорной.

Не знаю, с какого именно повода в Киеве установилась вражда невражда, а традиционное предание о необходимости боевых отношений между студентами и вообще статскою молодежью с одной стороны и юнкерами — с другой. Особенно считалось необходимым «бить саперов», то есть юнкеров саперного училища. Шло это с замечательным постоянством и заманчивостью, которая увлекала даже таких умных и прекрасных людей, как Андрей Иванович Друкарт, бывший в то время уже чиновником особых поручений при губернаторе Фундуклее.

С утра, бывало, сговариваются приходить в трактир к Кругу или к Бурхарду, где поджидались саперные юнкера, и там «их бить».

Ни за что ни про что, а так просто «бить».

Но иногда для этого выезжали на дубу или пешком отправлялись «за мост» к Рязанову или на Подол, к Каткову, и там «бились».

Порою с обеих сторон были жертвы, то есть не убитые, но довольно сильно побитые, а война все упорствовала, не уставала и грозила быть такою же хроническою, как война кавказская. Но случилось, что в одной стычке юнкеров (сделавших вылазку из урочища Кожемяки) с статскою партиею (спускавшеюся от церкви св. Андрея) находился Кассель. Будучи призван к участию в битве, Иван Филиппыч один положил на землю всех неприятелей, а потом заодно и всех своих союзников. В пылу битвы он не мог

успокоиться, пока не увидал вокруг себя *всех* «полегшими». Это было так не по сердцу для обеих воюющих сторон, что с этим разом битвы прекратились.

Богатырей, прославленных силою, более уже не было. Эти, кажется, были последние.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

О *кладах* мне только известно в смысле литературном. Где-то и у кого-то в Киеве должен храниться один очень драгоценный и интересный литературный клад — это одно действительно меткое и остроумное сочинение В. И. Аскоченского, написанное в форме речи, произносимой кандидатом епископства при наречении его в архиереи. Речь новонарекаемого епископа, сочиненная Аскоченским, не только нимало не похожа на те речи, какие обыкновенно при этих важных случаях произносятся, но она им диаметрально противоположна по направлению и духу, хотя сводится к тем же результатам. В заправдашних речах кандидаты обыкновенно говорят о своих слабостях и недостоинствах — вообще сильно отпрашиваются от епископства, боясь, что не пронесут обязанностей этого сана, как следует. Потом едва только к концу, и то лишь полагаясь на всемогущую благодать божию и на воспособляющую силу молитв председящих святителей, они «приемлят и ни что же вопреки глаголят». Но речь Аскоченского идет из иного настроения: его кандидат епископства, человек смелого ума и откровенной прямой натуры, напоминает «Племянника г-на Рамо». Он смотрит на жизнь весело и не видит никакой надобности возводить на себя самообвинения в тяжких недостоинствах. Напротив, нарекаемый епископ Аскоченского признается, что сан епископский ему издавна весьма нравится и очень ему приятен. Он рассказывает даже, какие меры и усилия он употребил для достижения своей цели — быть епископом. Потом говорит и о своих «недостоинствах», но опять по-своему: он не ограничивается общим поверхностным упоминанием, что у него есть «недостоинства», а откровенно припоминает их, как добрый христианин доброго времени, стоящий на открытой, всенародной исповеди. Кандидат доводит свою откровенность до того, что «недостоинства» его в самом деле как будто заставляют опасаться за его годность к епископскому служению, и за него становится и страшно и больно... Но вдруг живая душа исповедника делает быстрый взмах над миром и зрит оттуда с высот, что и другие, приявшие уже ярем епископства, были не только не достойнее его, но даже и после таковыми же остались. А он клянется, что когда ему на епископстве станет жить хорошо, то он, как умный человек, ни за что не станет искать никаких пустяков, не имеющих прямой цены для счастия, и «потому приемлет и ни что же вопреки глаголет».

Аскоченский мне сам читал эту речь, замечательную как в литературном, так и в историческом отношении, и читал он ее многим другим, пока об этом не узнал покойный митрополит московский Иннокентий Вениаминов. Он *запретил* Аскоченскому читать эту речь и давать ее списывать, а Виктор Ипатьич, часто прибегая к Иннокентию по делам своего изнемогавшего издания и другим личным нуждам, дал слово митрополиту запрет этот исполнить. В «Дневнике» Аскоченского, который я, по редакционной обязанности *весь прочел* прежде приобретения его редакциею «Исторического вестника», *нет этой речи*. Это тем более удивительно, что в «Дневнике» записано множество выходок, гораздо менее удачных и литературных шалостей, несравненно более непристойных и дерзких по отношению к предстоятелям церкви. Может быть, Аскоченский вырвал эти листы в угоду митрополиту, который, по словам Виктора Ипатьича, «просто позволил ему *обыскивать свой бумажник*». Во всяком случае этот литературный киевский клад[1] очень интересен как

[1] Указывают еще другой клад, оставленный В. И. Аскоченским в Киеве и находящийся, вероятно, и теперь у кого-либо из его киевских знакомых. Это обширное его исследование о тогдашнем состоянии русских университетов, озаглавленное так: «Наши

для характеристики самого Аскоченского, так и в смысле определения прозорливости тех, которые чаяли видеть в Викторе Ипатьевиче защитника падающего авторитета своего сана, с дозволением иногда *«обыскивать* их бумажники».

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Затем еще «последнее сказание» — тоже касающееся киевских преданий и литературы.

Когда в «Русском вестнике» М. Н. Каткова был напечатан мой рассказ «Запечатленный ангел», то в некоторых периодических изданиях при снисходительных похвалах моему маленькому литературному произведению, было сказано, что «в нем передано событие, случившееся при постройке киевского моста» (разумеется, *старого*). В рассказе идет дело об иконе, которую чиновники «запечатлели» и отобрали в монастырь, а староверы, которым та икона принадлежала, подменили ее копиею во время служения пасхальной заутрени. Для этого один из староверов *прошел с одного берега реки на другой при бурном ледоходе по цепям.*

Всем показалось, что мною в этом рассказе описана киевская местность и «событие, случившееся тоже в Киеве». Так это и остается до сей поры.

Позволю себе ныне заметить, что первое совершенно справедливо, а второе — нет. Местность в «Запечатленном ангеле», как и во многих иных моих рассказах, действительно похожа на Киев,— что объясняется моими привычками к киевским картинам, но *такого происшествия*, какое передано в рассказе, *в Киеве никогда не происходило*, то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил. А было действительно только следующее: однажды, когда цепи были уже натянуты, один калужский каменщик, по уполномочию от товарищей, сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский *по цепям*, но не за иконою, а *за водкою*, которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле. Налив бочонок водки, отважный ходок повесил его себе на шею и, имея в руках шест, который служил ему балансом, благополучно возвратился на киевский берег с своею корчемною ношею, которая и была здесь распита во славу св. Пасхи.

Отважный переход по цепям действительно послужил мне *темою* для изображения отчаянной русской удали, но цель действия и вообще вся история «Запечатленного ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена.

1883

университеты». Ф. Г. Лебединцев читал эту толстую, листов в 70, рукопись, написанную в 1854 или 1855 году. В ней Аскоченский с беспощадною резкостию осуждает весь строй университетский и раскрывает недуги профессоров банковского направления. Рукопись наполнена массою самых неприглядных фактов, обличавших пустоту университетских чтений, грошовое либеральничество профессоров и поврежденность нравов студентов, и пр., и пр. Рукопись шибко ходила по рукам и произвела в ученом и административном мире бурю, кончившуюся тем, что бесшабашного автора, как неслужащего дворянина, посадили на две недели на гауптвахту при киевском ордонанс-гаузе.

Рассказывали в ту пору, что когда Аскоченский был «приличным образом» доставлен к тогдашнему киевскому генерал-губернатору кн. Васильчикову, последний дал Аскоченскому прочесть ту статью из Свода Законов, которая грозила ему чем-то вроде высылки «в места отдаленные». Аскоченский нимало не сробел: он прочел статью, положил книгу и улыбнулся.

— Вас, стало, это забавляет? — спросил его добродушный князь Васильчиков.

Аскоченский пожал плечами и ответил:

— Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться в Сибирь. Мне смешно другое.

Васильчиков не продолжал разговора и послал его под арест.

В этой записке, по словам Лебединцева, было много очень умного, дельного и справедливого, так что автору было за что посидеть под арестом.

Но где эти два едва ли не самые лучшие произведения ума и пера Аскоченского? Неужто они пропали! (*Примеч. автора.*)

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Рассказ на могиле

(Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)

Души их во благих водворятся.

Погребальная песнь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебренники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».

В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные «*утешительные выражения*», свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства,— я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни...

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она несомненно была в свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и... иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он был собрат пашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с *идеями*,— словом, *художник*.

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребенком в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

— Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?

— Страшное, няня.

— Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.

Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда «на мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

— Призовут его, бывало,— говорила Любовь Онисимовна,— и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался,— так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец и «*всем* нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того *всегда* держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому

что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил[1].

Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.

Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы.

— Нас, актрис,— говорила Любовь Онисимовна,— берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут *кормилиц*; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам»,— тот, кто его уставил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице»"и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли *наглядкою*».

В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

— Тут,— говорила Любовь Онисимовна,— я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал — заглядение.

---

[1] Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который *сам видел*, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. (*Примеч. автора.*)

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

— За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, и иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизованную innocence[1] доставляли на графскую половину.

— Это,— говорила няня,— по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А в эти самые роковые часы другое — тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил и формы не надевал и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.

А требовалось много.

— Теперь этого и не понимают, как тогда было строго,— говорила няня.— Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн.Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе,— как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать,— от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали — от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось — чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:

— Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь — бери золото и уходи, а если обрежешь

[1] Невинность (*фр.*).

один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь,— то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою,— думают,— и с твоим золотом».

— Мы,— говорят,— этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

— Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.

Граф отвечает брату:

— Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь — разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

— А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.

— После того,— говорит,— если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется — я его запорю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

— Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.

— Хорошо,— говорит граф,— пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

— И это,— говорит,— последнее твое слово, брат?

— Да, последнее.

— И в этом только все дело?

— Да, в этом.

— Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего *пуделя остричь*. А там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

— Хорошо,— говорит,— пуделя остричь я его пришлю.

— Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:

— Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.

Аркадий спрашивает:

— Только ли будет всего приказания?

— Ничего больше,— говорит граф,— но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией.

Аркадий Ильич пошатнулся.
Граф говорит:
— Что это с тобой?
А Аркадий отвечает:
— Виноват, на ковре оступился.
Граф намекнул:
— Смотри, к добру ли это?
А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.
Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.
Графов брат говорит:
— Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине, и получай десять золотых, а если обрежешь,— убью.
Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг,— господь его знает, что с ним сделалось,— стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:
— Прощайте.
Тот отвечает:
— Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?
А Аркадий говорит:
— Отчего я решился — это знает только моя грудь да подоплека.
— Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?
— Пистолеты — это пустяки,— отвечает Аркадий,— об них я и не думал.
— Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.
Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:
— Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.
И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:
— Не бойся, увезу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незаметно.
Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись.— Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.
И все мы млеем и крестимся:

— Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

— Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет.

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так — чего никогда с ним не бывало — столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

— Тро боку, тро боку! — и щеточкой лишнее с меня счистил.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено,— терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут,— говорит,— змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню...

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг — тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят,— один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании,— понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

— Любушка голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади — все из глаз пропало.

Аркадий говорит:

— Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица — тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

— Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашивает:

— А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?

Аркадий говорит:

— Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся.

Тот говорит:

— Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых,— я вас здесь окручу.

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

— Ох, светы мои, все бы это ничего — не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет,— прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:

— Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно,— она вся как голая.

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:

— Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:

— А ты, свет, вот сюда.

Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, решатчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо,— весь трясется перед дворецким и крестится и кричит скоренько:

— Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я»,— думаю, видя, как это он чудо делает.

Дворецкий тоже зто увидал и говорит:

— Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов.

А поп опять замахал рукою:

— Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл.

А с зтим все себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

— Вылезай,— говорит,— соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.

А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

— Да,— говорит,— видно, нечего делать, ваша взяла,— везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

— Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про зто пресветлому графу.

Дворецкий ему отвечает:

— Ничего, не беспокойся, все это ему причтется,— и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается,— думают, может быть, свадьба.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.

Я всем говорю:

— Ах, даже нисколечко!

Тут что́ мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым,— той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем...

Как почуяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бежать... а дверь заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней... И ни ножа, ни гвоздя — ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти,— такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает — мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе... «Это вон там было»,— поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

— Она, как убралася перед вечером,— продолжала няня,— сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: — Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала,— на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись...

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

— Что это?

А она отвечает:

— Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения.

Я говорю:

— Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу.

Она говорит:

— Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила... добрые люди мне дали... Теперь и не могу — надо мне это, а ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу,— очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: *его* господь уж от тиранства избавил!

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы — белые... Что это!

А она мне говорит:

— Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства, спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было,— я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу... Отсосаться надо... жжет сердце.

И все сосала, все сосала и заснула.

Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

— Спит горе или не спит?

Я отвечаю:

— Горе не спит.

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал:

— Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою — я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская.

— Ему,— говорила пестрядинная старушка,— теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть,— что пасть в сражении, а не господское тиранство.

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер,— потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я огляпулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.

«Наверно,— думаю,— это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать, и глазам своим не верю...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Писано:

«Верная моя Люба! Сражался я и служил государю и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на

леченье даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом всевышнего создателя».

— А дальше,— продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством,— писал так, что, «какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а всё за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

— Что такое они говорили, того я,— сказывала она,— ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему:

— Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?

А он отвечает:

— Это,— говорит,— они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем,— говорит,— горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем.

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется,— указала она на мрачные и седые развалины,— а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу помяну...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула», или «пососала», но я ее спросил:

— А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

— Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер,— его и за обедней и дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли, и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал — жив остался и в каторжную работу клейменый пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто

кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелканул, так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли — доро́гой умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить — всех орловских убью».

— Ну, а вы же,— говорю,— на похоронах были или нет?

— Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

— И прощались с ним?

— Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный,— говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал... Сколько зто он своей крови пролил...

Она умолкла и задумалась.

— А вы,— говорю,— сами после зто каково перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

— Поначалу не помню,— говорит,— как домой пришла... Со всеми вместе ведь — так, верно, кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:

— Ну, так нельзя,— ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо — ты плачь, чтобы из сердца исток был.

Я говорю:

— Не могу, теточка,— сердце у меня как уголь горит, и истоку нет.

А она говорит:

— Ну, значит, теперь плакона не миновать.

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

— Прежде я сама тебя до зтого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь — пососи.

Я говорю:

— Не хочется.

— Дурочка,— говорит,— да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь зтим ядом — на минуту гаснет. Соси скорее, соси!

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь без зтого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты, хороший мальчик, мамаше зтого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».

— Спасибо, голубчик,— не говори: мне зто нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку,— юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать — фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

1883

ЗВЕРЬ

И звери внимаху святое слово.
Житие старца Серафима

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я — маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать,— мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит

что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем — он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор,— но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал *по бревну*) на поляну, и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером, и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, *матерым* медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь впе-

ред передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора — звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем поottоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход — *на казнь...*

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «большички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

— Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно — взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому ме́сту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава богу,— добавил он,— что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всяческие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт — известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник — двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь — тоже божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стремянных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал в чем дело и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которую и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но..., медведь опять-таки не показывался...

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он *сам вывел* оттуда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму...

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

— Обнимает и лижет Храпошку,— крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из творила ямы как бы из преисподней показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом наруже веревки. Но Ферапонт выходил *не один:* рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку...

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом

в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался

в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки...

Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены...

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее — *Сганарель ушел.* Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ — завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

— К лучшему это, однако, или нет? — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

— Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия — она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о *даре*, который и нынче, как и «во время óно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по *его* учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...

Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки... Но вот он уронил и ее, и... ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *он плакал!*

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

— Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

— Стань здесь! — велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

— Встань... поднимись! — сказал дядя.— Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

— Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

— Благодарю и никуда не пойду,— воскликнул Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду,— повторил Ферапонт.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

— У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были — мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: *«укротитель зверя»*.

1883

ГРАБЕЖ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени.

Говорили: и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все проворовались.

А случившийся в компании старый орловский купец говорит:

— Ах, господа, как надойдет воровской час, то и честные люди грабят.

— Ну, это вы шутите.

— Нимало. А зачем же сказано: «Со избранными избран будеши, а со строптивыми развратишися»? Я знаю случай, когда честный человек на улице другого человека ограбил.

— Быть этого не может.

— Честное слово даю — ограбил, и если хотите, могу это рассказать.

— Сделайте ваше одолжение.

Купец и рассказал нам следующую историю, имевшую место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе Орле, незадолго перед знаменитыми орловскими истребительными пожарами. Дело происходило при покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком.

Вот как это было рассказано.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я орловский старожил. Весь наш род — все были не последние люди. Мы имели свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных.

Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правила матушка Арина Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я, по воле родительской, был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мною никакого не было, и к храму господню я имел усердие и страх. Еще же жила при нас маменькина сестра, а моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это — уж совсем была святая богомолка. Мы были, по батюшке, церковной веры и к Покрову, к препочтенному отцу Ефиму приходом числились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности: из своего особливого стакана пила и ходила молиться в рыбные ряды, к староверам. Матушка и тетенька были из Ельца и там, в Ельце и в Ливнах, очень хорошее родство имели, но редко с своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед орловскими гордиться и в компании часто бывают воители.

Домик у нас у Плаутина колодца был небольшой, но очень хорошо, по-купечески, обряжен, и житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лет про-

живши на свете, я только и ходу знал, что в ссыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник к ранней обедне, в Покров,— и от обедни опять сейчас же домой, и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали или не говорил ли отец Ефим какую проповедь; а отец Ефим был из духовных магистров, и, бывало, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь. Театр тогда у нас Турчанинов содержал, после Каменского, а потом Молотковский, но мне ни в театр, ни даже в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не дозволяли. «Ничего, дескать, там, в «Вене», хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки». Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось — прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяконом бойцовых гусей спускают или как мещане и семинаристы на кулачки бьются.

Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартального Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе как не повредил — квартальный его, бывало, на себе в плетушке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и когда дрался — страшно гоготал и шипел. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, или к Навугорской заставе; тут сходились и шли, стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащат домой человека на руках и отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А многие оставались, но чахли. Мне же от маменьки позволение было только смотреть, но самому в стену чтобы не становиться. Однако я грешен был и в этом покойной родительнице являлся непослушен: сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семинарская стена на нее очень наваливает и гнать станет,— то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор такая состояла, что, бывало, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята, духовенных!» да как почну против себя семинаристов подавать, так все и посыпятся. Но славы себе я не искал и даже, бывало, всех об одном только прошу: «Братцы! пожалуйста, сделайте милость, чтобы по имени меня не называть»,— потому что боялся, чтобы маменька не узнали.

Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом ишла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками баловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Начали к нам по этому случаю приходить в салопах свахи, и с Нижних улиц, и с Кромской, и с Карачевской, и разных матушке для меня невест предлагали. От меня это все велось в секрете, так что все знали больше, чем я. Трепачи наши под сараем, и те, бывало, говорят:

— Тебя, Михайло Михайлыч, маменька женить собирается. Как же ты сам на это, сколько согласен? Ты смотри — знай, что жена тебя после венца щекотать будет, но ты не робей — ты ее сам как можно щекочи в бока, а то она тебя защекочет.

Я, бывало, только краснею. Догадывался, разумеется, что что-то до меня касается, но сам никогда не слыхал, про каких невест у маменьки с свахами идут разговоры. Как придет одна сваха или другая — маменька с нею запрутся в образной, сядут ко крестам, самовар спросят и всё наедине говорят, а потом сваха выйдет, погладит меня по голове и обнадеживает:

— Не тужи, молодчик Мишенька: вот уж скоро не будешь один скучать, скоро мы тебя обрадуем.

А маменька даже, бывало, и за это сердятся и говорят:

— Ему это совсем не надо знать; что я над его головой решу, то с ним и быть должно. Это как в Писании.

Я и не тужил; мне было все равно: жениться так жениться, а придет дело до щекотки, тогда увидим еще, кто кого.

Тетушка же Катерина Леонтьевна шла против маменькиного желания и меня против их научала.

— Не женись,— говорила,— Миша, на орловской — ни за что не женись. Ты смотри: здешние, орловские, все как переверчены — не то они купчихи, не то благородные. За офицеров выходят. А ты проси мать, чтобы она взяла тебе жену из Ельца, откуда мы сами с ней родом. Там в купечестве мужчины гуляки, но невесты есть настоящие девицы: не щепотницы, а скромные — на офицеров не смотрят, а в платочке молиться ходят и старым русским крестом крестятся. На такой как женишься, то и благодать в дом приведешь, и сам с женой по-старому молиться начнешь, а я тебе тогда все свое добро откажу, а ей отдам свое божие благословение, и жемчуг окатный, и серебро, и пронизи, и парчовые шугаи, и телогреи, и все болховское вязание.

И было у тетеньки с маменькой на этот счет тихое между них неудовольствие, потому что маменька уже совсем были от старой веры отставши и по новым святцам Варваре-великомученице акафист читали. Они жену мне хотели взять из орловских для того, чтобы у нас было обновление родства.

— По крайней мере,— говорили,— чтобы на прощеные дни, перед постом, было нам к кому на прощанье с хлебами ездить и к нам чтобы было кому завитые хлебы привозить.

Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и в посту в чай с медом обмакивать, а у тетеньки надо всем выше стояло их древнее благочестие.

Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подвернулся вдруг самый нежданный случай.

Сидим мы раз с тетушкой, на святках, после обеда у окошечка, толкуем что-то от божества и едим в поспе моченые яблоки, и вдруг замечаем — у наших ворот на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим — из-под кибитки из-за кошмы вылезает высокий человек в калмыцком тулупе, темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан, зеленым гарусным шарфом во весь поднятый воротник обверчен, и длинные концы на груди жгутом свиты и за пазуху сунуты, на голове яломок, а на ногах телячьи сапоги мехом вверх.

Встал этот человек и вытряхивается, как пудель, от снега, а потом вместе с ямщиком зацепил из кибитки из-под кошмы другого человека, в бобровом картузе и в волчьей шубе, и держит его под руки, чтобы он мог на ногах устояться, потому что ему скользко на подшивных валенках.

Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются, а как волчью шубу увидала, так и благословилася:

— Господи Исусе Христе, помилуй нас, аминь!— говорит.— Ведь это братец Иван Леонтьич, твой дядя, из Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцовых похорон три года здесь не был, а тут вдруг привалил на святках. Скорее бери ключ от ворот, бежи ему навстречу.

Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ искать и насилу его нашли в образнике, да пока я выбежал к воротам, да замок отпирать

стали, да засов вытаскивать, тройка уже и отъехала, и тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитке, а дядя один стоит, за скобку держится и сердится.

— Что зто,— говорит,— вы, как тетери, днем закупорились?

Маменька с ним здравствуются и отвечают:

— Разве вы,— говорит,— братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами, и день, и ночь от полиции запираемся.

Дядя отвечает, что это у всех одно положение: Орел да Кромы — первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворам отец. «И мы,— говорит,— тоже от своей полиции запираемся, но только на ночь, а на что же днем? Мне то и неприятно, что вы меня днем на улице у ворот оставили: у меня валенки кожей обшиты — идти нельзя, скользко,— а я приехал по церковной надобности не с пустыми руками. Помилуй бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит, а мне догонять нельзя».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы все извинились перед дяденькой, отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонтьич из валенков в сапоги, одел сюртук и сел к самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому он такому церковному делу приехал, что даже на праздничных днях побеспокоился, и куда его попутчик от наших ворот делся?

А Иван Леонтьевич отвечает:

— Дело большое. Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался.

Маменька говорит:

— Не слышали.

— Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном слышат! Такой уж у вас город глохлый.

— Но каким же зто манером у вас дьякон оборвался?

— Ах, это он, мать моя, пострадал через свое усердие. Стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов, и все громче, да громче, да еще громче, и вдруг как возгласил о «спасении» — так ему жила и лопнула. Подступили его с амвона сводить, а у него уже полон сапог крови натекло.

— Умер?

— Нет. Купцы не допустили: лекаря наняли. Наши купцы разве так бросят? Лекарь говорит: может еще на поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели, а себе здесь должны выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего.

— А это кто же ваш первый прихожанин и куда он отъехал?

— Наш первый прихожанин называется Павел Мироныч Мукомол. На московской богачихе женат. Целую неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен и службу всякую церковную лучше протодьякона знает. Затем его все и упросили: поезжай, посмотри и выбери; что тебе полюбится — то и нам будет любо. Его всяк стар и мал почитает. И он при огромном своем капитале, что три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался и для церковной надобности все оставил и полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет. Шалят у вас там или честно?

Маменька отвечают:

— Не знаю.

— То-то вот и есть, что вы живете и ничего не знаете.

— Мы гостиниц боимся.

— Ну да ничего; Павла Мироныча тоже нелегко обидеть: сильней его ни в Ельце, ни в Ливнах кулачника нет. Что ни бой — то два да три кулачника

от его руки падают. Он в прошлом году, постом, нарочно в Тулу ездил и даром что мукомол, а там двух самых первых самоварников так сразу с грыжей и сделал.

Маменька и тетенька перекрестились.

— Господи!— говорят,— зачем же ты такого к нам с собой на святые вечера привез!

А дяденька смеется:

— Чего,— говорит,— вы, бабы, испугались! Наш прихожанин — хороший человек, и по церковному делу мне без него обойтись невозможно. Мы с ним приехали на живую минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится, и уехать.

Матушка с тетей опять ахнули.

— Что ты это, братец, зачем такое страшное шутишь!

Дядя еще веселее рассмеялся.

— Эх вы,— говорит,— вороны-сударыни, купчихи орловские! У вас и город-то не то город, не то пожарище — ни на что не похож, и сами-то вы в нем все, как копчушки в коробке, заглохли! Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губернские. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего, так вы и то ценить не можете. Вот мы это-то самое у вас и отберем.

— Что же это такое?

— Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас, говорят, есть два дьякона с голосами: один у Богоявленья, в Рядах, а другой на Дьячковской части, у Никития. Выслушаем их во всех манерах, как Павел Мироныч покажет, что к нашему к елецкому вкусу подходящее, и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем; а который нам не годится — тому во второй номер: за беспокойство получай на рясу деньгами. Павел Мироныч теперь уже поехал собирать их на пробу, а мне сейчас надо идти к Борисоглебскому соборцу; там, говорят, у вас есть гостинник, у которого всегда пустая гостиница. Вот в этой в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда вести в провожатых.

Я спрашиваю:

— Это вы, дяденька, мне говорите?

Он отвечает:

— Известно, тебе. Кто же еще, кроме тебя, Мишутка? Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя Михайло Михайлович: окажи родственную услугу — проводи, сделай милость, на чужой стороне дядю родного.

Я откашлянулся и вежливо отвечаю:

— Это, дяденька, состоит не в том расчислении: я ничем не обижаюсь и готов со всей моей радостью, но я сам собой не владею, а как маменька прикажет.

Маменьке же это совершенно не понравилось.

— Зачем,— говорит,— вам, братец, в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит.

— Мне с племянником-то приличней ходить.

— Ну, что он еще знает!

— Да небось все знает. Мишутка, знаешь все?

Я застыдился.

— Нет,— говорю,— я всего знать не могу.

— Почему же так?

— Маменька не позволяют.

— Вот так дело! А как ты думаешь: родной дядя всегда может во всем племянником руководствовать или нет? Разумеется, может. Одевайся же сейчас и пойдем во все следы, пока дойдем до беды.

Я то тронусь, то стою, как пень: и его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотят меня отпустить.

— У нас, — говорят,— Миша еще млад, и со двора он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянешься, как и сумерки, и воровской час будет.

Но тут дядя на них даже и покричал:

— Да полно вам, в самом деле, дурачиться! Что вы это парня в бабьем рукаве парите! Малый вырос такой, что вола убить может, а вы его все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера, а мне он нужен потому, что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут или полиция обходом встретится — так ведь со мной все наши деньги на хлопоты... Ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкам сбыть, и себе сманить сильного... Неужели же вы, родные сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали, а там бы я после безо всего оказался?

Матушка говорит:

— Боже от этого сохрани — не в одном Ельце уважают родственность! Но ты возьми с собой приказчика или даже хоть двух молодцов из трепачей. У нас трепачи из кромчан страсть очень сильные, фунтов по восьми в день одного хлеба едят без приварка.

Дядя не захотел.

— На что,— говорит,— мне годятся наемные люди? Это вам, сестрам, даже стыдно и говорить, а мне с ними идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди называются! Они пойдут провожать, да сами же первые и убьют, а Миша мне племянник,— мне с ним по крайней мере смело и прилично.

Стал на своем и не уступает:

— Вы,— говорит,— мне в этом никак отказать не можете,— иначе я родства отрекаюсь.

Этого маменька с тетенькой испугались и переглядываются друг на дружку: дескать, что нам делать — как быть?

Иван Леонтьич настаивает:

— И то,— говорит,— поймите: можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а по церковной надобности. Посоветуйтесь-ка, можно ли в этом отказать? Это отказать — все равно что для бога отказать. А он ведь раб божий, и бог с ним волен: вы его при себе хотите оставить, а бог возьмет да и не оставит.

Ужасно какой был на словах убедительный.

Маменька испугались.

— Полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти.

А дядя опять весело расхохотался.

— Ах, вороны-сударыни! Вы и слов-то силы не понимаете! Кто же не раб божий? А я вот вижу, что вам самим ни на что не решиться, и я сам его у вас из-под крыла вышибу...

И с этим хвать меня за плечо и говорит:

— Поднимайся сейчас, Миша, и одевай гостиное платье,— я тебе дядя и старик, седых лет доживший. У меня внуки есть, и я тебя с собою беру на свое попечение и велю со мной следовать.

Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мне так на нутре весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мне нравится.

— Кого же,— говорю,— я должен слушать?

Дядя отвечает:

— Самого старшего надо слушать — меня и слушай. Я тебя не на век, а всего на один час беру.

— Маменька!— вопию. — Что же вы мне прикажете?

Маменька отвечают:

— Что же... если всего на один час, так ничего — одевай гостиное

платье и иди проводи дядю; но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь — умру со страху!

— Ну вот еще,— говорю,— приключение! Как это я могу в такой точности знать, что час уже прошел и что новая минута начинается,— а вы меж тем станете беспокоиться...

Дядя хохочет.

— На часы,— говорит,— на свои посмотришь и время узнаешь.

— У меня,— отвечаю,— своих часов нет.

— Ах, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет! Плохо же твое дело!

А маменька отзываются:

— На что ему часы?

— Чтобы время знать.

— Ну... он еще млад... их заводить не сумеет... На улице слышно, как на Богоявлении и на Девичьем монастыре часы бьют.

Я отвечаю:

— Вы разве не знаете, что на богоявленских часах вчера гиря сорвалась и они не бьют.

— Ну так девичьи.

— А девичьих никогда не слышно.

Дядя вмешался и говорит:

— Ничего, ничего; одевайся скорей и не бойся просрочить. Мы с тобою зайдем к часовщику, и я тебе в подарок часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина память будет.

Я как про часы услыхал — весь возгорелся: скорее у дяди руку чмок, надел на себя гостиное платье и готов.

Маменька благословила и еще несколько раз сказала:

— Только на один час!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит:

— Свисти скорее живейного извозчика — поедем к часовщику.

А у нас тогда, в Орле, путные люди на извозчиках по городу еще не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Орле за других во все места в солдаты нанимались.

Я говорю:

— Я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят.

Он говорит: «Дурак!»— и сам засвистал. А как подъехали, опять говорит:

— Садись без разговора! Пешком в час оборотить к твоим бабам не поспеем, а я им слово дал, и мое слово — олово.

Но я от стыда себя не помню и с извозчика свешиваюсь.

— Что ты,— говорит,— ерзаешь?

— Помилуйте,— говорю,— подумают, что я наемщик.

— С дядей-то?

— Вас здесь не знают; скажут: вот он его уже катает, по всем местам обвезет, а потом закороводит. Маменьку стыдить будут.

Дядя ругаться начал.

Как я ни упирался, а должен был с ним рядом сидеть, чтобы скандала не заводить. Еду, а сам не знаю, куда мне глаза деть,— не смотрю, а вижу и слышу, будто все кругом говорят: «Вот оно как! Арины Леонтьевны Миша-то уж на живейном едет — верно в хорошее место!» Не могу вытерпеть!

— Как,— говорю,— вам, дяденька, угодно, а только я долой соскочу.

А он меня прихватил и смеется.

— Неужели,— говорит,— у вас в Орле уже все подряд дураки, что будут думать, будто старый дядя станет тебя куда-нибудь по дурным местам возить? Где у вас тут самый лучший часовщик?

— Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается; у него на окнах арап с часами на голове во все стороны глазами мигает. Но только к нему через Орлицкий мост надо в Болховскую ехать, а там в магазинах знакомые купцы из окон смотрят; я мимо их ни за что на живейном не поеду.

Дядя все равно не слушает.

— Пошел,— говорит,— извозчик, на Болховскую, к Керну.

Приехали. Я его упросил, чтобы он хоть здесь отпустил извозчика,— что я назад ни за что в другой раз по тем же улицам не поеду. На это он согласился. Меня назвал еще раз дураком, а извозчику дал пятиалтынный и часы мне купил серебряные с золотым ободочком и с цепочкой.

— Такие,— говорит,— часы у нас, в Ельце, теперь самые модные; а когда ты их заводить приучишься, а я в другой раз приеду — я тебе тогда золотые куплю и с золотой цепочкой.

Я его поблагодарил и часам очень рад, но только прошу, чтобы все-таки он больше на извозчиках со мною не ездил.

— Хорошо, хорошо,— говорит,— веди меня скорей в Борисоглебскую гостиницу; нам надо там сквозной номер нанять.

Я говорю:

— Это отсюда рукой подать.

— Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохлаждаться некогда. Мы зачем приехали? Себе голосистого дьякона выбрать; сейчас это и делать. Время терять некогда. Проведи меня до гостиницы и сам ступай домой к матери.

Я его проводил, а сам поскорее домой.

Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как вышел, и своим дядин подарок, часы, показываю.

Маменька посмотрела и говорит:

— Что ж... очень хороши,— повесь их у себя над кроватью на стенку, а то ты их потеряешь.

А тетенька отнеслась еще с критикой:

— Зачем же это,— говорит,— часы серебряные, а ободок желтый?

— Это,— отвечаю,— самое модное в Ельце.

— Пустяки какие,— говорит,— у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили — всё носили одного звания: серебряные часы так серебряные, а золотые так золотые; а зто на что̀ одно с другим совокуплено насильно, что бог разно по земле рассеял.

Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не смотрят, и опять сказали:

— Поди в свою комнату и повесь над кроваткой. Я тебе в воскресенье под них монашкам закажу вышить подушечку с бисером и с рыбьими чешуйками, а то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь.

Я весело говорю:

— Починить можно.

— Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас магнитную стрелку на камень в середине переменит, и часы пропали. Лучше поди скорее повесь.

Я, чтобы не спорить, вбил над кроваткой гвоздик и повесил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, любуяся. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо, тихо тикают: тик, тик, тик, тик... Я слушал, слушал, да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора в зале.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Раздается за стеною и дядин голос и еще чей-то другой, незнакомый голос; а тоже слышно, что и маменька с тетенькой тут находятся.

Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявления и там дьякона слушал, и у Никитья тоже был, но «надо, говорит, их вровнях ровно поставить и под свой камертон слушать».

Дядя отвечает:

— Что же, действуй; я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут. Приезжих никого нет — кричите сколько хотите, обижаться будет некому. Отличная гостиница: туда только одни приказные из палат ходят с челобитчиками, пока присутствие; а вечером совершенно никого нет, и даже перед окнами, как лес, стоят оглобли да лубки на Полешской площади.

Незнакомый отвечает:

— Это нам и нужно, а то у них тоже нахальные любители есть и непременно соберутся мой голос слушать и пересмеивать.

— А ты разве боишься?

— Я не боюсь, а за нахальство рассержусь и побью.

А у самого у него голос как труба.

— Я им,— говорит,— на свободе все примеры объясню, как в нашем городе любят. Послушаем, как они подведут и покажут себя на все лады: как ворчком при облачении, как середину, как многолетный верх, как «во блаженном успении» вопль пустить и памятную завойку сделать. Вот и вся недолга.

И дядя согласился.

— Да, — говорит,— надо их сравнять и тогда для всех безобидное решение сделать. Который к нашему елецкому фасону больше потрафит — о том станем хлопотать и к себе его сманим, а который слабже выйдет — тому дадим на рясу за беспокойство.

— Бери деньги с собою, а то у них крадут.

— Да и ты тоже свои с собой бери.

— Хорошо.

— Ну, а теперь ты иди уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки,— потому что наш народ, говорят, шельма: все пронюхает.

Дядя и на это отвечает согласно, но только говорит:

— Я вот этих сумерек-то у них в Орле боюся, а теперь скоро совсем стемнеет.

— Ну, я,— отвечает незнакомый,— ничего не боюсь.

— А как ихний орловский подлёт[1] с тебя шубу стащит?

— Ну, как же. Так-то он с меня и стащит! Лучше пусть не попадается, а то я, пожалуй, и сам с него все стащу.

— Хорошо, что ты так силен.

— А ты с племянником ступай. Парнище такой, что кулаком вола ушибить может.

Маменька отзывается:

— Миша слаб — где ему защищаться!

— Ну, пусть медных пятаков в перчатку возьмет, тогда и крепок сделается.

Тетенька отзывается:

— Ишь что выдумает!

— Ну, а чем я худо сказал?

— На все у вас в Ельце, видно, свое правило.

---

[1] П о д л е т — по-стар. орловски то же, что в Москве «жулик» или в Петербурге «мазурик» (см. «Историч. оч. г. Орла» Пясецкого, 1874 г.). (*Примеч. автора.*)

— А то как же? У вас губернатор правила уставляет, а у нас губернатора нет,— вот мы зато и сами себе даем правило.

— Как бить человека?

— Да, и как бить человека есть правила.

— А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так ничего с вами и не приключится.

— А у вас в Орле в котором часу настает воровской час?

Тетушка отвечает из какой-то книги:

— «Егда люди потрапезуют и, помоляся, уснут, в той час восстают татие и исходя грабят».

Дядя с незнакомым рассмеялись. Им это все, что маменька с тетенькой говорили, казалось будто невероятно или нерассудительно.

— Чего же,— говорят,— у вас в таком случае полицмейстер смотрит?

Тетенька опять отвечают от Писания:

— «Аще не господь хранит дом — всуе бдит стрегий». Полицмейстер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он говорит: «Зачем дома не спал? И не ограбили б».

— Он бы лучше чаще обходы посылал.

— Уж посылал.

— Ну и что же?

— Еще хуже стали грабить.

— Отчего же так?

— Неизвестно. Обход пройдет, а подлёты за ним вслед — и грабят.

— А может быть, не подлёты, а сами обходные и грабили.

— Может быть, и они грабили.

— Надо с квартальным.

— А с квартальным еще того хуже — на него если пожалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь.

— Экий город несуразный!— вскричал Павел Мироныч (я догадался, что это был он) и простился и вышел, а дядя пошевеливается и еще рассуждает:

— Нет, и вправду,— говорит,— у нас в Ельце лучше. Я на живейном поеду.

— Не езди на живейнике! Живейный тебя оберет, да и с санок долой скинет.

— Ну так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит.

Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня отпустить, но дядя стал обижаться и говорит:

— Что же это такое: я же ему часы с ободком подарил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все дело расстроить. Павел Мироныч вышел при моем полном обещании, что я с ними буду и все приготовлю, а теперь вместо того что же, я должен, наслушавшись ваших страхов, дома, что ли, остаться или один на верную погибель идти?

Тетенька с маменькой притихли и молчат.

А дядя настаивает:

— Ежели б,— говорит,— моя прежняя молодость, когда мне было хоть сорок лет,— так я бы не побоялся подлётов, а я муж в летах, мне шестьдесят пятый год, и если с меня далеко от дому шубу долой стащат, то я, пока без шубы приду, непременно воспаление плеч получу, и тогда мне надо молодую рожечницу кровь оттянуть, или я тут у вас и околею. Хороните меня тогда здесь на свой счет у Ивана Крестителя, и пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родственной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел...

Тут мне стало так его жалко и так совестно, что я сразу же выскочил и говорю:

— Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженые солдаты по домам представляют? Я ва́м в ножки кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, дозвольте мне дядюшку проводить, потому что они мне родной и часы мне подарили и мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить.

Маменька, как ни смущались, должны были меня отпустить, но только уж зато строго-престрого наказывали, чтобы и не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался.

Я ее всячески успокаиваю.

— Что вы,— говорю,— маменька: зачем по сторонам, когда есть прямая дорога. Я при дяде.

— Все-таки,— говорят,— хоть и при дяде, а до воровского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите.

А потом стала меня за дверью крестить и шепчет:

— Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они в Ельце все колобродники. К ним даже и в дома-то их ходить страшно: чиновников зазовут угощать, а потом в рот силой льют, или выливают за ворот, и шубы спрячут, и ворота запрут, и запоют: «Кто не хочет пить — того будем бить». Я своего братца на этот счет знаю.

— Хорошо-с,— отвечаю,— маменька; хорошо, хорошо! Во всем за меня будьте покойны.

А маменька все свое:

— Сердце мое,— говорят,— чувствует, что это у вас добром не кончится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое с нами подлёты двумя могут сделать? Маменька с тетенькой, известно, домоседки и не знают того, что я один по десяти человек на один кулак колотил в бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человек, а тоже за себя постоять могут.

Побежали мы туда, сюда, в рыбные лавки и в ренсковые погреба, всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера, с большими кульками. Сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили и хозяина, борисоглебского гостинника, в компанию пригласили и просим:

— Мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание наше и просьба — чтобы никто чужой не слыхал и не видал.

— Это,— говорит,— сделайте милость; клоп один разве в стене услышит, а больше некому.

А сам такой соня — все со сна рот крестит.

Вскоре же и Павел Мироныч приехал и обоих дьяконов с собой привез: и богоявленского, и от Никития. Закусили сначала кое-как, начерно, балычка да икорки и сейчас поблагословились за дело, чтобы пробовать.

Три верхние номера все сквозь в одно были отворены. В одном на кроватях одежду склали, в другом, крайнем, закуску уставили, а в среднем — голоса пробовать.

Прежде Павел Мироныч посредине комнаты стал и показал, что́ главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голо́с у него, я вам говорил, престрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.

Даже гостинник очнулся и говорит:

— Вам бы самому и первым дьяконом быть.

— Мало ли что!— отвечает Павел Мироныч,— мне, при моем капитале,

и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать.

— Этого кто же не любит!

И сейчас после того, как Павел Мироныч прокричал, начали себя показывать дьяконá: сначала один, а потом другой одно и то же самое возглашать. Богоявленский дьякон был черный и мягкий, весь как на вате стеган, а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень, и бородка маленькая, смычком; а как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сначала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчал «Достойно есть», и потом «Прободи, владыко» и «Пожри, владыко», а потом это же самое сделали оба дьякона. У рыжего ворчок вышел лучше. В чтении Павел Мироныч с такого с низа взял, что ниже самого низкого, как будто издалека ветром наносит: «Во время онно». А потом начал выходить все выше да выше и наконец сделал такое воскликновение, что стекла зазвенели. И дьяконá вровнях с ним не отставали.

Ну, потом таким же манером и все прочее, как икатенью вести и как ее надо певчим в тон подводить, потом радостное многолетие и «о спасении»; потом заунывное — «вечный покой». Сухой никитский дьякон завойкою так всем понравился, что и дядя, и Павел Мироныч начали плакать и его целовать и еще упрашивать, нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее.

Дьякон отвечает:

— Отчего же нет: мне это религия допускает, но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться — от него раскат в грудях шире идет.

— Сделай твое одолжение — ром на то изготовлен: хочешь из рюмки пей, хочешь из стакана хлещи, а еще лучше обороти бутылку, да и перелей все сразу из горлышка.

Дьякон говорит:

— Нет, я больше стакана за раз не обожаю.

Подкрепились — дьякон и начал снизá «во блаженном успении вечный покой» и пошел все поднимать вверх и все с густым подвоем всем «усопшим владыкам орловским и севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гавриилу, Никодиму же и Иннокентию», и как дошел до «с-о-т-т-в-о-о-р-р-и им», так даже весь кадык клубком в горле выпятил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать, и дяденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, и я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг что-то бац нас по булдажкам,— мы оба вскрикнули и враз на середину комнаты выскочили и трясемся...

Дяденька в испуге говорит:

— Ну вас совсем! Оставьте их... не зовите их больше... они уж и так здесь под кроватью толкаются.

Павел Мироныч спрашивает:

— Кто под кроватью может толкаться?

Дядя отвечает:

— Покойнички.

Павел Мироныч, однако, не оробел: схватил свечку с огнем да под кровать, а на свечку что-то дунуло, и подсвечник из рук вышибло, и лезет оттуда в виде как будто наш купец от Николы, из Мясных рядов.

Все мы, кроме гостинника, в разные стороны кинулись и твердим одно слово:

— Чур нас! чур!

А за этим из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из Мясных рядов.

— Что же это значит?

А эти купцы оба говорят:

— Пожалуйста, это ничего не значит... Мы просто любим басы слушать.

А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил и у Павла Мироныча свечу вышиб, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павел Мироныч свечою чуть лицо не подпалил.

Но Павел Мироныч рассердился на гостинника и стал его обвинять, что если за номера деньги заплочены, так не надо было сторонних людей без спроса под кровать накладывать.

А гостинник будто все спал, но оказался сильно выпивши.

— Эти хозяева,— говорит,— оба мне родственники: я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме что хочу — все могу.

— Нет, не можешь.

— Нет, могу.

— А если тебе заплочено?

— Так что же, что заплочено? Это дом мой, а мне мои родные всякой платы дороже. Ты побыл здесь и уедешь, а они здесь всегдашние: вы их ни пятками ткать, ни глаза им жечь огнем не смеете.

— Не нарочно мы их пятками ткали, а только ноги свои подвели,— говорит дядя.

— А вы ног бы не подводили, а прямо сидели.

— Мы подвели с ужаса.

— Ну так что за беда. А они к лерегии привержены и желамши слушать...

Павел Мироныч вскипел.

— Да это нешто,— говорит,— лерегия? Это один пример для образования, а лерегия в церкви.

— Все равно,— говорит гостинник,— это все к одному и тому же касается.

— Ах вы, поджигатели!

— А вы бунтовщики.

— Какие?

— Дохлым мясом у себя торговали. Заседателя на ключ заперли!

И пошли в этом роде бесконечные глупости. И вдруг все возмутилось, и уже гостинник кричит:

— Ступайте вы, мукомолы, вон из моего заведения, я с своими мясниками сам продолжать буду.

Павел Мироныч ему и погрозил.

А гостинник отвечает:

— А если грозиться, так я сейчас таких орловских молодцов кликну, что вы ни одного не переломленного ребра домой в Елец не привезете.

Павел Мироныч, как первый елецкий силач, обиделся.

— Ну что делать,— говорит,— зови, если с места встанешь, а я вон из номера не пойду; у нас за вино деньги плочены.

Мясники захотели уйти — верно, вздумали людей кликнуть.

Павел Мироныч их в кучу и кричит:

— Где ключ? Я их всех запру.

Я говорю дяде:

— Дяденька! бога ради! Вот мы до чего досиделись! Тут может убийство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждут... Что они думают!.. Как беспокоятся!

Дядя и сам устрашился.

— Хватай шубу,— говорит,— пока отперто, и уйдем.

Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздух выкатились; но только тьма вокруг такая густая, что и зги не видно, и снег мокрый-премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает.

— Веди,— говорит дядя,— я что-то вдруг все забыл — где мы, и ничего рассмотреть не могу.

— Вы,— говорю,— уж только скорей ноги уносите.

— Павла Мироныча нехорошо что оставили.

— Да ведь что же с ним делать?

— Так-то оно так... но первый прихожанин.

— Он силач; его не обидят.

А снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили, то невесть что кажется, будто кто-то со всех сторон вылезает.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой и я в нем родился и вырос, но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света точно у меня память отуманили.

— Позвольте,— говорю,— дяденька, сообразить, где мы находимся.

— Неужели же ты в своем городе примет не знаешь?

— Нет, знаю, мол; первая примета у нас два собора: один новый, большой, другой старый, маленький, и нам надо промежду их взять направо, а я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого.

— Вот тебе и раз! Этак и в самом деле с нас шубы снимут или даже совсем разденут, и нельзя знать будет, куда бежать голым. Насмерть простудиться можно.

— Авось, бог даст, не разденут.

— А ты знаешь этих купцов, которые из-под постелей вылезли?

— Знаю.

— Обоих знаешь?

— Обоих знаю, один называется Ефросин Иванов,а другой Агафон Петров.

— И что же — они всамделе купцы?

— Купцы.

— У одного рожа-то мне совсем не понравилась.

— Чем?

— Язовитское в нем ображение.

— Это Ефросин: он и меня раз испугал.

— Чем?

— Мечтанием. Я один раз ишел вечером ото всенощной мимо их лавок и стал против Николы помолиться, чтобы пронес бог,— потому что у них в рядах злые собаки; а у этого купца Ефросина Иваныча в лавке соловей свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой светится... Я прилег к щелке подглядеть и вижу: он стоит с ножом в руках над бычком, бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой вскидывает; голова мотается на перерезанном горле, и кровь так и хлещет; а другой телок в темном угле ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет, и вдали за Окою гром погромыхивает. Страшно мне стало. Я испугался и крикнул: «Ефросин Иваныч!» Хотел его просить меня до лав проводить, но он как вздрогнет весь... Я и убежал. И сейчас это в памяти.

— Зачем же ты теперь такую страшность рассказываешь?

— А что же такое? разве вы боитесь?

— Не боюсь, да не надо про страшное.

— Ведь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: так и так,— я тебя испугался. А он отвечает: «А ты меня испугал, потому что я стоял соловья заслушавшись, а ты вдруг крикнул». Я говорю: «Зачем же ты так чувствительно слушаешь?» — «Не могу,— отвечает,— у меня часто сердце заходится».

— Да ты силен или нет? — вдруг перебил дядя.

— Хвалиться,— говорю,— особенной силой не стану, а если пятака три-четыре старинных в кулак зажму, то могу какого хотите подлёта треснуть прямо на помин души.

— Да хорошо,— говорит,— если он будет один.

— Кто?

— Ну кто, подлёт-то! А если они двое или в целой компании?..

— Ничего, мол: если и двое, так справимся — вы поможете. А в большой компании подлёты не ходят.

— Ну, ты на меня не много надейся: я, брат, стар стал. Прежде, точно, я бивал во славу божию так, что по Ельцу знали и в Ливнах...

Но не успел он это проговорить, как вдруг слышим, сзади нас будто кто-то идет и еще поспешает.

— Позвольте,— говорю,— мне кажется, как будто кто-то идет.

— А что? И я слышу, что идет,— отвечает дядя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Я молчу, дядя мне шепчет:

— Остановимся и вперед его мимо себя пропустим.

А было это уже как раз на спуске с горы, где летом к Балашевскому мосту ходят, а зимой через лед между барками.

Тут исстари место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты, а внизу вправо, на Орлике, дрянные бани да пустая мельница, а сверху сюда обрыв как стена, а с правой сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер Цыганок здесь будку построил, и народ стал говорить, что будочник ворам помогает... Думаю, кто это ни подходит — подлёт или нет,— а в самом деле лучше его мимо себя пропустим.

Мы с дядей остановились... И что же вы думаете: тот человек, который сзади ишел, тоже, должно быть, стал — шагов его сделалось не слышно.

— Не ошиблись ли мы,— говорит дядя,— может быть, никто не шел.

— Нет,— отвечаю,— я явственно слышал шаги, и очень близко.

Постояли еще — ничего не слышно; но только что дальше пошли — слышим, он опять за нами поспевает... Слышно даже, как спешит и тяжело дышит.

Мы убавили шаги и идем тише — и он тише; мы опять прибавим шагу — и он опять шибче подходит и вот-вот в самый наш след врезается.

Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что это подлёт нас следит, и следит как есть с самой гостиницы; значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запутался в снегу между большим собором и малым — он нас и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-нибудь случиться. Он один не будет.

А снег, как назло, еще сильней повалил; идешь, точно будто в горшке с простоквашей мешаешь: бело и мокро — все облипши.

А впереди теперь у нас Ока, надо на лед сходить; а на льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлёта, который за нами следит, верно тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить — и убить, и под воду спустить. Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилкою из костры и из соломы, в которых они лежат, покуривают и дожидают. И особые женки кабацкие с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут, а уж те грабят, а эти опять на карауле караулят.

Больше всего нападали на тех, кто из мужского монастыря от всенощной возвращался, потому что наши певчих любили, и был тогда удивительный бас Струков, ужасного обличья: черный, три хохла на голове и нижняя губа как будто откидной передок в фаэтоне отваливалась. Пока он ревет — она все откинута, а потом захлопнется. Если же кто хотел цел от всенощной воротиться, то приглашали с собой провожатыми приказных Рябыкина или Корсунского. Оба силачи были, и их подлёты боялись. Особливо Рябыкина, который был с бельмом и по тому делу находился, когда приказного Соломку в Щекатихинской роще на майском гулянье убили...

Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему о себе не думалось, а он перебивает:

— Постой, ты меня совсем уморил. Всё у вас убивают; отдохнем по крайней мере перед тем, как на лед сходить. Вот у меня еще есть при себе три медных пятака. Бери-ка их тоже к себе в перчатку.

— Пожалуй, давайте — у меня рукавичка с варежкой свободная, три пятака еще могу захватить.

И только что хочу у него взять эти пятаки, как вдруг кто-то прямо мимо нас из темноты вырос и говорит:

— Что, добрые молодцы, кого ограбили?

Я думал: так и есть — подлёт, но узнал по голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал.

— Это ты,— говорю,— Ефросин Иваныч? Пойдем, брат, с нами вместе заодно.

А он второпях проходит, как будто с снегом смешался, и на ходу отвечает:

— Нет, братцы, гусь свинье не товарищ: вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросин теперь голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись... Щелкану — и жив не останешься...

— Нельзя,— говорю,— его остановить; видите, он на наш счет в ошибке: он нас за воров почитает.

Дядя отвечает:

— Да и бог с ним, с его товариществом. От него тоже не знаешь, жив ли останешься. Пойдем лучше, что бог даст, с одною с божьей помощью. Бог не выдаст — свинья не съест. Да теперь, когда он прошел, так стало и смело... Господи помилуй! Никола, мценский заступник, Митрофаний воронежский, Тихон и Иосаф... Брысь! Что это такое?

— Что?

— Ты не видал?

— Что же тут можно видеть?

— Вроде как будто кошка под ноги.

— Это вам показалось.

— Совсем как арбуз покатился.

— Может быть, с кого-нибудь шапку сорвало.

— Ой!

— Что вы?

— Я про шапку.

— А что такое?

— Да ведь ты же сам говоришь: «сорвали»... Верно, там, на горе, кого-нибудь тормошат.

— Нет, верно, просто ветер сорвал.

И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам на лед.

А барки, повторяю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около другой, как остановятся. Нагромождено, бывало, так страшно тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где насилу можно пролезть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.

— Ну, тут,— говорю,— дяденька, я от вас скрывать не хочу,— здесь и есть самая опасность.

Дядя замер — уж и святым не молится.

— Идите,— говорю,— теперь вы, дяденька, вперед.

— Зачем же,— шепчет,— вперед?

— Впереди безопаснее.

— А отчего безопаснее?

— Оттого, что если подлёт на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу, а его съезжу. А сзади мне вас не видно: подлёт вам, может, рукою или скользкою мочалкою рот захватит,— а я и не услышу... идти буду.

— Нет, ты не иди... А какие же у них есть мочалки?

— Скользкие такие. Женки их из-под бань собирают и им приносят рты затыкать, чтобы голосу не было.

Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впереди идти боится.

— Я,— говорит,— впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться не успеешь.

— Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свиснуть.

— Какой свайкой?

— Что же это вы спрашиваете: разве вам неизвестно, что такое свайка?

— Нет, я знаю: свайка для игры делается — железная, вострая...

— Да, вострая.

— С круглой головкой?

— Да, фунта в три, в четыре, головка шариком.

— У нас в Ельце на это носят кистени; но чтобы свайкой — я это в первый раз слышу.

— А у нас в Орле первая самая любимая мода — по голове свайкой. Так череп и треснет.

— Однако пойдем лучше рядом под ручки.

— Тесно вдвоем между барками.

— А как это... свайкой-то, в самом деле!.. Лучше как-нибудь тискаться будем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали,— слышим, и тот, задний, опять от нас не отстал, опять он сзади за нами лезет.

— Скажи, пожалуй,— говорит дядя,— ведь это, значит, не мясник был?

Я только плечами двинул и прислушиваюсь...

Шуршит, слышно, как боками лезет и вот-вот сейчас меня рукою сзади схватит... А с горы, слышно, еще другой бежит... Ну, видимо дело, подлёты,— надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний подлёт совсем уж за моими плечами... дышит.

Я говорю дяде:

— Все равно нельзя миновать — оборотимся.

Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет, либо уж лучше его самому кулаком с пятаками в лицо встретить, чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему передом оборотились,— он как пригнется, бездельник, да как кот между нас шарк!..

Мы оба с дядей так с ног долой и срезались.

Дядя кричит мне:

— Лови, лови, Мишутка! Он с меня бобровый картуз сорвал.

А я ничего не вижу, но про часы вспомнил, и хвать себя за часы. А вообразите, моих часов уже нет... Сорвал, бестия!

— С меня с самого,— отвечаю,— часы сняты!

И я, себя позабывши, кинулся за этим подлётом изо всей мочи и на свое счастье впотьмах тут же его за баркою изловил, ударил его изо всей силы по голове пятаками, сбил с ног и сел на него:

— Отдавай часы!

Он хоть бы слово в ответ; но зубами меня, подлец, за руку тяпнул.

— Ах ты, собака! — говорю.— Ишь как кусается! — И треснул его хорошенько во-усысе да обшлагом рукава ему рот заткнул, а другою рукою прямо к нему за пазуху и сразу часы нашел и вытащил.

Тут же сейчас и дядя подскочил:

— Держи его, держи,— говорит,— я его разутюжу.

И начали мы его утюжить и по-елецки и по-орловски. Жестоко его отколошматили, до того, что он только вырвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц ударился; и только уж когда за Плаутин колодец забежал, так оттуда закричал «караул»; и сейчас же опять кто-то другой по ту сторону, на горе, закричал «караул».

— Каковы разбойники! — говорит дядя.— Сами людей грабят, и сами еще на обе стороны «караул» кричат!.. Ты часы у него отнял?

— Отнял.

— А что же ты мой картуз не отнял?

— У меня,—отвечаю,— про ваш картуз совсем из головы вышло.

— А вот мне теперь холодно. У меня плешь.

— Наденьте мою шапку.

— Не хочу я твоей. Мой картуз у Фалеева пятьдесят рублей дан.

— Все равно,— говорю,— теперь не видно.

— А ты же как?

— Я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко — сейчас за угол завернуть, и наш дом будет.

Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался.

Так домой и прибежали.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Маменька с тетенькой еще не ложились спать: обе чулки вязали — нас дожидались. И как увидали, что дядя вошел весь в снегу вывален и по-бабьему носовым платком на голове повязан, так обе разом ахнули и заговорили:

— Господи! что это такое!.. Где же зимний картуз, который на вас был?

— Прощай, брат, мой зимний картуз!.. Нет его,— отвечает дядя.

— Владычица наша пресвятая богородица! Где же он делся?

— Ваши орловские подлёты на льду сняли.

— То-то мы слышали, как вы «караул» кричали. Я и говорила сестрице: «Вышли трепачей — я будто невинный Мишин голос слышу».

— Да! Пока бы твои трепачи проснулись да вышли — от нас бы и звания не осталось... Нет, это не мы «караул» кричали, а воры; а мы сами себя оборонили.

Маменька с тетенькой вскипели.

— Как? Неужели и Миша силой усиливался?

— Да Миша-то и все главное дело сделал — он только вот мою шапку упустил, а зато часы отнял.

Маменька, вижу, и рады, что я так поправился, но говорят:

— Ах, Миша, Миша! А я же ведь тебя как просила: не пей ничего и не сиди до позднего, воровского часу. Зачем ты меня не слушал?

— Простите,— говорю,— маменька,— я пить ничего не пил, а никак не смел одного дяденьку там оставить. Сами видите, если бы они одни возвращались, то с ними какая могла быть большая неприятность.

— Да все равно и теперь картуз сняли.

— Ну, теперь еще что!.. Картуз — дело наживное.

— Разумеется — слава богу, что ты часы снял.

— Да-с, маменька, снял. И ах, как снял! — сшиб его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал, а другою рукою за пазухой обвел и часы вынул, и тогда его вместе с дяденькой колотить начали.

— Ну, уж это напрасно.

— А нет-с! Пусть, шельма, помнит.

– Часы-то не испортились?

– Нет-с, не должно быть — только, кажется, цепочку оборвал.

И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку, а тетенька всматривается и спрашивают:

— Да это чьи же такие часы?

— Как чьи? Разумеется, мои.

— А ведь твои были с ободочком.

— Ну так что же?

А сам смотрю — и вдруг вижу: в самом деле, на этих часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком, и у их ног — овечка...

Я весь затрясся.

— Что же это такое??! Это не мои часы!

И все стоят, не понимают.

Тетенька говорит:

— Вот так штука!

А дяденька успокаивает:

— Постойте,— говорит,— не пужайтесь; верно он Мишуткины часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял.

Но я швырнул эти вынутые часы на стол и, чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там, слышу, на стенке над кроватью мои часы потюкивают: тик-так, тик-так, тик-так.

Я подскочил со свечой и вижу — они самые, мои часы с ободочком... Висят, как святые, на своем месте!

Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл...

— Господи! да кого же это я ограбил!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Маменька, тетенька, дядя — все испугались, прибежали, трясут меня.

— Что ты, что ты? Успокойся!

— Отстаньте,— говорю,— пожалуйста! Как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил!

Маменька заплакали.

— Он,— говорят,— помешался,— он увидал, что ли, что-нибудь страшное!

— Разумеется, увидал, маменька!.. Что тут делать!!

— Что же такое ты увидал?

— А вот это самое, посмотрите сами.

— Да что? где?

— Да вот, вот это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?

Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят: на стенке висят и преспокойно тикают подаренные мне дядей серебряные часы с золотым ободочком...

Дядя первый образумились.

— Свят, свят, свят! — говорит,— ведь это твои часы?

— Ну да, конечно мои!

— Ты их, значит, верно и не надевал, а здесь оставил?

— Да уж видите, что здесь оставил.

— А те-то... те-то... Чьи же это, которые ты снял?

— А я почем знаю, чьи они!

— Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Ведь это мы с Мишей кого-то ограбили!

Маменька так с ног долой и срезалась: как стояла, так вскрикнула и на том же месте на пол села.

Я к ней, чтобы поднять, а она гневно:

— Прочь, грабитель!

Тетенька же только крестит во все стороны и приговаривает:

— Свят, свят, свят!

А маменька схватились за голову и шепчут:

— Избили кого-то, ограбили и сами не знают кого!

Дядя ее поднял и успокаивает:

— Да уж успокойся, не путного же кого-нибудь избили.

— Почему вы знаете? Может быть, и путного; может быть, кто-нибудь от больного послан за лекарем.

Дядя говорит:

— А как же мой картуз? Зачем он картуз сорвал?

— Бог знает, что такое ваш картуз и где вы его оставили.

Дядя обиделся, но матушка его оставила без внимания, и опять ко мне:

— Берегла сынка столько лет в страхе божием, а он вот к чему уготовался: тать не тать, а на ту же стать... Теперь за тебя после этого во всем Орле ни одна путная девушка и замуж не пойдет, потому что теперь все, все узнают, что ты сам подлёт.

Я не вытерпел и громко сказал:

— Помилуйте, маменька! Какой же я подлёт, когда это все по ошибке!

Но она не хочет и слушать, а все ткнет меня косточками перстов в голову да причитывает причтою по горю-злосчастию:

— Учила: живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в братчины, не пей две чары за единый вздох, не ложись в место заточное, да не сняли б с тебя драгие порты, не доспеть бы тебе стыда-срама великого и через тебя племени укору и поносу бездельного. Учила: не ходи, чадо, к костырям и к корчемникам, не думай, как бы украсти-ограбити, но не захотел ты матери покориться; снимай теперь с себя платье гостиное, и накинь на себя гуньку кабацкую [1], и дожидайся, как сейчас будошники застучат в ворота и сам Цыганок в наш честный дом ввалится.

И все сама причитает, а сама меня костяшкой пристукивает в голову.

А тетенька как услыхала про Цыганка, так и вскрикнула:

— Господи! Избавь нас от мужа кровей и от Арида!

Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался.

Обнялись тетенька обе с маменькой, и, обнявшись, обе, плачучи, удалились. Остались только мы вдвоем с дядей.

Я сел, облокотился об стол и не помню, сколько часов просидел; все думал: кого же это я ограбил? Может быть, это француз Сенвенсан с урока ишел, или у предводителя Страхова в доме опекунский секретарь жил... Каждого жалко. А вдруг если это мой крестный Кулабухов с той стороны от палатского секретаря шел!.. Хотел — потихоньку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал... Крестник!.. своего крестного!

— Пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего не остается.

А дядя только ожесточенно чай пил, а потом как-то — я даже и не видал как — подходит ко мне и говорит:

— Полно сидеть повеся нос, надо действовать.

— Да что же,— отвечаю,— разумеется, если бы можно узнать, с кого я часы снял...

— Ничего; вставай поскорее и пойдем вместе, сами во всем объявимся.

— Кому же будем объявляться?

— Разумеется, самому вашему Цыганку и объявимся.

— Срам какой сознаваться!

— А что же делать? Ты думаешь, мне охота к Цыганку?.. А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас разыскивать станет: бери обои часы и пойдем.

Я согласился.

Взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с маменькою, пошли.

---

[1] Г у н я — старинное слово; значит: обносок, рубище. В Орле 50 лет назад еще говорили «гуня». (*Примеч. автора.*)

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пришли в полицию, а Цыганок сидит уже в присутствии перед зерцалом, а у его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного.

Дядя увидал, что я с этим князем поклонился, и говорит:

— Неужели он правду князь!

— Ей-богу, поистине.

— Поблести ему чем-нибудь между пальцев, чтобы он выскочил на минутку на лестницу.

Так и сделалось: я повертел полуполтинник — князь на лестницу и выскочил.

Дядя дал ему полуполтинник в руку и просит, чтобы нас как можно скорее в присутствие пустить.

Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят, ночью у нас в городе произошло очень много происшествиев.

— И с нами тоже происшествие случилось.

— Ну да ведь какое? Вы вот оба в своем виде, а там на реке одного человека под лед спустили; два купца на Полешской площади все оглобли, слеги и лубки поваляли; один человек без памяти под корытом найден, да с двоих часы сняли. Я один и остаюсь при дежурстве, а все прочие бегают, подлётов ищут...

— Вот, вот, вот, ты и доложи, что мы пришли дело объяснить.

— Вы подравшись или по родственной неприятности?

— Нет, ты только доложи, что мы по секретному делу; нам об этом деле при людях объяснять совестно. Получи еще полмонетки.

Князь спрятал полтинник в карман и через пять минут кличет нас:

— Пожалуйте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Цыганок такой был хохол приземистый — совсем как черный таракан; усы торчком, а разговор самый грубый, хохлацкий.

Дядя по-своему, по-елецки, захотел было к нему близко, но он закричал:

— Говорите здалеча.

Мы остановились.

— Что у вас за дело?

Дядя говорит:

— Перво-наперво — вот.

И положил на стол барашка в бумажке. Цыганок прикрыл.

Тогда дядя стал рассказывать:

— Я елецкий купец и церковный староста, приехал сюда вчерашний день по духовной надобности; пристал у родственниц за Плаутиным колодцем...

— Так это вас, что ли, нонче ночью ограбили?

— Точно так; мы возвращались с племянником в одиннадцать часов, и за нами следовал неизвестный человек; а как мы стали переходить через лед между барок, он...

— Постойте... А кто же с вами был третий?

— Третьего с нами никого не было, окроме этого вора, который бросился...

— Но кого же там ночью утопили?

— Утопили?

— Да!

— Мы об этом ничего не известны.

Полицмейстер позвонил и говорит квартальному:

— Взять их за клин!
Дядя взмолился.
— Помилуйте, ваше высокоблагородие! Да за что же нас!.. Мы сами пришли рассказать...
— Это вы человека утопили?
— Да мы даже ничего и не слышали, ни о каком утоплении. Кто утонул?
— Неизвестно. Бобровый картуз изгаженный у проруби найден, а кто его носил — неизвестно.
— Бобровый картуз?!
— Да; покажите-ка ему картуз, что он скажет?
Квартальный достал из шкафа дядин картуз.
Дядя говорит:
— Это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал.
Цыганок глазами захлопал.
— Как вор? Что ты врешь! Вор не шапку снял, а вор часы украл.
— Часы? с кого, ваше высокоблагородие?
— С никитского дьякона.
— С никитского дьякона!
— Да; и его очень избили, этого никитского дьякона.
Мы, знаете, так и обомлели.
Так вот это кого мы обработали!
Цыганок говорит:
— Вы должны знать этих мошенников.
— Да,— отвечает дядя,— это мы сами и есть.
И рассказал все, как дело было.
— Где же теперь эти часы?
— Извольте — вот одни часы, а вот другие.
— И только?
Дядя пустил еще барашка и говорит:
— Вот это еще к сему.
Прикрыл и говорит:
— Привести сюда дьякона!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Входит сухощавый дьякон, весь избит и голова перевязана.
Цыганок на меня смотрит и говорит:
— Видишь?!
Кланяюсь и говорю:
— Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин, только от дальнего места помилуйте. Я один сын у матери.
— Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе чувство?
Я вижу этакий разговор несоответственный и говорю:
— Дяденька, дайте за меня барашка, вам дома отдадут.
Дядя подал.
— Как это у вас происходило?
Дьякон стал рассказывать, что «были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице, и очень все было хорошо и благородно, но потом гостинник посторонних слушателей под кровать положил за магарыч, а один елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел, но как обогнул присутственные места, вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я остановлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся; я пойду — и они идут. А вдруг между тем издали слышу, еще меня кто-то сзади настигает... Я совсем испугался, бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе между барок и дорогу мне загородили... А задний с горы совсем нагоняет. Я поблагословился в уме: господи благослови! да

пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить, и проскочил, но они меня нагнали, с ног свалили, избили и часы сорвали... Вот и цепочки обрывок».

— Покажите цепочку.

Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался, и говорит:

— Это так и есть. Смотрите, ваши эти часы?

Дьякон отвечает:

— Это самые мои, и я их желаю в обрат получить.

— Этого нельзя, они должны остаться до рассмотрения.

— А как же,— говорит,— за что я избит?

— А вот это вы у них спросите.

Тут дядя вступился.

— Ваше высокородие! Что же нас спрашивать понапрасну. Это в действительности наша вина, это мы отца дьякона били, мы и исправимся. Ведь мы его к себе в Елец берем.

А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону.

— Нет,— говорит,— позвольте еще, чтобы я в Елец согласился. Бог с вами совсем: только упросили, и сейчас же на первый случай такое надо мной обхождение.

Дядя говорит:

— Отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело.

— Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть.

— Мы тебя вылечим.

— Нет, я,— говорит,— вашего лечения не хочу, меня всегда у Финогеича банщик лечит, а вы мне заплатите тысячу рублей на отстройку дома.

— Ну и заплатим.

— Я ведь это не в шутку; меня бить нельзя... на мне сан.

— И сан удовлетворим.

И Цыганок тоже дяде помогать стал:

— Елецкие,— говорит,— купцы удовлетворят... Кто там еще за клином есть?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Вводят борисоглебского гостинника и Павла Мироныча. На Павле Мироныче сюртук изодран, и на гостиннике тоже.

— За что дрались? — спрашивает Цыганок.

А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают:

— Ничего,— говорят,— ваше высокоблагородие, не было, мы опять в полной приязни.

— Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь — это ваше дело; а как же вы смели сделать беспорядок в городе? Зачем вы на Полешской площади все корыты, и лубья, и оглобли поваляли?

Гостинник говорит, что по нечаянности.

— Я,— говорит,— его хотел вести ночью в полицию, а он — меня; друг дружку тянули за руки, а мясник Агафон мне поддерживал; в снегу сбились, на площадь попали — никак не пролезть... все валяться пошло... Со страху кричать начали... Обход взял... часы пропали...

— У кого?

— У меня.

Павел Мироныч говорит:

— И у меня тоже.

— Какие же доказательства?

— Для чего же доказательства? Мы их не ищем.

— А мясника Агафона кто под корыто подсунул?

— Этого знать не можем,— отвечает гостинник,— не иначе как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем.

— Хорошо,— говорит Цыганок,— только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона.

Пришел черный дьякон.

Цыганок ему говорит:

— Вы это зачем же ночью будку разбили?

Дьякон отвечает:

— Я,— говорит,— ваше высокоблагородие, был очень испугавшись.

— Чего вы могли испугаться?

— На льду какие-то люди стали громко «караул» кричать; я назад бросился и прошусь к будошнику, чтобы он меня от подлётов спрятал, а он гонит: «Я,— говорит,— не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть». Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват — силом вскочил в будку и заснул, а утром встал, смотрю: ни часов, ни денег нет.

Цыганок говорит:

— Что же, елецкие? Видите, и этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали.

Павел Мироныч и дядя отвечают:

— Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить занять у знакомцев, здесь при нас больше нету.

Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом во всем утешились, и много еще было смеху и потехи, и напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян в Борисоглебской и ехал по улице на извозчике, платком махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали, а дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как ни просили — не поехал.

— Я,— говорит,— очень рад, что мне господь даровал с вас за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь домик обстрою и здесь хорошее место у секретаря выхлопочу, а вы, елецкие, как я вижу, очень дерзки.

Для меня же настало испытанье ужасное. Маменька от гнева на меня так занемогли, что стали близко гробу. Унылость во всем доме стала повсеместная. Лекаря Депиша не хотели: боялись, что он будет обо всем состоянье здоровья расспрашивать. Обратились к религии: в девичьем монастыре тогда жила мать Евникея, у которой была иорданская простыня, как Евникея в Иордане-реке омочилась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку окрывали. Не помогло. Каждый день в семи церквах с семи крестов воду спускали. Не помогло. Мужик-леженка был, Есафейка,— все лежнем лежал, ничего не работал,— ему картуз яблочной резани послали, чтобы молился. То же самое и от этого помощи не было. Только наконец, когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-нибудь распоряжаться стала. Иорданскую простыню Евникее велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом сиротку воспитывать.

Это свахино было научение. Своих детей у нее много было, но она еще до сирот была очень милая — все их приючала и маменьке стала говорить:

— Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме переменится: воздух другой сделается. Господа для воздуха расставляют цветы, конечно, худа нет; но главное для воздуха — это чтоб были дети. От них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана — скрежещет... Особенно в Пушкарной теперь одна девка: так она с дитем бьется, что даже под орлицкую мельницу уже топить носила.

Маменька проговорила:

— Скажи, чтоб не топила, а мне подкинула.

В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и перемена в них началась. Стали мне оказывать язвительность.

— Тебе,— говорят,— к велику дню ведь обновы не надо; ты теперь пьющий, тебе довольно гуньку кабацкую.

Я уже все терпел дома, но и на улицу мне тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи, как увидят, дразнятся:

— С дьякона часы снял.

Ни дома не жить, ни со двора пройтись.

Одна только сирота Маврутка мне улыбалась.

Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.

— Хочешь,— говорит,— молодец, чтоб тебе голову на плечи поставить? Я так поставлю, что если кто над тобой и смеяться будет — ты и не почувствуешь.

Я говорю:

— Сделайте милость, мне жить противно.

— Ну, так ты,— говорит,— меня одну и слушай. Поедем мы с тобою во Мценск — Николе Угоднику усердно помолимся и ослопную свечу поставим; и женю я тебя на крале на писаной, с которой ты будешь век вековать, бога благодарить да меня вспоминать и сирот бедных жаловать, потому я к сиротам милосердная.

Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за меня теперь которая же хорошая девушка пойдет.

— Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо различать. Я ей прикажу понять, так она все въявь поймет и очень за тебя выйдет. А мы съездим как хорошо к Николе во все свое удовольствие: лошадка в тележке идти будет с клажею, с самоваром, с провизией, а мы втроем пешком пойдем по протуварчику, для Угодника потрудимся: ты, да я, да она, да я себе для компании сиротку возьму. И она, моя лебедка, Аленушка, тоже сирот сожалеет. Ее со мной во Мценск отпускают. И вы тут с ней пойдете-пойдете, да сядете, а посидите-посидите, да опять по дорожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюбитесь, и как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной тихости. А на все людские речи тебе тогда будет плевать, да и лица не взворачивать. Так все добро и пойдет, и былая шалость забудется.

Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить, а остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и позабыл я про все про истории; и как я на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась, а я и о сю пору живу и все говорю: благословен еси, господи!

1887

ФИГУРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей — старушки, их тетки,— тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет поминальная речь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды — як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов — как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместии Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засевал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, га́рбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь»,— то есть лучше его ни у кого не достанешь,— но он не любил продавать перекупкам «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у Фигуры,— он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос «почем копа́» — отвечает:

— По деньгам, але тыльки шкода що не для твоей милости.

Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует «для се́бе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему:

— Эге! ну, не юлы — бо не покуришь! — и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того — почему он так «опростывся» — не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Домик у Фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую — крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочка́», но Фигура на это делал гримасу, и, пыхнув губами, отвечал:

— Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя,— а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродия не знаю. Але як кто хоче — нехай так и личе: як моя — то нехай моя,— мени все едино.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений.

Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

— А вам хиба за́видно?

Зато же и Фигура и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб — словом, ничего, имеющего сознание жизни.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмехался и говорил:

— Дуры!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отношения у Христи с Фигурою были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину — и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо

стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть як слид по закону». В этом была «ее присяга» — ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать — красавица.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором,— но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел — «бо воны з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось — не до шмыги» (то есть не идет ему).

— Бог их церковный знае: они вже може яки асессоры, чи якись таки сяки советники, а мы, як и з рыла бачите — из простых свиней.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого — дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами — Михайловским и Софийским,— и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там была тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

— И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите — это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего — хоть бы это и народное! У Исаии пророка читается: «праздники ваши ненавидит душа моя»,— и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите... это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели,— тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служил под Сакеном... Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще

всё акафисты читает [1]. Великий, бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет — все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел... Которые умели — хорошо выходило... И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Полк наш стоял на юге, в городе,— тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом, под самое светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное, и драгоценнейшее мати... мати моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати — предобрая и пренепорочная — добром открытая и в добре повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного,— даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «этих,— говорила,— я живых видела: они мне знакомые,— не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно,— говорит,— с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну, и хорошо,— отвечала она,— як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это всё делают какие-нибудь «понyряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащеся и ни коли же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких понырящих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу воспоминать спокойно,— непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, неодетых, невычесанных,— всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет... Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил и работал бы, а не в карауле стоял. Чтó мы такое караулим?.. Все для смертного бою... А впрочем, что я так очень скучаю...— Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат — он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия,— ему куда для сравнения тяжелее... а ведь живет же, терпит и не куксится... Бодрости себе надо поддать — все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе»... Ну вот, солдатам хуже, чем мне...

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою,— разговеюсь с ними на мои гроши!

Понравилось.

---

[1] Сакен тогда еще был жив. (*Примеч. автора.*)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на всё, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар — и очень занялся тем: по скольку кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди — с ними никто не нежничает,— им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь — скажу: «Ребята! Христос воскресе!» и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты и я,— часовые наружи, а казаки — трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится — скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум... дерутся... Я — туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину... Что вы смотрите? Да — настоящую пощечину, и трах — с одного плеча эполета прочь!

Что такое?.. Кто меня бьет?

И главное дело — темно.

— Ребята! — кричу,— братцы! Что это делается?

Солдаты узнали мой голос и отвечают:

— Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть — в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут. Рубиться хотели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «*Тебя* ударили — так это бесчестие, а если *ты* побьешь на отместку,— тогда ничего — тогда это тебе честь...» Убить его, этого казака, я должен!.. зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь — заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! — Это так бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что́ мне с ним делать? Что́ сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил... а я что пред *тобою*... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть *твой*: я простил! я *твой*...

Вот только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже — понимаете... я уже совсем не от обиды...

Солдаты говорят:

— Мы его убьем!

— Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать!

Спрашиваю старшего: куда его дели?

— Мы,— говорит,— ему руки связали и в погреб его бросили.

— Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

— Ваше благородие!.. я несчастный человек!..

— Конечно,— говорю,— несчастный.

— Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

— Встань! — говорю.

— Не могу встать, я еще в исступлении...

— Отчего ты в исступлении?

— Я непитущий, а меня напоили... У меня дома жена молодая и детки... и отцы старички старые... Что я наделал?..

— Кто тебя упоил?

— Товарищи, ваше благородие,— заставили за живых и за мертвых в перезвон пить... Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить — выпить для светлого Христова воскресения, в самый первый звон,— чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалося»,— один товарищ поднес ему чару, а другой — другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел... Стонет:

— Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка бесcчастная!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и — вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался — сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример...

И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет... какой такой нам подан *первый пример?* Я ведь не могу же это забыть... я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том ему совсем напротив над людьми делать...

«Нет,— думаю,— этого нельзя: я спутался — лучше я отстраню от себя это пока... хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» — но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не *его* — я *ему* уж чужой стал... Я этого не хочу... не желаю от *него* увольняться. А зачем же я делаю как те, кому с *ним* тяжело было... который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без *него*-то, конечно, полегче... Без *него*, пожалуй, со всеми уживешься... ко всем подделаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил... Я его не попрошу уйти, а еще позову... Приди —

ближе! и зачитал: «Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякого человека, грядущего в мир...»

Между солдатами вдруг внимание... кто-то и повторил:

— «Всякого человека!»

— Да,— говорю,— «всякого человека, грядущего в мир»,— и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к *миру*. И еще сильнее голосом воззвал: — «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица!»

— «Да знаменуется!.. да знаменуется!» — враз, одним дыханием продохнули солдаты... Все содрогнулись... все всхлипывают... все неприступный свет узрели и к нему сунулись.

— Братцы! — говорю,— будем молчать!

Враз все поняли.

— Язык пусть нам отсохнет,— отвечают,— ничего не скажем.

— Ну,— я говорю,— значит, Христос воскрес! — и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду богу молить... священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».

— Бог с тобой,— говорю,— еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

— Нет,— плачет,— я, ваше благородие, и водки не буду пить и пойду к батюшке...

— Ну, как знаешь.

Пришла смена и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так однако, что секрет наш вышел наружу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

— Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

— Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

— Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания... и вы это считаете благополучным? Да у вас что же — нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

— Господин полковник,— говорю,— казак был человек непьющий, и обезумел, потому что его опоили.

— Пьянство — не оправдание!

— Я,— говорю,— не считаю за оправдание,— пьянство — пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

— Вы не имели права прощать!

— Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

— Вы после этого не можете более оставаться на службе.

— Я готов выйти.

— Да; подавайте в отставку.

— Слушаю-с.

— Мне вас жалко,— но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что

я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Что,— говорит,— вы мне с христианством! — ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену; он сам с вами поговорит — ему и рассказывайте про христианство: он церковное писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться... Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-с,— говорю,— господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.

Командир рукой махнул.

— Говорите что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает — это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела — когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским — киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое — самого смирного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение... Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения... Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет — я молчу и чувствую, что сон меня клонит,— совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился.

Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось — боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему — все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали,— иные и сами тоже были богомолы — другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.

На мою долю как раз такое счастие и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:

— Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.

Я полюбопытствовал:

— Почему это заметно?

Опытный отвечает:

— Разве не видите — у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки... как будто свет сияет... Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.

«Ну,— думаю,— тут будет развязка». И сон прошел.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

— Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит — говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.

— Вы горды!

— Никак нет.

— Почему же вы так говорите — «о невозможном»? Французский дух! гордость! У бога все возможно! Гордость!

— Во мне нет гордости.

— Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя... Что это вам пришла за фантазия!..

— Казак,— говорю,— по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

— А вы ему это простили?

— Да, я не мог не простить!..

— На каком же основании?

— Так, по влиянию сердца.

— Гм!.. сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце... Вы по крайней мере раскаиваетесь?

— Я не мог иначе.

— Значит, даже и не каетесь?

— Нет.

— И не жалеете?

— О нем я жалею, а о себе нет.

— И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?

— Во второй раз, я думаю, даже легче будет.

— Вон как!.. вон как у нас!.. солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» — и молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

— А где же у вас гордость?

— Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.

— Вы дворянин?

— Я из дворян.

— И что же, этой... noblesse oblige... [1] дворянской гордости у вас тоже нет?

— Тоже нет.

— Дворянин без всякой гордости?

Я молчал, а сам думал:

«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости,— ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстает — говорит:

— Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой — о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

— Я вас спрашиваю о *благородной гордости*, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»...

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще раз!

Я опять перекрестился.

— И еще... до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Когда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:

— Не надо про сатану! Вы ведь православный?

— Православный.

— За вас восприемники у купели отреклись от сатаны... и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

— И еще!

Я еще плюнул.

— Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

— Вот так!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете с собой делать в отставке?

— Не знаю еще.

— У вас есть состояние?

— Нет.

— Нехорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нет.

---

[1] Благородное происхождение обязывает (*фр.*).

— Скверно! На кого же вы надеетесь?

— Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у бога, и я не пропаду.

— Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

— Никак нет — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокентию.

— Я не чувствую призвания в монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто...

— Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! я вам потому и говорю: идите в монахи.

— Нет, я в монахи не могу, и спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

— Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали... А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?

— Нет, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить... я туда неспособен.

— Ну, в провианты?

— Тоже не гожусь.

— Ну, в цейхвартеры! — там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакен стоит передо мною — и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:

— В писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

— Никак нет,— говорю,— я ни в кого не влюблен.

— Жениться не намерены?

— Нет.

— Отчего?

— У меня слабый характер.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы,— вы боитесь женщин... да?

— Некоторых боюсь.

— И хорошо делаете! Женщины суетны и... есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.

— Я сам боюсь быть обманщиком.

— То есть... Как? Для чего?

— Я не надеюсь сделать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеров?

— Да,— говорю,— женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.

— А вы ей докажите.

— Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.

— А вы и споров не любите?

— Терпеть не могу.

— Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призвания нет.

— А вот вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? — мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго...

— Я мяса совсем никогда не ем.

— А зато у них прекрасные рыбы.

— Я и рыбы не ем.

— Как, и рыб не едите? Отчего?

— Мне неприятно.

— Отчего же это может быть неприятно — рыб есть?

— Должно быть, врожденное — моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.

— Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?

— Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что можно есть!

— Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!

— Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!

— Нет, пойдете,— таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я сейчас напишу.

— Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду.— Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сакен наморщился.

— Это,— говорит,— вы библии начитались,— а вы библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна — это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.

«Фу ты господи! — думаю.— Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

— Ваше сиятельство! я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.

— Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!

Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать.

А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:

— Милый друг! вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..

— Да,— отвечаю,— непонятно!

Чувствую, что мне теперь все равно,— что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну,— и потому инстинктивно ответил:

— Непонятно.

— Ну так помолимся,— говорит,— вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае... Много раз я перед ним упадал в недоумении и когда вставал —мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон... Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая тебе»...

А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра,— так и пошел свайкой спускаться вниз, куда-то все глубже, к самому центру земли.

Чувствую что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят,— клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.

Что это такое за место? — заспал и запамятовал.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется...» Потрогал его... ничего — парной, теплый, и смотрю — и он просыпается и шевелится... И тоже сел на ковре и на меня смотрит... Потом говорит:

— Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

— Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

— Перекрестись!

Я перекрестился.

— Это мы с вами вместе были?

— Да-с.

— Каково!

Я промолчал.

— Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:

— Видели, какая святыня!

— Где?

— В раю!

— В раю? Нет,— говорю,— я в раю не был и ничего не видал.

— Как не видел! Ведь мы вместе летали... Туда... вверх!

Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.

— Как вниз!

— Точно так.

— Вниз?

— Точно так.

— Внизу ад!

— Не видал.

— И ада не видал?

— Не видал.

— Так какой же дурак тебя сюда пустил?

— Граф Остен-Сакен.

— Это я граф Остен-Сакен.

— Теперь,— говорю,— вижу.

— А до сих пор и этого не видал?

— Прошу прощения,— говорю,— мне кажется, будто я спал.

— Ты спал!

— Точно так.

— Ну так пошел вон!

— Слушаю,— говорю,— но только здесь темно — я не знаю, как выйти.

Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:

— Zum Teufel! [1]

Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше,— и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обе-

[1] К черту! *(нем.)*

щался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обещать не могу, да и не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою... я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое... Перебирал я, перебирал,— что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.

Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

— Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

— Как же,— отвечаю,— мы молились.

— Вместе в блаженные селения парили?..

— То есть... как это вам доложить...

— Да, вы — большой политик! Знаете, вы и достигли,— вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

— Я,— говорю,— пенсии не выслужил.

— Ну, уж это теперь расчислять поздно,— уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего,— говорили,— мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил... Невелика господка, да до́бра... Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты... Бидна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел... Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверывся да говорю ей:

— Чи ты с самого роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ подиялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годуваты! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от бога показано,— а ты ходы впрост до мenэ та пильнуй свою дытыну.

Она встала — подобрала Катрю в тряпочки и пишла — каже:

— Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чого нэма, о том не скучаем — бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.

1889

ЗАГОН

Disciplina arcani [1] существует в полной силе: цель ее — предоставить ближним удобство мирно копаться в свиных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов.

Дж. Морлей, «О компромиссе»

За ослушание истине — верят лжи и заблуждениям.

2 Фес., II, 10—11

В одном произведении Достоевского выведен офицерский денщик, который разделял свет на две неравные половины: к одной он причислял «себя и своего барина, а к другой всю остальную сволочь». Несмотря на то, что такое разделение смешно и глупо, в нашем обществе никогда не переводились охотники подражать офицерскому денщику, и притом в гораздо более широкой сфере. В последнее время выходки в этом роде стали как будто маниею. В конце сентября 1893 года в заседании Общества содействия русской промышленности и торговле один оратор прямо заговорил, что «Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, *отделиться от них китайскою стеною*».

Такое стремление отгораживаться от света стеною нам не ново, но последствия этого всегда были для нас невыгодны, как это доказано еще в в «творении» Тюнена (Der isolierte Staat (1826), которое в 1857 году у нас считали нужным «приспособить для русских читателей», для чего это творение и было переведено и напечатано в том же 1857 году в Карлсруэ, в придворной типографии, а в России оно распространялось с разрешения петербургского цензурного комитета [2].

Одновременно с тем, как у нас читали приспособленную для нас часть «творения» Тюнена, в качестве художественной иллюстрации к этой книге обращалась печатная картинка, на которой был изображен темный загон, окруженный стеною, в которой кое-где пробивались трещинки, и через них в сплошную тьму сквозили к нам слабые лучи света.

Таким «загоном» представлялось «уединенное государство», в котором все хотели узнавать Россию, и для тех, кто так думал, казалось, что нам нельзя оставаться при нашей замкнутости, а надо вступать в широкое международное общение с миром. Отсталость русских тогда безбоязненно сознавали во всем; но всего более были удивлены тем, что мы отстали от западных людей даже в искусстве обрабатывать землю. Мы имели твердую уверенность, что у нас «житница Европы», и вдруг в этом пришлось усомниться. Люди

[1] Учение о тайне (*лат.*).

[2] «Уединенное государство в отношении к общественной экономии, из творения З. Г. фон Тюнена, мекленбургского эконома, извлечено и приспособлено для русских читателей Матвеем Волковым. Карлсруэ, в придворной типографии Б. Госнера. Печ. позв. 7 февр. 1857 г. Ценэор Б. Бекетов». *(Примеч. автора.)*

ясного ума указывали нам, что русское полеводство из рук вон плохо и что если оно не будет улучшено, то это скоро может угрожать России бедствием. Причину этого видели в том, что наши крестьяне обрабатывают землю очень старыми и дурными орудиями и ни с чем лучшим по дикости своей и необразованности обращаться не умеют, а если дать им хорошие вещи, то они сделают с ними то, что делали с бисером упомянутые в Евангелии свиньи (Мф., VII, 3).

Я позволю себе предложить здесь кое-что из того, что мне привелось видеть в этом роде.

Это касается крестьян и не крестьян.

I

ТЯГОТЕНИЕ К ЖЕЛУДЮ И К КОРЫТУ

В моих отрывочных воспоминаниях я не раз говорил о некоторых лицах английской семьи Шкот. Их отец и три сына управляли огромными имениями Нарышкиных и Перовских и слыли в свое время за честных людей и за хороших хозяев. Теперь здесь опять нужно упомянуть о двух из этих Шкотов.

Александр Яковлевич Шкот — сын «старого Шкота» (Джемса), после которого у Перовского служили Веригин и известный «аболиционист» Журавский,— многократно рассказывал, какие хлопоты перенес его отец, желая научить русских мужиков пахать землю как следует, и от каких, по-видимому, неважных и пустых причин все эти хлопоты не только пропали без всякой пользы, но еще едва не сделали его виноватым в преступлении, о котором он никогда не думал.

Старый Шкот как приехал в Россию, так увидел, что русские мужики пашут скверно и что если они не станут пахать лучше, то земля скоро выпашется и обессилеет. Это предсказание было сделано не только для орловского неглубокого чернозема, но и для девственной почвы степей, которые теперь заносит песками [1]. Предвидя это огромное и неминуемое бедствие, Шкот захотел вывести из употребления дрянные русские сохи и бороны и заменить их лучшими орудиями. Он надеялся, что когда это удастся ему в имениях Перовского, тогда Перовский не откажется ввести улучшение во всех подведомых ему удельных имениях, и дело получит всеобщее применение.

Перовский, кажется, говорил об этом с императором Николаем Павловичем и в очень хорошем расположении духа, прощаясь в Москве со Шкотом, сказал:

— Поезжайте с богом и начинайте!

Дело заключалось в следующем.

По переселении орловских крестьян с выпаханных ими земель на девственный чернозем в нижнем Поволжье Шкот решился здесь отнять у них их «Гостомысловы ковырялки», или сохи, и приучить пахать легкими пароконными плужками Смайля; но крестьяне такой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою «ковырялку» и за бороны с деревянными клещами. Крестьяне, выведенные сюда же из малороссийской Украйны, умели пахать лучше орловцев; но тяжелые малороссийские плуги требовали много упряжных волов, которых налицо не было, потому что их истребил падеж.

Тогда Шкот выписал три пароконные плужка Смайля и, чтобы ознакомить с ними пахарей, взялся за один из них сам, к другому поставил сына своего Александра, а к третьему — ловкого и смышленого крестьянского парня. Все они стали разом на равных постатях, и дело пошло прекрасно.

---

[1] См. статью Вл. Соловьева «Беда с востока». *(Примеч. автора.)*

Крестьянский парень, пахавший третьим плугом, как человек молодой и сильный, сразу же опахал обоих англичан — отца и сына, и получил награждение, и *снасть одобрил*. Затем к плужкам попеременно допускались разные люди, и все находили, что «снасть способна». К году на этом участке пришел хороший урожай, и случилось так, что в этом же году представилась возможность показать все дело Перовскому, который «следовал» куда-то в сопровождении каких-то особ.

Известно, что граф был человек просвещенный и имел характер благородный. За это за ним было усвоено прозвание «рыцарь».

Шкот, встретив владельца, вывел пред лицо его пахарей и поставил рядом русскую соху-«ковырялку», тяжелый малороссийский плуг, запряженный в «пять супругов волов», и легкий, «способный» смайлевский плуг на паре обыкновенных крестьянских лошадок. Стали немедленно делать пробу пашни.

Пробные борозды самым наглядным образом показали многосторонние преимущества смайлевского плужка не только перед великорусскою «ковырялкою», но и перед тяжелым малороссийским плугом. Перовский был очень доволен, пожал не один раз руку Шкоту и сказал ему:

— Сохе сегодня конец: я употреблю все усилия, чтобы немедленно же заменить ее плужками во всех удельных имениях.

А чтобы еще более поддержать авторитет своего англичанина, он, развеселясь, обратился к «хозяевам» и спросил, хорошо ли плужок пашет.

Крестьяне ответили:

— Это как твоей милости угодно.

— Знаю я это; но я хочу знать *ваше мнение*: хорошо или нет таким плужком пахать?

Тогда из середины толпы вылез какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил:

— Где сими плужками пашут (или бу́рут)?

Граф ему рассказал, что пашут «сими плужками» в чужих краях, в Англии, за границею.

— То значится, в нiмцах?

— Ну, в немцах!

Старик продолжал:

— Это вот, значится, у тех, що у нас хлеб купують?

— Ну да — пожалуй, у тех.

— То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?

Вышло «табло», и просвещенный ум Перовского не знал, как отшутить мужику его шутку. И все бывшие при этом случайные особы схватили этот «замысловатый ответ крестьянина» и, к несчастью, не забыли его до Петербурга; в Петербурге он получил огласку и надоел Перовскому до того, что когда император по какому-то случаю спросил: «А у тебя все еще англичанин управляет?», то Перовский подумал, что дело опять дойдет до «остроумного ответа», и на всякий случай предпочел сказать, что англичанин у него более уже не управляет.

Государь на это заметил: «То-то!» и более об этом не говорил; а Перовский, возвратясь домой, написал Шкоту, что он должен оставить степи, и предложил устроить его иначе.

Честный англичанин обиделся; забрал с собой плужки, чтоб они не стояли на счету экономии, и уехал.

Дело «ковырялки» было выиграно и в таком положении остается до сего дня.

Смайлевские плужки, которыми старый Шкот хотел научить пришедших с выпаханных полей переселенцев «воздымать» тучные земли их нового поселения на заволжском просторе, я видел в пятидесятых годах в пустом каменном сарае села Райского, перешедшего к Александру Шкоту от Ник. Ал. Всеволожского.

11
ШУТ СЕВАЦКОЙ

Всеволожский тоже интересный человек своего времени. Для большинства его современников он был знаменит только как безумный мот, который прожил в короткое время огромное состояние; но в нем было и другое, за что его можно помянуть добром.

Он жил как будто в каком-то исступлении или в чаду, который у него не проходил до тех пор, пока он не преобразился из миллионера в нищего. Личная роскошь Всеволожского была чрезвычайна. Он не только выписывал себе и своей супруге (урожденной Клушиной) все туалетные вещи и платья «прямо из Парижа», но к нему оттуда же должны были спешно являться в Пензу французские рыбы и деликатесы, которыми он угощал кого попало. Он одинаково кормил деликатесами и тогдашнего пензенского губернатора Панчулидзева («меломана и зверя»), и приказных его канцелярии, и дворянских сошек, из которых многие не умели положить себе на тарелки то, что им подносили. Пожилой буфетчик Всеволожского, служивший после его разорения у других таких же, как Всеволожский, обстоятельных людей (Данилевского и Савинского), говорил:

— Бывало, подаешь заседателю Б. французский паштет, а у самого слезы на рукав фрака падают. Видеть стыдно, как он все расковыряет, а взять не умеет. И шепнешь ему, бывало: «Ваше высокородие! Не угодно ли я вам лучше икорки подам?» А он и сам рад: «Сделай милость, говорит, я икру обожаю!»

Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, раздевали, живых в гробы укладывали и нагих баб над ними стоять ставили, а потом кидали им что-нибудь в награду и изгоняли. Это делали все или почти все, и Всеволожский грешен такими забавами, может быть, даже меньше, чем другие. Но Всеволожский ввел ересь: он стал заботиться, чтобы его крестьянам в селе Райском было лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда их вывели. Всеволожский приготовил к их приходу на новое место целую «каменную деревню».

О таких чистых и удобных помещениях и помышлять не могли орловские крестьяне, всегда живущие в беструбных избах. Все дома, приготовленные для крестьян в новой деревне, были одинаковой величины и сложены из хорошего прожженного кирпича, с печами, трубами и полами, под высокими черепичными крышами. Выведен был этот «порядок» в линию на горном берегу быстрого ручья, за которым шел дремучий бор с заповедными и «клейменными» в петровское время «мачтовыми» деревьями изумительной чистоты, прямизны и роста. В этом бору было такое множество дичи и зверья и такое изобилие всякой ягоды и белых грибов, что казалось, будто всего этого век есть и не переесть. Но орловские крестьяне, пришедшие в это раздолье из своей тесноты, где «курицу и тае выпустить некуда», как увидали «каменную деревню», так и уперлись, чтобы не жить в ней.

— Это, мол, что за выдумка! И деды наши не жили в камени, и мы не станем.

Забраковали новые дома и тотчас же придумали, как им устроиться в своем вкусе.

Благодаря чрезвычайной дешевизне строевого леса здесь платили тогда за избяной сруб от пяти до десяти рублей. «Переведенцы» сейчас же «из последних сил» купили себе самые дешевенькие срубцы, приткнули их где попало, «на задах», за каменными жильями, и стали в них жить без труб, в тесноте и копоти, а свои просторные каменные дома определили «ходить до ветру», что и исполняли.

Не прошло одного месяца, как все домики прекрасной постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во всех окнах стекла были повыбиты, и оттуда валил смрад.

По учреждении такого порядка на всех подторжьях и ярмарках люди сообщали друг другу с радостью, что «райские мужики своему барину каменную деревню всю запакостили».

Все отвечали:

— Так ему и надо!

— Шут этакой: что выдумал!

— Вали, вали ему на голову; вали!

За что они на него злобствовали,— этого, я думаю, они и сами себе объяснить не могли; но только они как ощетинились, так и не приняли себе ни одного его благодеяния. Он, например, построил им в селе общую баню, в которую всем можно было ходить мыться, и завел школу, в которой хотел обучать грамоте мальчиков и девочек; но крестьяне в баню не стали ходить, находя, что в ней будто «ноги стынут», а о школе шумели: зачем нашим детям умнее отцов быть?

— Мы ли-де своим детям не родители: наши ли сыновья не пьяницы!

Дворяне этому радовались, потому что если бы райские крестьяне приняли благодеяния своего помещика иначе, то это могло послужить вредным примером для других, которые продолжали жить как обры и дулебы, «образом звериным».

Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было остерегаться.

Когда «райский барин» промотался и сбежал, его каменное село перешло с аукционного торга к двум владельцам, из которых, по воле судьбы, один был Александр Шкот — сын того самого Джемса Шкота, который хотел научить пахать землю хорошими орудиями[1]. Переход этот состоялся в начале пятидесятых годов. Тогда мужики в Райском все «севацкое» уже «обгадили на отделку», а сами задыхались и слепли в «куренках». Ф. Селиванов в своей части села Райского оставил мужиков в куренках, но Шкот не мог этого переносить. Он не был филантроп и смотрел на крестьян прямо как «на рабочую силу»; но он берег эту силу и сразу же учел, что потворствовать мужичьей прихоти нельзя, что множество слепых и удушных приносят ему большой экономический ущерб. Шкот стал уговаривать мужиков, чтобы они обчистили каменные дома и перешли в них жить; но мужики взъерошились и объявили, что в тех домах жить нельзя. Им указали на дворовых, которые жили в каменных домах.

— Мало ли что подневольно делается,— отвечали крестьяне,— а мы не хотим. В каменном жить, это все равно что острог. Захотел перегонять, так уж лучше пусть прямо в острог и сгонит: мы все и пойдем в острог.

От убеждений перешли к наказаниям и кого-то высекли, но и это не помогло; а Шкоту через исправника Мура (тоже из англичан) было сделано от Панчулидзева предупреждение, чтобы он не раздражал крестьян.

Шкот осердился и поехал к губернатору объясняться, с желанием доказать, что он старался сделать людям не злое, а доброе и если наказал одного или двух человек, то «без жестокости», тогда как все без исключения наказывают без милосердия; но Панчулидзев держал голову высоко и не дозволял себе ничего объяснять. С Шкотом он был «знаком по музыке», так как Шкот хорошо играл на виолончели и участвовал в губернаторских симфонических концертах; но тут он его даже не принял.

Шкот написал Панчулидзеву дерзкое письмо, которого тот не мог никому показать, так как в нем упоминалось о прежних сношениях автора по должности главноуправляющего имениями министра, перечислялись «дары» и указывались такие дела, «за которые человеку надо бы не губернией править, а сидеть в остроге». И Панчулидзев снес это письмо и ничего на него не ответил. Письмо содержало в себе много правды и послужило материалом для

[1] Другая половина Райского была приобретена Фед. Ив. Селивановым. (*Примеч. автора.*)

борьбы Зарина, окончившейся смещением Панчулидзева с губернаторства. Но тогда еще в Загоне не верили, что что-нибудь подобное может случиться и расшевелить застоявшееся болото.

Смелее прочих сторону губернатора поддерживал дворянский предводитель, генерал Арапов, о котором тоже упоминалось в письме как о нестерпимом самочинце. А генерал Арапов, в свою очередь, был славен и жил широко; в его доме на Лекарской улице был «открыт стол» и самые злые собаки, а при столе были свои писатели и поэты. Отсюда на Шкота пошли пасквили, а вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, как у нас в России все хорошо и просто и все сообразно нашему климату и вкусам и привычкам нашего доброго народа. И народ это понимает и ценит и ничего лучшего себе не желает; но есть пустые люди, которые этого не видят и не понимают и выдумывают незнать для чего самые глупые и смешные выдумки. В пример была взята курная изба и показаны ее разнообразные удобства: кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, если вникнуть, то она и прекрасна, и жить в ней гораздо лучше, чем в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой каменной. Это вот гадость уж во всех отношениях! В куренке топлива идет мало, а тепло как у Христа за пазухой. А в воздухе чувствуется легкость; на широкой печи в ней способно и спать, и отогреться, и онучи и лапти высушить, и веретье оттаять, и нечисть из курной избы бежит, да и что теленок с овцой насмердят,— во время топки все опять дверью вон вытянет. Где же и как можно все это сделать в чистой горнице? А главное, что в курной избе хорошо — это *сажа*! Ни в каком другом краю теперь уже нет «черной лоснящейся сажи» на стенах крестьянского жилища,— везде «это потеряно», а у нас еще есть! А от сажи не только никакая мелкая гадь в стене не водится, но эта сажа имеет очень важные врачебные свойства, и «наши добрые мужички с великою пользою могут пить ее, смешивая с нашим простым, добрым русским вином».

Словом — в курной избе, по словам брошюры, было целое угодье.

«Русская партия» торжествовала победу; ничего нового не надо: надо жить по старине — в куренке и лечиться сажею.

III

ЛЕЧЕНЬЕ САЖЕЙ

Англичанин смеялся.

— Мало им, что люди в этой саже живут и слепнут,— они еще хотят обучить их пить ее с водкою! Это преступление!

Шкот сам умел стряпать брошюры,— это их англичанская страсть,— и он поехал в Петербург, чтобы напечатать, что крестьяне слепнут и наживают удушье от курных изб; но напечатать свою брошюру о том, что крестьяне слепнут, ему не удалось, а противная партия, случайно или нет, была поддержана в листке, который выходил в Петербурге «под гербом» и за подписью редактора Бурнашова[1].

Рачением Бурнашова почти одновременно вышли две хозяйственные брошюры: одна «О благотворном врачебном действии коры и молодых побегов ясенева дерева», а другая «О целебных свойствах лоснящейся сажи». Исправники и благочинные должны были содействовать распространению этих полезных брошюр.

В брошюре о ясени сообщалось, что этим деревом можно обезопасить себя от ядовитых отрав и укушений гадами. Стоило только иметь при себе

[1] Владимир Петр. Бурнашов скончался недавно в Мариинской больнице, в Петербурге, в возрасте очень преклонном. В последние годы жизни сотрудничал в изданиях гг. Каткова и Комарова. Оставил много автобиографических заметок, из которых было напечатано извлечение в «Историческом вестнике». По словам его, вращаясь в литературных кружках, он иногда служил и не одним литературным потребностям. (*Примеч. автора.*)

ясеневую палочку — и можно легко узнавать, где есть в земле хорошая вода; щелоком из ясеневой коры стоит вымыть ошелудивевших детей, и они очистятся; золою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодущее, чем без ясеня. Бабам ясень унимал кровоток и еще делал много других вещей, про которые через столько лет трудно вспомнить. Но избяная «лоснящаяся сажа» превозносилась еще выше.

В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее брошюры о ясени, утвердительно говорилось, что ею, при благословении божием, можно излечивать почти все человеческие болезни, а особенно «болезни женского пола». Нужна была только при этом сноровка, как сгребать сажу, то есть скрести ее сверху вниз или снизу вверх. От этого изменялись ее медицинские свойства: собранная в одном направлении, она поднимала опавшее, а взятая иначе, она опускала то, что надо понизить. А получать ее можно было только в русских курных избах, и нигде иначе, так как нужна была сажа *лоснящаяся*, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашею сажею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоти или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. Конкурентов нам не будет.

Это говорилось всерьез, и сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во всем мире.

Загон был доволен: осатанелые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажею. «Лоснящуюся сажу» рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать: скольким людям это стоило жизни! Но тем не менее брошюра о саже имела распространение.

Радовались, что не послушались затейников и уберегли свои избы; а затейников бранили и порочили и припоминали их в большом числе, перемешивая умных с безумными: Сперанского с Всеволожским.

— Помилуй бог, если бы им тогда волю дали! Что бы они наделали!

На губернских балах той самой баснословной пензенской знати, которая столь обмелела, что кичилась своею «араповщиной»,— между бесстыжими выходками всякой пошлости прославляли «ум и чуткость русского земледельца», который не захотел жить в *чистом доме*. При этом разоренный и отсутствующий Всеволожский всякий раз был осмеиваем, и ни одному из благородных людей, евших его деликатесы, не пришло в голову отыскать его на мостовой, для которой он бил камни, и отдать ему хоть частицу тех денег, которые у него были заняты.

Но его еще хотели сделать посмешищем на вечные времена.

IV

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЕТИЗЫ

Некто С., ничтожный «человек высокого происхождения по боковой линии», замечательный удивительным сходством с Ноздревым и также член и душа общества, напившись предводительского вина, подал мысль собрать «музей бетизов» Всеволожского, чтобы все видели, «*чего в России не нужно*».

Бетрищеву это понравилось, и он хохотал и обещал не пожалеть тысячи рублей, чтобы такой «музей бетизов» был устроен.

Тысяч у него было много!

Вспомнили все, что надо почитать за «бетизы». Набиралось много:

Всеволожский не только построил каменные жилые помещения для крестьян, но он выписал для них плуги, жнеи, веялки и молотилки от Бутенопа; он завел школу и больницу, кирпичеделательную машину и первый медный ректификатор Шварца на винном заводе. С ректификатором еще пошли осложнения: крестьяне в этом ректификаторе забили трубки, и в приемник полилась вонючая и теплая муть вместо спирта, а на корде рабочие быки, пригнанные хохлами для выкормки их бардою, пришли в бешенство, оттого что они напились пьяными, задрали хвосты, бодались и перекалечили друг друга почти наполовину.

Всеволожский заплатил хохлам за погибших от опойства и драки быков и еще приплатил, чтобы не говорили о происшедшем у него на заводе скандале.

Этого нельзя было «скупить» и выставить, но это положили заказать написать на картине живописцу Петру Соколову: «Он, правда, берет дорого, но он свой брат дворянин и с ним можно поторговаться».

«Бетизы» Ноздрев обещал свезти в Пензу; но, выехав с генеральскими деньгами в Райское, Ноздрев остановился переменить лошадей у мордвина в с. Чемодановке, которая тогда принадлежала сыну знаменитого военного историка Михайловского-Данилевского, Леониду, а этот дворянин имел обыкновение приглашать к себе проезжающих, угощал их и играл с ними в карты. И Ноздрев в силу этого обычая тоже был приглашен через верхового посланца к чемодановскому барину и там «потерял деньги» и уже ни в Райское не поехал, ни в Пензу не возвратился, а отбыл домой, пока дело о бетизах придет в забвение.

«Бетизы» долежались в Райском до Шкота. Он мне их показывал, и я их видел, и это было грустное и глубоко терзающее позорище!.. Все это были хорошие, полезные и крайне нужные вещи, и они не принесли никакой пользы, а только сокрушили тех, кто их припас здесь. И к ним, к «севацким бетизам», Шкот придвинул свои и отцовские «улучшенные орудия» и, трясясь от старости, тихо шамкал:

— Все это не годится в России.

— Вы шутите, дядя!

— Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.

— Не зол, дядя!

— Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ *зол*; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!

В этой Пензе, представлявшей одно из самых темных отделений Загона, люди дошли до того, что хотели учредить у себя все навыворот: улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним *никто* не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил смерть. Полицейские чины грабили людей на площади; предводительские собаки терзали людей на Лекарской улице в виду самого генерала с одной стороны и исправника Фролова — с другой; а губернатор собственноручно бил людей на улице нагайкою; ходили ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего сословия... Словом, это был уже не город, а какое-то разбойное становище.

И увидел бог, что злы здесь дела всех, и, не обретя ни одного праведного, наслал на них Ефима Федоровича Зарина, вызвавшего сенаторскую ревизию.

V
ИНТЕРВАЛ

Сделаем шаг в сторону, где больше света.

В Европе нам оказали непочтительность: мы увидели надобность взять в руки оружие. Сценой действия сделался наш Крым. Регулярные полки и ратники ополчения тащились на ногах через Киев, где их встречал поэт из птенцов Киевской духовной академии Аскоченский и командовал: «На молитву здесь, друзья! Киев перед вами!» А к другим он оборачивался и грозил: «Не хвались, иду на рать, а идучи с...»[1].

Скоро оказалось, что те, которых мы уговариваем «не хвалиться», на самом деле гораздо меньше нас хвалятся, но, к совершенной неожиданности, оказываются во всем нас успешнее. К тому же вкралось много воровства, и дела у нас пошли худо. Все это известно и переизвестно, но, к несчастию, кажется, уже позабыто. Но много любопытного осталось в неизвестности до сих пор. В числе анекдотов и казусов этого времени припоминаю, как в Пензу были присланы два взятые в плен английские военные инженера, из которых один назывался Миллер. Говорили, будто он отличался знанием строительного искусства и большим бесстрашием. Во всяком случае он был на лучшем счету у Непира. А у нас он осрамил себя сразу и окончательно! Как только этого Миллера привезли — Шкот пошел навестить его. Сделал он это, как земляк, и ему это в вину не поставилось. Он просидел у пленного вечер, а на другой день английский инженер пошел отдать ему визит, но был так глуп, что думал, будто надо идти по тротуару, а не посреди улицы, которая, впрочем, была покрыта жидкою грязью по колено.

Миллер пошел по пензенским тротуарам, по которым в Пензе *не ходили*.

И Шкот не сказал ему этого.

За это тротуарная доска спустила английского инженера одним концом в клоаку, а другим прихлопнула его по темени, и дело с ним было кончено.

Это было смешно! Не знали только, как с этим поступить: стыдиться или хвалиться? В Крыму уцелел от всех пушек, а в Пензе доской прихлопнуло. Забавно!

А виноват был Шкот: он должен был его сразу же предупредить, что по тротуарам не ходят. Но он англичанин... он хитрый человек, он нарочно хотел создать историю...

Старик Шкот вышел из себя и послал вызов на дуэль генералу Арапову, в доме которого это говорили.

Генерал не отвечал, но стал ездить в закрытой карете.

Шло что-то новое: бахвальства сменились картинами «Изнанки Крымской войны» и «Параллелями» Палимпсестова. «Параллели» особенно смутили Загон, так как там просто, но обстоятельно было собрано на вид, что́ есть у нас и что́ в соответствии нашему убожеству представляет жизнь за окружающей наш Загон стеною. По рукам у нас пошла печатная картина, где наш Загон изображен был темным и безотрадным, но крепко огражденным китайскою стеною. С внешней стороны разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки и образовали трещины, в которые скользили лучи света. Лучи эти кое-что освещали, и то, что можно было рассмотреть,— было ужасно. Но все понимали, что это далеко не все, что надо было осветить, и сразу же пошла борьба: светить больше или совсем задуть светоч? Являлись заботы о том, чтобы забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламом, и среди затыкавших выделялась одна голова с чертами знаменитого тогдашнего современника. На картинке он говорил: «Оставьте: если это от людей, то это исчезнет, а если от бога, то вы света остановить не можете». Почти те

[1] 15 сентября 1893 года этот стих полностью воспроизведен в весьма известной русской газете. (*Примеч. автора.*)

же самые, или по крайней мере в этом духе и роде, вел он беседы и на самом деле. Это был любимец и настоящий герой самых прекрасных дней в России: это был Пирогов. О нем говорили, что «он во время войны резал руки и ноги, а после войны приставляет головы». Все понимали одно, что Пирогов хотел «воспитать человека» и что нам это всего нужнее, так как мы очень невоспитанны.

Такое чистосердечное сознание в своем грехе свидетельствовало, разумеется, о счастливой способности нации к быстрому улучшению. Пироговские «Вопросы жизни» были напечатаны в «Морском сборнике» по приказанию великого князя Константина Николаевича. Пирогову доверялись и его хвалили не только взрослые и умные люди, но даже «дети» и, кажется, «камни». В феврале 1859 года в Одессе был выпущен «Новороссийский литературный сборник», издателем которого был очень мало знающий в литературе человек, А. Георгиевский, но и он посвятил свой сборник «имени Н. И. Пирогова». По словам этого г. А. Георгиевского, на Пирогова «Россия должна смотреть с гордостью, ибо его деятельность обещала много добра впереди». А. Георгиевский особенно указывал на старания Пирогова «вызвать в крае умственную деятельность, главным поприщем для которой служит литература» (Предисл., II). По разъяснению г. А. Георгиевского, это должно было идти так, что «дело самосознания каждая местность должна совершить собственными средствами, чрез посредство своей местной литературы, ибо централизация умственной деятельности есть явление ненормальное и вредное, которое парализует жизнь остальных частей, стягивая все силы к одному пункту (ibid., III). В сборнике главною статьею был отрывок Пирогова под заглавием «Чего мы желаем?». Здесь рассматривался вопрос о высшем образовании в независимости от «одной только ближайшей цели» (185). Пирогов выяснил, что, «преследуя одно ближайшее, мы незаметно попадем в лабиринт, из которого трудно будет выбраться» (186). А «по закону противодействия может начаться на другой улице праздник». Но мы так полны были радостей, что ничего не опасались, и, ходя по тропинке бедствий, не ожидали последствий. Удаль и бахвальство шибали в другую сторону: на проводы Пирогова собрались «тьмы». Это действительно был «излюбленный человек», с которым людям было больно и тяжело расставаться. Прощаясь с ним, плакали, и одна молоденькая институтка, вскочив на стол с поломанной ножкой, громко вскрикнула: «Будьте нашим президентом!»— и сама упала вместе со столом... Несколько человек ее подхватили. Она была вне себя и все кричала: «президент!» и жаловалась на боль в коленке.

В числе лиц, суетившихся вокруг этой юной особы, были флотский доктор, мичман и штаб-офицер в голубой форме. Последний желал у нее о чем-то осведомиться, но флотский доктор сурово отстранил его и сказал:

— Разве вы не видите, что девушка в истерике!

А другие ему закричали:

— Стыдно, полковник, стыдно!

И полковник уступил и только спросил у какого-то простолюдина:

— Что такое она тут чекотала?

А тот ему «неглежа» ответил:

— Чекотала чечётка, видно чечета звала.

— Ага!— сказал, не обижаясь, полковник,— петушка кличет!

— Разумеется.

И в самом деле, явился петушок, с которым чечетку обвенчали с удивительною поспешностью.

А важное дело образования, которое так широко понимал Пирогов, было решено «в тоне полумер», которых всего более Пирогов опасался... Потом и сам Пирогов подпал осмеянию в передовом из тогдашних журналов и был не только удален от воспитательного дела, но, по словам, сказанным им на его юбилее, он еще «был оклеветан», и даже г. А. Георгиевский уже не защищал его...

Затем Катков открыл в правительстве бессилие и слабость и стал пугать, что нас «скоро отмежуют от Европы по Нарву» и что наши петербургские генеральши будут этому очень рады, «потому что им станет близко ездить за границу». От дам чего не станется! Опять бы им надвинуть на уши повойники, да и рассадить их по теремам.

Появилась и книжка с таким направлением, напечатанная в Петербурге, а из Москвы и на всех вообще раздался окрик: «Назад! Домой!»

И это уже не казалось дико, а стало модным словом.

Интервал проходил.

Появились знаменитости, каких нет на Западе и которым Запад должен был позавидовать. Прослыл в *ученых* Маклай, сочинений которого в России до сих пор не читали; а потом г. Катков отыскал и проявил в свет *воителя* Ашинова, «вольного казака», который, по мнению г. Каткова, внушал полное доверие. Его поддерживали другие знаменитые люди: Вис. Комаров, Вас. Аристов, свящ. Наумович и другие, имена которых останутся навсегда связанными с этим «историческим явлением». Я его помню в одной торжественной обстановке среди именитых лиц: рыжий, коренастый, с круглыми бегающими глазами и куцупыми руками, покрытыми веснушками... Он был превосходен в своем роде. Его ассистировали Комаров, Аристов и Наумович, и еще один русский поэт из чиновников, и три «только что высеченные дома болгарина»... Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англия. Для этого он не пил ничего из бокалов, которые ему подавали, а хлебал «из суседского». Все это казалось «просто и мило». И затем уже пошла такая знаменитость, которой уже никто и не угрожал: выехал верхом казак и поехал, и (по отчету одного детского журнала) только раз один ему «пришлось купить вазелину», а между тем не только ему, но и его «сивому мерину» были оказаны все знаки почтения. Если редактор «Petersbourger Zeitung»[1] удивил некогда людей, съездив в Берлин для того, чтобы видеть Бисмарка и «поцеловать рыжую кобылу», на которой тот был в битве, то наши дамы не уступали этому редактору в чувстве достоинства, и... сивый мерин тоже дождался такой же ласки, и притом не от мужчины... Вредных тяготений к чужеземщине, которых ожидал Катков, со стороны дам не встречалось, а наоборот, им стало нравиться все простое, не попорченное цивилизацией, даже прямо *дикое*.

Огромное множество людей вдруг почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволяли духу времени увлечь себя слишком далеко: им было неловко, что они как будто выпятились вперед, за черту, указанную благоразумием... Им стало стыдно и дико: что они, взаправду, за европейцы!

Кто-то припомнил, что и Катков некогда говорил, что «нельзя насыпать на хвост соли Европе», но теперь уже ничто подобное не казалось убедительно. Нельзя насыпать соли — и не нужно; и пошли повороты на попятный двор по всем линиям.

И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-кого напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились в Крым неготовыми во всех отношениях и каким очистительным огнем прошла вся следовавшая затем «полоса покаяния»; забыли, в виду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать «освобождение рабов *сверху*»; забыли даже кривосуд старых, закрытых судов, от которого страдали и стенали все. Забыли все так скоро и основательно, как никакой другой народ на свете не забывал своего горя, и еще насмеялись над всеми лучшими порядками, назвав их «припадком сумасшествия».

Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять «стена» и внутри ее — загон!

С тех пор, как произошел этот кратко мною очерченный последний оборот, я уже не бывал ни в орловских, ни в пензенских,

[1] «Петербургская газета» (*нем.*)

ни в украинских деревнях, а вертелся по балтийскому побережью. Пожил я здесь в разных местах, начиная от Нарвы до Полангена, и не нашел ничего лучшего, как Меррекюль, выдерживающий свою старинную и почетную репутацию. Это именно тот первый пункт за Нарвою, где, по расчету Каткова, русские генеральши захотят сделать для себя «заграничное место». Здесь хорошо жить, потому что в Меррекюле очень красивое приморское положение, есть порядок, чистота, тихий образ жизни, множество разнообразных прогулок и изобилие русских генеральш. Очень любопытно видеть, что такое учреждают здесь теперь эти почтенные дамы, тяготевшие к чужим краям.

VI
ВОЗВЫШЕННЫЕ ПОРЫВЫ

О Меррекюле говорят, будто тут «чопорно»; но это, может быть, как было прежде, когда в русском обществе преобладала какая ни есть родовая знать. Тогда тут живали летом богатые люди из «знати», и они «тонировали». А теперь тут живут генералы и «крупные приказные» да немножко немцев и англичан, и тон Меррекюля стал мешаный и мутный.

Меррекюльские генералы, которые еще не вышли в тираж, находятся большею частью в составе каких-нибудь сильно действующих центральных учреждений, и потому они обыкновенно присутствуют шесть дней в столице, а в Меррекюль приезжают только по субботам. В течение шести будних дней в Меррекюле можно видеть только самых старых генералов, в которых столица уже не ощущает летом надобности, но они не делают лета и в Меррекюле. Украшают и оживляют место одни генеральши и их потомство — дети и внуки, которых они учат утирать носы, делать реверансы и молиться рукою. Между генеральшами одна напоминает мне преблагословенное время юности, когда у нее не было еще ни детей, ни внучат и сама она была легкомысленная чечетка! Да! Здесь она, которая когда-то крикнула «президента» и упала под стол.

Ее давний «петушок» теперь достиг уже всего, чего он мог достичь, и в нынешнем году выходит в тираж. Будущим летом они уже не будут жить в Меррекюле.

Мы едва узнали друг друга и, конечно, не много говорили о прошлом. Мы чувствуем, что мы стары и нам некстати вспоминать, какие мы были в то время, когда она упала под стол. Генеральша, по-видимому, желает поддерживать со мною знакомство, но так вежлива, что старается говорить всегда о таких вещах, которые мне неинтересны. Впрочем, иногда она говорит со мною о Толстом, которого она «похоронила для себя после Анны Карениной». Как он «пошел косить» — она ему сказала: «Прощай, батюшка!» Она на него, однако, «не нападает, как другие». «Зачем, нет! Пускай он себе думает что хочет, но зачем он хочет это распространять. Это не его дело. Суворин его отлично... Он его почитает и обожает, а на предисловие к сонате отлично... Не за свое дело и не берись. Род человеческий кончаться не может... Суворин отлично!.. На эту тему генеральша неистощима и всегда сама себе равна: Суворина она ставит высоко: il a une bonne tête»[1], а Толстой «гениальный ум, но ce n'est pas sérieux, vous savez[2]. Толстому, по-моему, одного нельзя простить, что он прислугу и мужчин портит. Это расстраивает жизнь. У меня была честная, верная служанка — и вдруг просит: «Пожалуйста, не приказывайте мне никому говорить, что вас дома нет, когда вы дома: я этого не могу». — « Что эа вздор такой!» — «Нет-с, говорит, это ложь — я лгать не хочу». И так и уперлась. Чтобы не давать дурного примера другим, я должна была ее отпустить, и только тогда узнала, что эта дурочка всё «посредственные книжки» читала.

---

[1] У него хорошая голова (*фр.*).
[2] Это не серьезно, вы знаете (*фр.*).

Но зато теперь у меня служанка, ох, какая лгунья! Каждое слово лжет и кофе крадет; но надо их почаще менять, и тогда они лучше. Другое дело мужчины: это самый беспутный и глупый народ на свете, а главное, что с ними нельзя так часто менять, как с прислугой. У них на уме то же самое, что было у нигилистов,— чтобы не давать содержания семейству; но это в таком роде не будет: все останется, как мы хотим».

Не знает она основательно ничего, или, точнее сказать, знает только одни родословные и мастерски следит за тем, кто из известных лиц где живет и в каких с кем находится короткостях. Она считает себя благочестивой, и ее занимает распространение православия среди инородцев. Меррекюль чрезвычайно удобен для этого рода занятий: здесь есть православный храм, «маленький как игрушечка», много чухон или эстов, которые совсем не имеют настоящих понятий о вере. Среди них возможны большие успехи.

Прежде тут была только лютеранская каплица, построенная в лесу. Она и теперь на своем месте. Ее называют Waldkapelle[1]. Она вся из бревен и крыта лучиною; в ней есть орган и распятие да на вышке небольшой колокол. Ни внутри, ни снаружи нет никаких портативных драгоценностей. Перед капеллою расчищена полянка, посредине которой приютилась маленькая колонка. Это памятник Генту; а вокруг, под большими великолепными соснами, стоят скамейки, на которых любят сидеть охотники до поэтической тишины. Здесь прелестно читать, и этим пользуются немногие любители чтения, какие кое-где еще остаются. Хорошо здесь играть и в крокет, но это не позволяется. На дорожках, ведущих к капелле, есть столбы с надписями: «Просят не играть в крокет у капеллы». По мнению немцев, дом молитвы надо удалить от шума: ему пристойна тишина. Няньки этим недовольны и приводят сюда генеральских детей, которые тщательно брыкают ногами в памятник покойного владельца Меррекюля и стараются оборвать окружающие цоколь цепи. Люди бурных инстинктов не найдут это место веселым; но многие говорят, что здесь им «хотелось молиться».

Лет двадцать или больше назад сюда по некоторым особого рода обстоятельствам прибыл из Петербурга православный священник Александр Гумилевский. Он был человек молодой, горячий и мягкосердечный, с любовью к добру, но без большой выдержанности и последовательности. Он начал проповедовать и так увлекся своим маленьким успехом, что счел себя за Боссюэта и позабыл об Аскоченском, который тогда действовал в духе и силе нынешнего Мещерского. За это неосторожный бедняк был смещен из Петербурга в Нарву, где все чрезвычайно не нравилось и ему и его домашним.

Думали однако, что он еще дешево отделался и что ему могло бы достаться гораздо хуже; но митрополит Исидор не любил портить жизнь людям.

Вина же Гумилевского состояла в том, что он «увлекся духом христианина» и вообще был родствен по мыслям архимандриту Федору Бухареву, который все хотел примирить «православие с современностью», и достиг только того, что его стали называть «enfant terrible[2] православия». Аскоченский, как жрец, «заклал» его и «обонял воню его крови». Но архимандрит Бухарев был умнее и характернее Гумилевского, и притом он был одинок в то время, когда Аскоченский вонзил ему в грудь свой жертвенный нож и «бегал по стогнам с окровавленной мордой». Одиночество для борца — большое удобство!

В Нарве Гумилевскому приходилось терпеть и от своих и от чужих; а главное, здесь ему не перед кем было говорить свои экспромты. Русская публика в Нарве к этому не приучена, и жаждавший деятельности молодой и действительно добрый человек почувствовал себя лишенным самого дорогого и приятного занятия и начал было заниматься иным делом, но остановился. В Меррекюле он встретил знакомых петербургских генеральш и заду-

[1] Лесная капелла (*нем.*).
[2] Ужасный ребенок (*фр.*).

мал с ними построить здесь «маленькую, но хорошенькую православную церковь». В ней добрый священник надеялся опять «расширить уста своя», так как он мог надеяться, что идоложертвенный Аскоченский имеет на кого метаться в Петербурге, и что будет сказано за Нарвою — он того не услышит. Можно будет говорить самые смелые вещи, вроде того, что все люди на свете имеют одного общего отца; что ни одна национальность не имеет основания и права унижать и обижать людей другой национальности; что нельзя молиться о мире, не почитая жизни в мире со всеми народами за долг и обязанность перед богом, и т. д. и т. д. Все это Гумилевский любил развивать в петербургском рождественском приходе и хотел пустить генеральшам в Меррекюле, что и было бы кстати.

Выбор места для русской церкви в Меррекюле был обдуман «с русской точки зрения». Церковь не хотели прятать, как Вальдкапеллу, а напротив — находили, что нужно «*выдвинуть* ее на вид». И потому ее построили при большой дороге, по которой ездят в Нарву на базар и к бойням, где режут животных на мясо. Церковь должна всем бросаться в глаза: через это кое-что может перепадать в кружку от прохожих и проезжих (последнее, однако, не оправдалось, но, может быть, только потому, что чухны очень расчетливы и скупы). Во внешней отделке русская церковь тоже превзошла Waldkapelle. Та хотя и привлекает своим gemütlichkeit'ом[1], но лишена всякого блеска, и в ней даже украсть нечего. Нашу церковь покрыли белою жестью и раззолотили по кантам. «Золото заиграло на солнце», а ночью к алтарю храма протянул свою дерзкую руку вор и унес кое-какие ценности, которые ему попались под руку. Потом это повторилось и еще раз, а проповеди, в том же духе, как предполагал Гумилевский, в этой «маленькой, но хорошенькой» церкви не последовало. Гумилевскому, который надеялся направлять курс нового корабля по-своему, не пришлось этого выполнить. Его пожалели и возвратили в Петербург в больничную церковь «напутствовать умирающих», которым он мог говорить что угодно, а они могли узнавать о пользе его внушений только в новом существовании. О проповеди в Меррекюле более не заботились. Меррекюльскую церковь приписали к собору в Нарве, откуда и до сих пор приезжают сюда священник и дьякон, служат вечерню и всенощную в субботу, а на другой день обедню, и опять уезжают в Нарву.

Проповеди не бывает, но хлопот все-таки много, и все это стоит порядочных денег для ктиторской кассы крошечной церкви. Казалось, что доход мал оттого, что ко всенощным мало ходят, потому что в это время ходят гулять и слушать музыку. Позаботились, чтобы под праздник на Визе не играла музыка; но, однако, это немцам помешало, а церкви не помогло: гуляют и без музыки. Попробовали показать великолепие и учредили крестные ходы из храма на Казанскую и на Спаса. Это произвело впечатление, так как таких религиозных церемоний здесь еще не видали; но эстам не разъяснили значения этих процессий, и они до сих пор называют это тоже «гуляньем». Ношение блестящих на солнце вещей из русского храма сделало только церковь предметом внимания воров, которые все думают, что там «гибель денег».

Явилась необходимость нанимать постоянного сторожа на целый год; но и при стороже воры опять приходили. Чтобы спасать соблазняющее их богатство, драгоценности стали увозить на зиму частью в Нарву в собор, частью к старосте, что тоже рискованно и не совсем законно. Но всего более изнуряет «доставка духовенства» к каждой службе, и чтобы избежать этого, нашли нужным построить в Меррекюле *летнюю поповку*.

Предприятие в этом роде показывает, что дела за Нарвой шли совсем не в том направлении, какое предсказывал Катков, и впереди это будет доказано еще ярче.

---

[1] Уютностью (*нем.*).

Постройка летней поповки в Меррекюле представляла затруднения: опасались, что свои собственные власти найдут это, пожалуй, излишним и не велят строить; но можно построить дом для *школы* так, чтобы она была меньше школою, чем поповкою и сторожкою. Это сделали. Построили дом, вместимостью не меньше храма, покрыли его железом; даже загородили проходившую тут проезжую дорожку, чтобы ни конный, ни пеший не мешали делать что нужно, и вот что придумали: завести в этой русской школе такого учителя, чтобы он за одну учительскую плату был тоже церковным сторожем, а кстати также был бы летом звонарем, подметал бы церковь и ходил у дьякона, у батюшек и у старосты на посылках...

Такого учителя выражали желание достать для русской школы в Меррекюле, чем надеялись и достичь большой экономии и пристыдить чухон; но прежде чем успели в этом, пришел в «собрание прихожан» мясник Волков и заговорил для всех неучтиво и неласково, будто при постройке дома для меррекюльской поповки исконный враг наш дьявол смутил строителя так, что он и не мог хорошо различать своего от церковного; словом, возглашено знакомое слово «вор», и... пошло дело об обиде...

Сказались мы и здесь опять в своем виде и в своих правилах.

Но это еще дело провинциальных аборигенов: приезжие генеральши сделали для пропаганды гораздо больше.

VII
АПОФЕОЗ

Побережный житель Финского залива хотя и суеверен, но у него не тот жанр в суеверии, как у настоящего «твердо-земного» русского человека. Здешним много чего не дохватывает. У нас, например, есть блаженные и юродивые, а у здешних этого нет, и они даже считают людей подходящего к этому сорта за плутов или дураков. Отсюда совсем разные отношения к людям, и что у нас готовы признать за святость,— за то здесь гонят со двора. В Меррекюле, как он просиял на свете, никогда святых не было; однако дамы наши нашли здесь очень замечательного человека и дали ему славу.

Человека, о котором наступает речь, знали здесь с самого дня его рождения. Теперь ему было около шестидесяти шести или шестидесяти семи лет. Имя его Ефим Дмитриевич, а фамилия Волков. Он тут родился и здесь же в Меррекюле умер по закончании летнего сезона 1893 года. Всю свою жизнь он пьянствовал и рассказывал о себе и о других разные вздоры. За это он пользовался репутациею человека «пустого». Местные жители не ставили его ни в грош и называли самыми дрянными именами.

О прошлом его приходилось слышать следующее. Лет до двадцати он висел на шее у родных и ничего не хотел работать; его сдали в пастухи,— он растерял или пропил овец; его представили барону, тот его наказал по праву вотчинника и оставил при дворе. Ефим снискал себе расположение домоправителя, которому сумел подслужиться, и быстро овладел секретом незаметно уносить и обратно вешать ключи от баронского погреба. Тут Ефим, или, как его эсты называли, «Мифим», перепробовал много дорогих вин. Занимался он этим комфортабельно: проводил целые ночи в погребах, а утром выходил, дополнив отпитые бутылки чем мог. На этом деле он и был взят на месте преступления и отдан в солдаты; но здесь «притворился безумным», отлично «выдержал испытание на сумасшедшего» и явился в Нарву. Сделавшись свободным человеком, Мифим сначала является в одном местном учреждении в должности «вышибайлы», но повел себя двусмысленно, и какой-то австралийский «кептен» сокрушил его так, что он стал хворать и не мог больше служить вышибайлом. Тогда он начал ходить по городу и питался Христовым именем.

С устройством православной церкви в Меррекюле Мифим усмотрел в этом повод занять здесь «привилегию нищенства» и «переехал на дачу».

Сначала он обтекал всю линию: посещал дачников Гунгербурга, Шмецка и Меррекюля; знакомился, располагал к себе сердца состраданием, как к герою из-под Плевны. Он приставал к кому попало, и те, кто нравом помягче, давали ему двугривенные и гривенники, которые он тотчас же неукоснительно пропивал. Гардероб его всегда был самый нищенский: он всегда был полубос, без белья и одет в лохмотья. Репутацией скромного нищего он не дорожил, а предоставлял это другому русскому специалисту, Сереге. Мифим, напротив, бравировал своим дерзновением и любил держать себя «применительно к человеку». Молодым людям он предлагал услуги, пригодные для образования мимолетных знакомств; другим переносил вести, а третьим ворожил и «предсказывал будущность». Кроме того, Мифим лечил от порчи скот; но скоро прошел слух, что, прежде чем вылечить животное, он сам будто его портит. По этому поводу с Мифимом в лесу случилась неприятность, от которой он хромал и переселился в Шмецк. Здесь он нанял за шесть рублей в лето развалившуюся баню у кузнеца Карла Шмецкэ и жил там тихо и «на спокое кашлял»... Но едва бог помог ему поправиться, он сейчас же опять делается полезным человеком и начинает указывать крестьянам, где они должны отыскивать уходящих с пастбища коней. Лошадь уйдет, и ее не могут найти, а Мифим погадает и говорит:

— Я ее вижу: она вот где!

Поведет хозяев через лес в болото и покажет, что их пропащая животина в самом деле «сидит» в топи и дожидается, чтобы ее вытащили.

Скотину вытащат, а Мифимке дадут за колдовство. Заработка от этих статей было бы достаточно; но крестьяне стали подозревать,что Мифим нечестно живет,— что он сначала сам загоняет скотину в болото, а потом приходит и отгадывает. И вот ему не только не стали давать обещанных за розыск денег, а погрозили его прибить. Четыре года тому назад, когда Мифим жил в Шмецке у кузнеца Карла Ивановича, подозрения против него ожесточились. У кузнеца была вувермановская (белая) лошадь с удивительно густым, пушистым хвостом. Звали ее «Талька». Лошадка была сытая, статная и удалой ухватки. Она ходила утром по росе в кустах близ дома вместе с другою лошадкою, с которою была очень дружна, и вдруг, когда ободняло и люди встали,— рыжая лошадка ходила в кустах, а вувермановской «Тальки» не было.

Увести ее не могли,— это было бы слишком дерзко; убежать она *одна* не могла, так как обе лошади были дружны... Всего вероятнее казалось, что «Тальку» кто-нибудь *угнал*.

Но куда? Где ее теперь держать?

Мифим взялся угадать, где лошадь, и потребовал за это три рубля; но ему денег не дали, а отправились в лесную глушь, в которой на днях кто-то встречал Мифима,— и «Талька» была здесь отыскана, затопленная в болото по самую шею... Животное совсем уже выбилось из сил: голова лошади вся была облеплена комарами и глаза заплыли от укусов; однако бедная «Талька» еще дышала и, услыхав знакомые голоса людей, отвечала ржанием. Наложили доски и лошадь вытащили, а Мифим увидал, что это ему чем-то грозит, и сделал диверсию: он съехал от кузнеца и повернул все свое направление на другую стать.

До сих пор он держался «военной линии» и рассказывал о себе по секрету, что он через какое-то особенное дело стал вроде французской «Железной маски» или византийского «Вылезария», а после истории с «Талькой» он начал набожно вздыхать, креститься и полушепотом спрашивать: «Позвольте узнать, что нынче в газетах стоит про отца Иоанна и где посещает теперь протосвятитель армии — Флотов?»

Особенно ему всегда нужно было знать: «где протосвятитель Флотов?» Но цель своей надобности он скрывал.

— Так, нужен он мне вот-вот всего на одну на минуточку, чтобы он на меня взглянул и я мог ему произнесть всего одно слово, и тогда увидали бы, что я не Ефим, а может быть,— *Эфир*!

Моя знакомая генеральша подала повод к тому, что Мифим получил возможность причислять себя к «церковному штату».

Когда за генеральшею в церковь прошла ее собака и потом такой случай еще раз повторился, Мифимка предложил старосте свои услуги, чтобы ему стоять у дверей и «не пускать собак господ», а староста за это чтобы платил полтинник в месяц.

Предложение было принято, и Мифим пришел с хворостиною и прежде всего прогнал от храма трех нищих старух и стал у дверей. Таким образом он захватил себе «привилегию нищенства».

С этих пор он начал считать себя «членом штата» и стал оказывать приходу большие услуги.

Здесь водится такой обычай, что перед тем, как духовенство хочет идти со святыней, по дачам посылают «брандера», чтобы не получать отказов, а заблаговременно узнать: кто примет, а кто не примет?

Мифим «пошел брандером» и, идучи путем-дорогою, достиг к моей генеральше, и здесь его так развезло, что он открылся ей, будто он православный священник, который находится под ужасным несчастьем за то, что не своею волею повенчал совсем особенную свадьбу.

Генеральша как услыхала об этой свадьбе, так и ахнула. То, о чем она узнала, еще никому не было известно.

Генеральша задыхалась от смешанных чувств, которые подняло в ней это открытие. И страх, и радость, и любопытство... все вместе ее совсем одурманило; и чтобы что-нибудь сделать, она бросилась к Мифимке с раскрытыми пригоршнями и завопила:

— Батюшка, благословите!

Мифим сумел ее благословить, а она поцеловала его руку.

Чтобы не оставаться одинокою при таком открытии, одна генеральша сообщила свой секрет другой, и дамы узнали, что Мифим есть самый удивительный «венчальный батюшка». Такой человек должен иметь дар помогать. А брачных надобностей так много.

У второй генеральши три взрослые дочери, и ни одна из них не выходит замуж, потому что все мужчины «подлецы» и «не женятся».

Вторая генеральша нашла, что Мифимково благословение может быть им полезно; но Мифим обнаружил осторожность и не захотел благословлять девиц в доме, при прислуге, а велел вывести их в лес, к сенным стогам, и у стогов благословил их и дал облобызать свои руки.

И что же? В следующую же зиму одна из этих генеральских дочерей неожиданно вышла замуж! Число охотниц целовать Мифимкину руку после этого умножилось; к нему выводили девиц, и он их благословлял.

Но вот один из таких случаев благословения в лесу из-за стогов подглядели чухны, и не поняли, что это такое дамы делают с Мифимкою, и начали рассказывать:

— Тамы-то на него рестятся и ку ему риклятаются, а он таит та на ных мiется [1].

Поблагословив дам прошлого сезона, Мифим в последних **числах** августа 1893 года пошел в винный погреб негоцианта Звонкова и, испив «до воли», закряхтел и переселился в вечность...

Одному лицу, которое с любопытством наблюдало духовную практику Мифимки, казалось, будто он не только благословляет дам и их дочерей, которым «бог долго судьбы не дает», но что он будто бы тоже исповедовал их у стогов и в бортищах; но сам Мифим энергически опровергал это, и я верю его отрицательству. Он был человек смелый и даже дерзкий, но осторожный и расчетливый: называться таинственным священником — «времен Лориса» и благословлять — это он мог, и я утвердительно могу говорить, что это он делал и считал это за неважное, потому что «не заедал чужого хлеба»; но

[1] «Дамы на него крестятся и к нему прикладываются, а он стоит да на них смеется».

исповедь совсем иная статья: это могло повредить Мифиму. Словом, хотя об этом говорили, но я уверен, что это неправда. Но, кажется, нет никакого сомнения, что Мифим оказывал дамам другие услуги, благоприятные для их видов.

Мне припоминается еще одна генеральша, большая, дебелая, тоже южной породы, с безгранично любящим материнским сердцем и с неукротимым воображением. У нее «блекла дочь», и мать виноватила в этом ее мужа, еще довольно молодого и, кажется, очень порядочного человека.

— Вообразите,— говорила она,— всего четыре года, как он женат на моей дочери, а уже манкирует жене.

Я ей ответил, что это, кажется, иногда и лучше.

Генеральша отвергла.

— Ну, нет,— извините!— воскликнула она.— Если вы это, может быть, по Толстому, то это так; но он напрасно расписывается за всех женщин. Может быть, такие и есть, как он высказывает, но для этого их надо было особенным образом изуродовать с детства. А моя дочь, как вы видите, это живая и полная жизни женщина, а не толстовка. О, она не толстовка! Нет, нет нет — не толстовка! Ею манкировать нельзя, потому что она блекнет. Вы видите, какая она!.. Она и сама не понимает, что с нею делается, но она была цветок!.. Я это и понимаю, но что же я могу сделать? Ничего! Муж к ней невнимателен, и баста! И целая вещь! Таких негодяев теперь довольно много. Теперь, говорят, даже в природе что-то такое распространяется к тому, чтобы ничего не надо, и явилась такая порода мужчин, в блузочках, и ножками стучат и сопят... Тогда и видно; но ведь человека, который одет как все, нельзя раньше знать! Не правда ли?

— Да.

— А какие-то ученые утверждают, что еще хуже будет. У образованных мужчин скоро совсем уж не будет детей. Переутомление. Вот ужас! Понимаете? Целую неделю он остается в Петербурге, а мы здесь, и он ничего не испытывает, а в субботу едет сюда и везет, болван, с собою в кармане новую книжку... Какое остолопство! Такие не должны жениться. Одна моя знакомая, которая была за учеными мужьями, и все они были дрянь, а теперь она вышла за казака, и говорит: «Поверьте, что настоящие мужья — это только казаки! Пусть все это знают!» Я и верю, потому что казак — это дичок, он еще не подвергался в школе переутомлению, и он всегда просто ест; у него желудок все варит, даже, прости господи, хоть сальную свечку, и он верхом, в движенье,— и ему хочеться жить, и вот он ценит присутствие женщины... А эти еще по своей развращенности от служебных дел едут в шато-кабаки и пялят глаза на испанок и цыганок... Но тогда зачем жена?

Генеральша ударила себя обеими ладонями по выступам своего корсета и повторила:

— Забывают-с, что молодая жена *хочет жить*! Понимаете: она *имеет* право! Да; что ваш Толстой ни говори, а она имеет это право. И потому, когда мой зять вынимает из своего кармана волюм Zola или Bourget, я делаю над собою огромное усилие, чтобы не закатить ему плюху. Дурак и подлец! При цыганках небось не читает, а при жене читать!.. Свинья! Это только для того, чтобы не оставаться с глазу на глаз с совестью. А от этого бледность, от этого вялость и малокровие, и сужен, совсем уничтожен весь интерес к жизни... Это надо кончить! Зачем на бедных женщин кричать adultère?[1] Этого слова до Толстого не произносили! Если нельзя развода, то нужен revanche[2].

— Берегитесь, это может услышать ваша дочь.

---

[1] Нарушение супружеской верности (*фр.*).
[2] Реванш (*фр.*).

— И я желаю... Я ей это и говорю... Но она глупа... Или она, может быть, меня стесняется... Или она не понимает... не говорит!.. О, если бы эту мысль ей вложил человек... который мог бы ее успокоить, что это неважно... неважно... Потому что это неважно!..

И вот тут, может быть, Мифим кому-нибудь и помог... Он был не строг и мог все *разрешить*.

По крайней мере одной даме, которая имела к нему веру и «блекла от невнимания», Мифим сообщил решимость, воспоминание о которой вызывало розы на ее ланиты; а ее maman любовалась ею и шептала ей Деруледово слово:

— «Nitchevo!»

Генеральши про Мифима, вероятно, скоро забудут и найдут себе иного тамватурга; но чухны, которые хорошо знали, что за человек был их мерре-кюльский Мифим, «міются».

1893

ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ

Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов

Встань, если хотишь, на ровном месте и вели поставить вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что един твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркалы отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присносущную силу и божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зерцаловидные тени.

Григорий Сковорода [1]

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

По моему грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется «сумасшедшим домом», чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц испытуемых, все больные этого заведения считаются «сумасшедшими» и «невменяемыми», то есть они не отвечают за свои слова, ни за поступки.

Приходя сюда с тем, чтобы видеть одного из таких больных, я незаметно перезнакомился и со многими другими, между которыми были люди интересные — в том отношении, что помешательство их было почти неуловимо, а между тем они несомненно были помешаны. Между прочими таков был чрезвычайно трудолюбивый, а притом и очень веселый и разговорчивый старик в бабьем повойнике, по имени Оноприй Опанасович Перегуд из Перегудов. Начальство заведения, прислуга и все больные звали его «Чулочный фабрикант», потому что он во всякое время, когда только не ел и не спал, постоянно вязал чулки и дарил их бедным. Кличкою «Чулочный фабрикант» он нимало не обижался, а даже был ею доволен и находил в этом *свое призвание*. Он был всеобщий друг и фаворит, его не обижал даже «Король Бриндохлыст», сумасшедший человек огромного роста и чудовищной силы, который ходил в короне из фольги и требовал ото всех знаков раболепного почтения, а непокорным ставил подножки и давал затрещины. С Перегудом он проделал это только один раз в первый день его прибытия, а затем никогда этого не повторял и даже ограждал его, как своего «верноподданного болвана» и «лейбвязальщика». О причине их дружбы с королем Брындохлыстом еще раз будет упомянуто в своем месте этой истории.

От роду Перегуду было лет за шестьдесят; он был «очень здоров», крепкого сложения, «присадковатой фигуры» и «круглого лица», «як дóбра каунка», то есть арбуз. Он происходил из мелкопоместных дворян, которых в Перегудах числилось большое изобилие. Попервоначалу он не приготовлялся

[1] Григорий Сковорода (1722—1794) — украинский философ и поэт, в своих произведениях и трактатах резко критиковал официальную религию и паразитизм господствующих классов.

для вязанья чулок, а даже «урвал себе самое необыкновенное образование» и «исполнял необыкновенный долг службы свыше всякого воображения». Во всем этом Перегуд столько самого себя превзошел, что даже, наконец, «сам для себя стал непонятен и удивителен». По убеждениям он был «частию честолюб, а частию консерватор», а в жизни «любил тишноту» и чтобы «никто один другому не смел позу рожи показывать». И при таких своих дарованиях Оноприй Опанасович Перегуд «всеудивительно себя превознес посредством «Чина явления истины» и потом «сам же себя жестойчайше уменьчтожил». Произошло это удивительно и печально, но Перегуд на то не роптал, ибо все зто «походило от собственной его удивленной природы». А природа его была такова, что он еще в детстве своем бегал сам за собою вокруг бочки, настойчиво стараясь сам себя догнать и выпередить. Естественно, что человеку с таким настроением в конце концов не могло быть покойно, и дело дошло до того, что после многих стараний Перегуду удалось сделаться жильцом сумасшедшего дома, где он и изложил в общеинтересных и занимательных беседах предлагаемую вслед за сим повесть.

Но прежде чем передавать повесть Перегуда, прошу позволения сказать нечто о месте, где он жил и действовал, а также об его происхождении.

I

В одной из малороссийских губерний есть очень большое и красивое село Перегуды. По мнению сведущих людей, зто село давно бы надо уже переименовать в местечко или даже можно было бы объявить его и городом; но только зто нельзя сделать, потому что «против сего есть заклятие от старого Перегуда». А кто такой был старый Перегуд? Это надо помнить, потому что он был когда-то человек очень важный —«казацкая старшина» и лыцарь; он лихо командовал полком, и звали его Опанас Опанасович. В честь его и теперь все его внуки и правнуки, которые носят фамилию Перегуды или Перегуденки, непременно потрафляют так, чтобы их дети мужеского пола были или Опанасы, или по крайней мере хоть Опанасовичи.

Такая уже «поведенция», щоб молодое дитя всегда звалось «у дідову честь», ибо «дід того стоил».

— Я вам про него отлично могу все рассказать,— говорил, сдвигая на затылок колпак, Оноприй Перегуд и рассказывал длинную историю, из которой я подам только любопытнейшие извлечения.

Прошу меня не осудить за то, что здесь его и мои слова будут перемешаны вместе. Я допустил это для того, чтобы не все распространять так пространно, как говорил на гулянках Оноприй Перегуд. Многое, по его мнению важное, на самом деле мне казалось неважным и опущено, как совершенно не идущее к делу, или же изложено кратче моими словами, причем вся суть событий сохранена, а откинуты повторения и другие приемы многословия мечтательного маньяка, через которые рассказ его был бы не свободен от длиннот и через то непременно утрачивал бы интерес.

II

Полковник Опанас Опанасович, или, как принято говорить, «старый Перегуд», сам и основал село Перегуды. Сначала здесь ничего не было, а потом стоял только млын, или по-российски «мельница». Знаете, песенку помалороссийски спивают: «був да нэма, да поіхав до млына», а кацапы поют: «было да нетути, и поехал на мельницу...» Переглупая кацапузия, а все непременно норовит везде на свой фасон сделать! Ну да ладно! А потом еще позже около млына стал Перегудов хутор, а еще позже, как божиим произволением люди понарожались и население умножилось, то уже стало и село. Вот тогда дід Опанас закрутил себе чуб и стал навыдумливать: нарыл прудов, насажал рыбы с Остра и завел баштаны да огороды и как

стал собирать жинок и дівчат на полотье, то за их помочью,— пожалуйте,— еще больше людей намножил, и стало уже так много христиан, что, как хотишь, а довелось построить для них и церковь и дать им просвещенного попа, чтобы они соблюли закон христианский и знали, какой они породы и чем их вера лучше всех иных вер на свете. Иначе они не могли бы себя содержать в особливости без различия с литвою и ляхами, а наипаче с лютерами и жидами. Старый Перегуд все и сделал, что было надобно, и ничего за ним не стояло: он срубил и церковь с колокольнею и привез откуда-то попа Прокопа всем на заглядение, ибо это был человек самого превосходного вида: рослый, пузатый и в красных чоботах, а лицо тоже красное, як у серафима, а притом голос такой обширный, что даже уши от него затыкали.

Старый пан Опанас был уж такой человек, что если он что-нибудь делал, то всегда делал на славу; а как он был огромный и верный борец за «православную веру», то и терпеть не мог никаких «недоверков»— и добыл в Перегуды такого отца, который не потерпел бы ни люторей, ни жидов, ни — боже спаси — поляков. Если совсем правду сказать, то оба они не очень-то уважали и господ москалей и даже постоянно не иначе их называли, как «чертовы дети», но, чтобы не накликать этим к себе «москаля на двор»,— они в открытую борьбу с москалями не вступали, а только молилися тихо ко господу, щобы их «сила божа побила».

В обхождении с властными людьми дедушка Опанас был весьма благоискусен, особенно с теми, которые этого стоили; но при этом оставаясь с людьми одной своей «верной природы», Перегуд не скрывал, что он искренно поважал только одно доброе казачество, и для того хранил до них такую верность и вежливость, что завладел всею перегудинскою казачиною и устроил так, что все здешние люди не могли ни расплыться по сторонам, ни перемешаться глупым обычаем с кем попадя. Опанас Опанасович закрепостил их за собою и учинился над ними *пан*, еще где до Катериных времен! Так это сделал Перегуд еще при той казацкой старине, про которую добрые люди груди провздыхали и очи проплакали. И сделал он все это за помощию старшин так аккуратно, что все перегудинские казаки и не заметили, «чи як, чи з якого повода» их стали писать «крепáками»[1], а которые не захотели идти для дідуси на панщину, то щобы они не сопротивлялися, их,— пожалуйте,— на панском дворе добре прострочили, некоторых российскими батогами, а иных родною пугою[2], но бысть в тіх обоих средствах и ціна и вкус одинаковы. Но, а как это новым перегудинским крепакам, однако, все-таки еще не нравилось, то, чтобы исправить в них поврежденные понятия и освежить одеревенелый вкус, за дело взялся поп Прокоп, который служил в красных чоботах и всякую неделю читал людям за обеднею то «Павлечтение», которое укрепляет в людях веру, что они «рабы» и что цель их жизни состоит в том, что они должны «повиноваться своим господам». А чтобы это было крепко на веки веков, произошло то заклятие, которое не дозволяет селу Перегудам переименоваться ни в торговое местечко, ни в город.

III

Так как перегудинские казаки не видали для себя удовольствия быть крепостными и, познакомясь с батогами и пугою, поняли, что это одно другого стоит и что им дома бунтовать невозможно, то они «удались до жида Хаима», чтобы занять у него «копу[3] червонцев». Крепáки захотели посылать в Питер справедливого человека, который мог бы доступить до царицы и доказать ей или ее великим российским панам, что в селе Перегудах было настоящее казацкое лыцарство, а не крепáки, которых можно продавать

---

[1] То есть крепостными.
[2] П у г а — кнут, хлыст (*юго-зап.*, *обл.*).
[3] К о п а — куча, груда, ворох (*обл.*).

и покупать, как крымских невольников или как «быдло». Но прежде чем казаки с жидом насчет денег сговорилися, прознал о сем пан полковник и «перелупцевав» всех этих бывших лыцарей, по-своему уже, «одностойне[1] пугою»; а как он еще не любил кое-как кончать никакое дело, то у него еще достало ума, чтобы «предусмотреть и на будущее». Перегуд сообразил, что́ может случиться вперед, если крепаки добудут разум и гроши, и положил предотвратить всякий возможный вред удалением соблазнов. А как соблазны во всех делах подневольным людям всегда подают люди вольные, то надо было позаботиться, чтобы невольные с вольными близко не якшались. И вот для этого благой памяти старый полковник наскочил с хлопьятами и разорил жидовский дом, а потом и самого жида выгнал из Перегуд и разметал его «бебехи», чтобы не было тут того подлого и духу жидовского, «бо выбачайте[2], все жиды одинаково суть враги рода христианского».

А когда после этого все благополучно уставилось и протекло немалое время, в течение которого казаки перестали покушаться добывать себе назад лыцарство, милосердый бог судил Опанасу Опанасовичу «дождать лет своей жизни», то он увидал сынов и дщерей, и сыны сынов своих и дщерей, и обо всех о них позаботился, как истинный христианин, который знает, что заповедано в божием писании, у святого апостола Павла, к коринфянам во втором послании, в двенадцатой главе, в четырнадцатом стихе, где сказано, что «не должны бо суть чада родителем снискать имения, но родители чадам». И Опанас Опанасович соблюл это наставление, и когда его стараниями, а божиим смотрением стало много Перегудов и Перегуденков, то было уже для них у старого полковника принасено и много добра.

Когда же все земное было устроено и Перегуд увидел, что житницы его полны, а век его иждивается и «літа уже прошли як слід по закону», то став взирать и ко вышняя, когда занедужал один раз животом, и до того вредно, что мало чуть внутренности из него не выпали, то он тогда вспомянул о «часе воли божией» и начав воображать в своей фантазии: «Що тоди буде, як его казацкая душа мало-помалу да наконец совсем выскочит из тела? Өй, не миновать ей того, чтобы устретить тех самых повсеместно летающих страшных и престрашных воздушных духов, или, попросту сказать, бесов или чертяк, которые намалеваны в Лавре на стенке у Пещерной брамы[3] на выходе!.. Гей, то с ними тогда буде добра работа, и дешево не разделаешься. А деньги-то все на земле останутся...» Смел он был очень, но, знаете, однако такая беспокойная встреча если кому навяжется в голову, да еще при болезни, то это мое почтенье! Пробовал Перегуд хорошо испить «на потуху» и постараться уснуть покрепче, но все воздушных бесов множество за ним гналося и во сне ему стало сниться. Перегуд видел, как они, восшумев своими перепончатыми крылами хуже як літучи мыши, схопят его за чуб и поволокут в ад, а другие будут подгонять сзади огненными прутьями...

— Сохрани и спаси от сего мати божа печерская!

IV

Пан Опанас сейчас же проснулся и в первую голову позвал попа в красных чоботах и подписал в свое завещание еще сто дукатов на колокол и чтобы отлито было с его очевидной «фигурою», а потом сказал тому пузатому попу Прокопу на ухо, по секрету от всех, «яку-то заклятку», и сам тут при всех же рожу скривил, да и умер. Такая-то была его кончина. А как принесли его в церковь, то все его хотели видеть, бо он убран был в алом жупане и в поясе с золотыми цвяшками[4], но поп Прокоп не дал и смотреть на полковника, а взлезши на амвон, махнул рукою на гроб и сказал: «Закройте его швідче:

[1] Одностойне — единообразно, единодушно (*укр.*).
[2] Выбачайте — извините (выбача́ти — *укр.*).
[3] Брама — ворота (*укр.*).
[4] Цвяшки — гвоздики (*укр.*).

иль вы не чуете, як засмердело!» А когда крышку нахлопнули и алый жупан Перегуда сокрылся, то тогда поп Прокоп во весь голос зачал воздавать славу Перегуду и так спросил:

— Братия! Все вы его знали, а не все вы теперь знаете, що от сей наш пан Опанас завіщал, бо то была велыка его тайна, котору он мне открыв только в саму последнюю минуту, с тім, щоб я вам про это сказал над его гробом и щобы вы всі мне поверили, бо я муж в таком освященном сане, что присяги присягать я не могу, а все должны мне верить по моей иерейской совести, бо она освящена. И потому я пытаю вам добре: чи віріте вы міне, чи не віріте? Говорите просто!

И все в один голос ответили:

— Віримо, пан отец, віримо!

А отец Прокоп покивал головою и прослезился, и потом отер ладонями оба глаза и сказал томно:

— Спасибо и вам, дітки мои духовныи! Ой, спасибо вам, що вы меня, недостойного, так богато утешили, хотя я и раньше по очах ваших видел, що вы имеете до меня всяку веру, истинну же, и не лицемерну, и не лицеприятну, и плодоносящу и добродеющу. Так и знайте же зато, все люди божии, що сей старый наш пан и благодетель, его же погребаем, в остатнем часе своего жития схилился ко мне до уха, а потом на грудь так, что мне от него аж пылом и смрадом смерти повеяло, и он в ту минуту сказал мне... Слухайте ж! Всі слухайте! Бо се слова вже все равно як бы с того світа... То він сказал так:

— Пан отец! Скажи всем людям на моем погребении, что я им заклинаю и всех моих родичей и наследников, щобы на вічны віки щоб никогда не було у нас в Перегудах ни жида, ни католика! От! И те щобы не було у нас ни католицкого костела, ни жидовской школы; а чтобы была у нас навсегда одна наша истинная христинская вера, в которой все должны исповедаться у тебя, перегудинского попа, и тебе открывать все, кто что думает. А кто сего святого завета не исполнит и що-нибудь по тайности утаит, то «будет часть его со Иудою, который сидит у самого главного чертяка в аду с кошельком на коленях и жарится в сере».

И тут поп Прокоп поднял руку и забожился, что он это не выдумал, а что так истинно говорил полковник.

Этому долго все люди верили, но потом стали появляться кое-какие вольнодумцы, которые начали говорить, что отец Прокоп не всегда будто говорит одну чистую правду и иногда-таки,— прости его господи,— и препорядочно «брешет»; и от сего-де будто можно немножко сомневаться: правда ли, что старый Перегуд положил заклятие, или, может быть, это отец Прокоп,— поздравь ему боже,— я сам от себя выдумал, чтобы быть ему одному за все село единственным у бога печальником.

И как пошло это еретичество в людях, то естественно, что спасительный страх через то был отведен в сторону, и скоро «части с Иудою» уже почти совсем не боялися. И тогда начали лезть в Перегуды жиды и католики с тем, чтобы им тут купить места и поставить себе домы на базаре; а потом, разумеется, они уже начнут столы стругать, штаны шить да сапоги, и шапки ладить, да печь бублики, и играть в шинке на скрипицах, и доведут Перегуды до того, что все здешние христиане чисто перепьются и перебьют трезвым жидам их носатые морды, а тогда за них, пожалуй, потребуется ответ, как будто и за заправских людей. Однако, несмотря на все эти хитрости, Перегуды все-таки очень легко могли сделаться местечком, если бы все перегудинские дворяне и между собою не перессорились. А какие на свете были перегудинские дворяне и сколько их было числом, то это Оноприй Опанасович сказывал сбивчиво и думается, что всех их и описать нельзя, а довольно сказать, что все они ссорились и старались докучать и досаждать друг другу. В отдельности же из них надобно назвать только самого важного — это был Опанас Опанасович, который вывел свою фамилию в свет тем, что покинул домоседство и служил где-то по комиссариату первой или второй армии. Сей увеличил свою житницу и, имея единственного сына Дмитрия, дал ему столь превос-

ходное воспитание в московском пансионе Галушки, что этот молодец научился там говорить по-французски о чем вам угодно. После этого его скоро определили по таможенной части, где он служил с честию и, получив чин коллежского советника, а также скопив состояние, вышел в отставку на пенсию. Еще состоя на службе, Дмитрий Афанасьевич Перегудов женился законным браком на начальственной родственнице Матильде Опольдовне, про которую, впрочем, говорили, будто она даже никому и не родственница, ну да это и не важно, потому что, как только Перегудов приехал к себе в деревню, жена его не стерпела здешней жизни и скоро от него ушла жить в Митаву. Дмитрию Афанасьевичу стало не с кем говорить по-французски, но он скоро придумал, как пособить этому горю, и о деяниях его впереди ожидает нас некоторая мимолетная повесть.

Другой же видный перегудинский дворянин, как хотите, был тот самый Оноприй Опанасович Перегуд, которого я зазнал в сумасшедшем доме, и теперь дальше уже сам он будет вам рассказывать свою жизнь, опыты и приключения.

Оноприй Опанасович совершенно другого воспитания, чем Дмитрий Афанасьевич, ибо Оноприй не достигал московского пансиона Галушки, но зато он в воспитании своем улучил нечто иное, и притом гораздо более замечательное. Вот он теперь перед вами: он сравнял на коленях свое вязанье и начал говорить:

— Пожалуйте!

V

В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожиданности. Начну с того, что так учиться, как я обучался,— я думаю, едва ли кому другому из образованных людей трафилось. А и с тем, однако, я все-таки еще в люди вышел, и заметьте, должность какую сразу получил, и судил, и допрашивал, и немалую пользу принес, и жил бы до века, если бы не романс: «И, может быть, мечты мои безумны!..» Ах, слушайте, ведь я учился всем наукам в архиерейском хоре! Помилуйте-с! А как я оттуда прямо на цивильную должность попал — это тоже замечательно, но только непременно надо вам немножко знать, как у нас лежит наше село Перегуды, ибо иначе вы никак не поймете того, что придет о моем отце, о рыбе налиме и о благодетеле моем архиерее, и как я до него пристал, а он меня устроил.

Оно, то есть село наше, видите, совершенно как в романах пишут, раскинуто в прекрасно живописной местности, где соединялись, чи свивались, две реки, обе недостойные упоминания по их неспособности к судоходству. И есть у нас в Перегудах все, что красит всеми любимую страну Малороссию: есть сады, есть ставы [1], есть тополи, и белые хаты, и бравые паробки и чернобрыви дівчата. И всего люду там теперь наплодилось более чем три тысячи душ, порассеянных в беленьких хатках. Про нашу Малороссию всё это уже много раз описывали такие великие паны, как Гоголь, и Основьяненко, и Дзюбатый, после которых мне уже нечего и соваться вам рассказывать. Особенности же, какие были у нас в Перегудах, состояли в том, что у нас в одном селении да благодаря бога было аж одиннадцать помещиков, и по них одиннадцать панских усадьб, и все-то домики по большей части были зворочены окнами на большой пруд, в котором летней порою перегудинские паны, дай им боже здоровья, купались, и оттого и происходили совместно удовольствия и неприятности, ибо открытую полотном купальню учредил оный воспитанник пансиона Галушки, Дмитрий — як его долее звать — чи що Афанасьевич, потому что у них после отъезда в Митаву их законной жены были постоянно доброзрачные экономки, а потому Дмитрий Афанасьевич, имея ревнивые чувства, не желали, щобы иные люди на сих дам взирали.

[1] С т а в — пруд, запруда (*укр.*).

Господи мой! як бы то им что-либо от очей подіется! Ну, а все прочие перегудинские паны на такие вытребенки[1] не тратились, а купались себе прямо с бережка, где сходить лучше, и не закрывались, ибо что в том за секрет, кто с чем сотворен от господа. Се же и есть в том тайна господня творения, разделяюща мужский пол и женский, а человеку нечего над тем удивляться и умствовать, ибо недаром мудрейший глаголет в Екклезиасте:[2] «Не мудрися излише, да некогда изумишися». И точно, были у нас такие паны и пани, что, бывало, как разденутся и начнут входить в воду, то лучше на них не взирай, да не изумишися. Но наши того и не боялись, а иньшие даже и нарочито друг другу такое делали, что если один с гостями на балкон выйде, то другий, который им недоволен, стоит напротив голый, а если на него не смотрят, то крикнет: «Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку».

Перегуды и Перегудовны — всі народ терпкий, и исключение составлял один я, ибо я, говорю вам, в воспитании своем в архиерейском хоре получил особое приуготовление.

Теперь, вот позвольте, сейчас будет вам сказ о моем воспитании, про какое вы, наверно, никогда и не чуяли, а теперь враз всё узнаете, как оно состоялось, — и главное, совсем неожиданно и, заметьте, совсем с неподходящего повода — из-за налима.

VI

Только вы извините, что я и это вам начну опять с мирных и премирных времен моего пресчастливейшего детства, когда я находился при моей матери и всюду ее сопровождал по хозяйству, ел сладкие пенки с варенья, которое она наисмачнейше варила, и вязал под ее надзором для себя чулки и перчатки, и тогда мне казалось, что мне больше ничего и не надо, никакого богатства, ни знатности и никаких посторонних благополучий и велелепий. Думал, что и просить у бога чего-либо грех, иначе как «исполняй еси господи наше всяко животное благоволение», о коем сказано в молитве по трапезе. И вправду,— пожалуйте,— кажется, если человек сыт, и ему тепло, и он может иметь добрую компанию, ну, то чего ему еще и требовать! Разумеется, есть неблагодарные и злонравные, коим все мало, ну так у нас таких не было. Маменька моя, впрочем, была не из перегудинских, но а все-таки тоже хорошенького дворянского рода, а по бедности вела жизнь очень просто. Папеньку она очень любила, да и нельзя было его не любить, потому что папенька мой был очень молодец. Совсем был не такой, как я! Уг-гу! Где же таки: нэма що и сравнивать. Я какой-то коцубатый да присадковатый, а он был что высокая тополя. И чином он тоже был маиор и вышел в отставку за ранами с пенсией, которую ему и выдавали по семи рублей в месяц из казначейства. Без этого нам бы, может быть, и очень бы туго было, как и другим Перегуденкам, но с пенсией мы жили добре, и мамаша всегда, бывало, мне говорили:

— Эй, Оноприйку! Шануй[3] своего отца, бо ты видишь, как мы за его кровь сколько получаем и можем чай пить, когда у других и к мяте сахару нет.— Так мы и жили во всякой богу благодарности, и как родители мои были набожные, то и я был отведен материю моею в семилетнем возрасте на дух к попу! А поп у нас тогда был Маркел, Прокопов зять,— бо Прокоп помер,— и был той Маркел страшенный хозяин и превеликий хитрец, и он с предумыслом спросил у меня:

— Чи не крав ли ты, хлопче, огурки або кавуны на баштани?

А як мати учила меня отвечать по правде, то я ему и ответил:

---

[1] Вытребенки — пустяки (*укр.*).

[2] Екклезиаст — название ветхозаветной библейской книги, авторство которой приписывается еврейскому царю Соломону (XI в. до н. э.); книга написана в пессимистическом тоне.

[3] Шануй — чти, уважай (*укр.*).

— А то як же, батюшко!— крав.

Он кажет:

— Молодец!.. Бог простит: се діло ребячье.— А потом вспомнил и то спросил:— А не крав ли ты часом тоже и на моей бакші?

А я отвечаю:

— А то как же, батюшко: крав с другими хлопцами и на вашей.

А он тогда взял меня сразу за чуб и так натряс до самого до полу, что я тім только и избавился, що ткнул его под епитрахиль в брюхо, и насилу от него вырвался и со слезами жаловался на то своему отцу с матерью. Отец хотел за это попа бить, но когда они сошлися, то заместо бою между ними настало самое «животное благоволение». Повод к сему был тот, что в это самое время настал у нас новый архиерей, который был отцу моему по школе товарищ, и собирался он церкви объезжать. А отец взял да Маркелу попу тем и похвастался и сказал ему:

— Хоть и очень тебя изобью, но ничего не боюсь — тебе велено будет молчать против меня. А то и места лишишься.

Вот поп Маркел как это почуял, так и говорит отцу:

— Вот чисто все, и видать, что напрасно мы ссоримся. Если так, то хотите бьете, а хотите милуете, но я ничего противного не хочу, а если вы с нашим архиереем знакомы, то пусть от сего нам обоим добро выйдет.

Отец ему отвечает:

— Изъясни, что же такое! А архиерея я отлично знаю: мы с ним в бурсе рядом спали и вместе ходили кавуны красть.

А поп потянул рукою себя по бороде и отвечает:

— Извольте же вам за это получения: вот вам первое, что извольте получить,— это на чепан сукна и фунт грецкого мыла супруге на смягченье кожи.

И подает и сукно и мыло.

А отец ему отвечает, что «что же это, ты подаешь, не объяснив, в чем твое угождение, а думаешь уже, как бы с мылом под меня подплынуть! Так и все вы, духовные, такие хитрые; но я еще не забыл, как твой тесть моего діда волю над его гробом с амвони выкликал; а может быть, все это только враки были, за то що он хотел выпхать из Перегудов жидов, а потом, когда уже жидов не стало, то он начал сам давать гроши на проценты, а ныне и ты тому же последовал».

Маркел говорит:

— Вот про сие и речь.

А отец говорит:

— Да що там за річь! Нэма про що и казать срам! Жид брал только по одному проценту на месяц, а вы берете дороже жидовского. Се, братку, не мылом пахнет!

— Ну, а если не мылом,— отвечал Маркел,— то я подарю вам еще большого глинистого индюха. Що тогда буде?— вопросил поп.

— И индюх не поможет.

— А если еще с ним разом и две индюшки?

— Я глинистого пера птицы не отвергаю, потому что она мне ко двору, как и теля светлой шерсти тоже, но все же правда дороже, что ты разоритель.

— Ну хорошо! Пусть вам и буде правда всего дороже. Делать нечего: я вам прибавлю еще и теля. Владейте, бог с вами: из него скоро будет добра коровка!

— Ну, это когда она еще вырастет!

— А нет... не говорите так: вырастет и будет очень добра коровка!

— Да когда? Сколько этого ждать! Да и как будет ее молоко пить, когда вспомянешь, что это не за одну правду, а и за детскую кровь узял.

— От далась-таки вам еще эта детская кровь; да еще та самая, которой и не было!

— Ба! Як же то ее не было! Вы же трясли за чуб моего сына! Это на духу и не полагается.

— Эко там велико дело, що я подрав на духу хлопца за чуб, за то, що он у меня кавуны крал: он с того растет, а вам от коровки молоко пить будет.

Но отец сказал:

— Это нельзя.

— Почему нельзя?

— А вы разве не читали у Патриаршем завете, что по продаже Иосифа не все его братья проели деньги, а купили себе да женам сапоги из свинячьей кожи, щобы не есть цену крови, а попирать ее.

— Ну, да понимаю уже, понимаю. Еще и попирать что-то хотите. Ну так будет вам и попирать — нехай будет по-вашему: я вам прибавлю еще подсвинка со всей его кожею, но только предупреждаю вас, что от того, что вы меня не защитите от всенародного озлобления, вам никакой пользы не прибудется; а как защитите, то все, что я вам пообещался,— все ваше будет.

Тогда отец сказал ему:

— Ну, иди и веди ко мне и индюха, и теля, и подсвинка — бог даст, я за тебя постараюся. А все расходы на твой счет.

Поп повеселел. Что уже там расходы! И стал он просить отца, чтобы только припомнил и рассказал ему: что такое архиерей особенно уважал в прежней жизни?

А отец его попихнул рукою в брюхо и говорит:

— Эге! Поди-ка ты шельма какой! Так я тебе это и скажу! Мало ли что мы тогда с ним любили в оные молодецкие годы, так ведь в теперешнем его звании не все то и годится.

— Ну, а в пищепитании?

— В пищепитании он, как и вообще духовные, выше всего обожал зажаренную поросячью шкурку, но и сей вкус, без сомнения, он ныне был должен оставить. А ты не будь-ка ленив да слетай в город и разузнай о нынешнем его расположении от костыльника [1].

Поп Маркел живо слетал и, возвратясь, сказал: «Ныне владыка всему предпочитает уху из разгневанного налима». И для того сейчас же положили разыскать и приобресть налима, и привезть его живого, и, повязав его дратвою за жабры, пустить его гулять в пруд, и так воспитывать, пока владыка приедет, и тогда налима вытащить на сушу, и принесть его в корыте, и огорчать его постепенно розгами; а когда он рассердится как нельзя более и печень ему вспухнет, тогда убить его и изварить уху.

Архиерею же папаша написал письмо на большом листе, но с небольшою вежливостью, потому что такой уже у него был военный характер. Прописано было в коротком шутливом тоне приветствие и приглашение, что когда он приедет к нам в Перегуды, то чтобы не позабыл, что тут живет его старый камрад, «с которым их в одной степени в бурсе палями бито и за виски драно». А в закончении письма стояла просьба: «не пренебречь нашим хлебом-солью и заезжать к нам кушать уху из печеней разгневанного налима».

Но,— пожалуйте,— какие же из этого последовали последствия!

VII

Доставить отцово письмо в дом ко владыке покусился сам поп Маркел, ибо в тогдашние времена по почте писать к особам считалось невежливо, а притом поп желал разузнать еще что-либо полезное, и точно — когда он вернулся, то привез премного назидательного. Удивительно, что он там в короткое время успел повидаться со многими лицами архиерейского штата, и многих из них сумел угостить, и, угощая, все расспрашивал об архиерее и вывел, что он человек высокопросвещенного ума, но весьма оляповатый, что вполне подтверждалось и его ответом, который похож был на резолюцию и был над-

---

[1] Костыльник — церковный служка (одной из принадлежностей архиерея во время службы является посох, или костыль).

писан на собственном отцовом письме, а все содержание надписи было такое: «Изрядно: готовься — приеду».

Тогда началась чудосия, ибо гордый своим маиорством отец мой отнюдь не был доволен этою оляпкою и сейчас же пустил при всех на воздух казацкое слово и надписал на письме: «Не буду готовиться — не езди», и послал лист назад, даже незапечатанный; но архиерей по доброте и благоразумию действительно был достоин своего великолепия, ибо он ни за что не рассердился, а в свою очередь оборотил письмо с новым надписанием: «Не ожесточайся! Сказал, буду — и буду».

Тут папаша,— пожалуйте,— даже растрогался и, хлопнув письмом по столу, воскликнул:

— Сто чертей с дьяволом! Ей-богу, он еще славный малый!

И отец велел маменьке подать себе большой келих[1] вина и, выпив, сказал: «се за доброго товарища!», и потом сказал матери приуготовлять сливные смоквы, а попу Маркелу наказал добывать налима. И все сие во благовремение было исполнено. Отец Маркел привез в бочке весьма превеликую рыбу, которую они только за помощью станового насилу отняли у жида, ожидавшего к себе благословенного цадика, и как только к нам оная рыба была доставлена, то сейчас же повелено было прислужавшей у нас бабе Сидонии, щобы она спряла из овечьей волны крепкую шворку, и потом отец Маркел и мой родитель привязали ею налима под жабры и пустили его плавать в чистый ставок; а другой конец шворки привязали к надбережной вербе и сказали людям, чтобы сией рыбы никто красть не осмеливался, ибо она уже посвяченная и «дожидается архиерея». И что бы вы еще к тому вздумали: як все на то отвечали.

А отвечали вот как: «О, боже с ней! Кто же ее станет красти!» А меж тем взяли и украли... И когда еще украли-то?— под самый тот день, когда архиерей предначертал вступить к нам в Перегуды. Ой, да и что же было переполоху-то! Ой, ой, мой господи! И теперь как об этом вспомнишь, то будто мурашки по тілу забігают... Ей-богу!

А вот вы же сейчас увидите, как при все этом затруднении обошлись и что от того в рассуждении меня вышло.

VIII

Преудивительная история с покражей налима обнаружилась так, что хотели его вытягти, щоб уже начать огорчать его розгами, аж вдруг шворка, на которой он ходил, так пуста и телепнулась, бо она оказалась оборванною, и ни по чему нельзя было узнать, кто украл налима, потому что у нас насчет этого были преловкие хлопцы, которые в рассуждении съестного были воры превосходнейшие и самого бога мало боялись, а не только архиерея. Но поелику времени до приготовления угощения оставалось уже очень мало, то следствие и розыск о виновных в злодейском похищении оной наисмачнейшей рыбы были оставлены, а сейчас же в пруд был закинут невод, и оным, по счастию, извлечена довольно великая щука, которую родителями моими и предположено было изготовить «по-жидовски», с шафраном и изюмом,— ибо, по воспоминаниям отца моего, архиерей ранее любил тоже и это.

Но что было неожиданностию, это то, что по осмотре церкви архиереем его немедленно запросил до себя откушать другий наш помещик, Финогей Иванович, которого отец мой весьма не любил за его наглости, и он тут вскочил в церкви на солею[2], враг его ведает, в каком-то не присвоенном ему мундире, и, схопив владыку за благословенную десницу, возгласил как бы от Писания: «Жив господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя». И так смело держал и влек за собою архиерея, что тот ему сказал: «Да отойди ты прочь от

---

[1] К е л и х — кубок, бокал (*укр.*).

[2] С о л е я — возвышение пола в церкви перед алтарем.

меня!— чего причіпився!» и затем еще якось его пугнул, но, однако, поехал к нему обедать, а наш обед, хотя и без налима, но хорошо изготовленный, оставался в пренебрежении, и отец за это страшно рассвирепел и послал в дом к Финогею Ивановичу спросить архиерея: что это значит? А архиерей ответил: «Пусть ожидает».

И, пообедав у Финогея Ивановича, владыка вышел садиться, но поехал опять не до нас, а до Алены Яковлевны, которая тож на него прихопилася, як банная листва, а когда отец и туда послал хлопца узнать, что архиерей там делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать, и тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он крикнул хлопцам:

— Смотрите у меня: не смійте пущать его ко мне в дом, если он подъедет!

А сам, дабы прохладить свои чувства, велел одному хлопцу взять простыню и пошел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы и уже кофей пили. И архиерей как увидал моего рослого отца, так и сказал:

— Как вы ни прикидайтеся, будто ничего не видите, но я сему не верю: этого невозможно не видеть. Нет, лучше аз восстану и пойду, чтобы его пристыдить.— И сразу схопился, надел клобук и поехал к нам в объезд пруда. А с балкона Алены Яковлевны показывая, дівчата кричали нам: «Скорей одягайтесь, пане! До вас хорхирей едет!» А отец и усом не вел и нимало не думал поспешить, а, будучи весь в воде, даже как будто с усмешкою глядел на архиерейскую карету. Архиерей же, проезжая мимо его, внезапно остановился, и высел из кареты, и прямо пошел к отцу, и превесело ему крикнул:

— Що ты зто телешом светишь! Или в тобе совсім сорому нэма? Старый бесстыдник!

А отец отвечал:

— Хорошо, що в тебе стыд есть! Где обедал?

Тогда архиерей еще проще спросил:

— Да чего ты, дурень, бунтуешься?

А отец ответил:

— От таковового ж слышу!

Тогда архиерей усмехнувся и сел на скамейку и сказал:

— Еще ли, грубиян, будешь злиться? Egvando amabis...[1] Впрочем, соблюди при невеждах приличие!— И с сими словами рыгнул и, обратив глаза на собиравшиеся вокруг солнца красные облака, произнес по-латыни: Si circa occidentem rubescunt nubes, serenitatem futuri diei spondent[2]. Это имеет для меня значение, ибо я должен съесть, по обещанию, еще у тебя обед и поспешать на завтрашний день освящать кучу камней. Выходи уже на сушу и пошли, чтобы изготовляли скорее твоего налима, которым столь много хвалился.

Услыхав это язвительное слово о налиме, отец рассмеялся и отвечал, что налима уже нет.

— Пока ты по-латыни собирался, добры люди божьи по-русски его украли.

— Ну и на здоровье им,— отвечал архиерей,— я уже много чего ел, а они, может быть, еще и голодны. Мы с тобой вспомним старину и чем попало усовершим свое животное благоволение. Не то важно, *что* съешь, а то — с кем ешь!

Услыхав, что он хорошо говорит и что опять согласен еще раз обедать, отец скоро из воды выскочил, и потекли оба с прекраснейшим миром, который еще более установился оттого, что архиерей все снова ел, что перед ним

---

[1] Egvando amabis (правильно — ecquando amabis) — когда-нибудь полюбишь (*лат.*).

[2] Красные облака вокруг заходящего солнца предвещают ясный день (*лат.*).

поставляли, и между прочим весело шутил с отцом, вспоминая о разных веселящих предметах, как-то о киевских пирогах в Катковском трактире и о поросячьей шкурке, а потом отец, может быть чрез принятое в некотором излишестве питье, спросил вопрос щекотливого свойства: «Для чего, мол, ты о невинных удовольствиях, в миру бывших, столь прямодушно вспоминаешь, а сам миром пренебрег и сей черный ушат на голову надел?»

А той и на сие не осердился и отвечал:

— Оставь уже это, миляга, и не сгадывай. Что проку говорить о невозвратном, но и то скажу — о мирской жизни не сожалею, ибо она полна суеты и, все равно как и наша — удалена от священной тишноты философии; но зато в нашем звании по крайней мере хоть звезды на перси легостнее ниспадают.

— Это-то правда,— сказал отец,— но зато нет от вас племени,— и затем пошел говорить, как он видал у грецких монахов, где есть «геронтесы» [1], и как они, сии геронтесы, иногда даже туфлей бьют...

Но тут следившая за разговором мать моя со смущением сказала:

— Ах, ваше преосвященство!.. Да разумеется все так самое лучшее, как вы говорите!.. — А потом обернулась к отцу и ему сказала: — А вы, душко мое, свое нравоученье оставьте, ибо писано же, что «и имущие жены пусть живут как неимущие»... Кто же что-нибудь может против того и сказать, что як звезды на перси вам ниспадают, то это так им и слід ниспадать и по закону и по писанию. А вы моего мужа не слухайте, а успокойте меня, в чем я вас духовно просить имею о господе!

Отец сказал:

— И верно это, душко моя, у вас какая-нибудь глупость!

А мать отвечала:

— А напротив, душко мое, это не глупость, а совершенно то, что для всех надо знать, ибо это везде может случиться. — И сразу затем она рассказала архиерею, что́ у нее «есть в сумлении», а было это то, что когда перед прошлою пасхою обметали пыль с потолков, а наипаче в углах, то в гостинечной комнатке упал образ всемилостивейшего спаса, и вот это теперь лежит у нее на душе, и она всего боится и не знает, как надлежит к сему относиться.

Архиерей же выслушал ее терпеливо и немножко подумал, а потом сказал «с конца»:

— На дискурс [2] ваш отвечу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических: поверье об упавшей иконе идет из Рима, со времен язычества, и известно с того случая, как перед погибелью Нерона лары упали во время жертвоприношения. Это примечание языческое, и христианам верить сему недостойно. А что в рассуждении причины бывшего у вас падения, то советую вам каждого года хотя однажды пересматривать матузочки, или веревочки, на коих повешены висящие предметы, да прислуга бы, обметая, чтобы не била их сильно щеткою. И тогда падать не будут. Расскажите это каждому.

Матерь мою это еще больше смутило, ибо она была очень сильно верующая и непременно хотела, чтобы все ее суеверия были от всех почитаемы за самосвятейшую истину. Так уже, знаете, звычайно на світі, що все жинки во всяком звании любят посчитывать за веру все свои глупости. И архиерей понимал, как неудобна с ними трактация, и для того прямо из языческого Рима вдруг перенесся к домашнему хозяйству и спросил: «Умеете ли вы заготовлять в зиму пурмидоры?» А переговорив о сем, перекинулся на меня, и вот это его ужаснейшее внимание возымело наиважнейшие следствия для моей судьбы. Говорю так для того, что если бы не было воспоминаемого падения иконы, то и разговора о ней не было бы, и не произошли бы наступающие неожиданные последствия.

---

[1] Геронтеса — жена знатного человека.
[2] Дискурс — рассуждение.

IX

Быв по натуре своей одновременно богослов и реалист, архиерей созерцаний не обожал и не любил, чтобы прочие люди заносились в умственность, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности. Так и тут: малые достатки отца моего не избежали, очевидно, его наблюдательного взора, и он сказал:

— А що, collega, ты, как мне кажется, должно быть, не забогател?

А отец отвечает:

— Где там у черта разбогател! На трудовые гроши годовой псалтыри не закажешь.

— То-то и есть, а пока до псалтыри тебе, я думаю, и детей очень трудно воспитывать?

Отец же отвечал, что тем только и хорошо, что у него детей не много, а всего один сын.

— Ну и сего одного надо в люди вывести. Учить его надо.

А когда услыхал, что я уже отучился у дьячка, то спросил меня: что было в Скинии свидения? На что я ответил, что там были скрижи, жезл Ааронов и чаша с манной кашей. И архиерей смеялся и сказал:

— Не робей: ты больше знаешь, как институтская директриса,— и притом рассказал еще, что, когда он в институте спросил у барышень: «какой член символа веры начинается с «чаю», то ни одна не могла отвечать, а директриса сказала: «Они подряд знают, а на куплеты делить не могут».

И опять все смеялись, а маменька сказали: «И я не знаю, где там о чае». А когда архиерей узнал, что я имею приятный голос, велел мне что-нибудь запеть — какой-нибудь тропарь или песню, а я запел ему очень глупый стих:

Сею-вею, сею-вею,
Пишу просьбу архирею!
Архирей мой, архирей,
Давай денег поскорей!

Родители мои очень сконфузились, что я именно это запел; а я, наоборот, потому запел, что я эту песню занял петь от моего учителя — дьячка; но архиерей ничего того не дознавал, а только еще веселей рассмеялся и, похвалив мой голос, сказал:

— Оставьте укорять дитя. Мне решительно его поза рожи очень нравится, и я полюбил его за его невинность; а вы мне скажите лучше: куда вы его думаете предопределить?

Отец отвечал:

— Э! куда спешить! Пусть он еще подрастет, а потом я покорюсь Дмитрию Афанасьевичу и попрошу у него письма, чтобы приняли хлопца в порубежную стражу: там нажить можно.

Но архиерей отвечал:

— Укрый тебя господи! Еще что за удовольствие определять сына в ловитчики! Почитай-ка, что о них в книге Еноха написано: «Се стражи адовные, стоящие яко аспиды: очеса их яко свещи потухлы, и зубы их обнаженны». Неужели ты хочешь дать сию славу племени своему! Нет, да не будет так. А дабы не напрасно было мое сожаление, то опять повторю: мне его поза рожи нравится, и я предлагаю вам взять сего вашего сына к себе для пополнения певчего хора. Чего вам еще лучше?

А причем еще он обещал одевать меня, и обувать, и содержать, и обучить всем наукам на особый сокращенный манер, «как принца», ибо на такой же сокращенный манер тогда с малолетними певчими проходил особый инспектор. Маменька этого не поняли, но отец понял, и когда матери истолковал, то и ей понравилось, а главное к тому еще ее прельстило, что архиерей пообещал посвятить меня в стихари, после чего я непременно буду участвовать в церемониях. Это уже столь весьма обольстительно сделалось в фантазии маменьки, что оне даже заплакали от счастия видеть меня в облачении

в парчовом стихаре, наверно воображая меня уже малым чем умаленного от ангел и в приближении к наивысшему небу, откуда уже буду мочь кое-что и сродственникам своим скопнуть на землю. И потому, когда отец еще думал, мать первая уже согласилась отдать меня в посвящение, но отец и тогда еще колебался. И тогда архиерей сказал ему:

— Поверь мне, что духовная часть всех лучше, и нет на свете счастливейших, как те, что заняли духовные должности, потому что, находятся ли люди в горе или в радости, духовные всё себе от них кое-что собирают. Будь умен, не избегай сего для сына, ибо Россия еще такова, что долго из сего круговращения не выступит.— Но отец все-таки и тут хотел на своем поставить и сказал:

— А где же возьмется поколение стражей?

Архиерей отвечал:

— Тебе что за дело! — И проговорил опять от Еноха: — «Видех аз стражи стоящие яко аспиды, и очеса их яко свещи потухлы, и зубы их обнаженны». Сравни же теперь, то ли дело житие духовное, где исполняется всякое животное благоволение... А я ж твое дитя на то и поведу мирно от чести в честь, и какие хотишь, те я ему и дам должности! Я его сделаю и книгоносцем, сделаю его и свещником, и за посошника его поставлю, и будет он светить на виду у всех особ, среди храма, а не то что порубежный или пограничный сторож!

Тут уже и отец не выдержал, а матушка вскинула вверх руки и воскликнула:

— Ой, боже мій! Боже мій милій! И откуда мне сіе, и доживу ль я до этого! Не говорите уже ничего больше, ваше преосвященство, бо я и так уже чувствую, какая я изо всех матерей богоизбранная и превознесенная. Берите моего сына: я желаю, щобы було так, как вы говорите,— щобы он перед всеми посередь дни свечою стоял и светил! Да пусть подержит уже и ту книгу, которую вы читаете! Що вам!.. Ведь можно?

Архиерей улыбнулся и сказал:

— Можно!

А мати поддержала:

— Я знаю,— говорит,— что на сем свете все можно, и сейчас пойду и ему белье соберу, чтобы он с богом разом с вами ехал.— А потом погнулась до отца, и чуба ему поправила, и сказала:— А вы уже, душко мое, не спорьтеся.

Отец отвечал:

— Да ладно!

И с тім она схопилась и побігла снаряжать меня, а отец вслед ей сказал:

— Ишь, яке в жинках огромное самолюбие обретается! Того она и не спытала, що, може бы, дитя схотело лучше идти в судовые панычи, и бог даст, может быть, когда-нибудь еще вышло б на станового.

Станового же должность отцу моему нравилась, потому что, знаете, он и сечет и с саблюкой ездит, и все у него как бы подобно до полкового.

А архиерей отвечал:

— Что же такого: если твой сын захочет быть светским, то и это мне не будет трудно: я попрошу вице-губернатора, и его запишут в приказные, а потом он может и на станового выйти. Так он даже может быть и стражем и далее может сам произвести поколение стражей, а все не то, что пограничники, ибо становой злодиев и конокрадов преследует. Это необходимость.

Это помирило все недоумения моего отца, который все-таки не ожидал такого обширного доброжелательства со стороны владыки и, не зная, что ему на это ответить, вдруг бросился ему на перси, а той простер свои богоучрежденные руки, и они обнялись и смешали друг с другом свои радостные слезы, а я же, злосчастный, о котором всё условили, прокрался тихо из дверей и, изшед в сени, спрятался в темном угле и, обняв любимого пса Горилку, ціловал его в морду, а сам плакался горько.

X

Но, как говорится — Москва слезам не верит, то и я со своими слезами не помог себе, и по сем враз же мне повелено было принять благословение у родителей и ехать в город вместе с самим владыкою, или, наипаче сказать, не с ним, а с его посошником, сидевшим в подвесной будке за архиерейской каретой.

Так-то налим отвязался и ушел или был скраден злыми соседями, а я вместо него попался на шворку, и затем о преподобном попе Маркеле и о его процентных операциях никакого разговора, сдается мне, у отца моего с архиереем совсем не было, а для меня с сей поры кончилось время счастливого и беззаботного детства, и началось новое житье при архиерейском доме, где я получил воспитание и образование по сокращенному методу, на манер принца, и участвовал в наипышнейших священнодействиях, занимая самые привлекающие внимание должности. И на сем месте обозначается естественный перелом в моем житии, ибо до сей поры я созревал в домашнем своем положении, какое получил по рождению своему в моем семействе, а отсюда уже начинается умственное и нравственное мое развитие, составляющее как бы вторую часть моей биографии, впоследствии еще подразделяемую и на третие.

XI

Архиерей как вначале показал себя очень простым и добрым человеком, так вообще и далее таков же оставался и очень немалой любви заслуживал. Правда, что иные находили в нем как бы не весьма много духовности, но зато он был превеликий любитель миролюбия и хозяйства и столько был в это вникателен и опытен, что с приходящими просителями всего охотнее говорил о произрастениях из полей и о скотоводстве, и многие советы его были удивительны. Так, например, жителям местности, где воспитывают свиней, он подал совет: как можно в точности узнавать толщу сала, покалывая живую свинку в спину шилом, от чего она только мало визжать будет; а в другой раз рассказал всем страдавшим от покражи птицы, какое удивительно хитрое средство употребляют цыганы, ворующие гусей так, чтобы птицы не кричали, и чего вообще от цыган остерегаться должно. Знал он также и многие другие вещи, о которых невежды сочиняют суетная и ложная к поддержанию языческих суеверий. Итак, когда купили для него корову, чтобы он мог иметь к чаю свои сливки, и та корова почала громко рычать, то эконом и иже с ним бывшие полагали, что надо корову переменить, ибо она цветом шерсти не ко двору: но владыка улыбнулся и сначала сказал по-латыни:

— Tu deorum hominunque tyranne, Amore! то есть: О ты, Амур, тиран богов и людей! — А после продолжил по-русски: — Не стыдно ли вам верить в такие пустяки! Или вы, обязанные другим людям изъяснять темноты их непонимания, сами еще не разумеете, что когда рогатая скотина рычит, то вернее всего для того, что мечтает иметь свидание с быком? — И для удостоверения в этом приказал послать корову к дьякону, содержавшему у себя племенного быка, и как корова оттуда возвратилась вполне жизнью довольная, то оказалось, что владыка был против всех суеверов прозорливее. Но это иначе и быть не могло, потому что был это человек огромных дарований и престрашной учености до того, что даже с Сковородою во мнениях сходился и на все замечения о тех або иных улучшениях по его части говорил: «Верти не верти, а треба пролагать путь посреде высыпанных курганов буйного неверия и подлых болоть рабострастного суеверия», а сие, если помните, изречение оного вечнопамятного Григория Варсовы Сковороды. И видел он это так світло, что сміялся тем, которые в чужие краи ездят да вновь с тем же умом возвращаются, и «очами бочут, а устами гогочут, и кра-

суются як обізьяны, а изменяются як луна, а беспокоятся як сатана. Кто слеп дома, тот и в гостях ничего не увидит». А он и дома у себя в монастырьке сидел, да все понимал и знал: и Платона, и Цицерона, и Тацита, и Плавта, и Сенеку, и Теренция, и иных многих, да, боже мой, и еще чего он только не знал, и чего не читал, и многому, может быть, и меня хотел научить, но не мог по всего совместимости. Ей-богу! Ей-богу! Вы небось не поверите, а это, ей-богу, настоящая правда — не мог! Я такое счастье имел, что, как он сказал, что ему поза рожи моей нравится, то и действительно он меня, как отец, жалел, и регенту бить меня камертоном по голове не дозволял, и содержал меня, как сына своего приятеля, гораздо нежнейше от прочих, а как я очень был ласков и умильно пел, то, кроме того, сделалось так, что я стал вхож в вице-губернаторский дом, к супруге и дочке сего сановника, для совсем особливого дела, о котором тоже узнаете. Но ученость у нас в хоре шла плохо и не могла быть лучшею, потому всем премудростям мы, певчие, должны были научиться в кратчайшее время и специально от одного лица, который был нашим научителем, но именовался для чего-то «инспектором». Был это человек в своем роде тоже достопримечательный, и именовался он ранее Евграф Семенович Овечкин, но впоследствии он свою фамилию изменил для того, что на него пало подозрение в приспешении якобы смерти своей жены, после чего ему даже и священнодействие было воспрещено, и он сложил сан и вышел в светское звание. Тогда же, пошив себе прегромадный жилет с кожаными карманами, он насыпал в эти карманы нюхательного табаку и нюхал его без табакерки, прямо зачерпывая из кармана и поднося к носу всеми пятью перстами, ибо так делали будто дьяки, которым он желал подражать, заставляя, чтобы все боялись его ябеды. И что владыка такого человека держал, то — пожалуйте — осуждать невозможно, ибо то был негодяй паче нежели Регул, а того же в Риме все опасались за его набожность и склонность к доносам. Он же и ранее все доносил, когда был в училище смотрителем, и тогда ожесточительно сек, как никто другой, но знал превосходно способ успешного ведения приказных дел, что было очень потребно в сношениях по письменной части, и для того владыка им дорожил и имел его за инспектора для образования певчих. «А дабы не поминались прежние оного лютости, то изменена была ему самая его фамилия, а именно, на место прежнего наименования «Овечкин» стал он называться «Вековечкин». И так все его грубые деяния сокрылись через отмену несоответственного этому волку овечьего прозвища. Но надо же вам знать и то: чему он нас обучал?.. Поистине это прелюбопытнейше! Почитался он как богослов, вероятно, только за то, что знал наизусть все решительно праздники и каноны всем праздникам, и для обучения нас имел тетради, из коих извлекал познания, в которых бы, думаю, и сам Феофан Прокопович бы, пожалуй, не много утямив. Так, например, «благослови господи, благости твоея боже»,— в самую первую голову для насаждения и неколебимости веры давал нам заучать: «Не сумнися о вере, человече! Не един бо есть, и не десять, и не сто свидетелей о вере, но бесчисленно народу». Понимаете, нет тут ни какого-либо умственного разглагольствия о каковых-либо сужденьях или мненьях, а, прямо сказать, все основано на свидетельских показаниях. Да, а зато выведено было так, что попробуй-ко кто усумниться! «Первие убо свидетели суть пророки,— сии сами вероваша и нам предаша...» Пожалуйте, кто имеет отвагу возражать против сих свидетелей! А далее: «Вторая свидетелие апостолы: сии ядоша и пиша с создателем всяческих...» Тоже опровергните, пожалуйте! И так всё далей и далей, гонит стезю аж вплотную до святых вселенских соборов и отцов, и аввы Дорофея, и исчисления их: «На одном точию 418 святых было...» Не угодно ли! А сколько на всех было истинных святых? Вот, ручаюсь вам, изберите теперь любого из нынешних академистов и спросите: «Сколько було?», так иной и сам инспектор не ответит или возьмет да сбрешет; а наш Вековечкин все это знал вразнобивку на память по месяцам и нам предал это так, что я о сию пору хоть патриарху могу ответить, что «в сентябре 1100 святых, а в октябре 2543, а в ноябре аж 6500,

а в декабре еще больше — 14 400; а в генваре уже даже 70 400; а в феврале убывает — всего 1072, а в марте даже 535, а в июне всего 130, но в общей-то сложности: представьте же, какая убежденность, или что можно подумать против таковой области таковых-то свидетелей! А потом, кроме сих на свидетельстве основанных доказательств, начинаются наиточнейшие справки в днях и часах, когда что случилося, и опять: «устыдися, человече, и убойся!» Удивляются многие Карамзину на то, что где он там пооткопал и повыписывал; да еще и бог знает, все ли то правда или неправда, про что он рассказывает; а у нашего инспектора Вековечкина твердо было обозначено, что пресвятая богородица родилась в лето 5486 года, а благовещение бысть в лето 5500, в неделю, в десятый час дня, в двенадцать лет и в семь месяцей ее возраста. Родися господь в лето от создания 5500-е, а крестися в лето от создания 5530-е, в седьмый час нощи. И так все до малости, как начинает приводить, то не токмо о сих, но и о меньших все вспомнит: «Вспомяни, душе моя, того и оваго: вспомяни Моисея оного, иже прикова себя на цепь аки бы скот бессловесный; вспомяни Анастасия, ему же нозе его бяху, аки сухо древо до пояса; Дмитрия, иже ядяше едину воду, и Александра, иже ядох едину шерсть, или Семиона, от него же вси гади расползашася...» Всю-всюсеньку историю, что было на земле, знал и даже прозирал на воздушные и мог преподать, откуда кая страсть в человеке, и кто ею борится: «Против бо веры борятся маловерие и сомнение, а держит их бес сомненный; против любви — гнев и злопомнение, а держит их бес гневливый; против милосердия — бес жестокосердый; против девства и чистоты — бес блудный». И так далее, и «в коем уде кій бес живет, где пребывает и как страсть воздвизает», и «как оные духи входят овогда чувственне некако, а овогда же входят и исходят чувственне некако», и «како противу им человеку подобает нудитеся...» И все эти науки мы превзошли и знания получили; но кроме того владыка и сам меня призывал и почасту учил меня по-латыни, и я — право, такой понятный хлопец был, что мы не только какого-нибудь там Корнелия Непота переводили, а еще, бывало, сам он читал мне свои переводы, которые делал из Овидия!.. Э! вот если бы вы это послушали, так вы и увидали бы, что это уже не Овечке чета, а ужаснулись бы, что настоящая поэзия с человеком делает! Особенно про стада: «Чем заслужили смерть мирные стада, рожденные для поддержания жизни людей; вы, которые даете нам сладкий нектар, одеваете нас своею шерстью и приносите жизнью больше пользы, нежели смертью? Чем виноват бык (замечайте сие про быка, сколь нежно!) ... чем виноват бык, животное, чуждое обмана и хитрости (о, пресвятая и великая правда!),— животное простое, рожденное покорно переносить труды? Поистине неблагодарен и недостоин пожать плоды своего поля тот, кто, сняв ярмо плуга со своего пахаря, решился зарезать его... кто ножом поразил шею, потертую трудом, обновлявшим жестокую почву... (Не осуждайте, що плачу!) Откуда у человека желание к сей *запретной* пище? Как вы осмеливаетесь питаться *другом вашим быком*, смертные люди? Остановитесь, бегите кровавых пиршеств, за которыми вы пожираете своих кормильцев...»

Оноприй Опанасович Перегуд на этом кончил на память цитату из Овидия и минуты две жалостно вздыхал о быке, а потом прибавлял, что всякий раз, когда он «молодший был» и архиерей ему, бывало, читал это из Овидия, то он несколько дней совсем не мог есть ничего мясного, окромя как в колбасах, где ничего не видно, но потом над этим язычеством смеялись, и оно в нем «помалу сходило», и опять наставал обычный порядок учения и жизни.

— Из этой стороны,— продолжал облегченный слезами рассказчик,— примечательнее всего было то, как я учился всему по облегченному способу у Вековечкина, то это делалось по его тетрадкам, но ответы не спрашивались, потому что нам уроки учить было некогда. О богословии и церковной истории я вам уже представил, а по гражданской истории всему были выводы еще более в ужаснейшей кратости. Так, например, после я видал, что во многих весьма книжках по нескольку даже страниц упоминают о француз-

ской революции, а у нас о ней все было изражено семь строчек в такой способ, что я о сю пору весь артикул наизусть помню. «Сие ужаснейшее и вечного проклятия достойное наипозорнейшее событие вовсе не достойно внимания, но, совершенное на основании бессмысленных и разрушительных требований либертите и егалите, оно кончилось уничтожением заслуг и смертью короля французского на эшафоте, после чего Франция была объявлена республикою; а Париж был взят и возвращен французам только по великодушию победителей. С той поры значение Франции ничтожно». А однако, хотя это и кратко изложено, но все-таки, знаете, зародило понятие о том, что это было що-сь такое, як бы то «не по носу табак», и когда я впоследствии, бывши у вице-губернаторши, услыхал о представлении казней согласно наставлению поэта Жуковского, то мне уже прелюбопытно было слушать, как те отчаянные французы чего наработали!

Знаете, собрали все-таки шайку самых головорезов и запели себе мартальезу, и вот тебе на! — пошли и под преужаснейшие слова «Алон анфан де ля патриё» раскидали собственноручно свою собственную самоужаснейшую крепость Бастиль! Ну, подите же с ними! Да еще и убивали вернопреданных слуг королевских, а злодеев спустили с тягчайших цепов, которые их сдерживали, прямо на волю. Вековечкин французов иначе и не называл, как «проклятые», но владыка смягчал это и в согласии с Фонвизиным говорил, что довольно просто внушать, что «по природе своей сей народ весьма скотиноват и легко зазёвывается». Ну-с, а я так замечал, что я уж веду речь не по порядку, ибо говорю о казни по наставлению Жуковского, для чего еще не настала очередь, и это придет в своем месте впоследствии. Теперь же знову здорово повернемся к порядку.

XII

И полугода не прошло, как исторгли меня из объятий матери, а я знал уже все самомельчайшие порядки торжественных служб, и так хорошо все потрафлял, что даже вовсе не требовал, чтобы меня, как всех прочих, руководил протодьякон. А достиг я этого единственно тем, что сам изучил наизусть все тридцать девять пунктов поклонения перед владыкою за литургиею и, как «Отче наш», знал, когда надо поклоняться за один раз по разу и когда по трижды. И меня тотчас посвятили в стихарь и научили, как в нем ходить, тихо опустив оце-разоце, и руки смирно, а позу рожи горé.

И отсель я начал свое духовное делание, о котором исчислю все по порядку: был я сначала исполатчиком, но скоро вышел такой случай, что я спал с голоса и стал посошником. Отчего я спал с голоса — это восходит к представлению казни по наставлению Жуковского, но об этом скажу особо, о службе же посошником изложу здесь. По этой должности долг мой был в том, чтобы метать под ноги и отнимать из-под ног орлецы [1]. Это, я вам скажу, докучательная, но тоже и осмотрительная комиссия, ибо того и гляди, что очень можно попутаться и всю кадриль испортить. А потом я носил рипиды [2] и был книгодержцем и священосцем, и в этой должности опять никто лучше меня не умел уложить на поднос священные предметы, как то необходимо впоследствии, дабы вверх всего мантию, а на мантию рясу, а на рясу клобук, а на клобуке четки, а на другом блюде митру [3], а по сторонам ее панагию и крест, а на верху митры ордена и звезды, а позади их гребенку «на браду, браду его»... Как же-с! В такой младости, а я уже тогда познал все ордена не хуже, как какой-нибудь врожденный принц, и все постигал, какое из них у одного перед другим преимущество чести, и потому какой орден после которого следует возлагать, и тот, который надевается ниже,

[1] Орлецы — коврик архиерея при служении, круг из ткани, с орлом.
[2] Рипиды — опахало, употребляемое при богослужении.
[3] Митра — архиерейская шапка, надеваемая при богослужении.

я тот уже и полагал на блюде сверху, а который надевается после, тот ниже. Вам, может быть, кажется, что все это не есть наука, но я, однако, и это все изучил и всегда имел при себе — как в руководственной книжке показано — как-то на всякий случай иголки, и шелк, и нитки, и булавки, и ножницы, и шнурки, потому что все это при сложности облачения вдруг может потребоваться. И архиерей видел все эти мои аккуратности и несколько раз благостно меня уговаривал или принять ангельский чин, или жениться и идти в белое духовенство, но я — вообразите — не захотел ни того, ни другого, и не совсем приятно сказать — от какого престранного случая, в котором очень даже стыдно и сознаться. Представьте себе, что я влюбился, да и в кого еще? во двух разом, из которых одна была вице-губернаторская дочь! Совершенно как у Гоголя. А интересно ж знать, как я на это дерзнул и по какому случаю? Случай был тот, что вице-губернаторша была самонежнейшей институтской души и окончила с шифром и говорила однажды лично с Жуковским, который ее обласкал и утешил по поводу бедственного окончания судьбы ее брата, и она успокоилась и полюбила читать его сочинение о том, как надо казнить православных христиан так, чтобы это выходило не грубо, а для всех поучительно, и им самим легко и душеполезно. Желал Жуковский, чтобы казнь в России происходила не как у иностранцев, а без всякого свирепства и обиды, а «как спасающий порядок, установленный самим богом». И, боже мой милый, как это все хорошо у него расписано, чтобы делать это «таинство» при особой церкви, которую он велит выстроить на особый манер, за высокой стеною, и там казнить при самом умилительном пении, и чтобы тут при казни были только одни самые избранники, а народ бы весь стоял на коленях вокруг за стеною и слушал бы пение, а как пение утихнет, так чтобы и шел бы к домам, понимая, что «таинство кончилось». И вице-губернаторше все хотелось, чтобы у нас такую церковь поскорее выстроить, и пусть она стоит в ограждении стеной, пока случай придет сделать «таинство», и она начала собирать на то деньги, а от нетерпения делала примеры таинства у себя в покоях, причем ее четырнадцатилетняя дочь парила над осужденными в виде ангела, а я, сокрытый ее хитоном, пел сочиненные Вековечкиным песнопения. Думали, что в сем я и голос свой надорвал, но это вышло не от того; а было так, что я влюбился одновременно и в ангела и в осужденницу, которую представляла из себя, по господскому приказанию, очень молодая и красивая горничная — девушка с черными вьющимися волосами и глазами такими пылкими, як у дьявола... По правде сказать, это она всех больше и была причиною тому, что я спал с голоса, ибо я сначала научился ее обнимать и прижимать до сердца, а потом очень долго ходил дожидать ее под воротами, когда ее пошлют за сухарями... Все, знаете, глупая наша молодость, когда поешь гласом ангела, а в черта и влюбишься. Ну да, дал бог, исполнилось так, однако, что и это мне не повредило, а вышло что-то доброе, ибо в это же время, как мы разыгрывали таинство казни, отец мой умер, а маменька, вероятно, уже довольно насладились тем, что видели меня в торжественных служениях, и вдруг от неизвестной причины переменили свое расположение и начали говорить: «Будет уже тебе дьячковать! Видела я уже все, это как ты ходишь оце-разоце и позу рожи горé! Будет уже того, с нашей доли для господа бога довольно, а теперь иди до дому и покой мою старость».

Тогда архиерей, как ранее обещал, попросил обо мне вице-губернатора, который задумал стараться о разводе с оной учредительницей казни, и он меня сейчас записал в приказные, а через несколько дней позвал меня к себе в присутствие и приказал идти и доложить владыке, что я назначаюсь прямисенько к нам в Перегуды за станового. А как в те времена у нас было превеличайшее конокрадство, то он еще добавил, что полагается на меня, что я всю эту пакость уничтожу и выведу, тогда как я, знаете, ничего ни в в яких познаниях не тямлю и по своему особенному образованию могу только орлецы пометать.

От этого, услыхав о такой милости и твердом на меня уповании, я было

хотел отказаться от места, но, зная удивительный в практике разум владыки, побежал к нему и, пав перед ним в ноги, все рассказал ему и стал просить у него совета. Он же, выслухав меня, добре сказал:

— Прежде всего встани с колен, ибо ты теперь уже мне неподведомый, а потом вот тебе мой совет: никогда от хорошего места не отказывайся, а принимай всякое, ибо надлежит то знать, что и другие также заступают в должность и не по знанию и не по способности. Даже вот и мы, архиереи,— откровенно скажу,— хотя мы и всенепременно отказываемся, но это только обычай, ибо все же потом и «приемлем и ничесо же вопреки глаголем». В этом покорность. А в рассуждении того, как править, для чего смущаться? Мы сейчас призовем Вековечкина: он такой миляга, что на все наставит.

И когда Вековечкин пришел и в чем дело выслушал, то сначала не хотел говорить, но потом, получив от архиерея серебряный рубль, зацепил из жилетного кармана целую пятерню табаку и, вытянув ее в свой престрашный нос, заговорил так:

— Если ты будешь поступать с злодеями по законам гражданским, то будешь дурень, ибо это не годится, потому что злодеи не суть граждане, а враги гражданства, так как они воюют на общество!.. А ты держися против них закона духовного.

Тогда владыка спросили:

— Понял ли ты это как следует?

— Нет,— говорю,— ваше преосвященство, даже и совсем никак не понял, ибо я, если по правде вам доложить, то ведь я, обучаясь с певчими облегченным способом, и совсем ничему не научился.

Вековечкин же мне на это сказал:

— Да ну уже полно тебе, дурню, жалобиться! Не с тобою с одним так случилося, но ничего не значит: это всегда так и быть должно, ибо по облегченному способу ничему научаются, но, однако, многие на сей фасон просвещенные действуют в жизни,— и ты по-облегченному учился и облегченно и суди. Наш народ человеческой справедливости не знает, а свыше всего уважает божественность, ты тем и руководись,— и, удалясь к себе на малое время, принес мне печатную тетрадь синодской печати под заглавием: «Чин бываемый во явление истины между двома человекома тяжущимася», и сказал мне:— Вот тебе, тут знайдешь себе достаточно на вся богоучрежденная правила и сим искоренишь, а меня помни по праздникам.

И вот я взял у Вековечкина тую тетрадь, а от владыки одновременно с тетрадью благословение, и утвердився духом владычным, и пошел до портного жида, заказал себе форму и шапку с чирушком на околку, и поехал в Перегуды, имея двойную заботу: явить истину и покоить мою драгоценнную матерь, но сия, впрочем, вскоре же после моего наступления на пост приставьский последовала за моим родителем туда же, где нет ни печали, ни воздыхания, а одна только жизнь бесконечная, какая кому по его заслугам. А я, извольте себе думать, сам себе один остался сиротой на сей земной планете, да еще в борьбе со множайшими престрашнейшими и преотважнейшими злодиями и конокрадами, которых я должен был извести по «Чину явления истины»!

Подумайте!

XIII

Однако, как говорится в писании: «Господь был со мною», ибо хотя я вступил в свою должность совсем к оной воспитанием не приуготовленный, но, желая предать себя на служение добрым людям, которых обижают злодии, я скоро стал на своем месте так не худший от прочих, що, ей-богу, просты люди меня обожали и мною даже хвалились. Ей-богу! С самого с начала я, разумеется, прежде всего сел с свичечкой да добре просмаковал

«Чин во явление истины», ибо, як вам уже известно, я питал огромное доверие к практицизму архиерея и непобедимейшей дерзости Вековечкина, да к тому же я не имел и иного источника для юридического познания, як сей «Чин». И узнал я «Чин явления» так добре, як знал первее порядок поклонения и метания орлецов. Просто всё, знаете, не так, як у Цицерона иль бо у иньших римлян, да и куда нам и для чего пыхтеть до тых римских язычников! А в «Чину» мне то показалось хорошо, что на всякое, «коей-либо вещи лишение» по сему духовному правилу указано «предлагать пред очеса ужасный страх и устроить вину богоухищренным образом». А именно: как там все было просто и внятно сказано: надо привести деликвента [1] и поставить его у притолоки двери,— а потом встать и воздохнуть о его злобе и нераскаянности и зачитать при нем вслух молитвы — сначала «Царю небесный и Трисвятое», а потом «Отче наш» да «Помилуй мя боже» и в сем псалме на сильных местах несколько раз чувствительно повторить, вроде: «Научу беззаконные путем, и нечестивии обратятся». Или: «Боже, боже! спасения моего!» Ух! якая это до сердца хапательная материя! А еще як я до всего этого умел спущать интонацию, да, прочитывая чудные словеса, бывало, воспущу иной глагол особливо от сердца, так, верите или нет, а, ей-богу, иной деликвент слухает, миляга, слухает да вдруг заревет, или, аще крепкостоятелен, то и тогда видимо, как он начинает изнуряться и, томлением томим, уже не знает, что ему делать, и шепотит: «Ой, уже кончайте от разу!» А я это наблюду, да тогда начну еще в высший глас: «Глаголы моя внуши, господи, разумей звание мое... (А он разумеет, будто это «звание мое» сказано про то, що я называюся пристав!) яко бог не хотяй беззакония ты еси... Погубиши вся глаголящие лжу...» И тут опять на одном словеси трижды по трижды: «Погуби вся глаголящие лжу, погуби! погуби! погуби! Гроб отверст гортань их... Суди им и изрини я... К тебе воззову, да не премолчиши, и процвете плоть моя...» (Я смолоду был в процветении румяный и полный.) И оборочусь до злодия, да погляну на него гордым оком, да еще скажу: «Процвете моя плоть, а нечестивый погибнет!» И вот уже от такого обращения человек, хоть он будь и какой злодей крепкостоятельный, а он испужается, и ужасом сотрясется, и готов сказать: «Виноват». А я тогда сажусь, беру в руки гусиное перо и оное очищаю, а потом зачиниваю, а потом пробую его на раскепку, а сам тихо рукою вывожу, а устами читаю:

— «Спробуемо пера и чорнила: що в йому за сила: перо пише, як муха дыше». А ты, раб божий, имя рек, слухай: яко же божественное и священное евангелие учит и заповедует нам, признавайся: завладев ты чужим конем или волом, или увез сено столько и столько копен? Или отвечай: яко сие на себя клевещут, и забожись: «Ни-ни, еже есть, не угнах ни коня, ни вола, ни раба его». Ой, только ж памятуй, божий рабе, и блюди себе во явлении истины, а не бреши, бо зде при нас есть и ангелы предстоящи невидимо, и они словеса твои записуют, о них же и истязани будете во второе и страшное пришествие. И аще дерзнешь неправду показати, то да трясешися, яко крін на земли». Тут уж он, миляга, и затрясется; а я ему подбавляю: «Да, да, да! И земля пожрет тебя, яко Дафана и Авирона, и да восприемлеши проказу Гиезиеву и удавление Иудино». И ух, посмотрели б вы, как они боялись сего Иудина удавления! Проказа Гиезиева, знаете, еще, бывало, ничего, бо они, дурни, по правде сказать, и не знают, что такое проказа; но удавления — и провалиться сквозь землю — все боятся! Страшно, знаете: что там под землей-то? Там ведь всё черти! И как, бывало, до этого доклянешь, то уж разве какой отчаянный устоит, а то всяк закричит: «Буде уж вам таке страшенне читать! Я лучше в чем хотите вам скаюсь, як таковы страхи слушать».

Вот это — пожалуйте — вам юристика! А вы ну-ка без этого спробуйте по цивильным законам: вы можете достичь от человека дознать, що захочете! Отчаянному же, которого и то не брало, еще дальше было такое, что: «пожрет

[1] Деликвент — преступник (*лат.*).

вас земля, и часть ваша будет с безбожными еретики. А жилище вам в вечном огне». А уж если и еще устоит и поупорствует, то в конце тетради была хорошая главка во изъяснение про крестное цолование. Сказано: «Кто запрется и отцалуется на неправде — бить его кнутом по три дня и потом посадить на год, а будет про то дело сыскати нечем, то разымати пыткою...»

На этом месте я, моего читателя всепокорный слуга и автор, излагающий эту повесть, позволил себя перебить Оноприя Опанасовича Перегуда почтительным замечанием, что допрашиваемые люди могли ему не поверить, что он вправе бить их кнутом и пытать на пытке, но он отвечал:

— А это — позвольте: почему же бы они мне в том не поверили? Это в книжке пропечатано?

— Книжка эта,— отвечал я,— без сомнения, была издана много раньше, чем уничтожено рабство, и пытка, и кнут?

— Извините-с!— отвечал бывший становой и достал у себя из «шуфлятки» тетрадь, содержащую «Чин во явление истины», и показал «выход», из коего видно было, что «книга сия напечатася во святом граде Москве в 1864 году индикта 6 месяца марта». И после сего Оноприй Опанасович сказал, что он имел полное право «предлагать пред очеса людей ужасный страх благоухищренным образом». И что это было очень хорошо, и никто этого порядка и не оспаривал, а напротив того, поелику сие на конокрадов превосходно действовало, то сельские люди очень сей закон возлюбили и почитали «выше всех томов Собрания». А за то, что Перегуд знал такой хороший закон, какого другие не знали, добрые люди его «поважали, а злодии трепетали», а оттого ему пришли разом великая польза и превеличайший вред, ибо он, с одной стороны, надеялся, что скоро после сего мог бы по сим правилам всем руководить и править даже до века, а с другой, его настиг злой рок в том, что, по выводе всех конокрадов, он впал в искушение, и в душе его зародилась ненасытная жажда славы и честолюбия. Тогда, обуреваемый этой страстию, Оноприй Перегуд из Перегудов захотел лучше всех отличиться на большее и «погиб, аки обра́»,— окончательно скрывшись затем в здании сумасшедшего дома, где и ведется теперь эта беседа.

За сим же кратким отступлением пусть далее рассказывает свою историю опять сам Оноприй Опанасович, своими словами.

XIV

Не знаю я, какое вы имеете уважение на того отца Прокопа, который в оную давно прошедшую эпоху, по извержении из Перегудов жидов, сам стал еще более злым процентщиком, да передал то и сыну и зятю Маркелу, и шкода мне, что я этого не знаю. Наверное, многие думают: «Вот это были самые худшие», но извините — это так не было. Может быть, конечно, надо иначе жить и ходить перед богом, а не так, як ходил в своих красных чоботах поп Прокопий, но ведь все люди живут не так, как следует; а только когда и Маркел внезапно окончился скорописною смертию, як раз над своею раскрытою кубышкою, где содерживал свои гроши, то вот тогда мы увидали еще худшее, ибо ко гробу высокопроцентного Маркела попа наїхали студенты не токмо из бурсы, а даже академисты, и стали на дочку его, сиротиночку Домасю, или на Домну Маркеловну, такие несытые очи пущать и такие стрелы стрелять в нее через отцовский гроб, що даже посмущали всех своими холостыми зарядами. А все это единственно с тем, чтобы тут же сейчас внушить ей к себе вожделение, а тогда с нею вместе получить себе в обладание и оную преславную и прехвальную родительскую кубышку. Но за это осуждать нечего.

Деньги счастие дают,
В деньгах правда, в деньгах сила;
Все за деньги отдают,
Все, что нравится, что мило.

Это мы пели в певчих, и кто может и не полюбить такого могущества! А только изо всех из сих стукачей самый ловкий был один Назарко, поэт и мечтатель, который в самую последнюю минуту над гробом Маркела взъерошил себе на голове волосы и, закрутив косицы, вытянул вперед руку и произнес речь, да такую, шельма, отмахал наипрочувствованную речь, с хриями[1], и тропами, и метафорами, и синехдохами, что сразу со всем этим так он прямисенько и въехал в пшеничное сердце Домаси. Так она, бідна сироточка, тут и влюбилась в него, як кошка, и он скоро же после сего учинился поп, и нарекся отец Назарий, и сел в Перегудах. Вот это уже был не такой, как жены его дед и батько, бо то были простяки и блюли только свои хапаньцы; ну, а сей, как только получил перегудинский приход, так и почал вмешиваться не в свои дела, а, главнейше всего, стал заступать в мою часть, и с самой преудивительнейшей еще стороны: например, вдруг он почал у людей на духу расспрашивать не то, что не думает ли кто коней красти, а все про якие-то другие думки и пустяки, вроде того, что «чи вы ото всех довольны живете, или чи не смущае вас кто ожидати лучшего, и як с вас становой добирает подати?» Помилуйте, к чему это такое? А когда же пошла до него на дух моя служителька Христина, которая, откровенно сказать, була себе такая... довольно прелеповатенькая, так он ее принял хуже, чем по «Чину явления истины», и так ее умаял своими расспросами, что та пришла и ревет, ибо говорит: «Усе люди ей сміялись: «чего се ее піп одну так долго спрашивал». И пошла она добирать в уме: «Хтось-то, каже, про мене все-таки пустяковины ему повыкладывал?» Я ей говорю: «Да ну, уже оставь! Нехай он себе что хочет, то и думает!» Так нет! все бидолаха плачет до сумуется: [2]

— Як таки так: отчего ему все звісно, будто как он с нами тут жил вместе! — И сейчас на меня причина: — Нет, каже, я вже ж теперь не хочу с вами ни того, и ни этого, и просто жить на селе не желаю, а пойду в город и буду там, пока моей красы есть!

— Ну и провались ты совсем скризь світ, чертова баба, иди! А все-таки, знаете, досадительно это вмешательство и нарушение свободы кавалерской жизни. Но дома у меня все это недолго продолжалось, потому что Христя была жинка ласковая и потому скоро соскучилась и сама пришла извинялася: «Що он там, каже, ни говори, а я одна боюсь, бо мне мертвы снятся,— нехай бог милует,— лучше опять будем по-прежнему». Но поп Назарко, продолжая все дальше да больше, начал уже испытывать людей до такой степени, що даже уж не только все мимотекущие прегрешения обследует, но и предбудущие намерения вопросит: «Чи не эадумляешь ли чего прочего...» Вот! Люди, знаете, все испугалися и стали мне говорить: «Що се за нова поведенция, чого николи сего не було, и в законе божом про то не сказано!.. Вы,— говорят мне,— сами люди письменніи: вы перед самим архиереем с свечой стояли — вам должно быть все світло; рассудите нам: про что се новый піп нас надоумливает, а не то мы в другое село пойдем».

Бачите, яка уже колобродь пошла! Уже в приход бросить согласны! Готово уголовное преступление!

XV

Знаете, я впал в думу, ибо вижу, что это що-сь такое, против чего мне надо в самоскорейшем времени что-то сделать! А что именно сделать, на то в моем «Чине явления истины» извествования нет! Думайте, пожалуйста, как никакая книга не может объять все разнообразные события жизни! Два только, вижу, есть выбора: идти мне и объясниться с Назаром и уговорить его, чтобы он все это оставил, но думаю: нет, он меня не послухает и еще спросит: «Откуда вам это известно?» и потом разведет свои хрии и метафоры. Нет;

---

[1] Х р и я — речь, составленная по заданным правилам.
[2] С у м у е т с я — раздумывает (сумовать — *укр.*).

не годится спрашивать. А другой выбор был то, что написать на него донос, что он человек очень сомнительный. Но доноса я писать боялся и все пребывал в нерешительности, как вдруг я сам был позван непосредственно к самому губернатору, и тот меня спрашивает наедине про такую поэзию: знаю ли я песню «Колысь було на Украині добре було жіті?»

Я отвечаю:

— Прекрасно знаю, ваше превосходительство.

— А почему вы ее знаете?

— А потому,— говорю,— знаю, что у нас ее люди співают.

— А вы же про зто доносили когда-нибудь?

— Нет,— отвечаю,— никогда не доносил.

— А для чего нет?

— Да що же тут доносить про такие пустяки?

— А слова какие: «Добре було жити, як не знали наши діды москалям служити»? Так это?

— Точно так,— отвечаю с удивлением и докладываю, что таких пісен у нас много еще, а бывает и то, що еще и теперь люди новые пісни слагают.

Губернатор на мои слова согласно уклонил головою и сказал:

— Вы совершенно правы, и как вы зто знаете, то вперед вы должны знать и то, на что следует обращать все внимание.

Боже мой! А неужли же я до сей-то поры еще не знал, на что надо обращать внимание? Да и что тут за премудрость! Разумеется, на воров, тіх, що у людей коней крадут, а не на тіх пустограев, що пісни поют! Что же тут говорить о такой пустяковине, и для чего мне дается такая загвоздка? Если бы был жив тот архиерей, который дал мне сокращенное образование, на манер принца, то я бы пал к его непорочным ногам, и он, яко практик, может быть, разъяснил бы мне како или некако: но он уже в то время отыде к отцам, или просто сказать: «дав дуба». Да, да, да, як он ни был благочестив, а и он помер — и я забыл вам это сказать, что он помер бестрепетно со словами, из коих видно было, что он разумел себя за «лицетворенную идею», по воле бога, который «сам нас одушевляет, кормит, распоряжает, починяет и опять разбирает». Но все это он разумел, а преудивительно, что никому того же духа не предал и хотя сам бодро отошел до вічного придела, но по нем самосветлейшая голова в губернии остался оный многообожаемый миляга Вековечкин, и я поехал к его страхоподобию, надеясь, что от разума его несть ничто утаено, и как приехал, то положил пред него две бутылки мадеры и говорю ему: «Послухайте меня, многообожаемый, и, во-первых, примите от меня сие немецкое вино для поддержания здоровья вашего, а во-вторых, обсудите: что это, так и так, вот какие мне намеки дают, и что я в таком положении имею делать?» А он мне не отвечал прямо, а сказал как бы притчею: «Вино мадера хотя идет из немецкого города Риги, но оно само не немецкое, а грецкое. А воры и разбойники всегда были между людьми и впредь всегда же уповательно будут. Так и было до потопа: Каин убил Авеля, брата своего, и Иосиф тоже был продан своими братьями, и те на цену его купили себе и женам сапоги. А вот ныне насташа инии взыскатели, мужский пол в больших волосах и в шляпах одной же земли греческой, где и мадера произрастает; а жинки, ох, стрижени и в темных окулярах, и глаголятся все они сицилисты, или, то же самое, потрясователи основ, ибо они-то и есть те, що троны шатают! Так вот, аще хощешь отличен быти — ты хотя одного из сих и сцапай, и тогда будет к тебе иное внимание!»

Но я говорю с сожалением, что это возможно только где-нибудь в странах просвещенных, а у нас в Перегудах ни про каких потрясователей нет и слуху!

А оный многообожаемый миляга мне на это отвечает:

— Они ныне всюду проникают, только смотреть надо. Ты конокрада брось. Конокрадов хоть и всех перелови — за них чести не заслужишь,

а поймай хоть одного в шляпе земли греческой или стрижену жинку в окулярах, и отберешь награду лучше Назария.

А я спрашиваю:

— Как? Неужли Назария уже и к награде представлен!

А многообожаемый мне отвечает, что он ее уже и получил.

— Когда?

— А вот,— говорит,— как на сей неделе снег выпадал, тогда Назарию на перси и награда спала.

Господи! Христос, царь небесный! Да где же после этого на свете справедливость! Я столько конокрадов изловил и коней мужикам возвратил, и мне за это ничего еще не свалилося, а піп Назарко що-сь такое понаврал, и уже награду сцапал!.. Напала на меня от этого разом тоска, и возросло вдруг безмернейшее честолюбие. Не могу так служить — хочу награды. И зашел я в собор, и плакал у раки преподобного, и — вот вам крест господень — поклялся тут у святых мощей не остыть до того, пока открою хоть одного потрясователя, и получу орден, и в этот способ вотру Назарию под самый его керпатый нос самую наиздоровеннейшую дулю, щоб он ее и нюхал и смоктал [1] до віку!

XVI

И вот, знаете, как сказано в писании: «не клянитесь никако», так поверьте, что это и должно быть справедливое, потому что сразу же после того, як я заклялся, сделался у меня оборот во всех мыслях и во всей моей жизни: покинул я свой «Чин явления истины» и совсем не стал смотреть конокрадов, а только одного и убивался: как бы мне где-нибудь в своем стану повстречать потрясователя основ и его сцапать, а потом вздеть на себя орден по крайней мере не ниже того, как у отца Назария, а быть может, и высший.

И, господь мой пренебесный, вот уже ныне или теперь, после великого моего падения, когда я, оторванный от близкой славы, вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается даже ужасно! Так я был озабочен, что по ночам совсем спать перестал, а если когда-нибудь и засну, то сейчас опять неспокойно пробуждаюсь и кричу: «Где они? Где? Хватай их!» И моя служебница, оная жинка Христина, що я говорил вам, у меня еще и ранее була за служительку, бывало, как услышит сей крик мой, то вся затрусится и говорит:

— Що се вы, Оноприй Опанасович, совсім так ужасно здурілы, що аж с вами в домі буть страшно!

И действительно, знаете, я ее так напугал, що она, бывало, сядет на крайчик постели и боится уходить, а пристанет:

— Скажите мине, мій голубе сизый,— що се вам такое подіялось — чего это вы все жохаетесь [2] да кричите?

Я ей отвечаю:

— Иди себе, Христя, се не твоего разума діло!

А она така-то была бабенка юрка, да кругленькая и очень ласковая, пойдет плечиками вертеть и ни за что не отстанет!

— Се,— каже,— правда, миленький, що я проста жинка и ничего не разумію; а як вы міни расскажите, то я тоди и уразумію.

Извольте себе вообразить ночною порою и наедине с молодою женщиною претерпевать от нее такие хитрости! Ну, разумеется, не сразу от нее избавишься. А она и зновь приступает:

— Ну вот все се добре: нехай бог помогае, а теперь скажите: кого же вы это, сердце мое, боитеся?

— Злодия боюсь.

---

[1] Смоктать — сосать (*диал.*).

[2] Жохаться — пугаться, бояться (жахатися — *укр.*).

А она и через свою пухленьку губку только дунет и отвечает:

— Ну где ж таки, щоб вы, да такой храбрищий пан, що никогда еще никакого злодия не боялись, а теперь вдруг забоякались! Нет, это вы, сердце мое, що-сь-то брешете.

И то ведь совершенная ее правда была, как она мне рассказывала, что я с самыми жестокими ворами был пребесстрашный. Заметьте, что, бывало, призову ариштанта, и сижу с ним сам на сам, и читаю ему по тетради молитвы и клятвы, и пугаю его то провалом земли, то частью его со Иудою, а сам нарочито раскладаю по столу бритвы, а потом опущаю их в теплую воду, а потом капну из пузыречка оливкою на оселок, да правлю бритвы на оселочке, а потом вожу их по полотенечку, а потом зачинаю помалу и бриться. А той, виноватый, все стоит да мается, и пить ему страшно хочется, и колена его под ногами ломятся, и Христя говорит: «Я, было, только думаю, что́ он, дурак, сам не возьмет у вас бритву, да горло вам, душечка, не перережет. Нет; вы все бесстрашный были, а теперь вы мне, бедной сиротинке, не хотите только правды сказать: кого это вы во сне хапаете, а сами всі труситесь. Я после сего буду плакать!»

А я ей отвечаю: «Ну-ну-ну!» Да все ей и рассказал: какие объявились на свете новые люди в шляпах земли греческой.

А она, бісова жинка, вообразите себе, еще нимало сего не испугалась, а только спросила:

— Що ж, они еще, муси быть, молодые чи старые?

— Якие ж там старые! — говорю,— нет! они еще совсем, муси быть, в свежих силах, и даже совсем молодцы.

— От-то ще добре, що они молодцы. От як бы они тут були, я бы на них подывилась!

— Да,— говорю,— ты бы подивилась! И видать, що дура! А ты то бы подумала, что в яком они в страшном уборі!

— А вот то ж! Чего я их буду так страховатися? Як они молодые, то в яком хочешь убранье — все буде добре, як «разберуться».

— Они в шляпах земли греческой.

— А се яка ж така шляпа земли греческой?

— А вот то и есть, что я еще и сам не знаю, какая она такая, мохнатая.

— Ну так що ж, що она мохнатая! Може, это еще и не страшно!

— Нет, это очень даже страшно, и как он на тебя наскочит, так ты испугаешься и упадешь.

— Ну-у, это еще ничего вам не звісно!

— Нет, мне известно, что они для того созданы, чтоб колебать основы и шатать троны, а уж от тебя-то что и останется!

— Се,— говорит,— все в божой власти: може, бог так мени даст, що яка я есть сама, такесенька и зостанусь, и они ничего злого мени не сделают.

Я рассердился.

— Ишь ты какая дрянь! — говорю.— Ну, если ты так хочешь, то и пусть он тебя забодает своею шляпою!

А она отвечает с досадой:

— Да що вы меня всё тою шляпой пужаете! Хиба ж у него та шляпа до лоба гвоздем прибита? О, то ж боже ласковый! Я думаю, они ее, когда надо, и снимать могут, а не бодаются.

Но мне это показалось так нагло, что я вскричал:

— Да ведь они убийственники!

А она отвечает, что, по ее мнению, они могут только убивать мужчин, а «жинок» соблюдать будут.

Тут я ее похнул рукою и сказал:

— Иди из моей комнаты вон!

А она ответила:

— И то уйду, и еще с превеликой охотою, а того в шляпе греческой не боюсь, да, не боюсь и не боюсь.

XVII

Прогнал я дерзновенную Христю, но возмутился духом от ее наглости и враз тогда же почуял, чтó это за тяжкое бремя забот я возложил на себя из-за какой-то, можно сказать, мечты. «И может быть, еще мечты мои безумны» и «напрасны слезы и тоска», а между тем я уж испытал томление, и впереди еще один бог весть, что меня ожидает! Лестно, конечно, один бог знает, як лестно поймать и привезти в город потрясователя, но ведь где же его тут взять! Боже мой милый!.. И к тому еще, что это за бисованная жинка оказывается Христя! Извольте себе думать — она их нимало не боится, а даже будто любопытна испробовать, «чи то у них прибита шляпа земли греческой до лоба, чи она не прибита и скидается?» Вот так чертова баба! Що, если и другие так будут?!

Ну да уж только бы попался мне сей горестный потрясователь, а я ему уже не дам спуску. Лишь бы только он мне попался! Уж я с ним управлюсь, но где же это они? Может быть, надо их подмануть? Конопельки им подсыпать — а? Но как же это учинить полагается? В какой способ?

И стал я об этом думать и до того себя изнурил, что у меня вид в лице моем переменился, як у пограничной стражи, и стали у меня, як у тых, очи як свещи потухлы, а зубы обнаженны... Тпфу, какое препоганьство! А до того еще Христя що ночь не спит, як собака, и все возится... А стану спрашивать — говорит, що ей все представляется, будто везде коты мяукают да скребощут.

— Что за пустяки,— говорю.— Какое тебе до котов дело! Більше сего щоб не було! Спи!

Пообещается спать, но знову не спит и в окно смотрит.

Говорит: «Вы сами всему віноватые: зачем мне бог зна чого насказали о тех, що скризь везде прясут в шляпах земли греческой, а их и нема. Мне теперь так и кажется, что се они где-то скробощут».

Я ей сказал, что я то говорил не в правду, что никого нет и в шляпах никто не ездит.

— Це,— говорю,— було десь давно, совсім у не нашем царстві, а може, ничого того совсем чисто и не было, а только так писарю показалось.

А уж она, замечайте, отказу не верит:

— Нет,— говорит,— они где-нибудь скробощут: это мое сердце чувствует.

— Дура! Может, бачите, у нее «сердце чувствует».— И такая она мне вся сделалась какая-то неприятная — вся даже жирная, и пóтом от нее отдает остро, як от молодой козы.

Именно эти женщины ничего более, как не введи меня господи с ними во искушение, но избавь меня от лукавого.

Споткавши однажды отца Назария, я спросил его, что не слыхал ли он чего-нибудь в городе о потрясающих основы, коим я не верю.

А Назария отвечает с гордостию:

— Какое же вы имеете право сему не верить?

— А где же они?— говорю.— А для того, что их нет, так я и не верю.

— Как же вы это можете так говорить: разве начальство лжет?

Ось, як строго!

— Позвольте, позвольте,— отвечаю,— я начальство уважаю не меньше от вас, а я потому говорю, что я потрясователей нé видал.

— Так вы же и Китая и Америки не видали?

— И действительно не видал.

— И Петербурга, пожалуй, не видали?

— И Петербурга тоже не видал, и Москвы не видал, да что же из того следует: какое сравнение?

— А такое сравнение, что вы же, я думаю, веруете и не сомневаетесь, что есть на свете Китай, и Америка, и Москва с Петербургом.

— Позвольте-с!— отвечаю,— это совсем пребольшущая разница: из

Китая идет чай, и мы его пьем! Ось! А Америку открыл Христофор Колумб, которого неблагодарные соотечественники оклеветали и заковали в цепи, и на это картины есть, и это на театрах играют; а в Москве был Иоанн Грозный, который и с вас, может быть, велел бы с живых кожу снять, а Петербург основал Петр Великий, и там есть рыба ряпушка, о которой бессмертный Гоголь упоминает, а потрясователи это что! Я их не вижу и даже знамения их пришествия не ощущаю.

Отец Назария так и вскинулся:

— Как это знамения не ощущаете?

— Не ощущаю, ибо какое я здесь застал самополнейшее невежество при моем рождении,— то оно то же самое и теперь остается.

— А-а,— говорит,— вот вы на что ублажаете!

— Да, я утверждаю, что здесь и еще все в том же самом мраке многие предбудущие лета останется. А если сие не так, то, прошу вас, покажите же мне знамения оных пришествия! А вот вы мне сего не покажете!

Я думал, что вот я очень хорошо схитрил; а он тихо показал мне перстом на свой орден и говорит:

— Иного знамения не дастся вам!

Но я ж его еще был хитрейший, ибо враз же взял перекрестился и поцеловал его крест и говорю:

— А сему вот мое уважение и вера!

И вот тогда он, самолюбием и молодостию опьяненный, не проник того, что я его испытую, а начал рассказывать, что потрясователей не сряду увидишь.

— А як же? — говорю,— скажите мне, пожалуйста, ибо я человек прелюбопытнейший и все люблю знать.

Он же отвечает:

— Появлению их предшествует молва!

— Позвольте! — я говорю,— какая молва; и что именно ею выражается?

— Выражается желательное намерение критиковать действия и судить об оных соотношениях.

— Ну-с! А за сим?

— А за сим наступит все вредное, и тогда уже приходят те, враги рода человеческого и потрясователи основ,— мужеский пол в шляпах земли греческой, а женская плоть — стрижены и в темных окулярах, як лягушки.

— Да все же,— говорю,— помилуйте, что же таким людям у нас тут делать? У нас же вблизи никаких образованных особ нет и нечего потрясовать!

А Назария уже очень хотел меня просвещать и говорит:

— Не уповайте так, ибо они проникают повсюду с целью внушать недоверие к счастию и недовольство семейною жизнью, а похваляют бессребренность и безбрачие, а потом вдруг уменьчтожат величину всех тех, на ком покоятся государственные основы, и то все с тем, что после сами воссядут и будут погублять души.

— Да, вот то-то,— говорю,— у нас ведь и нет тех, що представляют собою *основы!*

— А вы и я! — говорит мне со строгостью отец Назария,— разве мы не основы?

— Ну где ж таки! Хиба такие бывают основы!

— А отчего же? — Я основа веры, а вы... основа гражданского порядка.

— Ну, позвольте,— говорю,— что вы основа веры, это я готов согласиться, но я самая последняя спица и действую только во исполнение предписания.

Но Назария,— вообразите,— вдруг обнаружил огромный талант и так, шельма, пошел мне на перстах загибать, что, ей-богу, я и сам почел себя за основательную основу и стал бояться за сохранение своей жизни. И как иначе! Прежде, бывало, живешь, и ешь, и пьешь, и в баньке попаришься, и за конокрадом скачешь, так, что аж земля дрожит, а потом маешь его

хорошенько по «Чину явления истины» и ни о какой для себя опасности не думаешь; а тут вдруг на все мои мысли пал як бы туман страха и сомнения. И первое, на что я устремился,— это щобы купить себе многоствольный револьвер, и держать его во всякое время возле себя с зарядами, и в ночи класть его под подушку и палить из него при первом чьем-нибудь появлении.

Жид привез мне из города потребный револьвер, под названием «барбос», на шесть стволов, и я все стволы, как должно, насыпал порохом и забил пулями, но только не наложил пистоны, потому что от них может выстрелить. Но позвольте же, хорошо, что это так только и случилось, а мог выйти ужас, потому что в той же нощи мне привиделся сон, что потрясователи спрятались у меня под постелью и колеблют мою кроватку, и я, испугавшись, вскочил и несколько раз спустил свой револьвер-барбос, и стал призывать к себе Христю и, кажется, мог бы ее убить, потому что у нее уже кожа сделалась какая-то худая и так и шуршала, як бы она исправда была козлиха, желающая идти с козлом за лыками.

Но вы обратите внимание на сказанный сон мой, ибо есть сны значения ничтожного, происходящие от наполнения желудка, а есть и не ничтожные, которые от ангелов. Вот эти удивительны!

XVIII

Кажется, я вам говорил, что у нас в достаточном числе перегудинских панов обитал препочтенный и тоже многообожаемый миляга и мой в некотором роде родич Дмитро Опанасович. Вот, доложу вам, тож добрый гвоздь был. Это тот самый, о коем слегка раньше упоминалось, что он отобрал себе отменное образование в московском пансионе Галушки, а потом набрал хобаров [1] в пограничной краже. Он был давно в разъезде с супругой и, как многострастный прелюбодей, скучал без женского общества и в виду того всегда имел в порядке женин бедуар и помещал в нем нарочитых особ женского пола для совместного исправления при нем хозяйственных и супружеских обязанностей и для разговоров по-французски. Для того же, чтобы дать всему такому соединению приличный вид, он взял себе на воспитание золотушную племянницу шести годов и, как бы для ее образования, под тем предлогом содержал соответствующих особ, к исполнению всех смешанных женских обязанностей в доме. Но главное, что он имел подлое обыкновение не все их должности объяснять им при договоре, а потому случалось, что с некоторыми из них у него бывали неудовольствия, и иные вскорости же покидали бедуар и от него бежали... Были и таковые даже, что обращались ко мне под защиту, как представителю власти, но я,— бог с ними,— я их всегда успокаивал и говорил: «Послушайте: ведь спором ничего не выйдет, а самое лучшее — мой вам совет,— что можно в вашем женском положении исполнить, то и надо исполнить». И инии того послушали, а одна, прошу вас покорно, и такая была, что мне же за это да еще и в лицо плюнула. Но, а все, душко мое, своей судьбы, однако же, не избежала... И Дмитрий Афанасьевич, знаете, это очень ценил и зато в иных своих тайностях от меня уже не укрывался. Привезет, бывало, новую воспитательницу и говорит мне моими же словами: «Спробуем пера и чорнила: що в іому за сила?» или скажет:

— Ну как-то эта Коломбина, потрафит угодить нашему Пьеро или нет?

А потом тоже прямо объявляет:

— Нет; эта Коломбина — бя! Она нашему Пьеро не потрафила!— И сейчас же за то таковой была перемена. И было у него этих перемен до черта! И на эту пору тоже как раз была Коломбина «бя!», и была ей такая спешная смена: потому что полька, которая у него жила, большеротая этакая, и вдруг с ним побунтовалася и ключи ему так в морду бросила, что синяк стал... Что с ними, с жинками, поделаешь, як они ни чина, ни звания не различают! Ну-с, а через это украшение многоуважаемый Дмитрий Афанасьевич

[1] Хобар — взятка (*укр.*).

сам не мог ехать за новою особою, а выписал, миляга, таковую наугад по газетам и получил ужасно какую некрасивую, с картофляным носом, и коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии.

Но сия некрасивая девица пленила меня тем, что прибыла к нам в описанном подозрительном виде, и я захотел ее испытать прежде, чем до нее приничет своим оком преподобный Назария, и говорю:

— Ну, не знаю как кому, а мне сдается так, что сия Коломбина на вашего Пьеро не угодит?

А он, вместо того чтобы по своему обычаю шутить моими словами: «спробуем перо и чорнила — що в iому эа сила!», с грустью мне отвечает:

— Да, братец, это и действительно: кажется, я на сей раз так ввалился, как еще никогда и не было. Скажи, пожалуйста, даже совсем никак глаз ее не видно за темными окулярами.

— Да,— отвечаю,— это немалое коварство.

— Не понимаю, как это цензура всем таким ужасным валявкам и малявкам позволяет печатать о себе в газетах объявления. Если б я главный цензор был, никогда бы это не вышло.

— Эге! — говорю,— а вот то ж-то оно и есть. Глаза человека это есть вывеска души, а неужели она так и не скидает очков?

— Вообрази — не скидает!

— Да вы бы от нее этого потребовали.

— Скажи же, с какого повода?

— Ну так она же их передо мною скинет.

— Сделай твое одолжение!

— Извольте!

И что я только выдумал! — ей-богу, даже и сам не знаю, откуда у меня это взялося.

XIX

Вздумал я с этою загадочною личностью все дознать безотложно и непосредственно, и для того, чтобы с нею ознакомиться, изобрел такой повод, что будто у меня начинают очи притомляться и будто я желаю купить себе темны окуляры, да не знаю, что им за цена, и що в их за сила, и где они покупаются? Можете теперь догадаться, яка выдумка! Ну, а що насчет ее образованности, то я этого не боялся, потому что, бывавши у вице-губернаторши при примерных казнях по совету Жуковского, я сам значительно приобык к светскости и мог загнуть такое двусмыслие, что мое почтение. И пошел я с этим в послеобеденное время в дом к Дмитрию Афанасьевичу и подхожу потиху, с надеждой: не увижу ли оную валявку или малявку женского пола с картофельным носом, и тогда ее спрошу: «Где господин Дмитрий Афанасьевич?» и тогда мы с ней разговоримся.

Так было всегда с прежнею, с полячкою: спросишь у нее, а она, бывало, отвечает: «Пожалуйте; вот он, сей подлец». И все они его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет: «Начались уже дискурсы в дамском вкусе». А этой, нынешней дамы, вообразите себе, совсем не видно, и я разыскал сам Дмитрия Афанасьевича и говорю ему:

— Знаете ли вы, премногообожаемый Митрий Афанасьевич, присловие, що як все иде по моде, то тогда и морда до моды прётся.

Он отвечает:

— Да; и что ж потому?

— А то ж потому, що ось так и я хочу купить себе потемненные окуляры, щоб удоблегчить глаза, но не знаю, що в их за сила, и сколько они стоят, и где их набрать?

А он еще моих мыслей не втямил и отвечает:

— Я, батюшка мой, слава богу, не жид и очками не торгую.

— Да и не о том я говорю, чтобы вы торговали, а вот ваша новая дама такие темные очки носит.

— Ну так что же я с этим сделаю! Мне это, конечно, противно.

— А разумеется,— говорю,— вам это и должно быть неприятно! Как же, она к вам ведь приближенная, а между тем вам невозможно даже ее позу рожи видеть. Я к вам пришел с тем, чтобы все это ее очарованье разрушить.

— Сделай,— говорит,— милость, но только чтоб и я видел.

— Пожалуйста, спрячьтесь где-нибудь и смотрите.

— Ну, хорошо, и так как она теперь в зале при чайном столе за самоваром сидит, то ты входи к ней и скажи, что я еще не скоро приду, а я спрячусь и буду в это время из коридора сквозь щель смотреть.

— Очень превосходно — скажите только скорее: как ее звать?

— Юлия Семеновна.

— А из какого она звания?

— Ничего необыкновенного, но только «из ученых». Можешь смело просе матевировать.

Пошел я в залу и вижу действительно, ах, куда какая не пышная!.. Извольте себе представить, в пребольшой белой зале, за большим столом перед самоваром сидит себе некая женская плоть, но на всех других здесь прежде ее бывших при испытании ее обязанностей нимало не похожая. Так и видно, что это не собственный Дмитрия Опанасовича выбор, а яке-с заглазное дряньце. Платьице на ней надето, правда, очень чистое, но, знаете, препростое, и голова вся постриженная, как у судового паныча, и причесана, и видать, что вся она болезненного сложения, ибо губы у нее бледные и нос курнопёковатый, ну, а очей уж разумеется не видать: они закрыты в темных больших окулярах с теми пузатыми стеклами, що похожи как лягушечьи буркулы. Как вы хотите, а в них есть что-то подозрительное!

Ну-с, я ее обозрел и вижу, что она сидит и что-то вяжет, но это не деликатное женское вязанье, а простые чулки, какие теперь я вяжу; перед нею книжка, и она и вяжет, и в книжке читает, и рассказывает этой своей воспитаннице, Дмитрия Афанасьевича сиротке; но, должно быть, презанимательнейшее рассказывает, ибо та девчурка так к ее коленям и прильнула и в лицо ей наисчастливейше смотрит!

Я даже подумал в себе: неужли же они такие лицемерные, эти потрясователи, что могут колебать могущественные империи, а меж тем с вида столь скромны!

И враз рекомендуюсь сей многообожаемой Юлии Семеновне:

— Вот, мол, я, честь имею, здешний становой,— но не думайте, что уже непременно как становой, то и собака! Я совсем простой, преданнейший человек и пришел к вам прямо и чистосердечно просить вашей ласки.

Она смутилась и говорит:

— Я не понимаю, что вы мне говорите.

— Совершенно верно,— отвечаю,— но я сейчас буду вам матевировать: я поврежденный человек...

Она отодвигается от меня дальше.

— Дело в том,— говорю,— что я повредил себе письменными занятиями остроту зрения и теперь хочу себе приобресть притемненные окуляры или очки, да не знаю, где они покупаются. Да. И не знаю тоже и того, почем они платятся; да, а самое главное — я не знаю, що в их за сила? — сгодятся они мне или совсем не сгодятся? А потому, будьте вы милосерденьки, многообожаемая Юлия Семеновна, позвольте мне посмотреть в ваши окуляры!

Она отвечает:

— Сделайте милость! — и снимает с себя очки без всякой хитрости.

А я будто не умею с ними обращаться и все ее расспрашиваю, как их надеть, а сам гляжу ей в открытые глаза и, представьте, вижу серые глазки, и весьма очень милые, и вся поза рожицы у ней самая приятная. Только маленькая краснота в глазках.

Я померил очки и сейчас же их снял назад и говорю:

— Покорно вас благодарю. Мне в них неловко.

Она отвечает, что к этому надо привыкнуть.

— А позвольте узнать, вы же давно к ним привыкли?

— Давно.

— А смею ли спросить, с якого поводу?

Она помолчала, а потом говорит:

— Если это вас интересует — я была больна.

— Так; а чем вы, на какую болезнь страдали, осмелюсь спросить?

— У меня был тиф.

— О, тиф, это пренаитяжелейшая болезнь: все волосья як раз и выпадут. Без сомнения, в этих обстоятельствах вы и остриглись?

Она улыбнулась и говорит:

— Да.

— Что же,— говорю,— это гораздо разумнейше, нежели чем совсем плешкой остаться. Ужасно как некрасиво — особно на женщине.

Она опять улыбнулась и читает сиротинке, а я перебил:

— А впрочем,— говорю,— для вас, как для девицы небогатого звания, тоже не идет и стрижка!

Она не теряется, но вдруг надменно отвечает:

— При чем же тут является звание?

— А как же,— говорю,— те, що богатого сословия, то они що хотят, то и могут делать, и могут всякие моды уставлять, а мы над собою не властны.

А она вдруг отвечает:

— Извините: я не имею чести вас знать и не желаю отвечать на ваши суждения.

— Разве они не кажутся вам справедливыми?

— Нет; и к тому же они мне совсем не интересны.

Я спрашиваю:

— А какое это вы вязанье вяжете? Это что-то просто аляповатое, а не дамское.

— Это чулки.

— Да вижу, вижу: действительно чулки, и еще грубые. Кому же это?

— У кого их нет.

— Ага! — для беднейшей братии... Превосходное чувство это сострадание. Но мы, знаете, вот по обязанности бываем должны участвовать в сборе податей и продавать так называемые «крестьянские излишки»,— так, господи боже, что только делать приходится. Ужасть!

— Зачем же вы делаете то, чему после ужасаетесь?

«Ага! — думаю себе,— не стерпела, заговорило ретивое!»

И я к ней сразу же пододвинулся, и преглубоко вздохнул из души, и сказал с сожалительной грустью:

— Эх-эх, многообожаемая Юлия Семеновна; если б вы всё то видели и знали, яки обиды и неправды дiятся, то вы бы, наверно, кровавыми слезами плакали.

Она мне ничего не ответила и стала знову показывать ребенку, как чулок вязать.

Вижу — девка хитрейшая! Я опять помолчал, и опять сделал к ней умильные очи, и говорю:

— А позвольте мне узнать: какое ваше понятие о богатых и бедных?

Она же на это поначалу как бы обиделась, но потом сейчас же себя притишила и говорит:

— Обольщение богатства заглушает слово.

— Превосходно,— говорю,— превосходно! Многообожаемая, превосходно! Ах, если бы это все так понимали!

— И это так и должно понимать и говорить людям, чтобы они не считали за хорошее быть на месте тех, которые презирают бедных, и притесняют их, и ведут в суды, и бесславят их имя.

— Ах,— говорю,— как хорошо! Ах, как хорошо! Извините меня, что я себе это даже запишу, ибо я боюсь, что не сохраню сих слов так просто и ясно в своей памяти.

А она преспокойно, как кур во щи, лезет.

— Пожалуйста,— говорит даже,— запишите.

А я уже вижу, что она так совершенно глупа и простодушна, и говорю:

— Только вот что-сь, я как будто кружовником перст защепил, и мне писать трудно: не сделаете ли вы мне одолжения: не впишите ли эти слова своею ручкою в мою книжечку?

А она отвечает:

— С удовольствием.

Да! да! Отвечает: «с удовольствием», и в ту же минуту берет из моих рук книжку и ничтоже сумняся крупным и твердым почерком, вроде архиерейского, пишет, сначала в одну строку: «Обольщение богатства заглушает слово», а потом с красной строки: «Богатые притесняют вас, и влекут вас в суды, и бесславят ваше доброе имя».

Все так и отляпала — своею рукою прописала так, что мне ее даже очень жалко стало, и я сказал:

— Благодарю, наисердечнейше вас благодарю, многообожаемая! — и хотел поцеловать ручку, которая у нее префинтикультепная, но она руку скрыла, и я не добивался и выскочил к Дмитрию Афанасьевичу и говорю ему:

— Видели?

Отвечает:

— Видел.

— Ну и что же?

Он только гримасу скосил.

И я его поддержал: конечно, говорю, поза рожи ее еще ничего — к ней привыкнуть можно, и ручка очень белая и финтикультепная, но морали нравственности ее такие, что я ее должен сгубить, и она уже у меня в кармане.

И Дмитрий Афанасьевич меня похвалил и сказал:

— Ты, брат, однако, хват!

— А вы же обо мне,— говорю,— как думали?

— Я,— говорит,— не полагал, что ты с дамами такой бедовый.

— О, я,— говорю,— бываю еще гораздо бедовейше, чем это!— И так, знаете, разошелся, что действительно за чаем уже не стал этой барышне ни в чем покою давать и прямо начал казнить города и всю городскую учебу и жительство, що там все дорого, и бісова тіснота, и ни простора, ни тишноты нет.

Но она тихо заметила, что зато там происходит движенье науки.

— Ну, я,— говорю,— этого за важное не почитаю, а вот что я там наилучшего заметил, это только то, что вместо всех удовольствий по проминаже ходят вечером натянутые дамы, и за ними душистым горошком пахнет.

А когда она сказала, что в нашей степной местности даже и лесов нет, то я отвечал:

— То и что ж такое! Правда, что у нас нет лесов, где гулять, но зато у нас, у Дмитрия Афанасьевича, такой сад, что не только гулять, но можно блудить страшней, чем в лесу.

Дмитрий Афанасьевич предоволен был и надавил меня под столом ногой в ногу, а она вдруг подвысила на меня свои окуляры и спрашивает:

— На каком вы это языке говорите?

— На российском-с.

— Ну так вы ошибаетесь: это совсем язык не российский.

— А какой же-с?

— Мне кажется, это язык глупого и невоспитанного человека.

И с сим встала и вышла.

— Какова-с!

Дмитрий Афанасьевич, видя это, придрался и просит:

— Пожалуйста же, избавь меня от нее как можно скорее!

— Будьте,— говорю,— покойны!

И как только я пришел домой, так сейчас же — благослови господи — написал по самому крупному прейскуранту самое секретнейшее доношение о появившейся странной девице и приложил листок с выражением фраз ее руки и послал ночью с нарочным, прося в разрешение предписания, что с нею делать?

Но вообразите: в сей ночи я не один не спал, ибо и она вдруг схопилась, послала до жида за конями и объявила Дмитрию Афанасьевичу, что она сейчас уезжает, а если ей не приведут коней, то пешком пойдет, и прямо к предводителю дворянства.

А Дмитрий Афанасьевич как рад был от нее избавиться, то сказал:

— Зачем же к предводителю. Сделайте милость, хоть куда угодно.

Ибо Дмитрий Афанасьевич терпеть не мог предводителя, потому что предводителем тогда был граф Мамура, которого отец был масон и даже находился на высланье и в сына вселил идеи, по которым тот Дмитрия Афанасьевича не многообожал. Но о нем пока остановимся на этом, а барышня уехала, и, вообразите, от возившего ее жида дознаю, что она уехала к тому предводителю! И вот, значится, от сих неизвестных причин откроется их гнездо, и честь открытия, знаете, принадлежать будет мне!.. Но что же вышло?! Недаром, верно, поется: «Мечты мои безумны», ибо вдруг позвали меня в город, и тот сам, кто мог меня представить к поощрению орденом, по жалобе предводителя, начал меня ужаснейше матевировать: для чего я говорил девице непристойности, и потом пошел еще хуже матевировать за донос и на нем доказал, будто глупейшего от меня и человека нет! И сам же показывает мне рукопись фраз той стриженой панночки или мамзели, и под ними красными чернилами обозначения: под одной стоит: «Матфея XIII, 22», а под другой: «Иакова II, 6».

— Да-с! Вообразите, что она все это взяла из Нового завета! Ну и скажите на милость, для чего их этому всему понаучивали! Даже и сам штабофицер говорит:

«Хорошо еще, что у меня писарь из немцев и он узнал, откуда эти слова, а то мы все могли это пустить далее, и тогда когда-нибудь обо всех нас подумали бы, что мы ничего не знали!»

И опять пошел матевировать, но за усердие похвалил и об ордене сказал, что это — желание благородное, и надо стараться и надеяться.

XX

Ось тобі и счастие! Я был в превеликом смущении и побежал до старого своего помогателя Вековечкина и стал его просить об уяснении: как мне себя направлять в дальнейшей службе?

— Помогайте,— говорю,— многообожаемый, потому что я связался с политическими людьми, а се, я вам скажу, не то що конокрады, с которыми я управлялся по «Чину явления истины». Как вы хотите, а политика,— бо дай, она исчезла,— превосходит мой разум. Помилуйте, как тут надо делать, чтобы заслужить на одобрение?

А он паки так тихо, як и тожде, говорит:

— Это нельзя указать на всякий случай отдельно, а вообще старайся, як можно больше угождай против новых судов, а там, може, и в самом деле господь направит в твои руки какого-нибудь потрясователя. Тогда цапай.

— О,— говорю,— только дай господи, чтоб он был!

И еду назад домой успокоенный и даже в приятной мечте, и приехал домой с животным благоволением, и положился спать, помолясь богу, и даже просто вызывал потрясователя из отдаленной тьмы и шепотал ему:

«Приходи, друже! Не бойся, чего тобі себя долго томить! Ведь долго или

коротко, все равно, душко мое, твоя доля пропаща; но чем ты сдашься кому-нибудь, человеку нечувствительному или у которого уже есть орден, то лучше сдайся мне! Я тебя, душко, и покормлю хорошо, и наливки дам пить, и в бане помою, а по смерти, когда тебя задавят, я тебя помнить обещаюсь...» А он все не идет, и опять томит забота: как бы его найти и поймать? И думаешь, и не спишь, и молишься, и даже все спутаешь вместе, мечты и молитвы. Читаешь: «Господи! аще хощу или аще не хощу, спаси мя, а аще мечты мои безумны...» и тут вдруг опомнишься, и все бросишь, и начинаешь соображать. Сказано, что хорошо стараться ни в чем не уважать суду, да як же таки, помилуйте меня, я, малый полицейский чин, который только с певчими курс кончил, и вдруг я смею не уважать университанта, председателя того самого велегласного судилища, которое приветствовано с такой радостью! Возможно ли? Правда, что всенепобедимый Вековечкин изъяснил, что «приветствия ничего не значат!» «И ты,— сказал он,— где сие необходимо — приветствуй, а сам все подстроивай ему в пику, так, щоб везде выходили какие-нибудь глупости; так их и одолеем, бо этому никак нельзя быть, чтобы всех людей одинаково судить, и хотя это все установлено, но знову должно отмениться». Ну, хорошо!

А потом припоминаю: що же он еще мне указывал? Ага! щоб проникать в «настроение умов в народе». Но какие же, помилуйте, в Перегудах настроения умов? Но, однако, думаю себе: дай попробую! И вот я еду раз в ночи со своим кучером Стецьком и пытаю его настроение!

— Чуешь ли,— говорю,— Стецько: чи звисно тобі, що у нас за люди живут в Перегудах?

— Що такое?! — переспросил Стецько и со удивлением.

Я опять повторил, а он отвечает:

— Ну, известно.

— А що они себе думают?

— Бог з вами: що се вам сдалось такие глупости!

— Это, братец, не глупости, а это теперь надо по службе.

— Чужие думки знать?

— Да.

Стецько молчит.

— Ну что ж ты молчишь? Скажи!

— А що говорить?

— Что ты думаешь.

— Ничего не думаю.

— Как же так ничего не думаешь! Вот я тебе що-сь говорю, ну, а ты що же о том думаешь?

— Я думаю, що вы брешете.

— Так! А я тебе скажу, что ты так думаешь для того, що ты дурень.

— Може, и так.

— А ты подумай: не знаешь ли, кто як по-другому думае!

— А вже ж не знаю! Хиба это можно чужие думки знать!

— А як бы ты знав?

— Ну, то що тогда?

— Сказал бы ты міні про это или нет?

— А вже ж бы не сказал.

— А отчего же бы это ты, вражий сыне, не сказал бы?

— А на що я буду чужие думки говорить? Хиба я доказчик або иная подлюга!

— Так вот тебя за это и будут бить.

— А за що меня бить будут?

— Не смей звать подлюгою!

— Ну, а то еще як подлюгу называть, як не подлюгою, а бить теперь никого не узаконено.

— Ах ты, шельма! Так это и ты вздумал на закон опираться!

— Ну, а то ж як!

— Як! Так вот погоди — ты увидишь, где тебе пропишут закон!

А он головой мотнул и говорит:

— Се вы що-сь погано гово́рите!

Но я его оборотил за плечи и говорю:

— Вперед больше так не смей говорить. Я тебе приказываю, щоб ты везде слухал, що где говорят, и все бы мне после рассказывал. Понимаешь?

Он говорит:

— Ну, понимаю!

— А особенно насчет тех, кто чем-нибудь недоволен.

— Ну, уж про это-то я ни за що не скажу.

— А почему же ты, вражий сыне, про это не скажешь?

— Не скажу потому, что я — оборони боже — не шпек [1] и не подлюга, щоб людей обижать.

— Ага!.. Ишь ты какой.

— А повторительно потому, що меня тогда все равно люди битемут.

— Ага! Ты боишься, что тебя мужики побьют, а я тебе говорю, что это еще ничего не значит.

— Это вы так говорите, потому що они вас еще не били.

— Нет, не потому, а потому, что после мужиков ты еще в своем месте жить останешься, а есть такие люди, що пропорхне мимо тебя, як птица, а ты его если не остановишь сцапахопатательно и упустишь, то сейчас твое место в Сибирь.

— Это за что же меня в Сибирь?

— Бо они потрясователи основ.

— Да що же мені до них? Бог с ними.

— Вот дурак! Сейчас сразу и виден, что дурак!.. Потрясователь основ, а он говорит: «Бог с ними!» Какая скотина!

А он, Стецько, обиделся и начинает ворчать:

— Що ж вы всю дорогу ругаетесь?

— Я,— отвечаю,— для того тебя, дурака, ругаю, что, когда ты едешь, то чтобы ты теперь не только коньми правил, но и повсеместно смотрел, чи не едет ли где-нибудь потрясователь, и сейчас мы будем его ловить. Иначе тебе и мне Сибирь!

Стецько выслушал это внимательно с своею всему миру преизвестною малороссийскою флегмою и говорит:

— Ну, а после еще що?

А я ему стал сочинять и рассказывать, что как вперед надо жить, что надо уже нам перестать делать по-старому, а надо делать иначе.

А он спрашивает:

— Як?

А я говорю:

— А вот как: вот мы ездим у дышель, а надо закладать тройку с дугой да с бубнами...

Он смеется и говорит:

— А еще ж що?

— Пісен своих про Украину да еще що не співать.

— А що ж співать?

— А вот: «По мосту-мосту, по калинову мосту».

— А се що ж такое «калинов мост»?

— Веселая песня такая: «Полы машутся, раздуваются».

Он, глупый, уже совсем смеется:

— Як «раздуваются»? Чего они раздуваются?

— Не понимаешь?

— А ей же да богу не разумію!

— Ну, то будешь разуметь!

— Да з якого ж поводу?!

---

[1] Шпек — шпион (*укр.*).

— Будешь разуміть!
— Да з якого поводу?!
— Побачишь!
— Що!
— Тоди побачишь!
А он вдруг кажет:
— «Тпру!» — и, покинув враз всю оную свою превеликую малоросскую флегму, сразу остановил коней и слез, и подает мне вожжи.
— Это что? — говорю.
— Извольте-ся! — отвечает.
— Что же это значит?
— Вожжи.
— Зачем?
— Бо я больше с вами ехать не хочу!
— Да что же это такое значит?
— Значится, що я всей сей престрашенной морок не желаю и больше с вами не поіду. Погоняйте сами.
Положил мне на колени вожжи и пошел в сторону через лесочек!..
Я его звал, звал и говорил ему и «душко мое» и «миляга», но назад не дозвался! Раз только он на минуту обернулся, но и то только крикнул:
— Не турбуйтесь напрасно: не зовите меня, бо я не пойду. Погоняйте сами.
И так и ушел... Ну, прошу вас покорно уделать какую угодно политику ось с таким-то народом!
— Звольтеся: погоняйте сами!
А кони у меня были превостренькие, так как я, не обязанный еще узами брака, любил слегка пошиковать, а править-то я сам был не мастер, да и скандал, знаете, без кучера домой возвращаться и четверкой править. И я насилу добрался до дому и так перетрусился, что сразу же заболел на слаботы желудка, а потом оказалось другое еще досаждение, что этот дурень Стецько ничего не понял как следует, а начал всем рассказывать, будто кто только до меня пойдет за кучера, то тому непременно быть подлюгой или идти в Сибирь. И подумайте, никто из паробков не хочет идти до меня убирать кони и ездить, и у меня некому ни чистить коней, ни кормить их, ни запрягать, и к довершению всего вдруг в одну прекрасную ночь, когда мы с Христиной сами им решетами овса наложили и конюшни заперли,— их всех четверых в той ночи и украли!..
Заметьте себе, я, той самый, що всіх конокрадов изводил,— вдруг сам сел пешки!

XXI

Ужасная в душе моей возникла обида и озлобление! Где ж таки, помилуйте, у самого станового коней свели! Что еще можно вздумать в мире сего дерзновеннее! Последние времена пришли! Кони — четверка — семьсот рублей стоили; да еще упряжка, а теперь дуй себе куда хочешь в погоню за ворами на палочке верхом.

Но и то бы ничего, як бы дело шло по-старому и следствие бы мог производить я сам по «Чину явления», но теперь это правили уже особливые следователи, и той, которому это дело досталось, не хотел меня слушать, чтобы арестовать зараз всех подозрительных людей. Так что я многих залучал сам и приводил их в виде дознания к «Чину явления истины», но один из тех злодіев еще пожаловался, и меня самого потребовали в суд!.. Как это вам кажется? Меня же обворовали,— у меня, благородного человека, кони покрадены, да и я же еще должен спешить поехать и оправдываться противо простого конокрада! Все було на сей грішной земли, всякое беззаконие, но сего уже, кажется, никогда еще не було! А тут еще и ехать не с кем, и я, даже

не отдохнув порядком, помчался на вольнонаемных жидовских лошадях балогулою, и собственно с тім намерением, щобы там в городе себе и пару коней купить.

Ну, а нервы мои, разумеется, были в страшнейшем разволнении, и я весь этот новый суд и следствие ненавидел!.. Да и для чего, до правды, эти новые суды сделаны? Все у нас прежде было не так: суд был письменный, и що там, бывало, повытчики да секретари напишут, так то спокойно и исполняется: виновный осенит себя крестным знамением да благолепно выпятит спину, а другой раб бога вышнего вкатит ему, сколько указано, и все шло преблагополучно, ну так нет же! — вдруг это все для чего-то отменили и сделали такое егалите и братарните, что,— извольте вам,— всякий пройдисвіт уже может говорить и обижаться! Это ж, ей-богу, удивительно! Быть на суде, и то совестно! То судья говорит, то злодій говорит, а то еще его заступщик. Где ж тут мне всех их переговорить! Я пошел до старого приятеля Вековечкина и говорю:

— Научите меня, многообожаемый Евграф Семенович, як я имею в сем представлении суда говорить.

А он же, миляга,— дай бог ему долгого віку,— хорошо посоветовал:

— Говори,— сказал,— как можно пышно, щоб вроде поэзии — и не спущай суду форсу!

— Ну, так, мол, и буду.

И вот, как меня спросили: «Что вам известно?», я и начал:

— Мне,— говорю,— то известно, що все было тихо, и был день, и солнце сияло на небе высоко-превысоко во весь день, пока я не спал. И все было так, як я говорю, господа судьи. А как уже стал день приближаться к вечеру, то и тогда еще солнце сияло, но уже несколько тише, а потом оно взяло да и пошло отпочить в зори, и от того стало как будто еще лучше — и на небе, и на земли, тихо-тихесенько по ночи.

Тут меня председатель перебил и говорит:

— Вы, кажется, отвлекаетесь!

А я ему отвечаю:

— Никак нет-с!

— Вы о деле говорите, как лошади украдены.

— Я о сем и говорю.

— Ну, продолжайте.

— Я,— говорю,— покушал на ночь грибки в сметане, и позанялся срочными делами, и потом прочел вечерние молитвы, и начал укладываться спать по ночи, аж вдруг чувствую себе, что мне так что-сь нехорошо, як бы отравление...

Какой-то член перебил меня вопросом:

— Верно, у вас живот заболел от грибов?

— Не знаю отчего, но вот это самое место на животе и холод во весь подвенечный столб, даже до хрящика... Я и схопился и спать не можу...

В залі всі захохотали.

— А какая была ночь: темная или светлая? — вопросил член.

Отвечаю:

— Ночь була не темная и не светлая, а такая млявая[1], вот в какие русалки любят подниматься со дна гулять и шукать хлопцов по очеретам [2].

— Значит, месяца не было?

— Нет, а впрочем — позвольте: сдается, что, может быть, месяц и был, но только он был какой-то такой, необстоятельный, а блудник, то выходил, а то знов упадал за прелестными тучками. Выскочит, подивится на землю и знову спрячется в облаки. И я як вернулся знову до себя в постель, то лег под одеяло и враз же ощутил в себе благоволение опочить, что уже думал,

---

[1] Млявый — вялый, смутный.

[2] Очерет — камыш, тростник (*диал.*).

будто теперь даже всі ангелы божии легли спочивать на облачках, як на подушечках, а притомленные сельские люди, наработавшись, по всему селу так храпят, що аж земля стогнет, и тут я сам поклал голову на подушку и заплющил очи...

И я вижу, что все слушатели слушают меня очень с большим удовольствием, и кто-сь-то даже заплакал, но председатель знову до меня цепляется и перебивает:

— Говорите о том: как были украдены лошади?

— Ну, я же к этому все и веду. Вдруг спавшие люди сквозь сон почуяли, где-сь-то что-то скребе. Враз одни подумали, що то скребутся коты... влюбленные коты, понимаете! А другие думали, що то були не коты, а собаки; а то не были и не коты и не собаки, а были вот эти самые бабины сыны злодіи...— Но тут председатель на меня закричал...

— Прошу вас не дозволять себе обидных выражений!

А я отвечаю:

— Помилуйте, да в чем же тут обида! ведь и все люди на світи суть бабины дети, как и я и вы, ваше превосходительство.

В публике прошел смех, а председатель говорит мне:

— Довольно!

А я чую, что публика по мне поборает, и говорю:

— Точно так-с! Если бы я сказал, девкины дети, то было бы яко-сь невовко, а бабины...

Но он меня опять перебивает и говорит:

— Довольно-с уже этих ваших рассуждений, довольно!

А заметно, ему и самому смішно и публике тоже, и он говорит мне:

— Продолжайте кратко и без лишнего, а то я лишу вас слова.

Я говорю:

— Слушаю-с, и теперь все мое слово только в том и осталось, що то были вот сии,— як вы не позволяете их называть бабины сыны, то лучше сказать злодиюки, которых вы посадили вот тут на сем диване за жандармы, тогда як их место прямо в Сибиру!..

Но тут председатель аж підскочил и говорит:

— Вы не можете делать указаний, кого куда надо сажать и ссылать!

А я говорю:

— Нет-с, я это могу, ибо мои кони были превосходные, и сии сучьи дети их украли, и як вы их сейчас в Сибирь не засудите, то они еще больше красти станут... и может быть, даст бог, прямо у вас же у первого коней и украдут. Чего и дай боже!

Тут в публике все мне захлопали, як бы я был самый Щепкин, а председатель велел публику выгонять, и меня вывели, и как я только всеред людей вышел, то со всех сторон услыхал обо мне очень разное: одни говорили: «Вот сей болван и подлец!» И в тот же день я стал вдруг на весь город известный, и даже когда пришел на конный базар, то уже и там меня знали и друг дружке сказывали: «Вот сей подлец», а другие в гостинице за столом меня поздравляли и желали за мое здоровье пить, и я так непристойно напился с неизвестными людьми, що бог знае в какое место попал и даже стал танцевать с дівчатами. А когда утром прокинулся, то думаю: «Господи! до чего я уронил свое звание, и як имею теперь отсюда выйти?» А в голове у меня, вообразите, ясно голос отвечает:

— Теперь уже порядок известный: спеши скорее с банщиками первый пар в бани опаривать; а потом беги к церкви, отстой и помолись за раннею, и потом, наконец, иди опять куда хочешь.

А меж тем те мои незнакомцы всё меня спрашивают: видал ли я сам когда-нибудь потрясователей?

Я разъясняю, что настоящих потрясователей я еще не видал и раз даже ошибся на одной стрижке, но что я надеюсь оных открыть и словить, ибо приметы их знаю до совершенства.

А те еще меня вопрошают:

— А есть ли тім подходящим людям что-нибудь у вас в Перегудах делать?

А я отвечаю:

— Боже мой! Как же им не есть что у нас делать, когда у нас хотя люди, с одной стороны, и смирные, но с другой, знаете, и они тоже порою, знаете, о чем-то молчат. Вот! и задумаются, и молчат, и пойдут в лес, да и Зилизняка или Гонту кличат — а инии и песню поют:

Колы-сь було на Вкраини
Добре було житы!

И дошли уже до такого сопротивления власти, что ни один человек не хочет ко мне как к должностному лицу в кучера идти.

— Может ли это быть?

— Уверяю вас!

— Отчего же это?

— Могу думать, что единственно оттого, что хотят лишить меня успеха в получении отличия за поимку потрясователя, но я, между прочим, с тем сюда и ехал, чтобы принести ответ суду, кстати нанять себе здесь же и кучера из неизвестных людей, да такого, у которого бы не было знакомых, и притом самого жесточайшего русского, из Резанской губернии, чтобы на тройке свистал и обожал бы все одно русское, а хохлам бы не давал ни в чем спуску.

Мне отвечают:

— Так и будет!

И тут уж я при сильном напряжении сил увидал, что это со мною разговаривает какой-то мой вчерашний угощатель, и он повел меня в баню, а потом послал на раннюю, «а как ты,— говорит,— домой придешь, у тебя уже и кучер будет... Да еще какой! Настоящий орловский Теренька. Многого не запросит, а уж дела наделает!»

И действительно, как я всхожу домой, а ко мне навстречу идет с самоваром в руках отличнейший парень с серьгой в ухе и говорит:

— Богу молясь и с легким паром вас!

Я спрашиваю:

— А тебя как зовут?

— Теренька Налетов,— говорит,— по прозванью Дарвалдай, Орловской губернии.

— Что же,— говорю,— я тебе очень рад: я хотел из резанских, но и в Орловской губернии тоже, известно, народ самый такой, что не дай господи! Но мне нужно, чтобы ты мне помогал все знать и видеть и людей ловить.

— Это нам все равно что плюнуть стóит.

— Ну, мне такой и нужен.

Я его и нанял.

XXII

Отлично у нас дело пошло! Теренька ни с кем из хохлов компании не водил, а всех знал и не пошел в избу, а один, миляга, с конями в конюшне жил. Кому зима — студено, а ему нипочем: едет и поет, как «мчится тройка удалая на подорожке столбовой», даже, знаете, за сердце хопательно... Я не знал, как и радоваться, что такого человека достал. Теперь уж я был уверен, что мы выищем потрясователя и не упустим его, но только, вообразите себе, вдруг пошли помимо меня доносы, что будто у нас среди крестьян есть недовольные своею жизнью, и от меня требуют, чтобы я разузнал, кто в сем виновен? Я сам, знаете, больше всех думал на Дмитрия Афанасьевича, который очень трусился, как бы его паробки за дівчат не отлупцевали,— и вот я, в дороге едучи, говорю своему Тереньке:

— Послушай, миляга, як ты себе думаешь, не он ли это разные капасти пишет?

А Теренька прямо отвечает:

— Нет, не он.

— Вон! Почему же ты этак знаешь?

А он, миляга, тонкого ума был и отвечает:

— Потому, что где ж ему с его понятием можно правду знать!

— А это же разве правда?

— Разумеется, правда!

— Вот те и раз! Так рассказывай!

Он и рассказывает мне, что крестьяне в самом деле стали часто говорить, что всем жить стало худо, и это через то именно, что все люди живут будто не так, как надо,— не по-божьему.

— Ишь ты, — говорю,— какие шельмы! И откуда они могут это знать, як жить по божьи?

— Ходят,— говорит,— такие тасканцы и Евангелие в карманах носят и людям по овинам в ямах читают.

Видите, якие зловредные твари берутся! И Теренька, миляга, это знает, а я власть, и ничего не знаю!

И Теренька говорит:

— Да это и не ваше дело: это часть попова, пусть он сам за свою кубышку и обороняется.

«Исправди,— думаю,— що мне такое!»

Только у Христи спросил, что она, часом, не ходила ли с сими тасканцами в ямы читанье слухать, но она, дура, не поняла и разобиделась:

— Хиба-де я уже така поганка, что с тасканцем в яму піду!

— Провались ты!

— Сами валитесь, и с богом.

— А що тебя піп про все пытае?

— А вже ж пытае.

— А ты ж ему неужли ж так про все и каешься?

— Ну, вот еще що взгадали! Чи я дура!

— Отлично,— говорю,— отлично!

И других многих так же спросил, и все другие так же ответили, а я им всем тожде слово рек:

— Отлично!

Потому что: для чего же ему в самом деле все узнавать, когда он уже один орден имеет? Аж смотрю, на меня новое доношение, что я будто подаю в разговорах с простонародием штундовые советы! Боже мой милостивый! Да что ж значится штунда? Я же этого еще постичь не могу, а тут уже новая задача: чи я кого-то ловлю, чи меня кто-то ловит. И вот дух мой упал, и очи потухлы, и зубы обнаженны... А туча все сгущевается, и скоро же в корчме нашли,— представьте себе,— печатную грамотку, а в ней самые возмутительные и неподобные словеса, що мы живем де глупо и бессовестно, и «всі, кто в бога віруе и себя жалуе, научайтеся грамоте, да не слухайте того, що говорят вам попы толстопузые». Так-таки и отляпано: «толстопузые»!.. Господи!.. И все грамотеи это прочитали и потом взяли да грамотку на цигарках спалили, а потом еще нашли иную грамотку и в сей уже то и се против дворян таких-сяких, неумех білоруких, а потом кстати и про «всеобирающую полицию» и разные советы, как жить, щоб не подражать дворянам и не входить в дочинения с полицией, а все меж собой ладить по-божьему. Просто ужасть! И кто ж сию пакость к нам завозит и в люди кидает? Я говорю:

— Теренька! Вот ты, миляга, обещал мне во всем помогать,— помогай же! Я если открою и орден получу, ей-богу, тебе три рубля дам!

А он мне опять отвечает, что ему наверно ничего не известно, но что ему удивительно, какие это пиликаны приехали в гости к попу Назарию, и всё

ночами на скрипке пиликают, а днем около крестьян ходят, а как ночь, они опять на скрипках пиликают, так что по всему селу и коты мяучат и собаки лают.

Аж меня, знаете, всего ожгло это известие!

«Господи боже мой!— думаю,— да ведь это же, может быть, они и есть потрясователи!»

— Терентьюшка, миляга мой, ты их наблюдай: это они!

— И я думаю,— говорит,— что они, но все-таки вы, ваша милость, встаньте сами о полуночи, и услышите, как они пиликают.

Я так и сделал: завел будильную трещотку на самый полночный час и аккурат пробудился, и сейчас открыл окно в сад и сразу почувствовал свежесть воздуха, и пиликан действительно что-то ужасно пиликает, и от того или нет, но по всему селу коты кидаются, и даже до того, что два кота прямо перед моими окнами с крыши сбросились и тут же друг друга по морде лущат.

Ну что это!

Я утром сказал Назарию:

— Что это за пиликаны у вас появились?

А он отвечает:

— Как это пиликаны?— И захохотал.— Это виртуозы, они спевки народные на ноты укладают и пошлют в оперу! А то пиликаны! Ха-ха, «пиликаны»... Смеху подобно, что вы понимаете... «Пиликаны»!

Ну, я стерпел.

XXIII

А был в той поре у нас за пять верст конский ярмарок, и я туда прибыл и пошел меж людей, чтобы посмотреть по обязанностям службы. И вижу, там же ходят и сии два пиликана, или виртуозы, и действительно оба с тетрадками и что-то записуют. И я за ними все смотрел-смотрел, аж заморился и ничего не понял, а как подхожу назад до своей брички, чтоб достать себе из погребчика выпить чарочку доброй горілки и закусить, чего Христина сунула, как вдруг вижу, в бричке белеется грамотка... Понимаете, это в моей собственной бричке, в начальственном экипаже! И уже, заметьте, печатано не простою речью, а скрозь строки стишок — и в нем все про то, як по дворах «подать сбирают с утра».

Я говорю:

— Теренька! Миляга! Кто тут до моей брички прикасался?

— Я,— говорит,— не видал: у меня сзади глаз нет.

— Мне бумажка положена. Кто тут был или мимо проходил?

— Проходили эти пиликаны, поповы гости, Спиря да Сёма,— я их только одних и приметил.

— А тебе наверно известно, как их звать?

— Наверно знаю, что один Спирюшка, тот все поспиривает, а другой, который Сёма, этот посёмывает.

— Это они!

— Да, надо будет,— говорит,— в дружбе им прикинуться и угостить.

— Валяй,— говорю,— вот тебе полтина на угощение, а как только я орден получу — сейчас тебе три рубля, как обещано.

На другой день, вижу — Теренька действительно идет уже от попа, а в руках дощечку несет.

— Вот,— говорит,— стараюсь: ходил знакомство завесть.

— Ну, рассказывай же скорее, миляга: как это было?

— Да вот я взял эту дощечку с собой и говорю: «Это, должно быть, святой образок, я его, глядите-ка, в конюшне нашел; да еще его и ласточкиным гнездом закрыло, прости господи! А от того или нет, мне вдруг стали сны сниться такие, что быть какому-то неожиданью, и вот в грозу как раз

гнездо неожиданно упало, а зтот образок и провещился,[1] но только теперь на нем уже никакого знаку нет, потому что весь вид сошел. Я просил попа: нельзя ли святой водой поновить?»

— Это ты ловко! Ну, а что же дальше?

— Поп меня похвалил: «Это, говорит, тебе честь, что ты отыскал священный предмет, который становой до сей поры пренебрегал без внимания».

— Неужели он так и сказал?

— Ей-богу, так сказал. Мне лгать нечего.

— Ну, теперь,— говорю,— он про зто непременно на меня донесет, а я возьму да еще прежде донесу на его Сёму и на Спирю.

И донес так, что явились какие-то неизвестные пиликаны Спиря и Сёма, и нельзя разузнать, про что Спиря спирит и про что Сёма сёмает, а между тем теперь уже повсеместно пометаются грамотки... И потому я представляю это: как угодно попреблагорассмотрительствующемуся начальству.

Но — вообразите же — все ведь зто пошло на мою же голову, ибо в обоих пиликанах по обыске их и аресте ничего попреблагорассмотрительствующегося не оказалося, и пришлось их опять выпустить. И учинился я аки кляузник и аки дурак для всех ненавистный, и в довершение всего в центре всенесомненнейшего и необычайнейшего — наполнения грамотками всего воздуха!

Да! если я допекал, бывало, тіх злодіев, конокрадов, как вам сказывал, по «Чину явления истины» и если и томил их «благоухищренною виною», то куда же все это годится перед тем, что я теперь терпевал сам! А между тем теперь отыскать и поймать потрясователя сделалось уже совершенно необходимо, потому что даже сам исправник против меня вооружился и говорит:

— Ты всеобщий возмутитель и наипервый злодій: мы жили тихо, и никого у нас, кроме конокрадов, не было; а ты сам пошел твердить про потрясователей, и вот все у нас замутилось. А теперь уже никто никому и верить не хочет, что у нас нет тех, що троны колеблят. Так подавай же их! Даю тебе неделю сроку, и если не будет потрясователя — я тебя подам к увольнению!..

Вот вам и адское житие, какого я себе сам заслужил за свою беспокойность!

И, ох, как я после зтой беседы в нощи одинок у себя плакал!.. Дождь льет, и молнья сверкает, а я то сижу, то хожу один по покою, а потом падаю на колени и молюсь: «Господи! Даруй же ты мне его и хоть единого сего сына погибельного», и опять в уме «мечты мои безумны»... И так много раз зто, просто как удар помешательства, и я, с жаром повторивши, вдруг упал лицом на пол и потерял сознание, но вдруг новым страшным ударом грома меня опрокинуло, и я увидал в окне: весь в адском сиянии скачет на паре коней самый настоящий и форменный потрясователь весь в плаще и в шляпе земли греческой, а поза рожи разбойничья!

Можете себе вообразить, что такое со мной в зтот момент сделалось! После толикого времени зависти, скорби и отчаяния, и вдруг вот он!— он мне дарован и послан по моей пламеннейшей молитве и показан, при громе и молонье и при потоках дождя в ночи.

Но размышлять некогда: он сейчас должен быть изловлен.

XXIV

Я так и завопил:

— Христя! Христя!

Аж она, проклятая баба, спит и не откликается. Ринулся я, як зверь, до ее комнаты и знову кричу: «Христя!» и хочу, щоб ее послать враз, щоб Те-

---

[1] Провещился — дал весть, прояснился.

ренька сию минуту кони подал, и скакать в погоню, но только, прошу вас покорно, той Христины Ивановны и так уже в ее постели нема,— и я вижу, що она и грому и дождя не боится, а потиху от Тереньки из конюшни без плахты идет, и всем весьма предовольная... Можете себе вообразить этакое неприятное открытие в своем доме, и в какую минуту, что я даже притворился, будто и внимания на это не обратил, а закричал ей:

— Вернись, откуда идешь, преподлейшая, и скажи ему, чтоб сейчас, в одну минуту, кони запряг!

Аж Христька отвечает:

— Теренька не буде вам теперь коней закладать.

— Это еще що?.. Да як ты сміешь!

А она отвечает:

— А вже ж смію, бо ще се вы себе выдумали, по ночи, когда всі християне сплят, вам щоб в самісенький сон кони закладать... Ни, не буде сего...

— А-а!.. «Не буде»!.. «Самісенький сон»... «Все християнство спочивае»... А ты же, подлая жинка, чего не спочивала, да по двору мандривала![1]

— Я,— говорит,— знаю, зачем я ходила.

— И я это знаю.

— Я ходила слушать, як пиликан пиликае.

— А-га! Пиликан пиликае!.. Хиба в такую грозу слышно, як пиликают!..

— Оттуда, где я была, слышно.

— Слышно!.. Больше ничего, как ты — самая бессовістная жинка.

— Ну и мне то все едино; а Теренька кони закладать не здужае[2].

— Я вам дам: «не здужае». Сейчас мне коней!

— У него зубы болят...

Но тут уж я так закричал, что вдруг передо мною взялись и кони и Теренька, но только Теренька исправда от зубной боли весь платком обвязан, но я ему говорю:

— Ну, Теренька, теперь смотри! Бей кони во весь кнут, не уставай и скачи: потрясователь есть!— настигни только его, щоб в другий стан не ушел, и прямо его сомни, затопчи... Що там с ними разговаривать!

Теренька говорит:

— Надо его на мосту через Гнилушу настичь — тут я его сейчас в реку сброшу, и сцапаем.

— Сделай милость!

И как погнал, погнал-то так шибко, что вдруг,—представьте,—впереди себя вижу — опять пара коней, и на всем на виду в тележке сидит самый настоящий форменный враг империи!

Теренька говорит:

— Валить с моста?

— Вали!

И как только потрясователь на мост взъехал, Теренька свистнул, и мы его своею тройкою пихнули в бок и всего со всеми потрохами в Гнилушу выкинули, а в воде, разумеется, сцапали... Знаете, молодой еще... этак среднего веку, но поза рожи самоужаснеющая, и враз пускается на самую преотчаянную ложь:

— Вы,— говорит,— не знаете, кто я, и что вы делаете!

А я его вяжу за руки да отвечаю:

— Не беспокойся, душечка, знаем!

— Я правительственный агент, я слежу дерзкого преступника по следам и могу его упустить!

— Ладно, голубчик, ладно! Я тебя посажу на заводе в пустой чан: тебе будет хорошо; а потом нас разберут.

---

[1] Мандривать — бродить, странствовать (*диал.*).

[2] Не здужае — не сможет (*укр.*).

Но он вошел в страшный гнев и говорил про себя разные разности, кто он такой,— все хотел меня запугать, что мне за него достанется, но я говорю:

— Ничего, душко мое, ничего! Ты сначала меня повози, а после я на тебе поезжу!— и посадил его в чан, приставил караул и поскакал прямо в город с докладом:

— Пожалуйте, что мне следует: потрясователь есть.

XXV

Но ведь представьте же, что я в город не доехал, и наверно могу сказать, что, почему так случилось, вы не отгадаете. А случилося вот что: был, как я вам сказал, очень превеликий дождь, да и не переставал даже ради того случая, что я совершил свои заветные мечты и изловил первого настоящего врага империи. И вот я себе еду под буркой весь мокрый и согревься мечтаю, як оный гоголевский Дмухонец: що-то теперь из Петербурга, какую мне кавалерию вышлют: чи голубую, чи синюю? И не замечаю, как, несмотря на все торжествование мое победы и одоления, нападает на меня ожесточенный сон, и повозка моя по грязи плывет, дождь сверху по коже хлюпае, а я под буркою сплю, як правый богатырь, и вижу во сне свое торжество: вот он, потрясователь, сидит, и руки ему схвачены, и рот завязан, но все меня хочет укусить, и, наконец, укусил. И я на этом возбудился от сна; и вижу, что время уже стало по-ночи, и что мы находимся в каком-то как будто незнакомом мне диком и темном лесе, и что мы для чего-то не едем, а стоим, и Тереньки на козлах нет, а он что-то наперед лошадей ворочается, или как-то лазит, и одного резвого коня уже выпряг, а другого по копытам стучит, и этот конь от тех ударений дергает и всю повозку сотрясает.

Я ему закричал:

— Теренька! Что это? Отчего кони так дергают и сотрясают?

А он отвечает:

— Молчать!

— Как молчать? Где мы?

— Не знаю!

— Что это за глупости! Как ты не знаешь?!

— Я хотел по ближней дорожке через лес проехать, да вот в лесу и запутался.

— Ты, верно, с ума сошел и хочешь меня убить!

— Не стоит рук пачкать.

— Кацап проклятый! Тебе все стоит: хоть копеечку за душу взять, и то выгодно: сто душ загубишь и сто копеек возьмешь! Вот тебе и рубль! Но я тебе лучше так все деньги отдам, только ты меня, пожалуйста, не убивай.

А он на эти слова уже не отвечал, а вывел пристяжную в сторону и сказал:

— Прощай, болван! Жди себе орден бешеной собаки!— и поскакал и скрылся.

Представьте себе вдруг такое обращение и как я остался один среди незнакомого леса с одним конем и не могу себе вообразить: где я и что со мною этот настоящий разбойник уделал?

А он такое уделал, что нельзя было и понять иначе, как то, что он достал мгновенное помешательство или имел глубокий умысел, ибо он, как уже сказано, ускакал на пристяжном, покинув тут и свой кучерский армяк и Христин платок, которым был закутан — очевидно, от мнимой зубной боли, а другому коренному коню, он негодяй, под копыта два гвоздя забил! Ну, не варвар ли это, кацапская рожа! Боже мій милій, что за положение! А дождь так и хлыще, а конь больной ногой мотае и стукае, аж смотреть его жалостно... Думаю: посмотрю-ка я, чи нема у меня под сиденьем клещей,— мо-

жет быть, я ими хоть одного гвоздя у несчастного коняки вытащу. И с тім, знаете, только що снял подушку с сиденья, как вдруг что же там вижу: полно место тіх самых га́спідских листков, що и «мы не так живем и как надо» и прочие неподобные глаголы.

Я и упал на колени, а руки расставил, щоб покрыть сию несподиванную подлость! И тут вдруг мне ясно в очи ударило, что ведь это очевидно, что потрясатель-то чуть ли не кто другой и был, как самый мой Теренька, по прозванью Дарвалдай-лихой; и вот, я, я сам служил ему для удобства развозить по всем местам его проклятые шпаргалки!.. И вот оно... вот тут же при мне находится все самополнейшее на меня доказательство моей самой настоящей болванской неспособности и несмотренья...

И подумал я себе: «А и що ж то буде за акциденция, як я буду сидеть над теми листками в брычке да буду недоумевать да плакать? Дождь перейдет, и по дороге непременно кто-нибудь покажется, и я попадусь с поличным в политическом деле! Надо иметь энергию и отвагу, щоб это избавить... Надо все это упредить».

XXVI

И вот я вскочил и начал хапать все сии проклятые бумажки! Хотел, знаете, щоб стащить их все чисто куда-нибудь в ров или в болото и там их чем-нибудь завалить или затоптать, щобы они там исчезли и не помянулись. Аж як все похватал и понес под сим страшнейшим дождем и ужаснейшими в мире блистаниями огненной молоньи, то не бачил сам, куда и иду, и попал в сем незнакомом лесу действительно на край глубоченного оврага и престрашнейшим манером загремел вниз вместе с целою глыбою размокшей глины. И тут, при сем ужасном падении, все те шпаргалки у меня из рук выбило и помчало их неодоленным бурным потоком, в котором и сам я, крутясь, заливался и уже погибал безвозвратно; но бытие мое, однако, было сохранено, и я, вообразите, увидал себя в приятнейшем покое, который сначала принял было за жилище другого мира, и лежал я на мягкой чистейшей от серебра покрытою простынею постели, а близ моего изголовья поставлен был столик, а на нем лекарства, а невдалеке еще навпротив меня другой столик, а на нем тихо-тихесенько світит ласковым светом превосходнейшая лампа, принакрытая сверху зеленой тафтицей... А далее смотрю и вижу, что в самом месте, где освещено лампой, что-то скоро-скоро мелькает! Я подумал: что это такое, точно как будто лапка серой кошечки или еще что? Но никак не могу разобрать въяве: где ж это я и по якому такому случаю? И так все лежу и що-сь такое думаю, но, однако, себе чувствую, что мне очень прекрасно. Верно, думаю, это, может быть, и есть «егда приидеши во царствие». Ну да, так это и есть: был я человек, и делал разные поганые дела, и залился в потоке воды, и умер, и, должно быть, по якой, мабуть, ошибке я попал теперь в рай. А може, мне так и следует за то, що я находился в некое время при архиерейском служении. А может быть, я и с сией заслугою рая все-таки еще недостоин, и это не рай, а что-нибудь из языческих Овидиевых превращений. И даже это скорей буде так для того, что в раю все сидят и співают: «свят, свят, свят», а тут совсем пения нет, а тишнота, и меня уже как молонья в памяти все прожигает, что я был становой в Перегудах, и вот я возлюбил почести, от коих напали на меня безумные мечты, и начал я искать не сущих в моем стане потрясователей основ, и начал я за кем-то гоняться и чрез долгое время был в страшнейшей тревоге, а потом внезапно во что-то обращен, в якое-сь тишайшее существо, и помещен в сем очаровательном месте, и что перед глазами моими мигает — то мне непонятное,— ибо это какие-то непонятные мне малые существа, со стручок роста, вроде тех карликов, которых, бывало, в детстве во сне видишь, и вот они между собою как бы борются и трясут железными кольями, от блещания коих меня замаячило, и я вновь потерял сознание,

и потом опять себе вспомнил, когда кто-то откуда-то взошел и тихо прошептал:

— Как сегодня наш больной?

А другой голос так же тихо отвечал:

— Ему лучше. Доктор надеется, что сегодня он придет в сознание.

Первый голос мне был совсем незнаком, а второй я как будто где-то слышал. Только я опять не разбираю, что они шепчут, и серые карлики с стальными копьями спрятались, и потом опять будто через неякое неопределенное время знову вижу ту же приятную комнату, но только уже теперь был день, и у того стола, где кошачьи лапки прыгали, сидит дама в темных очках и чулок вяжет. Помышляю себе: «Это прехитрый Овидий хощет кого-сь обратить той Юлией, которую я столь поганьски обидел при жизни моей на земле в Перегудах и которая принесла на меня жалобу дворянскому маршалу. Но, о Овидий, сим ли ты хочешь мене наказать, когда я именно рад, что вижу ее подобие и могу теперь просить ее простить мне мое окаянство». И чтобы не откладывать сего, произнес: «Простите меня!», но, произнеся эти слова, и сам не узнал своего голоса.

А она быстро встала и, тихо подняв пальчик, шепнула:

— Не говорите. Это нельзя вам! — и поправила мне что-то у моего лица и вышла, а вместо нее пришел: кто вы бы думали?.. А ей-богу, пришел сам маршалек!

Ну, тут я уже припомнил не одного Овидия, а и Лукиана и с его встречами и разговорами в царстве мертвых и, дивясь одним глазом на вошедшего, подумал:

«Эге, друг ученый! И ты тут! Не спасла, видно, и тебя твоя ученость!»

А он заметил, что у меня один глаз открытый, и спросил:

— Можете ли вы открыть другой глаз?

Я ему вместо ответа открыл мой другой глаз, а сам спросил:

— А вы, ваше сиятельство, когда же почили на земле и переселились сюда в вечность?

Он меня отчего-сь не понял, и я его лучше переспросил:

— Як давно вы изволили вмереть? — На сие он уже улыбнулся и отвечал:

— Нет; мы с вами пока еще находимся в старом состоянии, в кожаных ризах. Да нам и необходимо тут еще кое с чем разделаться.

Я не все понял, но с этих пор начал приходить в себя все чаще и на более продолжительное время и все видел около себя то самого предводителя князя Мамуру, то Юлию Семеновну, ибо это была она самая. Он и она вырвали меня, як поэты говорят, «из жадных челюстей смерти», и мало-помалу Юлия Семеновна в добрейших разговорах открыла мне, что я теперь нахожусь в маршалковом доме и содерживаюсь тут уже более як шесть недель, а привезен я сюда в бесчувственной горячке, самим же им — маршалком, который обрел меня в безумии моем бегавшего под молоньями и дождем и ловящего листки типографские, разносимые вдаль бешеными ручьями. Маршалек же тогда ехал с какого-то служебного дела, и его сопровождали соседний становой и еще кто-то, и всем им мое безумие явлено ясно, и поличье распространения революционных бумаг они взяли, а меня маршалек всадил к себе в коляску и привез к себе как весьма больного.

Я же все это слушал и удивлялся и не воображал того, что это только одна капля из того всеудивленного моря, которое на меня хлынуло, а именно, что я совсем не в гостях, а почитаюсь живущим у князя под домашним арестом, доколе можно меня при облегчении недуга оттарабанить в одно из мест заключения, и что для караула меня на кухне живут два человека.

Вот вам и поздоров боже! Маршалек обязан был известить, когда мне полегчает, и тогда меня увезут в заключение и будут судить за мои преступления. Преступления же мои были самого ужасного характера, ибо я напал на дороге на самоискуснейшего агента, который послан был выследить и изловить самого дерзновеннейшего потрясователя, распространявшего

листки, и я собственноручно сего агента сцапал вместо преступника, и лишил его свободы, и тем способствовал тому, что потрясователь сокрылся, притом на моей лошади, ибо злодей этот был именно мой Теренька!.. Пожалуйте!.. О, боже мій милій! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно, ибо я сам был взят на таком непонятном деянии, которое выяснит только наистрожайшее следствие, то есть: хотел ли я сокрыть следы оного злейшего пропагандиста, пометая его значки в овраги, или же, наоборот, был с ним в сообществе и старался те проклятства распустить на всю землю посредством сплава их через устремившиеся потоки.

XXVII

Когда я это узнал, то сказал предводителю:

— Однако, хоть обвинен я жестоко, но, пусть видит бог, все было не так.— И я попросил его позволения рассказать, как было, и все, что вы теперь знаете, я рассказал ему и вошедшей в то время Юлии Семеновне, и когда рассказ мой был доведен до конца, то я впал в изнеможение — очи мои заплющились, а лицо покрылось смертною бледностию, и маршалек это заметил и сказал Юлии Семеновне:

— Вот наинесчастнейший человек, который охотился за чужими «волосами», а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, сколь подло то, что их до этого доводят.

А потом они сразу стали говорить дальше по-французски, а я по-французски много слов знаю, но только говорить не могу, потому что у меня носового произносу нет. И тут я услыхал, что всему, что наделалось, я виноват, ибо я сам взманил Тереньку своим пустословием, что будто и у нас есть «элементы», тогда как у нас, по словам маршалка, «есть только элементы для борща и запеканки». А теперь тот Теренька утек, а великий скандал совершился, и все в волнении, а мне быть в Сибиру! Я же так от всех сих впечатлений устал, что уже ничего не боялся и думал: «Пусть так и будет, ибо я злое делал и злого заслужил».

Но маршалек говорил также Юлии Семеновне, «что он все свои силы употребит, чтобы меня защитить».

И Юлия Семеновна ему тоже отвечала:

— Сделайте это.

Добрые души! И что еще всего дороже: маршалек находил облегчение моей гадости.

Он говорил:

— По совести, я не вижу в нем такой вины, за которую наше общество могло бы его карать. Что за ужасная среда, в которой жил он: рожден в деревне и с любовью к простой жизни, а его пошли мыкать туда и сюда и под видом образования освоивали с такими вещами, которых и знать не стоит. Тут и Овидий, и «оксиос», и метание орлецов, и припевание при благочестивой казни во вкусе Жуковского, и свещи, и гребені «на браду», и знание всех орденов, и пытание тайностей по «Чину явления истины»... Помилуйте, какая голова может это выдержать и сохранить здравый ум! Тут гораздо способнее сойти с ума, чем сохранить оный,— он и сошел...

Юлия же Семеновна его спросила, неужто в самом деле он думает, что я сумасшедший?

— Да,— отвечал предводитель,— и в этом его счастье: иначе он погиб. Когда его повезут, я представлю мои за ним наблюдения и буду настаивать, чтобы прежде суда его отдали на испытание.

— И знаете,— отозвалась Юлия Семеновна,— это будет справедливо; но только я боюсь, что вас не послушают.

А он говорит:

— Наоборот, я уверен в полном успехе... Что им за радость разводить такую глупую историю и спроваживать к Макару злополучного болвана

(это я-то болван!), которого не выучили никакому полезному делу. Без этого бетизы неизбежны.

Юлия Семеновна на это сразу не отвечала и размеривала на коленях чулок, который вязала, а потом улыбнулась и говорит:

— Ах, бетизы! Это слово напоминает мне нашу бабушку, которая была когда-то красавица и очень светская, а потом, проживши семьдесят лет, оглохла и все сидела у себя в комнате и чулки вязала. К гостям она не выходила, потому что тетя Оля, ее старшая дочь и сестра моей матери, находила ее неприличною. А неприличие состояло в том, что бабушка стала делать разные «бетизы», как-то: цмокала губами, чавкала, и что всего ужаснее — постоянно стремилась чистить пальцем нос... Да, да, да! И сделалась она этим нам невыносима, а между тем в особые семейные дни, когда собирались все родные и приезжали важные гости, бабушку вспоминали, о ней спрашивали, и потому ее выводили и сажали к столу,— что было и красиво, потому что она была кавалерственная дама, но тут от нее и начиналось «сокрушение», а именно, привыкши одна вязать чулок, она уже не могла сидеть без дела, и пока она ела вилкой или ложкой, то все шло хорошо, но чуть только руки у нее освободятся, она сейчас же их и потащит к своему носу... А когда все на нее вскинутся и закричат: «Перестаньте! Бабушка! Ne faites pas de bêtises!» [1] — она смотрит и с удивлением спрашивает:

— Что такое? Какую я сделала bêtise?

И когда ей покажут на нос, она говорит: «А ну вас совсем. Дайте мне чулок вязать, и bêtise не будет». И как только ей чулок дадут, она начинает вязать и ни за что носа не тронет, а сидит премило. То же самое, может быть, так бы и всем людям...

— Именно! — поддержал, рассмеясь, предводитель,— ваша бабушка дает прекрасную иллюстрацию к тому трактату, который очень бы хорошо заставить послушать многих охотников совать руки, куда им не следует.

Но тогда и Юлия Семеновна в насмешку над собою сказала:

— Вот я потому все и вяжу чулки.

— И что же,— сказал князь,— вы по крайней мере наверно никому не делаете зла.

И, сказав это, он вышел, а я всю ночь чувствовал, что я нахожусь с такими наипрекраснейшими людьми, каких еще до сей поры не знал, и думал, что мне этого счастья уже довольно, и пора мне их освободить от себя, и надо уже идти и пострадать за те бетизы, которые наделал.

Во мне произошел переворот моих понятий.

XXVIII

С возбуждением сердечнейшего чувства я встал рано утром и, як взглянул на себя, так даже испугался, якій сморщеноватый, и очи потухлы, и зубы обнаженны, и все дело дрянь. Кончено мое кавалерство: я старик! Скоро я увидал Юлию Семеновну и сейчас же ей сказал:

— Позвольте мне провязать один раз в вашем вязании!

Она же подала и удивилась, что я умею, а я ей сказал:

— Вот я теперь и буду это делать в память препочтенной вашей бабушки и кавалерственной дамы.

Она спросила:

— А то для чего вам?

А я отвечал:

— Не хочу больше подражать ничьим бетизам, я теперь в здешней жизни уже конченый.

Она улыбнулась и хотела взять в шутку, но я говорю:

— Это не шутка! Да и довольно мне ветры гонять.

---

[1] Не делайте глупостей! (*фр.*)

И еще я сказал, что я сильно тронут всем, что от нее добра видел, но не хочу более отягощать собою великодушие князя и прошу его предоставить меня моей участи.

Она на меня посмотрела и, вместо того чтобы оспаривать меня, сказала: «ваше теперешнее настроение так хорошо, что ему не надо препятствовать», и взялась переговорить за меня с князем, и тот подал мне руку, а другою рукою обнял меня и сказал:

— У вашего философа Сковороды есть одно прелестное замечание: «Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится», вот и вы, я думаю, теперь не годитесь более для прежнего своего занятия, а зато в духе вашем поднимается лучшее.

Я отвечал:

— Может быть, может быть! — и больше с ним избегал говорить, потому что был тронут.

И так меня от них увезли и привезли прямо сюда в сумасшедший дом на испытание, которое в ту же минуту началось, ибо, чуть я переставил ногу через порог, как ко мне подошел человек в жестяной короне и, подставив мне ногу, ударил меня по затылку и закричал:

— Разве не видишь, кто я? Болван!

— Болван я,— отвечаю,— это верно, но вашего сана не постигаю.

А он отвечает:

— Я король Брындахлыст.

— Привет мой, ваше королевское величество!

Он сейчас же сдобрился и по макушке меня погладил.

— Это хорошо,— говорит,— я так люблю,— ты можешь считать себя в числе моих верноподданных.

А я посмотрел, что у него туфли на босу ногу и ноги синие, и отвечаю:

— Благодарю покорно, а что же это твои подданные плохо, верно, о твоем величестве думают: вон как у тебя ножки посинели?

— Да,— говорит,— брат, посинели...

А потом вздохнул и продолжал:

— Знаешь, это, однако, только тогда, когда бывает холодно,— тогда, брат, что делать... тогда ведь и мне бывает холодно. Да,— я не могу приказать, чтобы в моем царстве было иначе.

— Совершенно,— говорю,— правда!

— А вот то-то и есть! Приказываю, а так не выходит.

— Ну, не робей, брат: я тебе шерстяные чулки свяжу!

— Что ты!

— Верь честному слову.

— Сделай одолжение! Ведь у меня особая обязанность: я должен отлетать на болота и высиживать там цаплины яйца. Из них выйдет жар-птица!

И когда я ему связал чулки, он их надел и сказал:

— Ты нас согрел, и поелику сие нам приятно, мы жалуем тебя нашим лейб-вязальщиком и повелеваем обвязывать всех моих босых верноподданных.

И вот я уже много лет здесь живу и всеми любим, потому что, должно быть, я, знаете, дело делаю.

XXIX

Раз я спросил у рассказчика: как же был решен вопрос об его испытании?

Он отвечал, что все решено правильно, и он признан сумасшедшим, потому что это так и есть, да это и всякому должно быть очевидно, потому что невозможно же, чтобы человек со здоровым умом пошел за шерстью, а воротился сам остриженный.

Об акте освидетельствования его в специальном присутствии он говорил неохотно и немного. Против довольно общего обыкновения почитать это

актом величайшей важности, он так не думал, и от него даже трудно было узнать поименно: кто именно присутствовал при том, когда его признали сумасшедшим. Он делал кисловатую позу рожи и говорил:

— Были там не якіе велыки паны... всіх их аж до черта, так что и помнить не можно, и всякий на тебя очи бочит, и усами гогочит, и хочет разговаривать... Тпфу им,— совсім волнение достать можно!..

— Ну, а вы же все-таки хорошо с ними говорили?

— Да говорил же, говорил... Но, послушайте: чтобы я хорошо или нехорошо говорил,— за зто я вам заручать за себя не могу, потому что, знаете, от этого их приставания со мною тоже случилось волнение,— может, больше через то, что у меня отняли из рук чулок вязать и положили его на свод законов, на этажерку. Я говорил: «Не отбирайте у меня,— я привык чулок вязать и на все могу отвечать при вязанье», но прокурор, или то не прокурор, и полковник сказали, что это невозможно, ибо я должен сосредоточиться, так как от этого многое зависит. И стали меня пытать: через что я так вздумал опасоваться везде потрясователей и искать их в шляпах земли греческой? И я все по всей святой правде ответил, что такая была повсеместно говóрка и я желал отличиться и получить орден, в чем мне господин полковник хотел оказать поддержку, но паны, мабуть, взяли это за лживое и переглянулись с улыбкой, а меня спросили: «Зачем же вы не надлежащее лицо взяли?» Я отвечал: «По ошибке, и прошу в том помиловать, ибо он скакал в греческой шляпе». А тогда вдруг и посыпали с featurnейших сторон все спрашивать разное:

— Зачем вы изменили ваши виды и намерения?

— Не было никаких намерений!

— Отчего же вы так струсились?

— Помилуйте, как же его не струситься, когда он вдруг под дождем среди темного леса меня завез и вдруг выпрягает одного коня, а другому бьет в ногу гвоздь и говорит, что мне дадут орден бешеной собаки!.. И после того я вижу папирки и понимаю, что зто и есть то самое, что мы учили о Франции, которая соделалась республикой!.. И я сейчас же захотел это все скорей уменьчтожить, но далее... вот могут сказать господин князь, который тогда меня взял, и кормил, и поил, и от темной ночи взирал... А меня спрашивают: «Что на вас так повлияло, что вы у князя совсем переменились?» Как же это объяснить, чего я сам не заметил, как сделалось! Может быть, потому, что я болен был и вспоминал «смерть и суд», и я понял ничтожество. А может быть, от влияния добрых людей стал любить тишноту и ненавидеть скоки, и рычания, и мартальезу. Пойте вот что хотите, а я никаких бетизов делать не хочу и кричу вам: «Дайте мой чулок!» И всё неудержимо раз от разу громче: «Дайте мне чулок вязать!.. Дайте мне чулок вязать!..» А когда ж они не хотели мне дать, то чтó я виноват в том, что меня волнение охватило! О боже мой! Я и не помню, как я вскочил на стол, и зарыдал, и зачал топотаться ногами и ругать всех наипозорнейшими словами, какими даже никогда и не ругался, и ужаснеющим голосом вскрикивал: «Дайте мне чулок вязать, гаспиды! Дайте чулок вязать, ибо я вам черт знае якие бетизы сейчас на столе наделаю!» И потом уже ничего не помню, аж до того часу, как снова увидал себя здесь на койке в свивальниках. И тогда опять сказал: «Дайте чулок вязать!» И когда мне дали — я и утишился. А вот теперь знову вспомнил, як ті гаспиды хотели, щоб я мартальезу заспівал, и... ой, знову... дайте мне скорее мой чулок вязать!.. а то я буду в волнении!

XXX

Я потревожил Перегуда и другими вопросами: не тяжело ли ему его долговременное пребывание в сумасшедшем доме?

Он отвечал:

— И немалесенько! Да и що такое вы называете здесь «сумасшедший

дом»! Полноте-с! Здесь очень хорошо: я вяжу чулки и думаю, що хочу, а чулки дарю,— и меня за то люблят. Все, батюшка мой, подарочки люблят! Да-с, люблят и «благодару вам» скажут. А впрочем, есть некоторые и неблагодарные, как и на во всем світі... О господи! Одно только, что здесь немножко очень сильно шумят... Это, знаете, она... бездна безумия... О, страшная бездна! Но ночью, когда все уснут, то и здесь иногда становится тихо, и тогда я беру крылья и улетаю.

— Мысленно улетаете?

— Нет, совсем, з целой истотою.

— Куда же вы летите?.. Это можно спросить?

— Ах, можно, мій друже, можно! Про все спросить можно! — вздохнул он и добавил шепотом, что он улетает отсюда «в болото» и там высиживает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы.

— Вам, я думаю, жутко там ночью в болоте?

— Нет; там нас много знакомых, и все стараются вывести жар-птицы, только пока еще не выходят потому, что в нас много гордости.

— А кто же там из знакомых: может быть, Юлия Семеновна?

— Сия давно сидит за самою первой кочкой.

— А князь, или предводитель?

— Его нет. Он верит в цивилизацию, и — представьте — он старался меня убедить, что надо жить своим умом. Он против чулок и говорит, что будто «с тех пор, как я перестал подражать одним бетизам, я начал подражать другим». Да, да, да! Он говорил мне про какого-то немца, который выучил всю русскую грамматику, а когда к нему пришел человек по имени Иван Иванович Иванов, то он счел это за шутку и сказал: «Я снай: Иван — мошна, Иваниш — восмошна, а Иваноф — не дольшна». Я спросил, к чему же мне эта грамматика? А князь мне отвечал: «Это к тому, что не все сделанное с успехом одним человеком хорошо всем проделывать до обморока. Вспомните, говорит, хоть своего Сковороду: надо идти и тащить вперед своего «телесного болвана».

Я сказал, что это и правда!

— Правда,— повторил тихо и Перегуд и, вздохнув, опять повторил: — правда! — А потом взял в руки свой чулок и зачитал: — Вот грамматика, вот грамматика, вот какая грамматика: я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врешь, и он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, господи, пожалей! Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана? Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть. Ой, затурмантовали бідолагу болвана, и весь ум у него помутивься. Нет, ну вас!.. Прощайте!

Он вдруг надулся, сделал угрюмую позу рожи и ушел быстро, шевеля спицами своего вязанья.

Теперь это был настоящий сумасшедший, словам которого не всякий согласился бы верить, но любитель правды и добра должен с сожалением смотреть, как отходит этот дух, обремененный надетыми на него телесными болванами. Он хочет осчастливить своим «животным благоволением» весь мир, а сила вещей позволяет ему только вязать чулки для товарищей неволи.

ЭПИЛОГ

Оноприй Опанасович Перегуд почил великолепно и оставил по себе память в сумасшедшем доме. Отшел он отсюда в неведомый путь, исполненный лет и доброго желания совершить «всякое животное благоволение».

Последние дни своего пребывания на земле Перегуд испытал высокое счастие верить в возможность лучшей жизни в этой юдоли смерти. Сам он ослаб, как кузнечик, доживший до осени, и давно был готов оторваться

от стебля, как созревшая ягода; он еще думал об открытиях, с которых должно начаться «обновление угасающего ума».

Неустанно вязавши чулки, Перегуд додумался, что «надо изобресть печатание мыслей». Гутенбергово изобретение печатания на бумаге он признавал ничтожным, ибо оно не может бороться с запрещениями. Настоящее изобретение будет то, которому ничто не может помешать светить на весь мир. Печатать надо не на тряпке и не на папирусе, а также и не на телячьей и не на ослиной коже... Убивать животных не будут... Каждое утро, прежде чем заалеет заря — в зтот час, когда точат убийственный нож, чтобы, сняв плуга ярмо, зарезать им пахаря», Перегуд видит, как несется на облаках тень Овидия и запрещает людям «пожирать своих кормильцев», а люди не слышат и не видят. Перегуд хочет, чтобы все это видели и слышали зто и многое другое и чтобы все ужаснулись того, что они делают, и поняли бы то, что им надо делать. Тогда жить и умирать не будет так страшно, как нынче!.. Он все напечатает прямо по небу!.. Это очень просто. Надо только узнать: отчего блистает свет и как огустевает тьма...

Перегуд покидал чулок и рисовал и вырезывал из бумаги огромные глаголицкие буквы: он будет ими отражать прямо на небо то, про что восшумит глас, вопиющий в пустыне: «Готовьте путь! Готовьте путь!» Уж слышен росный дух, и как только держащий состав вод отворит бездну, тогда сейчас твердый лед станет жидкой влагою и освежает все естество и деревья дубравные, и возгремит божие страшное великолепие!

И вот раз после жаркого дня, который, по обычаю, на рассвете предварила Перегуду Овидиева тень, стали сбираться тучи с разных сторон и столкнулись на одном месте. Буря ударила, пыль понеслася, зареяли молоньи, и загремели один за другим непрерывно громовые раскаты.

Пришло страшное явление юга — «воробьиная ночь», когда вспышки огня в небесах ни на минуту не гаснут, и где они вспыхнут, там освещают удивительные группы фигур на небе и сгущают тьму на земле.

В сумасшедшем доме, как и везде, где это было видно, царил ужас... кто стонал, кто трясся и плакал, некоторые молились, а кто-то один декламировал:

Страшно в могиле холодной и темной,
Ветры там воют — гробы трясутся,
Белые кости стучат...

Но Перегуд «победил смерть», он давно устал и сам давно хотел уйти в шатры Симовы. Там можно спать лучше, чем под тяжестью пирамид, которые фараоны нагромоздили себе руками рабов, истерзанных голодом и плетью. Он отдохнет в этих шатрах, куда не придет угнетатель, и узнает себя снова там, где угнетенный не ищет быть ничьим господином... Он ощутил, что его время пришло! Перегуд схватил из своих громаднейших литер Глаголь и Добро и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам... чтобы пошли отраженья овамо и семи.

«Страшное великолепие» осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене, но что зто было, того никто не понял, а сам Перегуд упал и не поднимался, ибо он «ушел в шатры Симовы».

Многие из сумасшедших при погребении Перегуда имели на себе чулки его работы, и некоторые при зтом плакали, а еще более чувствительные даже пали ниц и при отпевании брыкали обутыми ногами.

1894

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Семенович Лесков

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Редактор Ч. Залилова

Художествеккый редактор Г. Масляkенко

Технические редакторы Л. Ковнацкая и Т. Фатюхина

Корректоры Т. Калинина и И. Филатова

ИБ № 2610

Сдано в кабор 24.11.80. Подписако к печати 07.04.81.
Формат 70×108[1]/16. Бумага типографская. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 43,4 усл. печ. л. 43,4 усл. кр.-отт. 46,686 уч.-изд. л. Тираж 500 000 экз. (3-й завод 350 001—500 000 экз.). Изд. № II-374.
Заказ 2. Цена 4 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Зкамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Краского Зкамени Московская типография № 2 Союзполиграфпрома при Государствекном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и ккижкой торговли. Москва, 129085, пр. Мира, 105.




Н.С.ЛЕСКОВ